Константин Лагунов

Красные петухи





Константин Лагунов

КРАСНЫЕ ПЕТУХИ



Константин Лагунов

КРАСНЫЕ ПЕТУХИ

РОМАН

Свердловск
Средне-Уральское книжное издательство
1978

Р2
Л14

Новый роман писателя Константина Лагунова повествует о борьбе сибирских большевиков за хлеб суровой зимой 1920/21 года, о разгроме спровоцированного врагами Советской власти кулацкого мятежа.

Первая книга романа «Красные петухи» была опубликована в журнале «Урал» в 1975 году. Год спустя на страницах журнала появилась вторая книга произведения. Готовя роман к отдельному изданию, писатель продолжил работу над ним — внес необходимые уточнения, дополнил некоторыми новыми сценами и эпизодами, помогающими глубже раскрыть характеры героев и драматизм событий.

Л $\frac{70302-051}{М158(03)-78}$

© *Средне-Уральское книжное издательство, 1978.*

ОТ АВТОРА

Благодарю тюменских архивистов, краеведов Андрея Спиридоновича Копылова, Наталью Даниловну Радченко, Марию Михайловну Никифорову, Марию Александровну Бровко, Веру Ивановну Трофимову, которые помогли мне собрать материалы, явившиеся документальной основой романа.

Выражаю искреннюю признательность старшему научному сотруднику Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, доктору исторических наук Сергею Антиповичу Андронову и доктору исторических наук Федору Михайловичу Ваганову за большую помощь в осмыслении исторических документов и материалов, использованных в работе над книгой.

Сердечно благодарю партийных, советских работников, участников и очевидцев освещенных в романе событий, за большую, разностороннюю помощь в воссоздании картины борьбы сибирских большевиков за хлеб зимой 1920/21 года.





КНИГА ПЕРВАЯ

Глава первая

1

Над Челноково бесновалась красная метель.

Косматое пламя, захлебываясь и урча, с хрустом пожирало пятистенник бежавшего торговца Текутьева.

Рассерженной вороньей стаей кружили тревожные вскрики набата. Взбесившиеся псы надрывали глотки утробным воем. Пронзительно ржала лошадь. Ветер разметывал по селу кровавые искры и пепел.

А люди словно вымерли или ослепли и оглохли все разом.

Надрывно ревел медный великан. У попа Флегонта от холода и напряжения руки занемели. Выпустил нажегшую ладони веревку, метнулся к узкому, похожему на бойницу, оконцу. Огромные выкаченные глаза прикипели к вихрастому факелу горящего дома. Подле него мельтешила одинокая фигура. «Ромка Кузнечик... Где же мужики?»

— О-го-го-о-о! Э-эй!!

Ветер слизывал с губ крики, рвал их в мелкие клочья. Флегонт так круто развернулся в тесном оконном проеме, что едва не свалился с колокольни. Отбил пятки, скользя по крутым ступеням витой лестницы.

Едва выскочил на паперть, обожгла догадка, оборвала бег.

— У-м! — стиснув зубы, протяжно и глухо простонал Флегонт и звонко пришлепнул ладонь к высокому бугристому лбу.

В проеме калитки возникла серая фигура. Женщина? Раздетая и — о господи! — кажется, босиком. Шагнул из тени навстречу, окликнул:

— Кого бог несет?

Не то всхлипнув, не то выговорив что-то, женщина повалилась на снег. Флегонт прижал к себе бесчувственное, холодное тело и, как волк с прирезанной овцой, заскакал по сугробам к церковной сторожке.

Уложил женщину на лежанку, схватил попавший на глаза ковш — и за снегом. Осторожно оттирал обмороженные ступни сначала снегом, потом рукавицей шерстяной. Должна же быть припрятана у этого пьянчужки хоть косушка на опохмелку. Обшарил все закутки. Нашел-таки

черную бутылку, заткнутую тряпицей. Вытащил затычку, понюхал. Протянул глиняную кружку очнувшейся женщине, приказал:

— Пей, Катерина.

Женщина задыхалась, по щекам катились слезы, а он все лил и лил обжигающую противную жидкость до тех пор, пока Катерина не закашлялась. Ее мутило, она с трудом сдерживала подкатившую к горлу тошноту.

— Держи в себе. Перемоги,— строго басил Флегонт и, когда женщина, вспотев от натуги, все-таки справилась с приступом рвоты, прямо из горлышка допил остатки самогона. Раздул и без того широкие ноздри, шумно и долго втягивал застойный горьковатый воздух холостяцкой берлоги.

— Чертей бы ею травить! — сердито швырнул на лавку пустую посудину.

Синие навыкате глаза Флегонта будто масленой пленкой подернулись и закосили на ядреные белые ляжки. Сняв с деревянного, вбитого в стену шпиля старенький шабур, накинул на женщину.

— Укройся.

Пинком подтолкнул к лежанке табурет, присел.

— Рассказывай.

— Ой, батюшка... Ровно во сне. Доселе не очухаюсь. Продотрядчиков у меня поставили. Красноармейка. Да ить ты знаешь... Обратно же изба — хоть на ходке кати. Сам председатель волости Кориков привел. Старший-то в отряде — уездный комиссар хлебный.

— Ну-ну...

— Сколь дён они бились. А ноне ровно надломились мужики. До свету Маркел Зырянов хлеб привез. Опосля другие потянулись. Текутьевский каменный амбар возле лавки — доверху.— Перевела дух, кончиком языка облизала потрескавшиеся губы. Прикрыла отяжелевшие веки.— В сон шибает... Вечером Кориков полмешка пельменей приволок, две четверти самогонки. Песни разные, не наши, пели...— Опять передохнула, долго не могла проглотить слюну.— Ночью — ровно мертвяки. Самогонка-то, видать, с приправой. А я чую: под окнами шабаршит. Выскочила в сенцы, слышу только, снег заскрипел и дымом потянуло. Торкнулась в дверь — снаружи приперта...

Катерина запрокинула голову, закрыла глаза. Задышала глубоко и ровно. Флегонт подождал, нетерпеливо

поерзал на табурете, подтолкнув женщину в плечо. Дрогнули слипшиеся ресницы, но не разошлись.

— Катерина,— Флегонт шлепнул женщину по раскрасневшейся щеке.— Катька! — Схватил ее за плечи, встряхнул так, что стукнулась затылком о лежанку.

Мутные глаза бессмысленно воззрились на Флегонта.

— Ково тебе?

— Как спаслась?

— Из сенок лаз на чердак. Там окошечко. Головой в сугроб. Потом ты... Век не забуду, чем хошь...

— А продкомиссар? Продотрядовцы?

— В раю,— еле вымолвила женщина и снова заснула.

Вот оно что. Как кур во́ щи. Дерьмо, не продкомиссар. Если такой волчина, как Маркел Зырянов, сам зерно привез, надо не самогон пить, а винтовки заряжать, прости меня, боже. С чем же Кориков?.. Катьку, ровно кость обглоданную со стола, смахнули. Господи, упокой души убиенных рабов твоих. Прости и помилуй их, ибо не ведали сами, что творили... Нет, эти-то ведали. Не вслепую шли. Мертвой хваткой вцепились — отдай хлеб! И ведь не себе, не для собственного чрева... Правда и кривда на одной земле, одной кровью политы. Вразуми мя, боже, не осуди за молитву сию. Вероотступники, богохульники, а руки в мозолях...

Пола тулупа откинулась, обнажив белый клин подштанников. Только теперь Флегонт вспомнил, что полураздет. Не дай бог заглянет кто на огонь или сторож Ерошич воротится. Батюшка в подштанниках, рядом пьяная солдатка Катька Пряхина. И бросить ее нельзя. Как отнесутся те, кто поджег, узнав, что Катька жива? Чего ошалелая баба понамелет спьяну? Господи, вразуми...

Завернул Катерину в шабур и понес на поповский двор. Миновав высокое резное крыльцо, прошел прямо в огород. Вечером топили баню. Флегонтова баня топилась по-белому, тепло в ней держалось долго. Там на широкой скамье и уложил Катерину. Очутившись на лавке, женщина на миг пришла в себя, пробормотала:

— Он все знал...— И снова закрыла глаза.

«Кто он?» Глянул на бесчувственную женщину, махнул безнадежно рукой, поспешил к двери.

Кое-как успокоил жену, торопливо оделся сообразно сану — и снова на улицу, к догорающему костровищу, вокруг которого теперь гомонила толпа. Едва ступил в

освещенный пожарищем круг, как ветер швырнул в уши слова, выкрикнутые высоким, надтреснутым голосом Маркела Зырянова:

— Растаскивай бревна, кидай снег!

Флегонт сбился с шагу, приостановился. «Он и подпалил».

2

Пожар догорал. И метель стихла, будто затем только и занималась, чтоб пожарче раздуть страшный костер. Все свершилось неправдоподобно быстро. Из серой, метельной замяти вылупился красный петух, раскрылился, распушил хвост, клюнул — и нет изукрашенного дивной резьбой дома Текутьева-младшего. Нет продотрядчиков во главе с уездным продкомиссаром, наделенным чрезвычайными полномочиями.

Остались смердящие головешки. В них — сгоревшие парни.

Осталась черная похмельная тревога — когтистая, удушливая.

Катилась ночь к рассвету. Вот-вот займется новый день, судный день горького похмелья и тяжкой расплаты.

— Отчего не поспешили на помощь Ромке Кузнечику? — гневно басил Флегонт. Казалось, сей миг из его выпученных глаз вылетят огненные стрелы, пронзят Маркела Зырянова.

Рядом с попом Маркел выглядел подростком: худой, низенький, плоский. На длинной шее маленькая вертлявая голова. Но черты лица — твердые. Брови над переносьем почти срослись. Взгляд коричневых глаз — неломкий, острый. На запавших щеках, словно следы кошачьих лап, глубокие и частые морщины.

— Своя рубаха, батюшка, ближе.

— И на твою рубаху искра пала?

— Вечор продкомиссар исповедовал: не привезешь хлеб — расстреляю, на раздумье — ночь... Может, худа башка, да одна. Сусеки подмел, вывез... Когда занялось, мы хлебушко-то назад разобрали. С того и припозднились...

Флегонт обеими руками глубже насадил на голову отороченную горностаем круглую шапку, сердито дунул ноздрями.

— Как не хотите, чтоб с вами поступали люди, так не

поступайте и вы с ними. Иль мыслишь, простят власти сие?

— Казнить либо миловать можно виноватого. А здеся...— развел руками, вздернул плечо.— Один бог видел, так он...

— Не поминай всуе имя господне,— сердито оборвал Флегонт.— И у стен есть уши, и у ночи — глаза. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано.

Вот теперь Маркел забеспокоился, запереступал, точно на раскаленном поду.

— Чего жмешься, яко заяц под тенью орла? — Флегонт брезгливо сморщился.— Спарил господь с заячьей душонкой волчиную злобу...

— Ты меня, батя, не трожь...— от бешенства тонкий хрипловатый голос взвился и лопнул. Несколько раз Маркел хватанул открытым ртом студеного воздуху.— Поостерегись, не то... Я могу...

— Все можешь,— спокойно и грозно пророкотал Флегонт. Небрежным взмахом руки стряхнул иней с пышной волнистой бороды.— Коли бог совести не дал... Не о тебе пекусь: не заслужил.— Помолчал. Тяжело вздохнул и негромко: — Паршивцы. Из-за вашей слепой злобы может все село сгинуть... Подберите огарыши кольев, коими дверь да ставни подпирали...

Повернулся, тяжелыми широченными шагами пошел прочь. Маркел долго оглушенно стоял посреди дороги, тупо глядя в спину уходящего попа.

Свежий снежок легонько похрустывал под новыми, еще не разношенными валенками. Сын деревенского пимоката, Флегонт сызмальства помогал отцу щипать, бить шерсть, настилать и стирать пимы. И по сю пору лучше Флегонта никто в округе не сваляет валенок. Вся многочисленная поповская семья — а у него было шестеро детей — щеголяла в разноцветных валенках отцовского изготовления.

Мягкий скрип снега не раздражал — напротив, успокаивал. И мороз холодил разгоряченную голову, студил кровь.

До сравнительно недавнего времени жизнь казалась Флегонту простой и понятной. Не внесла особой сумятицы в его душу и начавшаяся мировая война. Флегонт вместе с тогда еще здравствующим своим предшественником отцом Василием служил молебны во здравие сража-

ющихся односельчан, панихиды за упокой души павших в боях. С величайшим нетерпением ждал писем двоюродного племянника Вениамина, добровольно ушедшего на фронт с последнего курса медицинского факультета Петербургского университета. Письма Вениамина с фронта были длинные и смутные, полные недомолвок, плохо скрытой тревоги. Флегонт раза по три в неделю ездил в уезд за столичными газетами. Их было мало, и приходили они с полумесячным опозданием. Разные газеты писали об одном и том же по-разному, и от этого тревога становилась еще сильней.

Вихрь революции вырвал с корнем извечные представления, понятия, устои — все, чем жив был доселе Флегонт, перепутал, скрутил комом и швырнул с кручи в тартарары. Где верх, где низ, что черное, а что белое — попробуй разбери в эдакой крутоверти. Добро становилось злом, зло оборачивалось в добро. Менялись флаги над Народным домом, менялись власти. Волостное правление становилось то волостным исполкомом, то волревкомом, а то волостной земской управой. Менялись подписи под приказами, которые зачитывались на сходах, но деревенскому попу Флегонту в каждом из них прежде всего слышалось одно слово: «Отдай!» Отдай зерно, отдай сено, отдай коня, отдай мужа, сына, брата в армию, белые требовали — в белую, красные — в красную...

Если бы не кремневая вера в бога, в разумность и преднамеренность посылаемого им испытания, не устоять бы Флегонту, закружила бы и его сатанинская карусель. Помог спастись от казни трем пленным мальчишкам-красноармейцам, укрыл на сеновале бежавшего от конвоя белогвардейского офицера. В проповедях и молитвах звал прихожан к терпению, спокойствию, прекращению братоубийственной войны. Его едва не повесили колчаковцы, хотели расстрелять красные. Отстояли мужики, не дали.

И вот теперь, когда, казалось бы, самое дурное — в прошлом, а жизнь начала потихоньку входить в берега, грянула продразверстка. Непонятное, страшное слово-паук. Вцепилось в мужика, и хоть криком кричи, а свой хлеб, пóтом и кровью взращенный, отдай задарма.

Сын мужика, Флегонт по себе знал, каково терпеть, когда в твоих закромах шарят чужие руки.

Как помирить мужиков с новой властью? Втолковать ей, что нельзя все силой, через колено, вразумить их, что всякая власть — от бога и с ней надобно ладить...

Распалили, разогнали Флегонта думы. Версты две по селу отмахал, опомнился у околицы.

Остановился. Огляделся. Тишина вокруг неземная. Дома зарылись в сугробы по самые окна. Ни собачьего бреху, ни людских голосов. Даже ветра не слышно. «Вразуми, господи, просветли, направь на путь истинный...»

3

Катерина выла в голос — жутко и протяжно. Теребила растрепанные, измочаленные волосы, билась головой о стену, заламывала не по-крестьянски тонкие белые руки. То затихала и только глухо постанывала, раскачиваясь из стороны в сторону, то снова начинала голосить.

Флегонт сидел на скамье, уперев ладони в колени, слегка наклонив крупную тяжелую голову. Молчал. И это молчание действовало на Катерину лучше всяких слов и утешений. Мало-помалу она затихла. Всхлипывала, сотрясаясь всем телом, терла подолом юбки красные, мокрые глаза.

— Радоваться надобно, а ты слезы льешь, бога гневишь...— сильно нажимая на «о», глуховато, но проникновенно заговорил Флегонт.

Всхлипнув еще раз, Катерина затихла. Подняла разлохмаченную голову, разлепила потрескавшиеся губы, уставилась на попа.

— Бог спас душу твою и тело не порушил, ни единый волос не упал. Это ли не диво? Из ада возвернулась. Чего ж еще ждешь от всевышнего?

На разукрашенном сажей и царапинами, отекшем от слез, но и сейчас красивом лице Катерины мелькнул испуг.

— Тут вот гусиный жир и холстина чистая. Смажь и перевяжи. Помочь?

— Спасибочки. Сама управлюсь.

Болезненно морщась и тихонько ойкая, женщина смазала и перебинтовала обмороженные ступни ног, Флегонт искоса наблюдал за ней. Всем бог наделил: красотой, статью, умом, а счастья... Верно бабы поют: «Не родись красивой, а родись счастливой»... Где оно, счастье? В чем? Жар-птицу легче поймать. Всю жизнь тянется к нему человек душой, и руками, и разумом...

— Ты что, батюшка?

Дурацкая привычка бормотать вслух, с собой разговаривать...

— О тебе думаю. Воскресла из мертвых — слава господу. А как дальше? Завтра нагрянут из чека. Чем докажешь, что не ты сожгла продотрядчиков, по наущенью, со злобы ль?

— Вот те крест...— На мучнистом лице еще чернее кажутся остановившиеся глаза.

— Верю. Но поверят ли они? Если спаслась, с чердака спрыгнув, зачем не к соседям побегла? Рядом ведь...

— Со страху... не в себе была.

— Без ветра травинка не колыхнется. Всякому делу первопричина есть, всякой беде — виновник. Настоящие злодеи зело коварны и вероломны. Швырнули тебя в костер, ровно охапку сушняка. Теперь тебя же и оговорят. Чем докажешь правоту?

— Батюшка...— Катерина сползла с лавки, пала на колени, обхватила руками ноги попа.— Не погуби. Ты один свидетель...

— Встань.— Поднял женщину, усадил.— Нам, священникам, у новой власти веры нет.— Тяжело вздохнул, зажал в кулачище пышную бороду и долго молчал.— Облачайся. Отвезу в Северск. Не близок путь, а и ночь-от долга...

Катерина покачала головой, проговорила, будто сама с собой:

— Кончилось мое челноковское житье. Правду баба Дуня насулила: «Не надолго расстаемся, скоро свидимся. С песней прощаемся, с плачем встретимся». По ее и вышло.

— У тебя ведь, кроме бабушки...

— Ни единой душеньки,— договорила Катерина.— Был мужик навроде, а может, только поблазнилось.

— Поживешь пока у бабки.

— Сказывали, в Абалаке она сейчас. Грехи в монастыре замаливает. Да я и одна...

— Нет. Пока не скинешь недуг, одной не след. Вот что, определю-ка я тебя на это время под надзор моего племянника. Человек он образованный, обходительный, на врача учился...

Рослый, широкогрудый жеребец бежал легко, широкой, ровной, размашистой иноходью. Снег то скулил, то взвизгивал под коваными полозьями. Дорогу сильно пе-

ремело, жеребец скоро покрылся белыми завитками. Флегонт слегка ослабил вожжи — и лошадь убавила рысь.

Над головой, постоянно меняя цвет и форму, стремительно и неслышно скользили облака. Они мчались, как вспугнутое оленье стадо по зимней тундре, обгоняя и налетая друг на друга. Флегонт провожал облака тоскующим взглядом. Давно позабыл он о Катерине, о том, куда и зачем ее везет: всем своим существом Флегонт устремился сейчас в недоступную высь, откуда недобрый человеческий мир, наверное, кажется покойным и светлым. И как возликовал бы Флегонт, если б вдруг, оторвавшись от земли, жеребец взмыл в небо и врезался в гущу ускользающего облачного клина...

— Какого лешего прешь? Язви тебя! Разуй шары-то...

В сажени от морды жеребца остановился обоз с сеном. Флегонт съехал в сугроб. Пропуская мимо последнюю подводу, сообразил, что окликнувший — не кто иной, как Онуфрий Карасулин — секретарь Челноковской волостной комячейки. Приподнявшись, гаркнул громовым басом:

— Онуфрий Лукич!

— Никак, отец Флегонт...

Ростом они были под стать друг другу, только Онуфрий — подобраннее и суше. Лицо безбородое, раскаленное морозом докрасна.

Онуфрий скинул огромные из собачьего меха рукавицы, достал кисет, свернул папиросу. С одного удара высек кресалом искру, прижег фитиль, прикурил. Сладко затянулся затрещавшей самокруткой, прищурился, медленно выпустил дым через ноздри.

— Спешишь отпустить грехи уходящему в рай?

— Истинно. Тут промедление недопустимо. Душа не сено: она крылата.

— И сено бывает с ногами. Почитай, ползарода утопало. Хорошо Евдоким Зоркальцев упредил: Маркел, мол, Зырянов, баил — сено твое ополовинили. Думал, лоси пакостят, а след-то санный... У зятя двух коней взял да своих запряг. Пока четыре воза наметал...

— Вон ка-ак...— протянул, осененный догадкой, Флегонт.

Онуфрий сразу уловил недоброе и забеспокоился:

— Чего там?

— Катерины Пряхиной дом сгорел. Со всем продотрядом. Пока полыхало, мужики собранный хлеб — по амбарам...

— А-а! — с великой натугой выдавил из себя Онуфрий, будто приподнял непосильную тяжесть. Скрипнул зубами, матюгнулся.— И... ни один?

Флегонт покачал головой.

— Повязали их, что ли? — выкрикнул Онуфрий.

— Бахус руку приложил.

— Какой Бахус? — Онуфрий резко подался вперед, сжал кулаки.

— Бог вина и веселья. Вечером отпраздновали выполнение разверстки...

— Ах, гады! Уф! — Онуфрий ожесточенно тер ладонью лоб.— Значит, в открытую? Ну, погоди! — Сунул рукавицы за пазуху. Рысью взметнулся на воз.— Но! Шагай, чертова животина! — Полоснул кнутом по заиндевелому лошадиному боку.

Флегонт долго стоял посреди дороги, словно прислушивался к скрипу полозьев удаляющегося обоза. «Теперь пойдет зуб за зуб... Маркел-то Зырянов! Сатанинское исчадье. Все предусмотрел... Он ли? Мерещится за ним фигура куда крупнее. Большой кровью пахнет... Мужичьей кровью...»

— Спишь? — Вынул вожжи из неподвижных рук женщины. Призывно чмокнул. Жеребец выдернул кошевку из сугроба и помчал.

— Страшно,— голос Катерины дрогнул.

— Молись. Своими словами твори молитву. Богу нужны не складные песни, а чистосердечные откровения. Близок господь ко всем, его призывающим.

— Сколь молилась за мужика, чтоб не сгинул, возвернулся. А он ушел — и с концом.

Звенел под полозьями снег. Стремительно катилась по небосклону лавина облаков. Настороженно молчал подступивший к дороге лес.

4

— Значит, челноковские мужички подпустили комиссарам красного петуха? Ве-ли-ко-лепно! Клюнул раз — и целый продотряд в мир иной.— Оча-ро-ва-тель-но! Сибирский мужик — не рязанский смерд, помещику не кланялся, в лапотках не хаживал, пустых щей, разбавленных слезой, не пробовал. А хлеб сегодня можно взять только у него. Ха-ха-ха! На этом повороте товарищи боль-

шевики и сломают шею. Чего не достигла Антанта с пушками и танками, сделает дремучий сибирский мужик топором и вилами. Вы привезли дивную весть, дорогой дядя, и по такому поводу не откажитесь...

С этими словами Вениамин Горячев выставил на стол пузатый хрустальный графин с водкой, квашеную капусту, соленые грибы, отварную рыбу.

— Кощунственны и непотребны слова твои! Мученической смертью погибли люди, а ты...

Флегонт вскочил, закружил вокруг стола, и сразу бледно освещенная семилинейной лампой комнатенка угрожающе сжалась, уменьшилась, надвинулись на людей давно не беленные стены, и поп бился о них плечами, задевал рукавами рясы за обступившие со всех сторон вещи. Они теснили, раздражали Флегонта, и чтобы унять закипевший гнев, он снова сел. Сграбастал бороду в кулак, упер его в подбородок.

Племянник, кажется, в душе рад был, что раззадорил Флегонта. Поднял стакан. Подмигнул.

— За встречу, дорогой дядя. За упокой души...

— Перестань паясничать,— перебил Флегонт. Одним глотком выпил водку. Долго тер платком полные красные губы, ошарашенно думая, что, выходит, не знал по-настоящему Вениамина. Не раз за этот год встречался он с двоюродным племянником и здесь, в городе, и в Челноково, куда тот иногда наезжал, и никогда не слышал от него ничего похожего. Значит, то была личина?..

— Ты ведь член коллегии губпродкомиссариата. Как же поворачивается твой язык? Боже! Где предел лжи фарисеев?

Продолговатое тонкое лицо Горячева с бледными запавшими щеками зацвело пунцовыми пятнами. Капризно изогнутые губы надломились и застыли в язвительной усмешке. Круглые, почти бесцветные, чуть-чуть подсиненные глаза сузились, стянув к уголкам впадин пучки ранних, но уже прочно прижившихся морщин. Он, видно, хотел сказать что-то едкое, но в последний миг передумал, потянулся к графину, снова налил. Выпил. Подождал, пока выпьет Флегонт, протянул ему вилку с маленьким соленым рыжиком на конце, пододвинул тарелку с рыбой.

— Ешьте. После пережитого и такой дороги не грех. В части ж фарисейства вы не правы. Кто взбаламутил, об-

манул крестьянина, клятвенно пообещав ему земной рай? Земля, хлеб, мир, свобода. Где все это? Разрешите, я закурю?

Выхватил из нагрудного кармана френча портсигар. Не разминая, сунул папиросу в рот. Прикурил от лампы. Несколько раз затянулся. Тонкие длиннопалые руки его дрожали. Глаза горели жарким огнем.

Флегонт машинально оглаживал, пушил и без того по волосинке расчесанную пышную с рыжеватым отливом бороду. Брови его были принахмурены, высокий, бугристый лоб круто навис над лицом. Глаза будто помертвели.

Узким ковшом ладони Горячев разогнал повисшее над столом сизое облачко. Наполнил стаканы. Поднял свой, покрутил перед глазами, словно раздумывая, пить ли. Медленно выцедил:

— Пейте, дядя. Вы — неисправимый толстовец, ми-ро-тво-рец. Честно говоря, завидую вашей цельности и чистоте. Но, простите меня, ваш бог — пусть всемогущий и великий...— Вениамин звонко чмокнул губами, покачал головой,— ни-че-го не смыслит в классовой борьбе. Это жестокая штука...— кинул на стол стиснутые кулаки. Теперь на его раскрасневшемся лице проступили белые пятна. Он снова щелкнул портсигаром.— В ней нет золотой середины: или — или...

— Кто не со мною, тот против меня; и кто не собирает, тот расточает,— медленно прогудел Флегонт. Вскинул руку с оттопыренным указательным пальцем.— Это из Евангелия от Матфея. А вот от Луки: кто не против вас, тот за вас...

— Браво святым пророкам! В общем-то все социалистические идеалы произросли на заповедях Христа. Но я не о том... Большевики всегда считали крестьянство мелкой бур-жу-а-зией. И вот сейчас военной силой отнимают все, что взрастил мужик тяжелейшим трудом. О, я знаю, каков это труд! Мой отец сам кре-стья-нин. Правда, господа большевики именуют таких кулаками-эксплуататорами. Да, была маслоделка, машины, сорок коров, лошади... Ка-кие лошади! Но все это — своим горбом, своими руками...

Вениамин вскочил и, словно надломившись в пояснице, согнулся над столом, вытянул перед собой длинные тонкие руки с растопыренными пальцами.

— Ты же сам посылаешь по волостям продотряды, кои обирают того самого мужика, которому ты так слезно

сострадаешь. Оного двоедушия я не в силах понять. Коль нету сил делать добро, так не делай хоть зла.

Снова язвительно усмехнулся Горячев. Посмотрел на Флегонта, как на несмышленыша, и, всем видом и тоном своим выказывая несоразмеримое превосходство и вынужденную недоговоренность, медленно произнес:

— К сожалению, я не могу, не имею права раскрыть вам карты...

— Сии карты насквозь просвечивают, ибо краплены человеческой кровью. Да и пахнут зело недобро.

— Не понимаю ваших намеков.— Напускное высокомерное спокойствие разом слетело с Горячева. Он возвысил голос, замахал руками.— Только обстоятельства понуждают нас к скрытности, но мы...

— Кто вы?

— Партия соци-алистов-ре-во-лю-ционеров! Не улыбайтесь. Нас загнали в подполье, но не раздавили. Напротив, мы окрепли, закалились, обрели опыт. Теперь у нас свой сибирский крестьянский союз с отделениями в уездах, волостях и даже селах. Мы выпускаем листовки, собираем средства, оружие, накапливаем командные кадры. Наши люди везде...

— Во имя чего?

— Восстание. Органи-зованное, крестьянское. В один день, один час вся мужицкая Сибирь — на дыбы! Оружие, деньги и... войска, да-да, черт возьми, и войска дадут Америка, Япония, Франция, Польша. Сибирь станет плацдармом для броска на Москву — и конец боль-ше-виз-му...

Обессиленно откинувшись на спинку стула, Горячев шумно выдохнул. Стер испарину с лица и шеи. Поймав угрюмый взгляд Флегонта, смешался. Спросил с наигранной шутливостью:

— Надеюсь, дядя, вы не донесете в чека?

— Полагаю, им многое ведомо.

— Вот как?

— Хватит ли только у них ума и сноровки предупредить пожар? — об том тревожусь.

— Да вы, никак, перекрасились? Из пастыря божьего в пастыря большевист...— Осекся под бешеным взглядом Флегонта и долго глотал залепивший горло комок.

Чтоб не видеть остро выпученный, дергающийся кадык племянника, Флегонт опустил голову. С глухим стуком кинул на стол волосатый кулачище. Вениамин вздрогнул, прикрыл рыжими длинными ресницами лезвием сверк-

нувшие глаза. На хрящеватом носу и возле него стали вдруг отчетливо видны веснушки. Рыжая прядь волос приплюснулась к потному лбу.

— Зело пуглив ты.— В густом рокочущем голосе Флегонта ни осуждения, ни насмешки.— Верящий в правоту свою — смел. Не забыл еще предсмертную беседу Христа с Понтием Пилатом? И обидел ты меня незаслуженно.

— Простите, дядя, сдуру,— торопливо выпалил Вениамин. Потянулся к графину.

— Бог простит. С большевиками-богоотступниками мне не по пути. Но подымать паству супротив власти, разжигать новую братоубийственную войну — противно духу моему и заповедям Христовым. Россия обескровлена, нага, голодна. И в сей страшный час кликать на ее голову заморское воронье? — Задохнулся, побурел лицом от гнева.— Кабы вы сами за грудки с комиссарами — бог вам судья. Но ведь кровь-то прольет обманутый, безвинный землепашец.

— Почему же обманутый?!

— Только обманом и можно вовлечь пахаря в сей бессмысленный бунт. Сокрушить мужицким топором армию? Безумие! Ничто святое и доброе не произросло еще на насилии и крови народной...

— С этим можно поспорить, дядя. Большевистская армия сгнила. В красноармейских шинелях те же мужики, они не станут расстреливать своих братьев, не станут! А когда начнется... Мы не схоронимся за сермяжную спину, пойдем впереди...

— И ты, так люто ненавидя большевиков, служишь им? — с каким-то брезгливым изумлением спросил Флегонт.

— Не им! Делу своему, идее своей, и в том вы скоро убедитесь и рас-каетесь в сказанном...

До позднего зимнего рассвета просидели они за столом. Приели всю снедь, наговорились, наспорились, но так и не столковались.

Отяжелев от выпитого, от трудного разговора, Флегонт еле оторвался от сиденья. Пошевелил занемевшими широченными плечами, потянулся.

— Загостевался я, однако. Значит, Катерина побудет тут, пока не вернется ее бабка. Помоги ей, в чем нужда случится...

— Не беспокойтесь. Сделаю как договорились. Поживет пока в боковушке у пани Эмилии.— Усмехнулся, по-

яснил: — У нашей домоуправительницы, быв-шей хозяйки популярнейшего в Северске бардака... Не сердитесь, коли ненароком обидел...

— Буду бога молить, чтоб образумил тя. Мыслю, не поздно еще. Одумайся...

— Может, все-таки отдохнете?

— В кошеве отосплюсь. Поспеть бы в Челноково допрежь чекистов. Тяжко придется сегодня мужикам...

На выезде из города Флегонт нагнал возок. Своим глазам не поверил, узнав в седоке председателя Челноковского волисполкома Алексея Евгеньевича Корикова. «Эво где вынырнул». Хотел молча проехать мимо, да Кориков сам окликнул. Флегонт не стерпел, полюбопытствовал, каким ветром занесло в город председателя волисполкома.

— Советский губернатор вызывал. Рапортовал ему о блистательной виктории на продовольственном фронте. Почти всю ночь заседали.

— Дивны дела твоя, господи...— еле внятно пробормотал Флегонт.

Глава вторая

1

Село затаилось, как затравленная, загнанная в чащобу волчица. Уши торчком, трепещущие ноздри раздуты, глаза полыхают яростным отчаянием, но даже волосок не шевельнется на окаменевшем от взбугрившихся мышц теле.

Не думали, не гадали челноковские мужики, что грядет такой день, когда будут они, таясь от родичей и соседей, прятать **свой** хлеб, взращенный на **своей** земле, **своим** трудом.

Пока ночью в молчаливой, ожесточенной спешке растаскивали со ссыпки мешки по домам, думали: ночь темна и долга, схороним хлебушко. А попробуй-ка спрячь хоть десять мешков пшеницы. Куда ни приспособь — все на виду оказывается. Крестьянский двор — не графское поместье, там ни тайных ходов, ни подземелий. Изба, амбар, хлев да баня — вот и все подворье. Отыщи-ка тут

потайной уголок. Свезешь зерно в лес — след останется. Яму за ночь не выдолбишь, а и выдолбишь — не залижешь.

Вот и злобились мужики, нянькались всю ночь с мешками, драли горло едучим самосадным дымом, поминали бога и черта.

И в собственном доме, вдали от чужих глаз и ушей, разговаривали почти шепотом. Ни озорных ребячьих голосов, ни бабьего стрекотания не слышно, только половицы поскрипывают. На улице та же нехорошая, пугающая тишина: ни лая собачьего, ни звона щеколд, ни хлопанья калиток. Снег и тот не хрустел, как всегда, а придушенно похрюкивал под осторожными торопливыми шагами.

Утром, подхватываемые на лету, поползли из дома в дом недобрые слухи: «Карасулин с коммунистами идут по дворам. Все под метелку гребут», «Подходит отряд с пулеметами и пушками. Подкатят пушку под окна. Нет хлеба? Бах! Один дым от хозяйства»... Шелестели по деревне слухи. Гнулись головы, сутулились спины. Зажигались лампады перед нерукотворными ликами Миколы-угодника или Варвары-великомученицы. Кто лоб крестил, кто бога материл, кто вонючей самогонкой тревогу заливал.

Мальчишки табунились вокруг пугающей груды обгоревших бревен и кирпичей. Подзадоривая друг друга, лезли на черную круговину, вылизанную пламенем в снегу.

— Вижу! — приглушенно выкрикивал один, и его тут же обступали.

— Иде?

— Брешет, сопатый.

— Вона рука тянется. Вишь, пальцы. Куды шары пялишь? У печи...

Никто ничего толком не мог разглядеть, но через минуту уже другой кричал:

— Вижу! Ей-богу...

Приставленный Онуфрием Карасулиным сторожить пожарище, Ромка Кузнечик разгонял мальчишек, грозясь дробовиком. Ребятишки не боялись Ромки: куда ему угнаться с одной-то ногой, стрелять же он ни за что не станет — добрый и маленьких любит. И все-таки, чтоб не обижать сторожа, мальчишки на каждый Ромкин окрик пугливо визжали и, толкая друг друга, проворно разле-

тались спугнутой вороньей стаей, а через минуту вновь лезли к страшному месту, только с другой стороны.

Старухи, проходя мимо пожарища, замедляли шаги, торопливо крестились, сокрушенно ахали, охали, поминали красоту, веселость и иные добрые качества Катерины Пряхиной и просили всевышнего, чтоб пустил Катеринину душу в царствие небесное. Заодно вздыхали и о продотрядчиках — молоды ребята, где-то поджидают их матери да невесты.

Когда солнце прокатило половину небесного круга, в Челпоково появились председатель губчека Чижиков, с ним старший следователь Арефьев, губпродкомиссар Пикин и конный отряд красноармейцев из батальона чека.

Красноармейцы, расшвыряв головешки, извлекли девять человеческих костяков.

— Вот вам первая загадочка,— говорил Арефьев, протирая пенсне и близоруко щурясь на солнце покрасневшими глазами.— В доме ночевало девять бойцов продотряда и хозяйка, стало быть, десять. Где же десятый? Даже обгорелую кошку нашли, а человека нет. Похоже, этот десятый был заодно с поджигателями.

— Вы уверены в поджоге? — спросил Чижиков, смачивая языком шов самокрутки.

— Абсолютно. И не только в этом, Гордей Артемович. В доме семь окон. Парни молодые, здоровые. Даже если б занялось сразу с четырех сторон, а это возможно лишь в случае преднамеренного поджога, и то хоть кто-нибудь да успел бы выскочить в окошко. Не выскочил, так хоть подбежал бы к окну либо к двери. А эти лежат рядышком, не шелохнулись. Я убежден: не только подожгли, но перед тем их повязали либо отравили.

Чижиков впитывал каждое слово следователя. Гордей Артемович всего два месяца назад стал председателем Северской губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Одна его подпись могла не только переломать, исковеркать судьбу человека, но и лишить его самого дорогого — жизни. А подписывать приходилось слишком много всевозможных, очень ответственных, порой прямо-таки страшных бумаг, и часто утверждая приговор ревтрибунала или подписывая ордер на арест, Чижиков до тупой боли в висках терзался сомнением в правоте свершаемого. Нет, он не боялся крови. На фронте пришлось повидать всякое. Бывало, и сам расстреливал. Но то были явные, открытые враги. Теперь же...

— И еще одна деталька,— ровненько журчал голос Арефьева.— Во время пожара в селе не оказалось ни председателя волисполкома, ни секретаря волостной партячейки, ни комсомольского вожака и, представьте, ни одного милиционера. Каково?

— Где вы были? — строго спросил Чижиков только что подошедшего Корикова.

Тот скраснел, как от пощечины. В мягком, хорошо поставленном голосе обида:

— Чем вызван такой тон, Гор...

— Где вы были? — зрачки Чижикова поймали ускользающий взгляд Корикова.

— На совещании у председателя губисполкома това...

— В каком часу выехали из Челноково?

— Это допрос? — Кориков совсем оправился от недавней растерянности и теперь не мигая смотрел в цепкие, притягивающие глаза Чижикова.

— Алексей Евгеньевич,— заворковал Арефьев,— когда речь идет о судьбах революции, самолюбие запирают в самый крепкий сейф, а ключик — в колодец. В котором часу изволили выехать из Челноково?

У Корикова вспотел затылок.

— Точно назвать час, к сожалению, не смогу. Не приметил.— Откашлялся. Пустил по круглому розовому лицу улыбку.— Мы здесь по петухам да по солнышку живем.— Сделав нужное, улыбка юркнула в небольшой аккуратный клинышек бородки.— Еще не смеркалось, но близилось...

— Разве в волисполкоме есть аэроплан? — съязвил Чижиков.— Вызывали ведь на семь вечера.

— Задержался с разверсткой. Хотел порадовать...

— Что думаете об этом? — Чижиков кивнул на пепелище.

— Видите ли, я сравнительно недавно в этой волости. Был заместителем председателя уисполкома...

— Знаю. Что думаете? — настаивал Чижиков.

— Так с ходу...

— Стрелять по врагам надо уметь даже с разбегу.— Чижиков повернулся к Карасулину.— А вы?

— Хоть верть-круть, хоть круть-верть — вражье дело,— раздумчиво, слово по слову, будто ворочая языком тяжелые шершавые камни, заговорил Карасулин.— Хитро придумали, гады. У меня зарод ополовинили, и я поехал остатки спасать. Комсомолу нашему, Ярославне Нахратовой...

Тут из-за спины Карасулина вынырнула хрупкая невысокая девчонка и звонкоголосо, горячо зачастила:

— Прав Онуфрий Лукич. Это тщательно подготовленная диверсия. В Ларихе ограбили дом, милиционеры уехали туда. Мне подсунули телефонограмму, будто в укоме комсомола вызывают, да немедленно. Вот полюбуйтесь.— И, вынув из кармана, сунула Арефьеву клочок бумаги.

Арефьев оглядел, ощупал бумажный лоскут и, ни на кого не глядя, назидательно изрек:

— Беспечность плодит ротозейство, а оно — преступность. Потом разберемся с вами, товарищ... Нахратова, кажется? Сейчас главное — немедленно найти поджигателей, их пособников и жестоко покарать. Ваши соображения, товарищ Карасулин?

— Пока у меня песок в глазах. В таком деле наугад да на ощупь негоже, тут коли бить, то наверняка, чтоб ни в белый свет и ни в абы кого... Матерый зверюга, язви его. Следов никаких. Дом подпалили — точно. Этих,— кивнул на прикрытые рядном останки продармейцев,— зельем каким-нито опоили. Тоже факт. Только с чьих-нибудь рук они бы не стали пить. Вот где ниточка. Здесь орудовал кто-то в красное крашенный, выворотень...

Подошел губпродкомиссар Пикин — невысокий, худой, с ввалившимися черными глазами. Запавшие, чуть тронутые синевой щеки, под длинным с горбинкой носом две вертикальные полоски усов. Долгополая хромовая куртка, ушанка с хромовым верхом, хромовые наколенники на синих галифе.

— Ссыпка — под метлу! — с ходу выпалил он.— Сволочи! Какой отряд сгубили... Расстрелять надо человек десять. Прямо здесь. Сейчас же! Перед всей деревней...

— Кого? — спросил Чижиков.

— Отобрать побогаче. Тут куркуль на куркуле. Не ошибемся,— жаркой скороговоркой сыпал Пикин.— Пусть Карасулин с Кориковым составят список. На всю жизнь запомнят, детям и внукам закажут...

— Это можно. Если будет такой приказ — сделаем,— покорно склонив голову, вполголоса выговорил Кориков так, что, кроме Пикина, его слов никто не разобрал.

— Негоже эдак,— жестко и твердо сказал Карасулин. Плюнул в снег. Повернулся к Пикину.— Не буравь меня глазами. Расстреливать надо виновных. И так... разговариваем с мужиком, как каратели.

— Ты что, спятил?! — звенящим от бешенства голосом выкрикнул Пикин, наступая на Карасулина.

— Сами ополоумели. Разве так с крестьянином говорят? Чуть что — «изъять, расстрелять». Да вы что, очумели? Надо же хоть чуть...— постукал согнутым пальцем себя по лбу.— Если бы Ленин узнал, он бы вас...

— Ты кто, секретарь ячейки или провокатор! За такие слова тебя первого надо...— рука Пикина нырнула в карман куртки.

— Думаешь, в хром оболокся, так я перед тобой на брюхе поползу? Двум свиньям щей не разольет, а туда же, губернский комиссар! Не вынимай свою пукалку, соплей перешибу.

Не спуская сузившихся злых глаз с Карасулина, продкомиссар слегка пригнулся, попятился. Чижиков схватил его за руку, выдернул ее из кармана. Их обступили кольцом красноармейцы и доселе топтавшиеся поодаль крестьяне.

Чижиков чувствовал: необходимо что-то сказать, но не мог подыскать нужных слов. Видимо, поняв это, Арефьев придвинулся к Карасулину.

— Теперь нам многое прояснилось,— проговорил негромко, прикрыв набрякшими веками желтоватые глаза.— О выворотне вы точно изволили сказать...

— Ишо ты, канцелярская крыса, в мужичьи дела нос суешь. Только ведь и умеешь протоколы строчить. Ты перышком поскрипишь, а людям с твоей писанины голову напрочь. И при царе, поди, пописывал... Меня не затемнишь. Я у своей власти весь на виду. Сам ее на ноги ставил. Зимний брал. Колчаковские тылы громил. И не пугай меня, гражданин следователь! — Повернулся и саженными шажищами зашагал к Народному дому, куда со всех концов села тянулись люди.

— Вы не смеете, не смеете! — Ярославна Нахратова подскочила к Арефьеву, тыча тому под нос маленький покрасневший кулачок.— Ваши глупые, провокационные намеки на руку классовым врагам! — Повернула к Пикину пылающее лицо: — И вы со своим... Ваши слова ничего, кроме вреда!..— сорвалась, засеменила за Карасулиным.

— Теперь мне вдвойне ясней, почему именно в Челноково случилась беда,— ошеломленно моргая, выдавил многозначительно Арефьев.

— Завтра же договорюсь в губкоме о замене Карасу-

лина и этой... Проэсеровский холуй, а не секретарь волпартячейки. В ревтрибунал его... Ленин каждый день шлет телеграммы о хлебе. «Срочно», «В порядке боевого приказа», «Приложить все силы»... Петроград пухнет с голоду. А этот прохвост...— Пикин так дернул головой, словно горло захлестнуло петлей. Открытым ртом жадно втянул морозный воздух.— Этот...

— Хватит о Карасулине,— негромко, но твердо приказал Чижиков.— Он пока представляет здесь нашу партию.

— Еще неизвестно, кого он тут представляет. Не прощу себе, что до сих пор тер...

Осекся на полуслове Пикин, наткнувшись на что-то взглядом. Обеспокоенный Арефьев проследил взгляд губпродкомиссара и ничего не увидел, кроме замухрышистого красноносого мальчишки в огромном, с чужой головы, лохматом малахае, потертой шубейке, тоже с чужого плеча, и грубо подшитых, непомерно больших валенках. Полураскрыв белозубый влажный рот, с каким-то восторженным изумлением мальчишка вглядывался в Пикина. А тот необъяснимо преображался: светлел, добрел лицом и глазами, и даже улыбка затеплилась на его тонких, нервных губах. Не спуская с мальчишки потеплевших глаз, Пикин торопливо и слепо обшаривал карманы. Довольно хмыкнув, извлек из внутреннего кармана куртки облепленный табачными крошками угловатый кусок сахару. Обдул его, порывисто шагнул к пугливо отшатнувшемуся мальчонке, сунул ему лакомство и не оглядываясь пошел от толпы...

Чижиков удивленно поглядел в сутулую, покачивающуюся спину губпродкомиссара и непрошеная, непонятная жалость щипнула сердце.

2

Чуть приотстав от приезжих, кучно шагали встревоженные крестьяне — невольные свидетели стычки губпродкомиссара с Карасулиным. Мужики подавленно молчали, стараясь не встречаться взглядами.

Шествие замыкал Ромка Кузнечик с берданкой на плече. Широко взмахивая костылями, он делал саженные скачки, за которые его когда-то в детстве и прозвали сверстники Кузнечиком. У Ромкиного отца, Евдокима Силантьевича, тоже было прозвище — Полторы Руки, и мало

кто в Челпоково помнил их подлинную фамилию, хотя и была она добрая, исконно сибирская — Зоркальцевы.

Евдоким Зоркальцев получил прозвище, когда после русско-японской войны воротился домой инвалидом: ему напрочь отхватило кисть левой руки. Надо было подымать захиревшее хозяйство, лечить занедужившую вдруг жену, растить обезножевшего в его отсутствие пятилетнего сына, а много ли наработаешь одной рукой?

Сердобольное волостное начальство предложило Зоркальцеву место сторожа, но Евдоким вместо благодарности выматерил доброхота-писаря. С месяц после этого Евдоким пропадал в кузнице своего дяди, известного в округе умельца. Вместе и придумали они страшноватую на вид железную клешню, которая крепилась к широкому кожаному ошейнику, одетому на покалеченную руку. С помощью той клешни Евдоким заново научился и пахать, и косить, и пилой с топором орудовать, да так, что о ловкости и мастерстве однорукого солдата скоро загуляли по деревням легенды, а мужики хоть заглазно и прозывали его по-прежнему Полторы Руки, но в глаза почтительно навеличивали по батюшке и ставили в пример неумехам да лодырям.

— Нам, сынок, надеяться не на кого,— говорил Ромке отец.

Он сам учил Ромку управляться с лошадью, править лодкой, забрасывать сети, стрелять из ружья. Евдоким был беспощаден к сыну. Когда же тот, не выдерживая, плакал от усталости, боли и обиды, Евдоким цедил сквозь стиснутые зубы:

— Поплачь. Ишо из тебя не вышел бабий дух.

Один лишь отец знал, чего стоило Ромке Кузнечику одолеть свой недуг. Одноногий мальчишка превосходно плавал, скакал верхом, лихо и безжалостно дрался с обидчиками и скоро стал непререкаемым коноводом целой ватаги сверстников. Лет с четырнадцати Ромка пристрастился к охоте и рыбалке. Относился к этому как к ремеслу, дающему так нужный в дом прибыток. Бывали дни, когда в погоне за подранком или в поисках дичи он отмахивал на костылях верст по пятнадцать. Чтоб легче шагалось по болотинам и прибрежному топкому суглинку, Ромка приделал к концам костылей специальные «нашлепки» — деревянные кружочки, которые не давали увязнуть.

Лицо у Ромки — начисто лишенное юношеских примет, черты его по-мужски законченно четки и строги. Широкие белесые брови всегда чуть-чуть принахмурены, как бы в глубокой задумчивости. Из-под длинных рыжеватых ресниц дерзко высверкивали темные блестящие глаза. На невысокий лоб то и дело падал огромный пшеничный с рыжинкой чуб, и его приходилось откидывать резким взмахом головы.

Ромка слыл первейшим на селе балалаечником. В его грубых, необыкновенно сильных, задубевших от костылей руках маленькая трехструнная балалайка становилась такой голосистой и звонкой, выводила такие рулады, что под Ромкину игру одинаково легко и плясалось и пелось, оттого и был балалаечник непременным гостем на вечерках да посиделках. К тому же Ромка хорошо пел негромким приятным тенорком. И хотя парней в деревне было предостаточно, девятнадцатилетний Ромка Кузнечик, несмотря на костыли, не был обойден вниманием и лаской челноковских девушек. Баловала его душевным доверием и секретарь комсомольской волостной ячейки Ярославна Нахратова, прозванная Пигалицей за малый рост и нездешнюю, недеревенскую хрупкость. В ячейку Ромка вступил одним из первых.

Парни уважали Ромку за силу и отчаянную храбрость, за то, что от других ни в чем не отставал, хоть и был на деревяшках. А мужикам нравилась Ромкина прямота в суждениях. Никогда он не выжидал, не таился, а все наперед других поровил высказаться. Иногда такое завернет... Вот и теперь он всего на два шага шел позади Чижикова, а горланил на всю улицу:

— Тут красного петушка со стороны подпустили — и сосунку ясно. Я первым на пожар погодился. С улицы огонь-то в дом залез. Куда как точнехонько... Так ты сперва найди, кто петуха-то подпустил, опосля стреляй гада. А так с бухты-барахты разве можно? Ишо чека называется...

— Будет тебе.

— Попадешь туда — не воротишься.

— Я б давно туда напросился, с тремя ногами не берут. Буржуазию, мол, на костылях не догонишь. Им, чекистам-то, охотничьей сметки не хватает. Не за всяким зверем угонишься. Иного ловчее скараулить. Сиди да помалкивай. Сам наскочит. А шумнул до поры — поминай как звали...

Чижиков с сердитым любопытством глянул через плечо на Ромку.

— Между прочим, тоже молодой кандидат РКП,— зажурчал подле уха Арефьев.— Карасулинское воспитаньице...

Сход получился необычно коротким. Говорили только приезжие. Мужики отмалчивались — одни глядели виновато, другие с угрюмой враждебностью. Бабы, правда, огрызались, нет-нет да и выкрикнет какая-нибудь язвительное словечко, подкинет заковыристый едучий вопросик.

Чаще других слышался голос Маремьяны Глазычевой. Ей и двадцати не было, а остра на язык, горяча и бесшабашно смела. Это она встретила грозное начальство частушкой:

Эх, на блюдечке чай,
И под блюдечком чай,
Ныне всякого Гордея
Навели-чи-вай...

Поговаривали, будто бабка Маремьяны — цыганка. Оттого, мол, и волосы у молодухи чернехоньки да в кольца витые, а глаза хоть и зеленовато-серые, но такой полыхал в них нездешний, нестерпимо жаркий огонь, что мигом закипала от него кровь в мужичьих жилах и всякий норовил гоголем пройтись перед Маремьяной, привлечь ее, заинтересовать. Завидовали Маремьяне бабы, зато и плели про нее небылицы, выдумывали, будто она мужиков присушивает. И хоть блюла себя Глазычева строго и Прохору своему была верна, все едино частенько попрекали ею бабы своих мужей. Попрекали, а сами льнули к ней, особенно те, кто помоложе, в ком еще не перебродили буйные хмельные соки, не перекипели страсти. Ни одни посиделки не обходились без Маремьяны Глазычевой. Ворчал, дулся Прохор, а как нитка за иголкой ходил на вечерки за бедовой женушкой и глаз не спускал с нее.

Сто раз покаялся Прохор, что пришел на этот сход. То потел, то холодел от страха за свою ненаглядную. Одергивал расходившуюся Маремьяну, просил, грозил, увещевал: уймись, замолкни. Куда там! Еще шибче задиралась. Приплела в свою припевку имя председателя губчека. От одного его звания у многих в глазах темнело, а Маремьяна цеплялась к нему и к губернскому продкомиссару Пикину. И хоть начальство терпело бабьи выкри-

ки (какой с бабы спрос?), а все же Маремьяну Глазычеву приметило — ее единственную вписали в список заложников вместе с кулаками Маркелом Зыряновым, Максимом Щукиным, попом Флегонтом и еще шестнадцатью зажиточными мужиками.

Когда под бабьи всхлипы и причет заложников увели, Пикин объявил притихшему сходу:

— Если за ночь не возвратите на ссыпку взятые оттуда тысячу двести пудов, заложников расстреляем, весь обнаруженный в деревне хлеб выгребем подчистую. Следствие будет идти своим чередом... Подстрекателей к саботажу — расстреляем...— Он распалялся все больше, голос тоньшел, натягивался, того гляди, лопнет.— Можете не сомневаться: поджигатели будут найдены и получат по заслугам. Советскую власть не запугать! С потрохами вышибет кулацкие душонки...— Чижиков дернул продкомиссара за полу куртки. Тот метнул на чекиста злой взгляд, но совладал с собой и закончил с угрюмым спокойствием: — Запрягайте лошадей. Везите хлеб...

Не дожидаясь конца пикинской речи, Карасулин вышел из Народного дома. Шел запинаясь на ровном, ничего не видел перед собой.

Глава третья

1

У северского губпродкомиссара Пикина была заветная, неприкасаемая для других тетрадка, в которую он заносил все чрезвычайное, самое важное о продовольственной политике Советской власти и о разверстке. Открывала тетрадь ленинская фраза: «...мы можем погибнуть потому, что народ голодает; как ни вынослив русский рабочий, но есть предел выносливости...»

Потом была записана телеграмма:

«Всем губернским Советам и губпродкомам.

Петроград в небывало катастрофическом положении. Хлеба нет. Выдаются населению остатки картофельной муки и сухарей... Контрреволюция поднимает голову, направляя недовольство голодающих масс против Советской власти. Наши классовые враги, империалисты всех стран, стремятся сдавить кольцом голодной смерти Социалисти-

ческую Республику... Именем Советской Социалистической Республики требую немедленной помощи Петрограду... Непринятие мер — преступление против Советской Социалистической Республики...

Пред. Совпаркома Ленин
Наркомпрод Цюрупа».

Всякий раз, перечитывая эту телеграмму, Пикин видел перед собой каменную траншею улицы, в которой, словно в трубе, протяжно гудит и стонет ветер, насквозь продувая изможденные тела. Мелкие снежинки иглами впиваются в обескровленные до синевы лица. Люди жмутся друг к другу, к ледяной серой стене, и нет конца этой очереди за хлебом. Будет ли он утром и какой? Напополам с мякиной иль со жмыхом? А может, на рассвете чьи-то стыдливые руки опять наклеят на железные двери магазина бумажный клок со скрюченными буковками: «Хлеба нет!»

Видение это почти всегда было настолько явственным и четким, что Пикин не только мог рассмотреть отдельные лица, но и слышал отчетливо голоса, звучащие в этой скорбной, бесконечной очереди за хлебом насущным. Голоса были надорванные, истоньшенные горем, слабые, и выговаривали они всякий раз что-нибудь новое, но непременно с голодом связанное... Сколько подобных очередей повидал Григорий Пикин в голодающем Питере, где довелось ему служить в восемнадцатом! И с тех дней не было такой черты, которую не решился бы переступить большевик Пикин ради того, чтоб накормить пухнущую с голоду Республику Советов. Он благословлял судьбу, связавшую его с наркомпродом, и назначение в Северск принял с охотой.

Неделю добирался новоиспеченный губпродкомиссар до Северска. Медленно, впритык друг к другу ползли и ползли по шатким рельсам скрипучие бесконечные эшелоны. В душной вонючей утробе теплушек — не продохнуть, не шелохнуться от тесноты. А люди еще теснились в тамбурах, лепились к крышам и ступенькам. Плакали, кашляли, матерились, курили. Но ехали и ехали подальше от голодного центра, поближе к хлебной Сибири.

Постанывали перетруженные вагонные рессоры, дымились тормозные колодки, на полустанках выносили из теплушек мертвых и беспамятных тифозных...

Студеную ночную тишину рвали в клочья сиплые паровозные гудки, грохот и лязг перегруженных составов. Летели из них стоны, и крики, и свист. Всех манила, дразнила, притягивала хлебная Сибирь.

«...в Сибири мы имеем неслыханные богатства, которые могут накормить голодных рабочих и восстановить промышленность...»

Эти слова Ленина тоже были занесены в пикинскую заветную тетрадку.

2

Колея была непомерно узкой и до того извилистой, что просто невероятным казалось, как это вагоны могли так круто поворачиваться, не слетая с рельсов. Пикин каждый вагон провожал с замиранием сердца: «Вдруг опрокинется, разлетится, и собранная по зернышку пшеница — в пыль...» От этой мысли холодело меж лопаток и сердце проваливалось в пустоту, удерживаясь на тоненькой ниточке нерва, который от предельного натяжения болезненно ныл, грозя смертельным обрывом. Унимая боль, Пикин прижал правую ладонь к левому соску, а сам взглядом поторапливал летящий мимо состав, подмигивал стоящим на подножках часовым, покрикивал: «Давай, давай, ребята!»

Четыре вагона осталось до конца. Три. Два. Пошел на поворот последний. Пикин облегченно вздохнул, сунул руку в карман куртки за папиросами, и в тот же миг что-то грохнуло оглушительно, хвостовой вагон накренился, сшиб с рельсов соседа, тот стянул еще один и пошло-поехало кверху колесами. Пыхнуло пламя. Дождем летящее во все стороны зерно мигом стало красным. Окровавленные, раскаленные зерна секли Пикина по лицу, по обнаженной шее, по рукам. Жгли, кусали, ранили. Ослепленный и оглушенный, он нелепо размахивал растопыренными руками, чумно выкрикивал: «Что это? Как же? Стойте!..»

А грохот все нарастал. Земля вспучивалась пузырями, и те лопались со звоном, и к красным струям зерна примешивалось черное земляное крошево. «Да ведь это снаряды рвутся»,— понял наконец Пикин, разом стряхнув испуг и оцепенение. Раз снаряды — значит, бой! Значит, эта катастрофа — не недогляд, а диверсия. Ну что ж, теперь почеломкаемся с белогвардейской сволочью. В от-

крытую. Глаз в глаз... «Это — хорошо! Здорово!» — возликовал Пикин, тут же забыв о горящем зерне и о боли в сердце. Но где же товарищи? И почему у него даже нагана нет? Что это?

Откуда-то из-за спины долетел глухой голос матери. Она звала его...

Пикин проснулся. В дверь колотили с улицы. Еще ничего не сообразив, он скакнул с кровати, в два прыжка подлетел к двери.

— Кто?

— Трегубенко. Депеша из Сибпродкома. Велели немедленно и в собственные руки...

— А-а! — выдохнул Пикин из самой нутряной глуби. И уже спокойней и тише: — Ах, черт возьми...

Сгорбился над принесенным листком и, беззвучно шевеля губами, заскользил лихорадочным взглядом по неровному, но густому плетню букв.

«Омск. Сибпродком... Ввиду обострившегося до крайности положения с продовольствием Республики предписываю в порядке боевого приказа напряжением всех сил повысить погрузку и отправку хлеба центру и довести до максимума. Ежедневно по прямому проводу сообщайте лично мне и наркомпроду: 1) наличие хлеба на станциях желдорог, 2) количество подвезенного к станциям хлеба за сутки, 3) погрузка хлеба за сутки, отдельно — центру, отдельно — местная, 4) если был недогруз — причины последнего. Предсовобороны Ленин».

— Та-ак,— встретился глазами с посыльным.— Чего стоишь? Кого караулишь?

Трегубенко поспешно развернулся.

— Стой! Погоди.— Пикин выхватил из-под подушки большие карманные часы, щелкнул крышкой.— Без четверти шесть. Дуй в губпродком, садись на телефон, у кого нет — нарочного, чтоб к восьми все члены коллегии в сборе. Уяснил? Тогда чего рот разинул? Живо!

— Гришенька,— негромко позвала мать.

Пикин осторожно, на цыпочках вошел в ее комнату, остановился у порога.

— Кто там приходил? — спросила мать, приподнимаясь.

— Дежурный наш. Телеграмму принес. Сейчас побреюсь, перекушу — и на службу, а ты поспи...

— На том свете отосплюсь. Иди-ка лучше мойся да оболокайся, а я той порой дерунков спеку...

— Погоди хоть, плиту растоплю. На кухне за ночь выдуло, войти страшно.— И проворно зашлепал босыми ногами в кухню.

Пока, протяжно и сладко зевая и причитая, мать одевалась, пока натягивала длинные шерстяные чулки на ломотные, в синих узлах вен ноги, Пикин и плиту разжег, и дров принес, и за водой сбегал.

— Экой ты проворный,— похвалила мать.— Ступай брейся, а я постряпаю...

Прикрыв дверь своей комнаты, Пикин подошел к телефону.

— Дежурного по станции.— Подождал, вслушиваясь в далекий волнообразный шум.— Станция? Дежурный? Губпродкомиссар Пикин говорит. Хлебный эшелон с четвертого запасного отправили ночью? Что? Как это «может быть»? Ах, теперь уже точно. Стоит, значит? Тебе разве не передавали приказ? Что? Да ты думаешь, что говоришь?! Какой еще локомотив? — Голос Пикина взлетел ввысь и зазвенел на пределе.— Ты мне не рассказывай сказки про белого бугая. Где начальник? Перцов где, спрашиваю...

Через несколько минут он уже кричал начальнику станции:

— Ты что, саботаж покрываешь или сам саботажник?! В ревтрибунал захотел? Приказ Сибревкома тебе не закон? Ах, локомотивчик не исправен.— В голосе Пикина заскользила ледяная усмешечка.— Уголь кончился...— Усмешечка иссякла. Он рявкнул: — Хватит болтать! По мне хоть сам в топку полезай! Это же хлеб. Хлеб! Ты что тронулся, не понимаешь,что такое хлеб? Кой к черту ты большевик, да еще начальник. Я б тебе золотарями командовать не доверил... Кончай базар! Я только что получил телеграмму товарища Ленина. Да-да. Самого Ленина. Боевой приказ! Предсовнаркома лично приказывает нам! Ты слышишь? — Он выкрикивал по фразе. Размахивал рукой. Тискал побелевшими пальцами телефонную трубку. Под конец, уже не слушая слов собеседника, прокричал залпом: — Через полтора часа эшелон не уйдет, пеняй на себя. Заметь время! Ровно через полтора часа. Сам доложишь...

Потом Пикин позвонил первому секретарю губкома партии Аггеевскому, прочел ленинскую телеграмму, передал разговор с начальником станции, попросил сегодня же собрать президиум губкома, утвердить график отгруз-

ки хлеба, собранного по разверстке, а заодно «всыпать железнодорожникам»...

Секретарь губкома не только не возражал, напротив, подогревал, раздувал пикинскую ярость, и оттого к концу разговора губпродкомиссар на диво помолодел лицом и голосом. Наскоро небрежно побрился, торопливо оделся и хотел было неслышно прошмыгнуть мимо кухни, да на пороге его перехватил голос матери:

— Куда это ты? Ну-ка разболокайся живехонько. Деруны готовы, и чай вскипел...

— Ты понимаешь...— просительно-виновато затянул Пикин.

— И понимать не желаю,— твердо и сердито отрезала мать.— Ишо чего удумал, от родной матери бегать. И так ровно с креста снятый, ни кровинки в лице. Я-то чуть свет поднялась, пласталась тут...

Пикин сбросил куртку, прошел на кухню, где дымились на столе поджаристые картофельные оладьи. Картофель был подморожен и несвеж, оладьи сластили, отдавали затхлым, но Пикин ел и нахваливал довольную своей стряпней мать...

3

Северск — древнейший город Сибири. Он был заложен Ермаком на речном крутоярье у притока Тобола, на месте покоренной татарской крепости.

Летели годы, проплывали века, менялись цари, наместники и губернаторы, но Северск оставался заурядным, безликим уездным городишком, каких в дореволюционной России — тьма. Пароходные гудки не смогли разогнать дрему тихих и узких улочек, не разбудил их и гул пробежавшей через город Транссибирской железной дороги. Только в девятнадцатом году, после изгнания Колчака и утверждения Советской власти, Северск стал губернским центром. Правда, этот факт почти никак не отразился на внешнем облике города, но зато пульс его стал иным — более оживленным.

Предреволюционный Северск славился сырьевой ярмаркой, на которую стекались купцы не только всей Сибири и Урала, но и из Бухары, Хивы, Персии, Индии, Китая. Отсюда увозили несметное количество овчин, кож, шерсти. Северское сливочное масло охотно скупал Лондон, перепродавая его потом втридорога.

За три последних заполошных и тревожных года о Северской сырьевой ярмарке начисто позабыли. Но северский базар все же выжил. Конечно, то был не прежний базар, где прилавки ломились от разной рыбы — копченой, соленой, свежей, вяленой, где дичь лежала ворохами — да какая! — где отчаявшиеся продавцы хватали покупателя за рукав, навяливая грибы, орехи, ягоды, соленья и копченья, меды и прочую домашнюю снедь, где муку и картошку продавали не пудами и даже не мешками, а возами. И все-таки базар в Северске еще жил, еще кое-как дышал, хотя торговали на нем теперь не белой рыбой, не дичью, а в основном жмыхом, семечками, картошкой и мерили все это на фунты, возами же продавали только дрова да сено.

Начинался базар затемно, до заутрени, и скоро кончался: покупателей было вдесятеро больше продавцов.

В часы торжища базарная площадь была забита людьми. Сюда сходились не только для того, чтобы купить или продать, но и для того, чтоб потолкаться на народе, встретить нужного человека, а главное — разузнать последние новости, обсудить их со знакомыми, односельчанами, всласть посудачить не столько о своих делах и нуждах, сколько о мировых проблемах — без чего русскому человеку прямо-таки невмоготу жить. По базару всегда шныряли какие-то безликие таинственные типы, шепотком, с оглядкой разбрасывая по сторонам липучие тревожные слухи.

Только из желания сократить путь двинулся Пикин через гомонящую, ржащую, орущую базарную площадь. Шагал саженными шажищами, не глядя по сторонам, спеша поскорее миновать ненавистное ему торжище. Ни покупать, ни тем более продавать Пикин не любил. Торгашей считал всех подряд барыгами и спекулянтами и скорей согласился бы сортиры чистить, чем торговать на барахолке, навяливая какое-нибудь тряпье. Черта эта перешла к нему от отца, который если и выезжал раз в год по великой нужде на базар, то расторговывался скорее всех, сбывая свой товар подешевле и тем путая карты соседям по базарному ряду. В конце концов куплю-продажу, как, впрочем, и многие другие неженские дела, взяла в свои крепкие руки мать — женщина сильная, властная и красивая...

И пошли-поплыли перед Пикиным видения, да такие ли яркие, такие сочные, волнующие, что дух захвати-

ло... Вот мать хоровод ведет на поросшей цветами зеленой круговине, которую ради того только и не выкашивали. Солнце уже на ту, невидимую половину неба скатилось, воздух сиренево-бел и дивно душист, сладким редким дымком тянет от костра. Мужики будто прикипели к земле, бессильно раскидав натруженные руки, а мать вроде бы и не махала день литовкой, не гнулась на солнцепеке с граблями — выступает легко, горделиво, и все ее молодое, сильное тело, переполненное радостью и первобытным земным счастьем, ликует, дразнит, манит. Обласканная десятками глаз, мать запевает проголосную. С самых дальних покосов сбегаются на песню люди...

А вот мать стелет холсты. Из-под заголенного подола сверкают белые литые икры. Бегом, бегом носится она по прибрежным травам, и, где ни пробежит, за ней в траве белые дорожки остаются. Белые-белые. Только та белизна — мертвая. А зубы у мамы сверкают и блещут живой белизной. Она улыбается и опять поет. А бабы подпевают. И синее небо слушает их и тоже подпевает...

Потом привиделась мать за плугом. Потом — с подойником, полным молочной пены. И в борозде, и в хлеву, и за прялкой — всюду мать улыбалась... Теперь у нее будто ссохлись губы. Не улыбается, не поет, говорит мало и скупо, смотрит не то с укором, не то с сожалением... Схоронив мужа, уехала к старшей дочери в Екатеринбург. Вынянькала там шестерых внуков, а как прознала про сыновью беду, прилепилась к нему и опекает ровно бы несмышленыша. Мама, мама...

Кругом гомонил базар.

Вдруг мимо Пикина, едва не налетев, проскользнула вихлястая жалкая фигурка и тут же выросла другая — высокая, сильная, хищно сгорбленная, с вытянутой вперед, растопыренной, как клешня, рукой. Длиннопалая клешня эта сграбастала убегающего, рванула к себе, и тот беспомощно запрокинулся, по-заячьи жалобно и безнадежно вскрикнул.

Крик этот полоснул Пикина по самому сердцу. Он мигом напрягся, огляделся.

По базару будто невидимый вихрь клубился, сметая всех к этим двум. Человеческий поток подхватил Пикина, завертел, и он оказался в самом центре свернувшейся в круг толпы.

Высокий, как жердь, парень с широченными плечищами и небольшой головой обладал, как видно, огромной

физической силой. С показной брезгливой небрежностью он держал за воротник тщедушного малорослого парнишку и то и дело встряхивал его так, что у пойманного и голова и ноги болтались будто привязанные. Сухощавое, с хрящеватым носом и острыми скулами лицо высокого парня было красным. Пепельный пышный чуб выбился из-под шапки, прилип к влажному лбу. Парень самодовольно и зло щурился, скалил крупные белые зубы, будто примеряясь, как бы ловчее ухватить ими трепыхавшуюся жертву.

А толпа росла, разноголосо орала, улюлюкала. Из отдельных выкриков Пикин понял, что тщедушный парнишка — вор, украл что-то у плечистого, попался с поличным, и вот теперь неминуем жестокий самосуд. Кулак у чубатого верзилы что твоя кувалда. «Изувечит играючи»,— подумал Пикин, соображая, как бы вмешаться, предотвратить расправу. Что-то в высоком парне показалось ему знакомым. Где-то он видел это хищное лицо. И недавно. Совсем недавно. Но где?..

Тут к чубатому протиснулся, видно, приятель — мордастый, краснощекий, хмельной. С ходу заорал:

— Ково ты, Пашка, на энту пролетарску вошь шары пялишь? Вали в рыло, чтоб сусло брызнуло...— И с разбегу поддал носком валенка вору под зад с такой силой, что тот, ойкнув, качнулся и шапка свалилась с его головы.

Толпа загоготала:

— Так его!

Пашка, ухватив вора за волосы, принялся крутить тому голову все быстрей, все остервенелей, будто желая отвинтить ее от тела. Истязуемый взвыл — пронзительно и дико. Пашкин дружок, забегая то слева, то справа, злобно пинал воришку. Толпа крякала, выла, свистела, плотнее обжимая лобный пятачок. Кто-то уже тыкал воющего воришку кулаком, кто-то плевал в него. Слепая ярость захлестнула, взбесила людей, мигом опьянив их. Кажется, ещё миг — и бросятся, втопчут худенькое тело в мерзлую землю. Но именно в этот последний миг и выскочил в круг Пикин и заорал надорванно:

— Стой! Не смей! Не тронь!

— Пошел вон,— ровно приблудную шавку, отшвырнул губпродкомиссара мордастый.

Выхватив наган, Пикин дважды выстрелил вверх. Толпа шарахнулась, расширив круг, в центре которого остались мордастый, Пашка с вором и Пикин.

— Ба,— ахнул кто-то в толпе,— да ить это сам Пикин!

Круг стал еще шире. Желтоватые Пашкины глаза намертво пристыли к прыгающим зрачкам Пикина, и губпродкомиссар вдруг вспомнил челноковский Народный дом и у стены вот этого парня с раскинутыми руками. Сколько ненависти, неутоленной, неуемной, полыхало тогда в его распахнутых глазах. Он скалился, как закапканенный волк, этот сынок Маркела Зырянова, что первым числился в списке челноковских заложников. «В папашу пошел. Кулацкое отродье...» Горячая волна ненависти отяжелила затылок Пикина, замутила голову. Даванув взглядом Пашку, тихо, но непререкаемо губпродкомиссар скомандовал:

— Отпусти его, выродок.

— Сам ты выродок,— огрызнулся Пашка и, взбодренный поддержкой толпы, возвысил голос: — Привык мужиками командовать. Разве ж это власть, ежли воров под крыло сажает?

Тут мордастый пошел грудью на Пикина, урча:

— Ты чего с наганом наскакиваешь? Этот ворюга...

— Чего он у тебя украл? — перебил Пикин.

— Каравай из кошевки.— И разом озверев, Пашка взревел: — Ни пахать, ни сеять,— только жрать, товарищи пролетарии!

— Заткнись! — осадил его Пикин.— Разве вор за караваем полезет? Голод его погнал на это. Голод!.. Слыхал про такое, сытая харя?

— Да ты чего лезешь? — взвизгнул Пашка.— Нигде от вас...

— Нигде,— подтвердил Пикин.— Нигде! Слышишь? — вытолкнул он сквозь зубы, не спуская сузившихся жарких глаз с Пашки и медленно надвигаясь на него.— Потому как мы — Советская власть. Бедняцкая и рабочая. И в обиду их не дадим. Ты, живоглот, за краюху душу вышибить готов. За кусок — живьем в землю. Продотряд... на костре спалили. Саботаж... Контр...

От ворот базара к ним торопливо пробивался красноармейский патруль. Толпа таяла. Затравленно зыркнув по сторонам, Пашка выпустил вора и заспешил прочь.

— Куда смотрите? — накинулся Пикин на подошедший патруль.— Человека убивают, а вы...

Подхватил воришку за руку — и едва не бегом с базара. Избитый торопливо семенил рядом, то и дело промокая рукавом кровоточащий рот. Пикин замедлил шаг,

сравнялся. Оглядел хлипкую, жалкую фигурку, сказал укоризненно:

— Нашел у кого... Неужто не видел, что за зверь? Да они б тебя за эту краюху...

— Все одно,— парень всхлипнул,— чем так жить, лучче уж...

— Дурак. Откуда?

— Из-под Мелекеса. С Волги. Голод у нас...

— Знаю... Давно не ел?

— Четвертый день ни крохи. Ночью приехали. Порыскали по городу — и сюда. В батраки хотел — не берут. А эти... каравай на сено кинули, сами будто отошли. Я как глянул — слюна задушила. Не помню, когда остатний раз настоящий-то хлебушек... Руки, ноги дрожат, глаза не оторву. Эти возьми и отвернись. Не стерпел... Откусить даже дали. Сволочи. Ровно мышь на сало. Потешиться захотелось...

— Вот что, айда ко мне,— Пикин решительно развернулся в обратную сторону.— Мать дерунами накормит. Только не нажимай шибко с голодухи-то. Побанишься потом, вшей выпаришь — и в губпродкомиссариат. Вон тот двухэтажный красный дом. Спросишь Пикина. Там поговорим. Как звать-то?

— Герасим.

— Отец, мать?..

— Все померли...— В голосе слезы.

— Ну-ну. Ты это оставь. Пускай кулачье с мировой буржуазией плачет, а не мы... Будем вместях свою республику из голода вызволять...

4

Тяжек и бесконечен труд землепашца. Вся жизнь его — страда. Не сев, так покос либо жатва — все равно люди и лошади работают как одержимые, день и ночь, до полного изнеможения. И каждый день, каждый час караулит крестьянина беда. То засуха, то град, то язва-сибирка. Иль налетит вдруг невесть откуда кроваво-красный петух, в одночасье играючи склюнет годами нажитое — и оставайся гол как сокол... Оттого-то и сон у мужика позвериному чуток, и просыпается он без будильника в любой час.

С младенчества и до немощной старости не знают крестьянские руки покоя. С годами чернеют они, роднясь

цветом с землей, а крепостью — с корнями земными. Даже в светлые престольные праздники не нежатся праздно они, не отмываются добела и, как в будни, пахнут навозом, молоком, сеном.

Тяжел, но не тягостен земледельческий труд, ибо вместе с соленой усталостью дарует он сладкую радость душе. Ни с чем не сравнимо счастье, которым жалует пахаря возделанная им пашня. Как ликует крестьянское сердце, когда неспешно вышагивает хозяин межой своего пшеничного поля, где каждый колос на особицу смотрится и тяжеловесно колышется на ветру, будто в пояс господину кланяется и тихо поет ему осанну. От золотого разлива хлебов, от песенного перезвона-перешептывания спелых колосьев ликует душа хлебороба и счастье туманит его глаза. Бережно размяв колосок в твердых ладонях, осторожно обдув зерна, пахарь сбирает губами их, но не жует, а лишь легонько тискает, пьянея от медвяного солнечного тепла и терпкого земного сока, что по малой росинке собрал для человека пшеничный колос...

Все это пережил, все испытал Григорий Пикин. Он был потомственным хлебопашцем. Отец, и дед, и прадед — крестьяне. Земля была им поистине матерью: кормила, поила, одевала, врачевала от телесных и душевных ран. К ней обращались, как к одушевленному, разумному существу, прося о помощи и пощаде. К ней припадали в минуты скорби и радости, в ней обретали свой последний вечный покой. Вдосталь напился мужичьего счастья, всласть нахлебался мужицкого горя и Григорий и оттого еще крепче землю любил, еще жарче и неистовей работал на ней до той поры, пока не приключилась беда...

В девятьсот шестнадцатом году, когда он мыкался в окопах мировой войны, пожар сглотнул его избу и все хозяйство. Жена осталась в чем мать родила с двумя малолетками на руках. Молодую красивую погорелицу приютил с детишками богатейший в селе кулак. За кусок хлеба принудил ее к сожительству, а когда она забеременела, сунул ей в зубы четвертную и с великим срамом согнал со двора, ославив на все село, как последнюю потаскуху. Позор загнал женщину в петлю. От голода и хвори примерли дети. Воротясь с войны, Пикин не нашел даже могил жены и детей...

С тех черных дней опостылела ему деревня, и крестьянский труд, и сама жизнь, и не начнись тогда граждан-

ская война, бог весть куда бы завела Пикина лютая, иссушающая душу ненависть к кулачью.

Сибирскую деревню тамбовец Пикин увидел впервые зимой двадцатого года, когда его, члена партии с четырехлетним стажем, дважды раненного на фронте, направили в Северск губернским продовольственным комиссаром. Увидел — и был неприятно удивлен: зажиточных крестьян здесь было куда больше, чем на родной Тамбовщине. А к зажиточным Пикин привык относиться настороженно. В каждом из тех, в ком угадывал или подозревал хоть какую-то причастность к паучьему племени мироедов, Пикин видел заклятого врага.

Даже первый секретарь Северского губкома РКП(б) Савелий Аггеевский, такой же непримиримый и яростный в классовой борьбе, даже он не однажды вынужден был принимать сторону председателя губисполкома — старого большевика Новодворова, который резко одергивал Пикина, вразумляя его, втолковывая, что не всякий зажиточный крестьянин есть кулак, а стало быть, враг Советской власти, и что разговаривать с мужиком, даже если он и с достатком, надо по-доброму, как с равным. При этом Новодворов не забывал ссылаться на Ленина, который решительно протестовал против уравнивания крестьян при проведении продразверстки, требуя от продовольственников гибкости, ловкости, маневренности, умения сочетать принуждение с убеждением...

Пикин с доводами председателя губисполкома соглашался, но отыскать ту трудноразличимую грань, что делила крестьян на зажиточных, но трудящихся середняков и богатеев-мироедов, губпродкомиссар часто не мог: то ли обида глаза застила, то ли политического чутья недоставало, а скорей всего то и другое, вместе взятое, мешало ему постичь социальную суть сибирской деревни.

А время летело вскачь.

По Декрету о продовольственной разверстке в Сибири, подписанному Лениным, сибирские губернии должны были с 1 августа 1920 по 1 марта 1921 года дать голодающей Республике Советов 110 миллионов пудов хлеба. Из них 6,5 миллиона приходилось на долю Северской губернии.

Кроме хлеба продразверстка изымала у крестьянина излишки картофеля и овощей, домашней птицы, табака, мяса, яиц, шерсти, овчин, кожи, льна, конопли, сена...

Трещали телеграфные аппараты, гудели телефонные провода, спешили курьеры с циркулярами и приказами.

В разных падежах, в обрамлении увещеваний и угроз звенело в проводах, гремело в телеграммах, чернело в депешах одно и то же слово — ХЛЕБ.

Хлеб нужен был воюющей Красной Армии.

Хлеба жаждали задыхающиеся от разрухи города и голодающие села.

Хлеб должен был спасти Революцию.

И дать его по-настоящему могла сейчас только Сибирь.

Это понимал умом и сердцем северский губпродкомиссар коммунист Григорий Пикин. Понимал и делал все возможное и невозможное для того, чтобы дать сибирский хлеб истерзанной голодом Республике Советов.

Глава четвертая

1

— Ну-с, покажите-ка вашу ножку. Да не смущайтесь. Вот святая целомудренность. Можно подумать, за вами сроду не ухаживали.

— Зачем вы об этом? — смутилась Катерина, пряча глаза и старательно натягивая подол на круглые колени.— Не знаете разве, как на солдаток смотрят?

— Я б на такую красоту дохнуть ос-те-ре-гался... Вы сами не знаете, какая вы... прекрасная...

Белесые выпуклые глаза Вениамина замутились, тонкие, капризно изогнутые губы слегка подрагивали. Руки плохо слушались: ладони так и прилипали к Катерининой ноге. Эта невысокая, изящная, ладная и легкая женщина с ярким живым лицом притягивала и волновала Вениамина своей первобытной, не захватанной, не отшлифованной «манерами» и оттого не остуженной, не обезличенной красотой. Он с пристальным и жадным любопытством вглядывался в Катерину, вслушивался в ее негромкий, как бы воркующий грудной голос, ловил ускользающий взгляд подвижных, похожих на переспелые смородины глаз и все ждал слова, жеста, взгляда или иного знака пробудившейся в ней страсти.

Поначалу Вениамин почти не сомневался: молодая солдатка растает от первого ласкового слова и не раз мысленно пережил близость с этой женщиной. Но увы... десять дней он перебинтовывал ей ноги, нежил, молил, про-

сил, требовал взглядами, а она, как льдышка: настороженно косила черным блестящим глазом, караулила каждое его движение, готовая к отпору. «Надо попроще, погрубее»,— не раз подзадоривал себя Вениамин по пути к комнатке, где поселила Катерину пани Эмилия, но, глянув в глаза женщины, отказывался от задуманного. И бранил и высмеивал себя: «Оброс сентиментальной слизью, фанагориец, возжелал даму сердца», а трезво поразмыслив, соглашался — пожалуй, что и возжелал. Надо же в его годы иметь тихую гавань, где уж если не спасаться, то хоть бы отдыхать от житейских бурь, набираясь сил. Впереди — все вздыблено, встопорщено, навострено, впереди — ад, пожарче и пострашней, чем в преисподней, и, чтобы пройти сквозь это пекло, нужны уйма сил, железное здоровье и воловьи нервы. Да и настоящее не баюкает, не гладит по шерстке. В любое мгновение ахнет под ногами — и в мелкое крошево. Все перенапряжено, перегрето... В этой дикарке и нежности, и огня — вулкан. Она умеет и хочет любить, а он истосковался по некупленной, неподневольной любви, по близкому, душой и телом преданному человеку...

Вениамин и на сей раз усмирил, подмял взбунтовавшуюся плоть. Смазал каким-то снадобьем молодую красную кожицу, появившуюся на месте лопнувших волдырей. Срезал мертвую кожу. Скомкав бинты, швырнул в помойное ведро. Тщательно вымыл руки.

— Послезавтра, полагаю, можно будет обуться.— Вздохнул горестно.— Подниметесь и уйдете — и конец. И я уже вам не нужен!.. Позвольте закурить?

— Курите на здоровье,— мягко откликнулась Катерина, и эти пустяковые слова в сознании Вениамина тут же трансформировались как: «Не уходите, побудьте еще со мной».

— Спасибо,— сказал он прочувствованно.

Щелкнул портсигаром. Сделал длинную затяжку. Выпустил витое колеблющееся колечко дыма. Присел на мягкий пуфик в изголовье кровати.

— Дядя просил помочь вам... Хотите работать? Я коечто позондировал. Вы грамотная?

— Немного. Писать и читать самоучкой выучилась. Книжки у батюшки брала. Письма бабам писала.

— Отлично! Значит, грамотная плюс крас-но-ар-мей-ка. Может, вас устроить в губчека?

— Ой! Я? В губчека? — в переспелых смородинах глаз

плеснулся испуг.— Да там как узнают... В моем ведь доме продотрядчиков сожгли...

— Успокойтесь...— Ткнул дымящийся окурок в кадку с фикусом. Несколько раз пристукнул кулаком по коленке. Захватил в щепоть правой руки острый подбородок.— Есть, конечно, риск. Но... не так страшен черт... Значит, губчека?

— Смеетесь, Вениамин Федорович?

— Для вас просто Вениамин. Договорились ведь. Не смеюсь, Катя... Разумеется, войти в чека инкогнито вам нельзя, да и незачем...

Наконец Катерина уверовала, что все говорится на полном серьезе.

— Что вы меня под петлю...— в голосе зазвенели слезы.— Лучше б сгореть мне вместе...

— Успокойтесь, Катя.— Вениамин ласково погладил женщину по руке.— Ну? Что вы, ей-богу. Давайте так... Вы явитесь в чека и расскажете все, как было. Спрыгнула с чердака. Батюшка подобрал. Бежала, боясь, что поджигатели убьют. Вот только о том, что самогон приносил Кориков, лучше не говорить. Он ведь из священников, а к ним отношение... сами знаете. Прилипнут — что да почему? Может пострадать хороший человек. Скажете... Мы еще все обговорим, прорепетируем. Получится пре-лес-стней-ший спек-такль.

Но Катерина наотрез отказалась идти в чека, а когда Вениамин стал настаивать — расплакалась. Вениамин кинулся ее утешать, гладил по голове, оглаживал плечи и спину, даже поцеловал в голову. Она никак не реагировала. Распалясь по-настоящему, Вениамин обвил ее и жадно поцеловал в шею. Катерина неожиданно резко вывернулась из его рук. Изумленно и сердито глянула на Вениамина, спросила строго:

— Вы это зачем? — Ладонью вытерла слезы.— Думаете разревелась баба, обмякла — лепи с ее кого хошь...

— Да что вы, Катя,— искренне смутился Вениамин,— ненароком вышло. Честное слово. Извините, если вам неприятно.

— Чего бы неприятно? — В голосе злая насмешка.— Молодой, образованный, обходительный да еще нача-а-альник...

— Зря вы, Катя,— обиделся Вениамин.

— Не маленькая, понимаю, что к чему. Приспела пора расплачиваться.

— Глупая вы, злая! — Вениамин вскочил и метнулся за дверь.

Два дня не появлялся в ее комнатке. «За что обидела? — упрекала себя Катерина.— Молодой, без жены. Ну, разгорелось, распалилось сердце... Может, и впрямь полюбилась? Холит-то как, только что на руках не носит, толстозадую Эмилию отчитал за то, что простыни у меня несвежие... Иногда хочется на грудь ему головой, и пусть обнимает, пускай целует, да жарче, да крепче, чтоб... Ой, боже ж мой, совсем, видать, разобиделся. И глаз не кажет. Уходить пора...»

На исходе третьего дня Вениамин влетел в комнатку без стука, от порога заговорил:

— Радуйтесь, Катя! Теперь вам не надо прятаться, не надо выдумывать. Ваше воскресение узаконено и даже одобрено властью. Читайте! — Сунул переполошившейся Катерине пахнущие краской «Губернские известия», ткнул пальцем в обведенную красным карандашом статью.— Только вслух.

Катерина присмотрелась к газетному шрифту и сначала неуверенно и с запинкой, потом все бойчее стала вполголоса читать статью «Тайное становится явным».

— «В начале декабря всю губернию потрясло известие о зверской расправе кулаков над продотрядовцами в селе Челноково Яровского уезда. Следствие, проведенное чека, не дало пока никаких результатов. И вдруг хозяйка сгоревшего дома красноармейка Катерина Пряхина оказалась жива. Невероятно, но факт. Вот что рассказала она нашему корреспонденту...»

Далее шел рассказ о спасении и бегстве Катерины из Челноково. Только о Корикове, принесшем продотрядовцам самогон,— ни слова. Статья заканчивалась угрозами кулакам-поджигателям и заявлением следователя губчека Арефьева: «Ухватившись за эту живую ниточку, мы размотаем клубок и жестоко покараем виновников гибели стойких бойцов революции».

— Что ж теперь будет? — встревожилась Катерина.

— Ничего. Побываете у Арефьева, повторите, что здесь написано. Только уж никаких прибавлений и отклонений. Потом наверняка Чижиков захочет повидать вас. Еще раз повторите. И все. И вы — вольная птица. Можете устраиваться на работу, выходить замуж...— Засмеялся и сквозь смех договорил: — Вы такая напуганная и встопорщенная, будто воробей перед кошкой...

Катерина была в замешательстве: и радовалась, что больше не надо ни от кого таиться, и тревожилась из-за предстоящего объяснения в губчека, где придется скрыть правду о Корикове. Что-то недоброе чудилось ей во всем этом. Приправлена была самогоночка — это точно. Знал ли об этом Кориков? Ну как знал! Какая веревочка вяжет его с Вениамином? А может, нет никакой веревочки, просто уважает Вениамин челноковского председателя и хочет уберечь от подозрений... До сих пор жила сама по себе, ни во что не встревала, мыслимо ли так вот, вдруг разобраться во всей этой путанице? Да и надо ли?..

Женским чутьем Катерина угадывала близкую и крутую перемену в своей судьбе, и пугалась, и рвалась к роковой черте, и замирало сердце.

— Что с тобой, Катя? Да что ты в самом деле, одеревенела, что ли! — испуганно вскричал Вениамин, не замечая, что вдруг сказал ей «ты».

Совсем близко она увидела окантованные длинными рыжими ресницами выпуклые белесые глаза. В них — тревога, недоумение и нежность. Неужели?.. Не обманулось сердце. Зажмурилась — и тут же его губы прикипели к ее губам. Задохнулась. Поцелуи жгли щеки, шею, дурманили, мягчили упругое тело.

— Помешкай, Веня... обожди...

— Ночью... приду...

Давно растаял звук захлопнутой двери, давно затихли торопливые шаги в коридоре, а пол под Катериной все еще покачивался, и голова легонько кружилась, и не хватало воздуху.

«Господи, что со мной? Ровно и не я... Хочу одно, делаю другое. Сколь блюла себя, и вдруг... Да и нелюб вовсе. Стосковалась, а он тут. Каждая жилочка на особицу дрожит. Забери его лихоманка... Сейчас отойду. Лешак, как он вдруг ястребом пал... Не железная ведь. Ссохлась без мужа. Оттолкну его, и дале так будет. Ни радости, ни счастья. И жалко его — так заботится... Ошалела, дура. Он хоть мужицкого корню, а барин. Побалуется — и до свиданья... Не на такую напал. Приходи, голубок, поцелуй пробой да ступай домой...»

Вечером она раз десять вскакивала с постели, то отпирая, то вновь накидывая крючок. Измучилась, издергалась, извелась. Все-таки уломала себя — заставила запереться. Вскочила, прошлепала босиком к двери, взялась за ручку, а дверь вдруг поплыла.

— Кто? — придушенно вскрикнула Катерина.

— Катенька, — прозвенел Вениамин пересохшим ртом. Схватил ее и, тиская и целуя, понес к постели...

2

На две неравные части рассекала Северск маленькая вонючая речонка Северянка. Летом она совсем пересыхала, лишь по самому дну глубокого оврага лениво змеился не видимый в густой траве мутный ручеек. По обоим склонам оврага кучно лепились землянки и домишки северской бедноты. Этот приовражный район города назывался Логом и имел дурную славу. В Логу таились воровские притоны, жили скупщики краденого, мелкие ростовщики и иные темные дельцы, привыкшие добывать хлеб насущный любым способом, кроме честного труда. Девки из Лога умели пить водку, едко и замысловато материться, любили задирать благовоспитанных барышень. Парни славились отчаянной смелостью, спайкой и жестокостью.

В Логу жили известные в городе ремесленники, кустари-умельцы. Там же обитала и знаменитая на всю Западную Сибирь знахарка Евдокия Фотиевна Панова, которую и стар и мал в округе называл просто «баба Дуня». Это была грузная, рыхлая, малоподвижная старуха с крупным, большеносым, дряблым лицом, подслеповатая и несдержанная на язык. У нее были сильный грудной голос и чуткие ласковые руки.

Притулившийся на самом краю оврага маленький аккуратный домик бабы Дуни был обшит тесом, который давно почернел и кое-где подгнил, но резные ажурные наличники и изукрашенные кружевной резьбой ворота всегда блестели свежей краской. В мощенном плахами крытом дворике в любое время года было чище, нежели в иной избе. Летом там на вешалах и веревках сохли пучки разных лечебных трав, от которых сочился дивный, кружащий голову аромат. Травы, коренья, ягоды, кору и почки собирали бабе Дуне все мальчишки Лога. Не счесть пятаков и гривенников, которые баба Дуня переплатила своим горластым, любопытным и проворным поставщикам.

К ней шли отовсюду с любой бедой, с любой болячкой: полюбившегося парня присушить, мужа-изменщика от любовницы воротить, нежеланный плод вытравить или, наоборот, поспособствовать зачатию долгожданного ребен-

ка, погадать о судьбе, развеять кручину — словом, исцелиться от самых разных душевных или телесных недугов. Шли днем и ночью, приезжали за сотни верст. Она всех принимала одинаково — грубовато-приветливо, всех пользовала, никогда не оговаривая наперед и не прося после никакой платы, принимая со скупой благодарностью любые вознаграждения. Она свято хранила чужие тайны и чужие рубли, которые сносили ей жены горьких пьяниц, накапливая таким образом деньги на покупку какой-нибудь необходимой вещи.

Поговаривали, что в молодости баба Дуня была необыкновенно красива и любвеобильна, пережила троих мужей, вырастила трех дочек, которые разлетелись в разные стороны и давным-давно не показывались на родном подворье. У младшей беспутной дочери баба Дуня отняла ребенка и сама выходила, выпестовала красавицу Катеньку. Прочила ей бабка именитого и богатого жениха, а Катерина влюбилась в челноковского бобыля-красноармейца и, когда тот демобилизовался, ушла с ним от бабки в Челноково.

Говорили, что когда-то баба Дуня зналась с самим Гришкой Распутиным, что будто бы от нее тот и узнал все приворотные, целебные и ядовитые коренья и травы, за что не раз одаривал свою наставницу дорогими подарками и даже приглашал ее в Питер... Да чего только не говорили о бабе Дуне, на то она и звалась колдуньей.

Бдительно охраняемый соседками, нарядный домик бабы Дуни пустовал почти два месяца. Хоть она и слыла колдуньей и зналась якобы с самим сатаной, однако церковь посещала аккуратно, строго блюла посты, лба не перекрестив, за стол не садилась, за дело не бралась. Раз в год она уходила на богомолье в далекий Абалакский монастырь, где хранилась чудотворная икона Абалакской божьей матери, и там замаливала у бога свои и чужие грехи.

Три дня назад баба Дуня вернулась из Абалака. Первое, о чем спросила она встречавших соседок, было: «Нет ли Катерины здеся?» — «Ни самой, ни весточки»,— ответствовали бабы. «Беда с ней какая-то,— встревоженно проговорила баба Дуня,— чую — беда. Оклемаюсь с дороги, схожу на базар, может, разыщу мужиков из Челноково, спытаю. Вещует сердце недоброе, ой, вещует...»

Чтобы поспеть к разгару базара, баба Дуня поднялась затемно. Помолилась. Истопила русскую печь. Поставила

на стол воркующий самовар и принялась за завтрак. Она любила поесть вкусно, была разборчива в пище.

Давно остыла пустая сковорода, перевернута вверх дном чашка, глядится в окно блеклый декабрьский рассвет, а баба Дуня все сидит не шелохнется, как окаменелая, даже лампу не задула. Если бы в этот момент кто-нибудь смог заглянуть в глаза старухи, он увидел бы там напряженное средоточие мысли. Вот по застывшему, словно гипсовая маска, лицу пробежала судорога. Громко сглотнув слюну, баба Дуня зажмурилась, замотала большой головой, перекрестилась:

— Господи помилуй. Видно, правда, худое с девкой стряслось. Так сердце камнем и давит. Фу! Ровно в парной — дух захватило и пот по всему телу... Рассвело ведь, ой-ёшеньки...

Тяжело поднялась со скамьи и стала одеваться.

За калиткой столкнулась с внучкой.

— Бабушка! — крикнула та и, обняв старуху, зашлась в горьком плаче.

Баба Дуня поспешно увела Катерину в дом, помогла раздеться, усадила на лавку, где только что сама сидела. Подкинула горячих углей в заглохший самовар, и тот запел сладко и уютно. От самоварной песни, от сильных и добрых бабушкиных рук, от пряного запаха сухих трав Катя совсем разомлела и разревелась в голос.

— Да ты ково, Катя, в душу тя выстрели! — прикрикнула старуха с напускной сердитостью.— Ишь, удумала! Подол от слез промок. Совсем раскисла. Аль подменили тебя?

— Подменили и есть... Ты права была, бабушка,— сквозь всхлипы говорила Катерина.— Дура я... дура. Не послушалась.

— Чему быть — того не миновать. Испей-ка чайку с вареньицем.

Катерина напилась чаю, немного отошла и поведала бабушке обо всем пережитом.

— То-то мне в огне лик-от твой виделся.— Старуха повернулась к киоту, под которым теплился крохотный язычок лампадки. Закрестилась.— Слава тебе, богородица-троеручица, смилостивилась надо мной, оберегла внученьку. Сколь перемолилась за тя в Абалаке-то. Услышал господь...— Обняла Катерину, прижала к себе и неожиданно протяжно заплакала, запричитала: — Голубушка

моя, кровинушка останная. Как вспомню... Могли и не свидеться...

От бабкиных причетов у Катерины снова глаза намокли.

В тот день она еще не раз повторила рассказ о своем невероятном спасении, все время обновляя его и дополняя новыми, вдруг пришедшими на память деталями. Вот только о своем житье в Северске Катерина рассказала скупо, без подробностей: побоялась, что не сумеет утаить случившееся, а ей не хотелось, чтобы бабушка догадалась о ее отношениях с Вениамином. Но баба Дуня не зря звалась колдуньей, и стоило Катерине лишь раз мимоходом помянуть Вениамина, как старуха стала выпытывать о нем, и хоть Катя отвечала немногословно и вроде бы безразлично, ни тоном, ни жестом не выдав своего волнения, бабушка все поняла и неожиданно сказала:

— Дай бог, ежели и он тебя так же любит. Погадаю ужо, ково у его на душе. Они, образованные-то, в душу их выстрели, на нас, как на забаву, глядят. Ежели он при царе в Питере учился — не из бедненьких...— Похлопала Катерину по руке, погладила.— Не тужи. Разве ж угадаешь, где найдешь, где потеряешь. А чека страшиться нечего: чиста ты перед ими. Как было, так и расскажешь, тебе чего таить? О работе — пустой разговор. Зачем? Проживем, прокормимся. На двоих-то нам вот так...— Прижала ладонь к горлу и тихим, баюкающим голосом просительно заговорила: — Мне ныне семьдесят четвертый пошел. Совсем ослепла. Траву от травы на вкус только да на запах отличаю. Переняла бы у меня, как исцелять от скорбей да болезней. Людей бы пользовала... Неуж со мной умрет это? В чужие руки грех отдавать. Мать завещала либо дочери, либо внучке передать. А?..

Не впервой бабушка начинала этот разговор. Катерине, наверно, нетрудно было бы овладеть знахарским искусством: она с детства знала многие травы. Дело людям нужное и себе выгодное. Разумно было бабушкино предложение, но сердце не лежало к нему. Сказать о том — огорчишь, обидишь. Потому и смолчала Катерина, поспешила перевести разговор на другое. Только ей ли перехитрить бабу Дуню? Сникла старая, погрустнела, вздохнула тяжело.

— Неволить тебя не след,— сказала смущенной Катерине.— Без души это не дается. Тут надо всем сердцем, с верой, с молитвой, а так... бог с тобой. Коль жива буду...

— Да что ты, бабушка! Ты у меня совсем молоденькая...

Баба Дуня засмеялась неожиданно звонко и весело, сотрясаясь тучным телом. Смахнула черный платок с головы. Седина почти не коснулась ее густых темно-каштановых волос.

— А и впрямь, чем не молодица? — озорно подмигнула Катерине.— Гляди, и приведу какого-нито глухаря годков под восемьдесят...— И снова залилась молодым смехом.

Бабушкин смех обволакивал, баюкал Катерину. Будто отдалялись, таяли недавние тревоги.

Глава пятая

1

В кабинете губпродкомиссара не оказалось ни одного свободного места, и Вениамин Горячев, прихватив стул в приемной, с трудом протиснулся вперед, поближе к пикинскому столу. Здесь собрались члены коллегии губпродкомиссариата, уездные продкомиссары, начальники продконтор и командиры продотрядов. Был тут зачем-то и председатель губчека Чижиков. «Этому-то чего надо? — забеспокоился Вениамин.— Настырный дьявол. Во все щели лезет. Не миновать с ним...»

Тут Чижиков чуть повернул голову, их глаза встретились, и Горячев почти физически ощутил, как в него входит твердый, пронизывающий взгляд серых чижиковских глаз, проникает, кажется, в самую душу, в которой все сейчас обнажено, все как на ладони... Вениамин вздрогнул, будто от неожиданного укола, и в то же мгновение лицо его стало непроницаемым. «Что, выкусил?» — злорадно спросил взгляд Вениамина, и тонкие губы его чуть заметно покривила ухмылка. Чижиков тоже улыбнулся — лукаво и, пожалуй, самодовольно. «Сволочь,— вознегодовал вдруг Вениамин.— Плевал я на тебя...» Не выдержав, скакнул глазами в сторону, деланно закашлялся. Достав носовой платок, долго и старательно обтирал им губы, возил по лицу и все время, как нацеленный ствол, чувствовал на себе внимательный взгляд председателя губчека.

Облегченно вздохнул, когда Пикин, поднявшись из-за стола, произнес:

— Начнем, товарищи.

Расстегнув верхнюю пуговицу гимнастерки, Пикин движением головы смахнул со лба завиток черных волос, с глухим стуком опустил костлявый кулак на стол. В кабинете мгновенно наступила тишина. Лица собравшихся стали одинаково сосредоточенно-строгими и жесткими.

— Не буду говорить, что значит сейчас хлеб для Советской власти, для революции. Хлеб — это жизнь. Товарищ Ленин прямо говорит: борьба за хлеб — это борьба за социализм. Всем ясно? — обстрелял собравшихся горящим взглядом.— Ясно или нет? Надо кого-то убеждать, доказывать?!

— Ясно.

— Чего там.

— Все понятно...

— Из шести с половиной миллионов пудов, спущенных нам по разверстке, собрано более пяти. Есть все возможности досрочно выполнить боевой приказ партии и товарища Ленина — закончить продразверстку по хлебу к первому января.— Пикин говорил громко, будто на митинге, и чем дальше, тем сильнее возбуждался, повышал голос.— Нужен еще один решительный нажим. С двадцатого по тридцатое декабря объявлен штурмовой красный декадник. Мы должны собрать все свои силы, все резервы воедино и ударить по сытому, своевольному сибирскому кулаку так, чтобы весь план, до единого зернышка, был на ссыпке.— Он вскинул правую руку, медленно и энергично, будто сминая что-то упругое, сжал кулак и грохнул им по столешнице.— Ломать хребет саботажникам. Беспощадно разделываться с любой контрой. Брать хлеб решительно...

Запавшие глаза Пикина полыхали яростью, подсиненные провалы щек подернулись краснотой, будто на них упал отсвет далекого пламени. Его накал давно уже передался собравшимся.

— Не повторить Челноково! Кулачье сгубило девять наших боевых товарищей, а мы расслюнявились. Теперь недобитки над нами скалятся. И тут нам чека только помешало, товарищ Чижиков.— Метнул в председателя губчека обжигающий взгляд и будто клятву выкрикнул: — Подобного не допустим! За каждого погибшего продотрядовца — к стенке пятерых! Безжалостно и безоглядно!

Всю ответственность перед партией и Советской властью беру на себя. Казнить либо миловать вас может только коллегия губпродкомиссариата. И чтоб ни-ка-ких ахов. Объявляется чрезвычайное положение!..— Задохнулся от волнения, еле договорил: — Чего еще вам не хватает? Чего надо?!

Ссутулился, опустился на стул. И никто не знал, что перед глазами у него сейчас — базарная толпа, наглые сытые морды кулацких сынков, избивающих еле державшегося на ногах голодного парнишку...

Охотников выступать оказалось немного, и те тянули в унисон Пикину, призывая напрячь все силы и завершить продразверстку досрочно. С этого же начал свое выступление и член коллегии губпродкомиссариата Вениамин Федорович Горячев. А затем сказал:

— Было бы пустой тратой времени выявлять кулака в сибирских деревнях. Мало-мальски приметная грань между кулаком и середняком от-сут-ствует. Вот в чем фокус! Посмотрите данные по Яровскому уезду на начало нынешнего года. На каждое хозяйство в среднем, я подчеркиваю, в сред-нем, приходится более пяти коров и почти четыре лошади. Нынешней осенью в этом уезде имелось мил-ли-он пу-дов необ-мо-ло-ченного хлеба урожаев прошлых лет. Товарищ Пикин тысячу раз прав: нужна решительность, безоглядность и натиск...

Говоря, он то и дело взглядывал на Чижикова. Сперва покусывал, покалывал его взглядами, а потом в горячевских глазах зажглась откровенная язвительная насмешка: «Выкусил? Теперь попробуй встань-ка поперек...»

Чижиков попросил слова и стал умерять воинственный запал продовольственников, призывая их к соблюдению революционной законности. Напомнив ленинское указание, что разверстка всей своей тяжестью должна лечь на кулака, Чижиков строго выговорил:

— Если мы впредь станем нарушать классовый принцип разверстки и будем по совету Горячева выметать хлеб у всей деревни, огулом, не считаясь с имущественным положением крестьян, то этим мы сработаем только на руку врагу...

Поднялся такой протестующий шум, что Чижиков умолк. Машинально приминал ладонью встопорщенные, коротко подстриженные под бобрик светлые волосы, внимательно вглядываясь в лица продработников.

Когда шум поутих, Чижиков заговорил снова.

— Не кипятитесь. Не поучаю. Но промолчать — не могу, не имею права! Продразверстка сейчас — главное для всех коммунистов губернии. Потому она так успешно и выполняется. Тут мы с вами в ногу. А вот насчет того, чтобы любой ценой взять хлеб,— не согласны! Надо так взять, чтобы трудящегося крестьянина не озлить, в кулачью стаю не толкнуть... Да не гудите вы! Лучше подумайте, как разверстку выполнить и беззаконий не допустить. Чека завалена жалобами крестьян. Надо сурово и публично наказать загибщиков. Чтоб другим неповадно было. И чтоб крестьянин по этим самодурам или переряженным врагам Советскую власть не мерил. Уверен — губком и губисполком поддержат нас...

— Пускай сама чека выполняет разверстку!

— Мы головой рискуем, а нас к ответственности!..

— Чека создали для борьбы с контрреволюцией...— выкрикнул Горячев.

— Вот именно! — рассек его фразу Чижиков.

— ...а вы с кем боретесь? — как бы пятясь и извиняясь, скомканно докончил Горячев, уже жалея, что высунулся.

— С ней и боремся! Разве то, что вытворяет продотряд Обабкова, не контрреволюция наизнанку? — размашисто и звонко хлестнул разъяренный Чижиков.— Надо совсем обалдеть, чтоб не понимать этого...

И посыпал увесистыми раскаленными фразами, да так напористо и убежденно, что в настроении продработников наметился перелом. Но Пикин с ходу произнес еще одну искрометную речь, и заседание закончилось с тем же настроем, с каким началось.

Вениамин последним перешагнул порог кабинета, замешкался у неприкрытой двери, услышал:

— Черт тебя побери, Григорий, ты что, не понимаешь? Карасулин прав, сами плодим врагов.

— Не по тому компасу рулишь. Карасулин тебя еще не в такую трясину заманит. Посмотри, кто вокруг него. Волостной комсомольский секретарь — истеричная гимназисточка. Шекспиров разыгрывает на сцене, стишки про любовь...

— Разучился ты человеком быть. Жаль мне тебя... Прошу на коллегии губпродкома рассмотреть наше представление о нарушении революционной законности продотрядом Обабкова.

— Послушай, Чижиков,— Пикин еле владел собой,— не лезь куда не следует. Мы сами как-нибудь разберемся в своих делах.

— Жаль, но я вынужден...

— Не пугай... Валяй, жалуйся хоть самому господу богу, только под ногами не путайся, не лезь...

— А это уж не тебе решать, куда нам лезть...

Вениамин едва успел отступить от двери кабинета, сделав вид, что ковыряется в занедужившей зажигалке.

— Заело? — Чижиков зло прищурился.

— Техника.— Вениамин изобразил на лице улыбку.

— Ненадежна. Откажет — и не полыхнет...

— На такой случай есть кресало,— с беспечной веселостью ответил Вениамин, соображая, куда целит председатель губчека.

— Шумная штука. Тишины боится.

— Не понимаю вас,— как можно спокойнее выговорил Вениамин, чувствуя в горле булькающие толчки крови.

— Чтоб понимать, надо знать друг друга.

— Рад буду познакомиться с вами поближе.— Горячев галантно поклонился.

— Я тоже. Кстати, откуда вы узнали о Катерине Пряхиной?

— Из газет,— не задумываясь, поспешно ответил Вениамин.

— Вот курьез. Газетчики говорят: от вас узнали.

«Скотина Кожухов, проболтался спьяну»,— догадался Вениамин и заторопился исправить ошибку.

— Мы действительно не понимаем друг друга. Впервые о челноковских событиях я узнал из газеты. А что касается обстоятельств воскрешения Катерины Пряхиной, так их газетчики узнали от меня.

— Каким ветром занесло ее к вам?

— Челноковский поп завез. Ори-ги-нальный тип. Ввалился среди ночи — помогай, в больницу не берут. Я всю войну в госпитале, немного знаком с медициной. Осмотрел, перевязал. Потом уговорил, чтоб сообщила о себе. До того была напугана, в любую щель готова...

— Вот и заползла. До свиданья.

«Куда заползла? О чем он?.. Кружит, как ястреб над цыпленком. Еще раз предупредить Катерину. Кажется, любит... Позарез нужен свой человек в чека... Скорей бы начнуть. Тогда сквитаемся... то-ва-рищ Чи-жиков».

2

Председатель Северской губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией Гордей Артемович Чижиков всю ночь писал донесение о грубых злоупотреблениях властью и нарушениях революционной законности при проведении разверстки. Ни в разговоре, ни на бумаге он не терпел гладеньких, облегченных, обтекаемых фраз, потому по нескольку раз перечитывал каждое предложение, походя ероша его и заостряя. Документ заканчивался следующими выводами: «Эсеры, недобитые белогвардейцы и кулаки, умело используя недовольство крестьян, пытаются разжечь антисоветский мятеж. И разожгут, если мы немедленно не восстановим революционный правопорядок в деревне».

Нельзя сказать, чтобы к этому выводу Чижиков пришел без колебаний. Сколько раз жестоко спорил с собой, защищая, оправдывая Пикина и его линию в проведении разверстки. Даже по официальной статистике в Северской губернии почти 14%, или 25 000 хозяйств,— матерые кулаки. Они всячески саботируют разверстку, провоцируют столкновения крестьян с продотрядами, пакостят и вредят. Если следовать пословице «семь раз отмерь...» — сибирского хлебушка не видать. Пока убедишь да докажешь мужику... Спохватившись, Чижиков как за спасательный круг цеплялся за ленинские высказывания о продразверстке, снова и снова вспоминал напутственные слова Дзержинского: «Сибирский крестьянин своеволен и самолюбив. Без крайней нужды не наступайте ему на любимую мозоль...» Это было сказано перед самым отъездом Чижикова в Северск.

Прежде всего, думал Чижиков, надо очистить металл от ржавчины — отслоить трудящегося крестьянина от кулака. Врагам невыгодно четкое классовое расслоение. Пикин стрижет мужиков под одну гребенку, тем самым сплачивает середняка с кулаком, значит, помогает врагу...

От такого заключения в голове начинало звенеть и пол уходил из-под ног. Чижиков пил воду, курил, короткими пробежками колесил по кабинету и опять начинал с нуля. После долгой душевной борьбы он утвердился в правильности своих выводов, хотя и не представлял ясно, как же теперь на полном ходу сменить направление и скорость разогнавшейся продовольственной машины, и в

донесении своем призывал партийные и советские органы губернии общими усилиями найти желанный ответ.

Совсем рассвело, когда Чижиков не спеша перечитал чистовой вариант донесения. Поднялся, чтобы задуть лампу, но не успел: опередил телефонный звонок Арефьева.

— Сейчас ко мне придет Катерина Пряхина. Та самая. Будете разговаривать?

— Обязательно. Сначала вы побеседуйте...

— Я уже дважды проделал это. Ничего новенького. «Не знаю», «не видела» — и весь разговор. Похоже, все это отрепетировано.

— Придет, проводите ко мне.

...Катерина вошла и встала у порога, прижавшись спиной к двери, не сводя испуганных, цвета переспелой смородины глаз с Чижикова. Тот вышел из-за стола навстречу женщине.

— Чего напугалась? Проходи, садись.

Она шла по кабинету так, словно каждый миг под ногами могла разверзнуться бездна. Осторожно присела на уголок массивного, обитого кожей стула с высоченной резной спинкой. И закаменела лицом и телом, чувствуя липкий пот на ладонях. Скользнув сочувственным взглядом по напряженной фигуре женщины, Чижиков мягко сказал:

— Хватит тебе трястись. Все страшное позади. Интересно, если бы Горячев не написал в газетку, до сих пор числилась бы усопшей?

— Н-не знаю,— еле выговорила Катерина. Сухо поблескивающие глаза примерзли к полу.

Чижиков пригладил ладонями встопорщенный светлый ежик на голове, сочувственно улыбнулся.

— Не думал, что ты такая...

— Какая? — Кончиком языка смочила ссохшиеся губы.

— Первой песенницей и красавицей по всему Логу слыла знахаркина внучка Катя Панова. Бабки не послушалась, дом и безбедную жизнь кинула, ушла с милым на чужую сторону. Недотрогой жила в Челноково красноармейка Катерина Пряхина, а все равно бойкой была, выдумщицей...

— Откуда знаете?

— Добрые вести не лежат на месте. Обратно в Челноково не собираешься?

— Кто себе смерти ищет?

— И то правда. А я вот хочу еще разок наведаться туда.

Умолк на миг, пораженный нежданным-негаданным видением. Будто живая, встала вдруг перед глазами раскрасневшаяся бедовая Маремьяна. Вот так, озорно сощурясь, поводя плечом и притопывая, с откровенным желанием зацепить, пропела она там, на сходе, свою частушку: «Ах, на блюдечке чай, и под блюдечком чай. Ныне всякого Гордея наве-ли-чи-вай».

Отчаянная... Бесшабашная... чего прилепилась?

И, заминая нежданную паузу, Чижиков торопливей обычного проговорил:

— Примечательное ваше Челноково, и люди там — интересные. Ну хотя бы Карасулин или эта, его комсомольская помощница...

— Ярославна-то? — Катерина оживилась.— Очень даже симпатичная девушка. Меня и то в свой комсомол сватала.

— Не пошла?

— Куда мне. Кабы понимала толком, что к чему...

— Так уж совсем и не понимаешь? — Чижиков окинул женщину пытливым острым взглядом.— Иль для тебя все одинаковы, что Маркел Зырянов, что Онуфрий Карасулин.

— Пошто? Не совсем дурочка.— Щеки ее полыхнули таким жаром, что на глазах влага выступила. Помолчала, справляясь со смущением. Разглядела дразнящую усмешку в чижиковских глазах, решилась.— Маркел Зырянов — волк. И отец его, Пафнутий, даром что старик, и сын Пашка — все волчиной породы... А Онуфрий Лукич — первейший человек в волости. И руки, и душа — чистые...

«Вон ты какая! — удовлетворенно подумал Чижиков.— Видно, недаром добром поминали тебя челноковцы, не верят, что причастна к поджогу».

— Я ведь чего тебя пригласил, Катерина... Пойдешь к нам на работу?

— В чека?!

— Чего удивилась? Будешь у нас рассыльной. Дело нехитрое, а человек нужен надежный.

— Может, я ненадежная?..— само собой сорвалось с языка.

Катерина испугалась собственных слов, но Чижиков сделал вид, что не заметил ее испуга. Спокойно подтвердил:

— Возможно.— И после короткой паузы: — Только думается мне, не должна ты рабоче-крестьянской власти изменить. Не должна. Во всяком разе, мы тебе верим.

Не того ждала Катерина, не к тому готовилась, шагая по темному коридору. Сопровождавший ее Арефьев всю дорогу жужжал: «Напрасно, голубушка, отмалчивались. Пожалеете, и не раз. Сами себя в капканчик загнали...» И все чего-то недоговаривал, на что-то намекал, до того растравил потревоженную душу, что, перешагнув чижиковский порог, Катерина едва удержалась на ногах. А когда поотошла немного, пригляделась, страх вдруг растаял, и она неожиданно почувствовала, что не боится этого человека с усталым скуластым рабочим лицом, прямым открытым и резким взглядом, не по росту большими руками. Он притягивал цельностью и какой-то необъяснимой распахнутостью. «Что в глазах, то на устах» — вспомнилась бабкина приговорка о добром человеке. Оттого-то так скоро и освоилась и помимо воли разговорилась Катерина. А теперь вот, когда он предложил пойти в рассыльные, снова засомневалась и меж ними быстро-быстро начала расти стена отчуждения. Может, это хитрость, капкан, о котором говорил Арефьев? Чижиков, будто почуяв ее тревогу, улыбнулся по-мальчишечьи широко и светло.

— Знаешь, как в Вятке невесту сватают? Ходит она разряженная по лавке взад-вперед, а рядом свахи раскрытый мешок по полу волокут и упрашивают: «Скаци. Ну, скаци!» А невеста янится, плечиками играет, глазками стреляет и фасонисто ответствует: «Хоцу — скацу, а не хоцу — не скацу». И так ходят, пока она не соблаговолит в мешок прыгнуть, тут ее и волокут к суженому...— И сам же первым захохотал над своим рассказом.

Катерина смеялась вместе с ним.

— Ну, так как, скоцишь? — подмигнул веселым глазом Чижиков.

— Боюсь я вас,— опять неожиданно для себя выпалила Катерина и, чтоб смягчить сказанное, добавила: — Все боятся...

— Пройдет. Когда меня сюда прислали, я тоже со страху чуть умом не тронулся. С пятнадцати лет кузнечил в паровозном депо. А тут — целая губерния. Да какая! И свой, и чужой — в одинаковых полушубках, оба — землей пахнут. По обличью врага от друга не отличить. А легко ли в чужую душу заглянуть? Надо бы сюда по-

грамотнее человека, да где взять? Образованные-то кто? Офицеры, чиновники и прочие шкуродеры. Их, что ли, в чека? Пойми это, Катя. Нам такие, как ты, позарез нужны. По рукам?

— Не знаю...

— Не гадай. Тут твое место. Ну?

— Коли не шутите...

— Какие шутки теперь? — Построжал лицом. Вздохнул.— Посмотри, что делается. Советская власть погибает с голоду. Ни купить, ни занять. Никто хлеб задарма отдавать не хочет. Тут уж не до шуток, Катя. Зайди сейчас в шестнадцатую комнату, оформят тебя...

У него была неширокая, но очень твердая и сильная рука. Кожа ладони шершавая, в бугорках сухих, застарелых мозолей. Он был совсем молодой, наверное, ровесник ей, а подле запавших глаз кучились морщинки и отвесный лоб изрезан волнистыми линиями. Синие полукружья под глазами, заострившиеся скулы, сероватая бледность лица — все говорило о переутомлении, перенапряжении. Катерине стало по-матерински жаль Чижикова. Замордует себя, загонит, запалит... У Вениамина вон тоже каждая жилочка натянута, наструнена, все ходуном. Всегда куда-то торопится, о чем-то думает. И любит торопливо и жадно, будто крадет. Заласкает, запежит, а поостыв, сразу мыслью ускользает от нее, отвечает невпопад, целует, ровно икону, — холодно и равнодушно... Этот, говорят, холостой. С девками бы ему миловаться до свету, забыл, поди, как их обнимают...

Поймав на себе сочувственный, ласковый взгляд, Чижиков угадал, что Катерина пожалела его. Эта непрошеная, нежданная жалость молодой и красивой женщины подогрела кровь, плеснулась жаром в груди, накалила щеки. Гордей Артемович вдруг увидел свою слободку, зеленую калитку родного дома, лопоухую старую собаку на желтом, до блеска выскобленном крылечке. Рядом сидит пьяный отец. Свесив между колен лохматую голову, он не то поет однотонно и бессвязно, не то плачет. Его расстреляли колчаковцы за то, что сказал пришедшему с обыском офицеру: «Где мой Гордей, скоро сами узнаете, зачешется одно местечко...»

Он попрощался с Катериной в дверях, и тут же коротко и властно звенькнул телефон. Чижиков снял трубку. В ухо загудел низкий медлительный голос председателя губисполкома Новодворова:

— Здорово, Чижиков. Получил твою бумагу. Со вниманием прочел. Настораживает. В главном ты прав, наверное: так нельзя! А как можно? Где взять силы, чтоб по-доброму да по-умному? Где подзанять время, чтоб не спеша, не на бегу! Молчишь? Одно меня особенно тревожит: неужто и впрямь пахнет мятежом? Либо мы ни черта не видим под носом, либо ты видишь все в искаженном свете. Похоже, все не в ногу, один Чижиков...

— Могу сегодня же подать в отставку.

— Не хорохорься. И не спеши. В истории бывали примеры, когда один оказывался прав, а все ошибались.— Помолчав, подышал в трубку.— Думать некогда — вот плохо...

— Не думать, действовать надо, пока не поздно. Я считаю...

— Субъективизм в политике — опасная штука.

— Совершенно верно. И чем быстрее откажутся от него некоторые руководители губернии, тем лучше для дела.

— Гм... Безверье и самоуверенность — одинаково опасны...— в голосе Новодворова ирония, и сочувствие, и предостережение.— На президиуме губкома будем обсуждать твое сочинение. Точи свой меч и щит проверь...

Глава шестая

1

— Простите, вы Вениамин Федорович Горячев?

Этот толстяк-коротышка, пахнущий морозным сеном, будто из-под полу вынырнул, и хотя в коридоре было полутемно, Вениамин отчетливо разглядел лицо незнакомца — круглое, розовое от холода, с красным плотоядным ртом, коротким утиным носом и глубоко посаженными глазами какого-то неопределенного, серо-коричневого цвета. «Чего ему надо?» — неприязненно подумал Горячев и ответил сухим холодным голосом:

— Да. Чем могу служить?

— Я с письмом от Батюшкова.

Тонкие губы Вениамина дрогнули, в горле булькнуло, но голос остался прежним:

— Очень рад.— Протянул коротышке руку.— Как он поживает.

— Немного сдал старик. Возраст, да и сердчишко пошаливает.

— Ему вроде бы нет и шестидесяти?

— Нынешний год за десять прежних.

— Я дам записку к хозяйке дома, в котором живу. Есть боковушка. Поживете пока в ней. Вечерком сойдемся.

Проводил незнакомца взглядом. «Идет, как по навощенному паркету. Танцовщик, что ли...» — Брезгливо поморщился.

В течение дня он еще не раз вспоминал коротышку, гадал — кто и зачем? — и оттого, что не мог угадать, раздражался, и чем дальше, тем сильней. Потому и встретил вечером незваного гостя суше, чем хотелось.

Разговор поначалу не клеился, и, лишь ополовинив графин с самогоном, оба почувствовали спад напряжения, вольготно развалились на стульях, неспешно и сладко покуривая. В комнате скоро стало сине от дыму. Стог окурков поднялся над пепельницей, окурки плавали в тарелке с рассолом от квашеной капусты.

— А вы точно изволили угадать,— проницательно усмехнулся гость.— Коротышка — моя подпольная кличка. Так меня и свои называют. Между собой, разумеется. По документам я — Карпов Илья Ильич. Тоже липа. Настоящая... Впрочем, что сейчас настоящее? Власть? Мораль? Деньги? — Презрительно фукнул утиным носом, небрежно отмахнулся короткой толстой рукой.— Я, кажется, лишку выпил сегодня. Не-ет, я не пьян, помилуй бог, пьяным не бываю-с. Да-с. Ни при каких обстоятельствах. Профессиональная выучка.— Умолк. Отбил пальцами по столешнице ритм какой-то, ему одному слышимой мелодии, несколько раз мягко притопнул носком валенка. Приподняв ногу, покрутил на весу.— Холопская обувь, никак не привыкну, знаете ли... Когда я выпью сверх нормы, мне хочется музыки. Люблю фортепьяно! Особенно Петра Ильича. «Баркарола», например. Волшебство! — Вскинул плавно руки, словно намереваясь ударить по клавишам пианино, медленно опустил, повернул ладонями вверх, пристально вгляделся. Протяжно вздохнул.— Задубели. Такими лапами топорище тискать, а не музицировать. Тоска, поручик...— Вдруг лицо его преобразилось, стало простецким, даже глуповатым, и он

сиплым, пропитым голосом бесшабашно заурчал: — Нам, казакам, все одно: что брага, что вино, абы с ног валила.— И заржал по-жеребячьи.

Вениамин, вздрогнув, брезгливо поморщился: «Комедиант», но терпеливо выждал и, едва гогот затих, спросил:

— Вы эсер?

Снова заржал Коротышка. Шумно потер мясистые ладони, похлопал ими. «Какие-то извозчичьи манеры»,— подумал Вениамин, чувствуя новый прилив неприязни к этому человеку.

— Не...— Коротышка прищурил один глаз, скривил красные толстые губы, сморщил утиный нос и неожиданно четким, строевым голосом выпалил: — Никак нет! С некоторых пор не питаю пристрастия к политическим партиям.— Помолчал. Оценивающе-пристально и бесцеремонно оглядел собеседника и, не тая горькой иронии: — Да и что это за партия — эсеры? Простите великодушно, но ваши социалисты-революционеры — так, кажется, они именуются? — живой труп. Причем без головы-с. Голова-то в Париже. Газетки выпускает. Встречи, речи, интервью, планы изгнания большевиков из России, а на деле — маразм, полное разложение, отрыв от действительности...

— Однако вы не так уж и вне политики,— изумился и рассердился Горячев.

— Ах, Вениамин Федорович, какой тут политес? Ведь политика...— Затормозил речь, подыскивая слова. Сложил в щепоть пальцы рук, поднял на уровень глаз, прищелкнул сразу обеими — необыкновенно ловко, громко и лихо.— Политика — это вещь ювелирно изящная, тонкая, хрупкая. А мы с вами — гробокопатели. Да-с. Себя-то, по крайней мере, к чему обманывать? Наше дело — жечь, вешать, пороть. Вот и вся политика! И мне, например, один черт, с кем вместе делать это грязное дело — с эсером, кадетом иль с анархистом.

От такого признания Вениамина покоробило, но он не подал виду и с деланной заинтересованностью спросил:

— Как же вы сошлись с Батюшковым?

— На почве борьбы с большевиками. Теперь или никогда!

Сжал круглый волосатый кулак и тяжко, словно кувалду, обрушил на стол. Заплясала, зазвенела посуда. Лицо Коротышки стало жестоким и властным, в серо-коричневых глазах вспыхнул ледяной огонь.

— Приспела пора последнего удара, а у эсеровской

братии бить-то нечем. Даже самой отменной резолюцией или прокламацией одной башки не отсечешь. А их ныне надо косой косить. Вот и вся платформа.— Высказав это совершенно трезвым четким голосом, Коротышка вдруг снова заржал.

В дверь постучали. Вошла довольно высокая, пухлая, увядающая женщина лет сорока пяти с длинными, пышно взбитыми волосами, полным ярко накрашенным ртом и чересчур подведенными липкими глазами.

— Позвольте убрать со стола? Самовар вскипел.

— Пожалуйста, пани Эмилия,— откликнулся Вениамин.

Пока медлительная хозяйка собирала посуду, Коротышка незаметно пощипывал ее за полные ляжки. Пани Эмилия делала вид, что не замечает этого.

— Во, кобылка! — восхищенно воскликнул Коротышка, едва пани Эмилия скрылась за дверью.

— Бывшая настоятельница бардака,— деловито доложил Вениамин.— Железная хватка. При нужде ни перед чем не остановится. В курсе всех наших дел. Единственная женщина в губернском отделении крестьянского союза...

— Вы, я вижу, умеете подбирать кадры. Чтоб и в деле, и в постели. Гы-гы-гы.— Умолк, отвел глаза, и тут же полное его лицо, словно отяжелев, расслабло в скорбной гримасе. И опять пальцы правой руки затанцевали по столешнице, отбивая тот же ритм, зашевелился, притопывая, правый валенок, и Коротышка глухо промурлыкал: — Турлюм-пум-пум, тарля-ля-лям... Да-а... Иногда кажется, все лучшее уже позади. Мечты, идеалы, эмоции. Впереди кошмарный самообман... С вами не бывает такого? — И не дав Вениамину рта раскрыть: — Не надо. Слова — призраки. Выпьем-ка лучше по последнему перед чаем.

Странную неуверенность и неловкость испытывал Вениамин рядом с этим человеком: уж слишком неожиданно переменчив и неуравновешен, черт знает, в каком качестве предстанет через минуту.

За чаем говорил Вениамин. Скоро в его голосе заструилось высокомерие и даже небрежение к собеседнику. Тот опустошал стакан за стаканом, слушал и молчал, лишь изредка задавал вопросы — короткие и громкие, как выстрел.

— Устрою вас командиром продотряда особого назначения. Там в основном наши. Продразверсткой деревня

накалена, недостает для взрыва малой искры. Ваша задача — высечь ее. Травить, тиранить сибирского чалдона, пока не взбеленится. Если разверстки окажется не-дос-та-точно для этого — придумаем какой-нибудь дополнительный побор. Надо вместе с зерном вытрясти из мужика веру в Советскую власть и большевистские декреты. Крови не боитесь?

— Смешной вопрос задаете, господин поручик.— Коротышка явно обиделся и медленно, не разжимая зубов, процедил: — Я имел честь служить в контрразведке адмирала Колчака. И не рядовым. Могу освежевать живым любого... даже вас. Без колебаний и сантиментов. Я — палач, если угодно-с. Профессиональный, образованный. И не дай бог когда-нибудь вам угодить в мои руки.— На миг растопырил короткие пальцы, с силой сжал кулаки так, что вздулись, резко обозначась, сосуды, энергично крутнул, будто вращая коловорот.— Все соки выжму. До последней капли.— Одной стороной лица изобразил подобие улыбки. Покривил правый уголок рта, подмигнул правым глазом.— Это для полноты знакомства, чтоб никаких неожиданностей.

Пауза вышла долгой и неловкой. Вениамин с трудом заставил себя улыбнуться и сказать деланно-шутливо:

— А ведь, пожалуй, это похоже на правду.

— Святая правда,— тихо и миролюбиво поправил Коротышка. Помолчал глубокомысленно, полузакрыв глаза.— Бедная правда. Ни с одной потаскухой не вытворяют таких мерзостей. Каждый вертит ею, как хочет. Правда — ком глины, из которой можно слепить и жалкого урода и божество. Все зависит от ваятеля. От нас с вами.— Гоготнул. Залпом опорожнил стакан остывшего чаю.— Хотелось бы услышать о губернских властителях, особо о Пикине и Чижикове. Имею поручение присмотреться к ним, держать под прицелом. Что за птицы?

— Пикин — за-яд-лый боль-ше-вик. Из крестьян. Наверняка из бедняков: уж очень люто ненавидит богатеев. Каждого кулака готов собственноручно к стенке. Отчаянный и решительный как сатана, никаких «но» не признает. Не задумываясь собственной башкой заткнет любую пробоину. А политик — хреновый: все норовит кавалерийским наскоком, атакой. Ну что еще?.. Не дурак выпить, но и пьян — не весел, все та же разверстка на языке. Типично русская натура — все с маху, все до дна... М-да.— Выдержал многозначительную паузу.— Тут об-

стоятельства на нашей стороне... Ответственный секретарь губкома Аггеевский — тоже рубака и отчаюга высшей пробы, только пограмотней. Революция произвела на свет божий новую породу Аггеевских — Пикиных. Для них нет порога, через который не переступили бы во имя мировой революции. В этом их сила и слабость...

— Ясно,— нетерпеливо перебил Коротышка.

Упрекнув его взглядом, Вениамин нимало не ускорил течение речи, напротив — сделал ее замедленнее да еще в голос подпустил снисходительного высокомерия.

— Чижиков — орешек-зуболом с потайным дном. Тоже ортодоксальный большевик и за Советскую власть воевал. Но трезвый политик и очень для нас опасный. Делает все, чтоб предотвратить взрыв. Зоркий, чуткий и хитрый, собака. Пока он лает под губернским потолком — куда ни шло. Но если выскочит за пределы, дойдет до Дзержинского, а то и до Ленина, тогда — все ку-вырком. Чижиков да Новодворов — главные противоборствующие фигуры! Новодворов, советский губернатор,— классический большевик, мудр и гибок. К счастью, пока они с Чижиковым не блокировались...

— Зачем ждать этого? — снова перебил Коротышка.

— Чего предлагаете?

— Убрать обоих.

— Дай бог вам успеха.

— В нашем деле бога по боку.

— Были двое сочувствующих нам в чека,— продолжал свою информацию Вениамин.— Чижиков унюхал — звериное чутье — вымел. Есть там на примете еще один, держу на крючке, а дернуть боюсь: сорвется. Ладно, если только крючок откусит, а то и рыболова...— выразительно прищелкнул языком.

— Гы-гы-гы! — заржал Коротышка.— Идейные вы, а трусоваты. В таком деле не тянут. Сорвался — добивай! Ручки боитесь запачкать? Так ведь они, по-моему, давно уже... Решили быть идейным вождем, вдохновителем и пророком? Воля ваша. Только тут и вождь должен уметь орудовать финкой, кнутом и отмычкой. Диалектика...

Нервическая бледность разлилась по лицу Вениамина, на носу и щеках проступили просяные зерна веснушек.

— Вы меня не так поняли! Да, мы, эсеры,— идейные враги Советской власти. У нас своя программа. И в принципах я неуступчив, Илья Ильич. Для нас насилие не ремесло, а крайняя, вынужденная необходимость.

Ухмылка сплющила плотоядные красные губы Коротышки.

— Знаем мы вашу идейность. Любите за дядину спину прятаться, чужими руками чтоб, а так... один черт — белогвардейцы.

Вениамин вознегодовал. Выпрыгнул из-за стола, замахал худыми руками, с вздрагивающих тонких губ слетел мужицкий матерок.

— Мы не брезгливы. Через все прошли. Если бы я рисковал только своей головой... Один неверный шаг может погубить великое, святое дело. Вы понимаете, что тут заваривается? Колчаку такое и не снилось. Речь идет о все-си-бир-ском крестьянском вос-стании против Советской власти. Сначала Сибирь, потом вся Русь... Но первый шаг делаем мы! Отсюда. Здесь раскрылится красный петух. Такое пламя раздуем, вселенское... а вы...— Небрежным взмахом руки обтер губы.— Нельзя забывать главную цель! Но во имя ее, ради нее я готов на все. Могу быть золотарем и вором, заложить душу дьяволу...

Затянувшаяся речь «вождя» прискучила Коротышке, он раза два зевнул, потянулся и наконец бесцеремонно перебил:

— Устал я с дороги. До завтра. Бурлю-пум-пум, тар-ля-ля-лям. Прилипчивый мотивчик, не правда ли? Спокойной ночи, товарищ Горячев. Гы-гы-гы!..

2

Разговор с Коротышкой так взволновал Вениамина, что он не прилег до рассвета. Курил папиросу за папиросой и думал.

Кто же он, Вениамин Горячев? Как получилось, что эсер оказался в одних рядах с этим Коротышкой, которому все равно, с кем, под чьим знаменем — лишь бы убивать красных? А ему, Вениамину Горячеву, если разобраться,— разве не все равно?..

Не будь большевистской революции, он был бы сейчас хозяин, господин... Большевики сожгли родное гнездо, расстреляли отца, растоптали мечту. Он ненавидел их до исступления, до судорог, до бешенства. Ненавидел и мстил. Но его возвышала в собственных глазах мысль о том, что он мстит не только за себя, что он служит высоким идеалам, отстаивает интересы крестьянства... ну, пусть не всего крестьянства, а крепкого, прочно стоящего

на земле хозяина-сибиряка — разве мало этого? И разве ради этого не стоит принять как должное союз с колчаковскими карателями и монархистами!

Цель оправдывает средства. Эсерам в одиночку не поднять такую глыбищу. Чтобы каленым железом, с мясом, с кровью, до седьмого колена выжечь большевизм, нужна сила. Без коротышек сейчас не обойтись. Свалим большевиков — очистимся, отмоемся, разберемся...

Но сам-то Вениамин Горячев, кто он в этой игре — туз или подкидная шестерка? Положа руку на сердце, верит ли он хоть на йоту болтовне собратьев по партии о будущей «свободной крестьянской России»? Или вся эта эсеровская мишура, все эти разговоры о высоких идеалах — только маскировка, удобный трамплин для прыжка к власти? Просто ширма для честолюбцев вроде него?.. Выходит, он лжет перед самим собой?

А, к такой матери всю эту мерихлюндию!.. Близится, близится желанное время — вот что главное. По множеству верных примет чувствует это Вениамин Горячев. Вызрела, выстоялась горючая, взрывчатая смесь. Не сегодня-завтра заполыхает пламя мятежа. Сколько шел к этому, через что переступил, чем пожертвовал! Второй год живет с тройным дном, с расщепленной душой. Честный русский офицер, доброволец и патриот, колчаковский поручик, эсеровский боевик в куртке приближенного губпродкомиссара... И все это за три года, часто помимо воли, силой обстоятельств. Осточертело думать одно, говорить другое, делать третье. И когда заветное, желанное рядом, преступно растрачивать душевные силы на дурацкий самоанализ. Хотел не хотел, думал не думал... Душу — на засов, чувства — в кулак и, не разжимая зубов, не колеблясь, не рассуждая,— к цели. Любой ценой. Любым путем — к цели!!

Посмотрел на часы. Приказал себе: «Хватит! И чтобы больше...»

Сгрудил посуду в угол, вытер стол, проворно разложил на нем бумагу, очинил карандаш. Подпер ладонями щеки. Прикрыл глаза, задумался, но уже не о себе, не о сути своего сегодняшнего бытия. Через минуту схватил карандаш, склонился над желтым листом и пошел засевать его бисерными буковками.

«Братья крестьяне!

Губпродкомиссариат принял решение до рождества вытрясти остатки хлеба из ваших амбаров и досрочно

выполнить разверстку. Уж больно хочется Пикину и другим товарищам комиссарам, чтоб на вашем рождественском столе не было ни пирогов, ни шанег. Прячьте хлеб насущный, политый вашим потом и кровью! Заступайтесь друг за друга! Не давайте брать заложников!

Хватит терпеть, братья крестьяне! Разгоняйте комиссарско-жидовские советы! Создавайте свои, крестьянские советы. Ставьте во главе их хозяйственных и рачительных мужиков. Созывайте сельские, волостные и уездные сходы и съезды, выносите на них приговоры против разверстки. Пишите о беззакониях и бесчинствах во все концы. Бейте исподтишка комиссарскую сволочь, их приспешников и охранников. Вылавливайте и бесшумно топите, травите, душите своих доморощенных большевиков — главных комиссарских пособников!

С нами бог! Да здравствует свободное сибирское крестьянство!

Северский губернский комитет
крестьянского союза».

Дважды перечитав написанное вслух, Вениамин удовлетворенно хмыкнул, расслабил плечи. Улыбка зазмеилась по тонким изогнутым губам. Завтра пани Эмилия распечатает листовку, и с верными людьми она разлетится по всем уездам губернии. Ее будут переписывать, с нарочными переправлять из села в село. Не одну мужицкую душу замутит она. Не один красный петух прокукарекает большевикам предновогодней ночью. Борьба разгорается. Все впереди...

3

Пани Эмилия, по документам Эмилия Мстиславовна Вохминцева, прожила бурную жизнь, и если бы не умение пользоваться косметикой и не многолетний постоянный уход за лицом, она выглядела бы несравненно старше и куда менее привлекательной.

Эмилия Мстиславовна появилась в Северске лет двадцать пять назад. Никто уже точно не помнил, с кем она приехала: одни утверждали — с тетей, другие — с матерью, третьи — с опекуншей, зато все в один голос твердили, что в ту пору Эмилия Мстиславовна была девицей необыкновенной красоты, одевалась изысканно, по последней моде, свободно изъяснялась по-французски и недурно музицировала.

Недолгое время Эмилия Мстиславовна кормилась уроками французского языка и музыки, которые давала на дому детям местных богатеев; потом, сделавшись хозяйкой в доме старого, богатейшего северского купца Колоколова, она целиком посвятила себя домашнему хозяйству и театру. На средства, собранные во время благотворительных вечеров, было выстроено новое здание драматического театра, на гастроли в город стали наезжать знаменитые актеры и целые труппы, и у Эмилии Мстиславовны было по горло хлопот.

На втором году замужества пани Эмилия (тогда ее уже называли так) разрешилась сыном. Северские сплетницы, готовые запродать душу нечистой силе только за то, чтобы первой узнать скандальную новость, утверждали единогласно, будто отец ребенка — не дряхлеющий, малоподвижный и болезненный старик Колоколов, а его молодой приказчик Момонов.

Первенец пани Эмилии оказался дебильным, причем настолько, что его пребывание в доме давало лишь пищу злопыхателям и завистникам, и младенца сплавили в какое-то очень глухое село не то к дальним родственникам, не то к знакомым старика Колоколова, где Гаврюша — так нарекли ребенка — и прожил безвыездно двадцать лет, резко выделяясь из сверстников силой, здоровьем и слабоумием.

За эти двадцать лет пани Эмилия схоронила двух мужей и вышла замуж в третий раз за кутилу и распутника Вохминцева, с которым вскоре и основала под видом ночного ресторана публичный дом для почтенных отцов семейств. Имена посетителей нового заведения хранились в глубочайшей тайне. У дома было столько потайных замысловатых ходов и выходов, что именитые гости были полностью гарантированы от неожиданности быть узнанными. Это принесло дому Вохминцевых такую популярность среди местных чиновников и купцов, что пани Эмилия, как говорили обыватели, «загребала деньги лопатой».

Незадолго до Февральской революции Вохминцевы решили расстаться с Северском. Где-то, не то в Питере, не то в Москве, они купили большой особняк, муж отправился туда наблюдать за ремонтом и отделкой, а пани Эмилия потихоньку стала сворачивать доходное предприятие, подыскивая стоящего покупателя всего заведения вместе с живым товаром.

Октябрьская революция пани Эмилию из седла не

вышибла. Едва в Северске установилась Советская власть, она распустила своих «девочек» и, превратив «нумера» в меблированные комнаты, предложила ревкому свои апартаменты для нуждающихся в жилье совслужащих. Тут был тонкий расчет. Не веря в долговечность новой власти, Эмилия Мстиславовна хотела любой ценой сохранить дом и годами накопленное добро.

Но одной управляться по дому было трудно. Бывшие верные слуги разбежались, а новых поди-ка подыщи в таком хаосе, да и вообще чужой в доме все равно что спящая змея за пазухой: не знаешь, когда и в какое место ужалит. Тогда-то пани Эмилия и вспомнила о Гаврюше.

Двадцатичетырехлетний верзила почти саженного роста, налитый неукротимой животной силой, вызвал у нее смешанное чувство восхищения и брезгливости. Гаврюша был круглолиц, краснощек, с полуоткрытым глуповатым ртом и отсутствующим взглядом медлительных водянистых глаз. На голове его кудрявилась буйная поросль нечесаных русых волос.

Гаврюшу привезли в город, вымыли, почистили и поселили в отдельной комнате в мансарде. Он работал как вол, ел за пятерых, спал в любом месте и в любой позе. Мать Гаврюша называл Эми, безропотно ей повиновался и любому ее обидчику готов был глотку порвать либо переломать хребет. А с дурака какой спрос? Так Эмилия Мстиславовна обрела вернейшего, к тому же безответного слугу с железными, беспощадными руками.

При Колчаке — Северск находился под ним более года, по август 1919-го — в меблированных комнатах жили офицеры на полном пансионе хозяйки, которая исправно заботилась не только о питании своих клиентов, чистоте их комнат и постелей, но и о их развлечениях. Ночной ресторан Вохминцевой не закрывался круглые сутки. Господа офицеры не жалели денег, когда их не было, расплачивались крадеными драгоценностями. Особенно буйные кутежи устраивал начальник дивизионной контрразведки Мишель Доливо — садист и половой психопат. Побывавшие в его руках «девочки» ни за что не соглашались на новую встречу с Доливо.

Пани Эмилия, однако, была достаточно благоразумна и по мере возможности старалась держаться в тени. И рестораном, и «девочками» она управляла через подставных лиц и делала это так ловко, что, когда в город вошла

Красная Армия, никто не мог обвинить Вохминцеву ни в чем предосудительном. Снова ее жильцами стали совслужащие, направляемые губисполкомом.

Пани Эмилия была уверена, что и на сей раз Советы продержатся недолго, но не особенно ясно представляла, как произойдет вся эта головокружительная метаморфоза.

Член коллегии губпродкомиссариата Вениамин Федорович Горячев появился у нее однажды вечером, сухо и сдержанно поздоровался, тщательно осмотрел свою комнату, спросил, будет ли она кипятить ему чай и стирать белье.

Каким-то совершенно непостижимым чутьем пани Эмилия угадала, что человек этот тоже из «бывших», и на его вопрос о чае ответила:

— Для таких клиентов найдется и что-нибудь поприятнее.

— Например? — Вениамин насторожился, поджал и без того тонкие губы.

— Кофе натуральный, а пожелаете — и горячительное. Самодельное, правда, зато добротное и крепкое...— говорила пани Эмилия, а глаза ее при этом выражали: «Напрасно таишься. Насквозь вижу. Не бойся, сама того же поля».

Вениамин, видимо, правильно расшифровал ее взгляд, нахмурил рыжеватые брови.

— Бла-го-дарю. Покорно бла-го-да-рю.

Он был скрытен и осторожен. Напрасно она обшаривала и обнюхивала его комнату вдоль и поперек, заглядывала под матрац, рылась в белье — никаких намеков на то, что предчувствие ее не обмануло, пани Эмилия обнаружить не смогла. Но однажды судьба улыбнулась ей. Она подслушала, как Вениамин говорил неизвестному мужчине, заночевавшему у него на правах старого приятеля: «Завтра около трех к вам на вокзале подойдет человек и скажет...»

На следующий день ровно в два она отыскала незнакомца на вокзале, произнесла подслушанную фразу и заполучила небольшой сверток. Вечером пани Эмилия без стука вошла в комнату Вениамина Федоровича.

— Вашего ночного гостя арестовали сегодня на вокзале.

— Какого гостя? — побледнел Горячев.— Что за вздор вы мелете, у-ва-жа-емая?

— Полно разыгрывать. Неясно разве? Его арестовали за час до встречи с вашим посыльным.

— Ка-кой по-сыль-ный? — по слогам выговорил Вениамин и резко встал.— Вы эти шуточки бросьте, мадам Вохминцева!

— Не орите,— спокойно осадила она Вениамина.— В коридоре слышно.— Выглянула за дверь, плотно притворила ее.— Про арест я выдумала. Просто чтобы вы знали: я ваш союзник. Что касается багажа, вот он.— И величавым жестом протянула ошеломленному Вениамину сверток. Медленно поднялась, надменно улыбнулась.— Если понадоблюсь, к вашим услугам...

Она понадобилась. Вениамин раздобыл пишущую машинку, пани Эмилия быстро выучилась стучать на ней, и вот на ее воротах появилось объявление, что здесь проживает машинистка, принимающая от частных лиц и учреждений материалы для перепечатки. Заказчиков оказалось немного, да и тех пани Эмилия сразу же отпугнула непомерно вздутой ценой, зато для Вениамина она работала безотказно, во многих экземплярах перепечатывая всевозможные послания и воззвания, инструкции и решения ЦК ПСР или сибирского крестьянского союза. Подлинники Вениамин сжигал собственноручно вместе с копирками, а копии куда-то сплавлял. За работу он исправно платил пани Эмилии деньгами, продуктами, спиртом.

По команде Горячева пани Эмилия размещала в доме (иногда даже в своей комнате) безымянных посетителей, которые, переночевав и поев, бесследно исчезали.

На первом организационном собрании Северского губернского комитета сибирского крестьянского союза по рекомендации Вениамина Горячева (собрание проходило в его комнате под видом вечеринки) пани Эмилию избрали в члены комитета и назначили его секретарем.

Чем глубже влезала она в деятельность эсеровских организаций, чем больше узнавала о подготовке мятежа, тем крепче веровала в близкий, неизбежный крах большевиков. Что будет потом, ее нимало не занимало, главное — она снова станет хозяйкой и ей, как прежде, нет, вдесятеро усерднее и безропотней прежнего станут прислуживать кучера, лакеи, горничные...

Последней каплей, заставившей пани Эмилию окончательно уверовать в близкую желанную перемену, явилась неожиданная встреча с Мишелем Доливо — бывшим начальником дивизионной контрразведки. Она не сразу узна-

ла его в Коротышке. Мишель был бритоголов, носил черную, аккуратно подстриженную бородку и короткие подковообразные усики, а его утиный нос был оседлан золотым зажимом пенсне. Аристократ до кончиков полированных ногтей, вылощенный, великолепно играющий на пианино, умилительно грассирующий «р», а этот — мужик мужиком, нечесаный, плохо выбритый, в кургузой гимнастерке. Она бы и не заподозрила в Коротышке того Мишеля Доливо, если б не обронил он вдруг намеренно тихо, неслышно и невнятно для Вениамина свое классическое «мег-си, мау-дам». И все-таки она не поверила, что это тот самый Мишель, пока не почувствовала на своем бедре его тяжелую вздрагивающую руку. Познав однажды, эту руку больше нельзя было спутать ни с какой другой. Мишель не однажды наведывался в заведение пани Эмилии вместе с яровским градоначальником, купцом Боровиковым, покутить, «пощупать цесарочек», как выражался он тогда. Но как неузнаваемо изменилась его внешность! Пани Эмилия приглядывалась к Коротышке со всех сторон, не находила ничего приметного от прежнего Мишеля Доливо и мысленно восхищалась им: «Вот это ловкач. Истинный актер!»

Глава седьмая

1

Зима двадцатого года замахнулась куда как здорово, а ударить не посмела. В середине октября выпал обильный снег, хрястнул по неувядшей, неопавшей зелени двадцатиградусный мороз, остановились реки, погибли под ледяным белым пухом конопля и картошка нерадивых мужиков. А через неделю погода нежданно отмякла, рассопливилась, развесила по карнизам изб пудовые хрустальные свечи, заблестела лужицами на солнцепеках, покрыла чернью дороги и тропки. Отстоял положенное октябрь и сгинул, тридцать раз загорались над землей поздние ноябрьские рассветы, а ни холодов настоящих, ни снегу так и не дождались сибиряки. Зато мелким дождичком не раз окропило осевшие сугробы, и те закаменели поверху, не гнутся, не рушатся под ногами, знай шагай-пошагивай по обдутому насту хоть до самого горизон-

та. Такой гололед вытвердел — и кованые кони с ног валились. Прогревало воздух по-весеннему солнышко, по утрам серые туманы пеленали землю. Только в декабре под михайлов день грянули наконец морозы, закружили, запели разноголосо вихревые непроглядные метели.

Зима всегда несла натруженным крестьянским рукам заслуженный, желанный отдых. Не праздное безделье, от которого, по мужицкому присловью, «мухи мрут», а некоторое послабленье зачугуневшим в работе мышцам. С осени по деревням и селам гремели копыта свадебных поездов. Никола, рождество, крещение, масленица... Да разве перечислишь все зимние праздники, а что ни праздник, то гульбища, веселые песни, гармоники и пляс, катания на лошадях и на салазках с гор, ледяные карусели и прочие забавы и веселья, в которых участвовали и стар и млад и от которых приятно кружилась голова, легчало на сердце, а жизнь казалась нарядней и ласковей, чем на самом деле. Были еще долгие зимние посиделки с гармошкой да припевками, с перемигиванием, перешептыванием, где незаметно для чужого глазу, ровно бы играючи, можно было на коленях у милого посидеть, ненароком любимую обнять, потискать ее, поцеловать в темных сенцах. Были святки с ворожбой да гаданиями, с ряжеными, что горластой оравой метались по сонному селу, врывались в избы, потешали, веселили мужиков и баб и не уходили до тех пор, пока не откупались от них угощением. У хорошего хозяина всю зиму не выводилось хмельное черное пиво — густое и терпкое, бродила и пенилась в корчагах брага, попискивала в четвертях медовуха. Бывало, редкий зимний вечер не прозвенит над сонными заснеженными улицами голосистая тальянка или тульская двухрядка, под которую, не щадя голосов, пели девки, ревели парни. Умели в праздники погулять сибиряки. Умели и любили. «Пей, гуляй — однова живем...»

Все это вроде бы совсем недавно было и в Челноково. Было, да быльем поросло. И теперь собирались парни с девками на вечерки, и теперь прогуливались с гармоникой по селу. Только пели не по-прежнему громко, плясали не по-прежнему лихо, веселились с оглядкой, все время настороже, все время чего-то ожидая. А после того как сожгли продотрядчиков, и вовсе притихло Челноково, вроде занедужило — всерьез и надолго. Даже комсомольский кружок самодеятельности развалился, и сколько ни

уговаривала Ярославна Нахратова своих кружковцев, не могла их собрать ни на спевку, ни на репетицию.

Особенно тревожно стало на селе с того дня, как дошла до челноковцев весть о непонятном, прямо-таки чудодейственном спасении Катерины Пряхиной. «Теперь жди беды»,— говорили старики. И ждали. Спали некрепко, кошачьим сном, на каждый поскрип полозьев, на каждое лошадиное ржанье вскакивали, выглядывали из-за занавесок, прислушивались. Подымались до свету, кое-как, наспех делали по хозяйству самое неотложное и тянулись за ворота, к людям: на миру-то ведь и смерть красна. Целые дни толпились в волисполкоме, ловили обрывки разговоров, заводили беседы с милиционером либо писарем, надеясь, что те проболтаются и выскажут что-нибудь важное. Под вечер, истомившись от неведения, мужики сбивались гуртом и шли к Онуфрию Карасулину.

Башковитым слыл челноковский партийный секретарь. На войне три Георгия получил, до офицера дослужился. Потом большевиком сделался, царя с престола спихивал. С Лениным ручкался. И прежде льнули мужики к Онуфрию: «растолкуй, как эту гумагу понимать», «присоветуй, как быть», «посмотри, ладно ль прошенье изделали...» Никогда не отмахивался Онуфрий от подобных просьб, даже если проситель был и не из Челноковской волости. А после того памятного дня, когда не побоялся Онуфрий заступиться за мужиков, схлестнувшись на глазах у всего села с потерявшим самообладание Пикиным, и вовсе непререкаем стал авторитет Карасулина. Даже самые зажиточные челноковцы и те первыми скидывали шапку перед Онуфрием, здороваясь с ним не абы как, сквозь зубы, как и здоровается всегда богатый с бедным, а громко, отчетливо выговаривая имя и отчество партийного секретаря.

Вот только в семье Карасулина после стычки с Пикиным совсем неспокойно стало. Посуровела ликом всегда улыбчивая, словоохотливая хозяйка дома — Аграфена. Стала от дверного скрипу вздрагивать, по ночам просыпаться.

Семнадцать лет минуло с тех пор, а все еще не угасла молва о том, как Онуфрий увел Аграфену убегом из родного гнезда. Была Аграфена единственной дочерью богатого яровского скототорговца Фаддея Боровикова, жила в достатке и в неге, окончила женскую прогимназию, слыла самой богатой невестой Яровска. Где столкнулись их

стежки — никто не ведал, но на другой день после торжественной и пышной помолвки с сыном яровского уездного исправника Томилина похитил ее Онуфрий.

Боровиков с двумя работниками кинулся по следу беглянки, да воротился ни с чем. Проклял Аграфену, отказал ей в наследстве и за семнадцать лет ни разу не встретился ни с дочерью, ни с зятем, ни с одним из четверых внуков. Сам не встретился и жене запретил. И хотя Марфа Боровикова слыла характерной женщиной, однако мужу покорилась и только изредка тайком встречалась с Аграфеной на подворье своей сестры да два раза в год под великие праздники посылала с верным человеком гостинца челноковским внукам. Но когда в девятнадцатом колчаковцы решили под корень извести семью неуловимого партизанского командира Онуфрия Карасулина, а гнездо его выжечь дотла, Марфа не только засыпала дорогими подарками начальника контрразведки Мишеля Доливо, но и заставила мужа, бывшего тогда яровским городским головой, заступиться и спасти Аграфену с детьми от верной гибели, а их хозяйство от полного разорения. Вряд ли сделал бы это Фаддей Боровиков, если бы не был уверен, что ненавистный зятюшка больше не покажется в здешних краях и песенка его спета навсегда.

А получилось наоборот. Закопав в укромном месте золотишко, порассовав по дальним и ближним родственникам наиболее ценное имущество, Фаддей бежал из Яровска вместе с отступающими колчаковцами. С тех пор о нем ни слуху ни духу. Бесследно затерялась в людском грозном водовороте и Марфа Боровикова.

Ранней весной двадцатого года, отпетая и оплаканная дочерью, Марфа нежданно объявилась в Челноково. В черной юбке до пят, в черном бархатном жакете, в черном полушалке, повязанном по самые глаза, с небольшим узелком в руках появилась она у ворот карасулинского дома.

— Примешь ли, зятек? — спросила от порога голосом, в котором не было ни смирения, ни раскаяния, а скорее вызов.

Онуфрий кинул окурок в горловину пылающей русской печи, подле которой застыла потрясенная Аграфена, и без колебаний, спокойно, будто нимало не удивился появлению тещи, проговорил:

— Проходи, как раз на пироги угадала.— И ушел, оставив женщин наедине выплакаться, выговориться.

Позже от жены Онуфрий узнал, что, как только Яровск заняли красные и все боровиковское имущество было конфисковано (в двухэтажном доме разместился уисполком), Марфа, завернув в узелок несколько платьев да икону, которой ее под венцом благословляла мать, ушла с родного двора. Пожила-пожила у знакомой игуменьи в Северском монастыре, да заскучала по родным и объявилась в Челноково, как летний снег на голову пала.

— Боится она,— шептала ночью Аграфена в круглое хрящеватое ухо мужа, а сама жалась к нему упругим горячим телом.— Из-за тебя страшится.

— Бог не выдаст — свинья не съест,— отшутился Онуфрий.

— Ой, Онуфрий. У меня тоже со страху сердце щемит. Придерутся к тебе за мать, припомнят все дерзости твои...

— В кого ты у меня такая трусливая? — спросил Онуфрий, широкой шершавой ладонью ласково оглаживая волосы жены.

— В тебя,— жарко дохнула Аграфена и ткнулась губами в мужнину шею...

С той поры Марфа осела в семье Карасулина. Крепка и сильна была пятидесятилетняя Марфа. Телом бела. На тугих щеках румянец — любая девка позавидует. Осанка — гордая, походка — величавая.

Не любила Марфа крестьянский труд, зато отменно владела искусством шить да вышивать, и скоро модницы со всей округи протоптали стежку к карасулинскому крыльцу, завалили Марфу заказами. Старшая дочь Онуфрия, пятнадцатилетняя Лена, вызвалась помогать бабке рукодельничать и так пристрастилась к делу, что незаметно сама стала мастерицей.

Вскоре после стычки Карасулина с Пикиным кто-то настрочил письмо в губком партии: крестьяне-де возмущены действиями волостного партийного секретаря, который пригрел жену колчаковского карателя Боровикова. Письмо было составлено опытной рукой — что ни строчка, то заноза мнительному начальству. Не иначе, мол, Марфа — связная между Онуфрием и притаившимся где-то недалеко Фаддеем Боровиковым. И еще неизвестно кому служил Карасулин — колчаковцам либо красным: почему-то беляки не тронули ни его хозяйство, ни семью, тогда как семьи других коммунистов пострадали. Под видом заказчиков ходят к Марфе Боровиковой подозрительные люди. И не случайно умчался Онуфрий за сеном в ту ночь,

когда сожгли продотрядовцев, неспроста на виду у всего села надерзил губпродкомиссару, защищая от возмездия врагов революции и Советской власти. Не постарайся Карасулин, не свезли бы мужики разграбленное зерно за ночь, не спаслись бы от заслуженной кары челноковские кулаки вместе с провокатором попом Флегонтом... Письмо заканчивалось советом присмотреться к Карасулину и не дать ему сгубить волостную партячейку. Адресовалось послание лично Аггеевскому.

2

Ответственному, или первому, секретарю Северского губкома РКП(б) Савелию Павловичу Аггеевскому еще и двадцати пяти не исполнилось. Прежде таких зелеными называли, говорили, что у них «молоко на губах не обсохло», а этот уже два года откомандовал конармейским полком, был начальником агитпропа армии, дважды ранен, слыл лихим рубакой и твердокаменным большевиком. Одиннадцатый месяц доходит, как он руководит Северской губернской партийной организацией.

Узкоплечий, тонкий в талии, верткий и непоседливый, Аггеевский не любил кабинетных дел. Митинги, сходки, собрания, речи, словесные перепалки — вот его любимая стихия.

Когда Пикин доложил Аггеевскому о челноковских событиях, Савелий Павлович вскипел, сказанул несколько хлестких обидных фраз о Чижикове, пожурил губпродкомиссара за то, что не настоял на своем, и тут же распорядился по телефону секретарю Яровского укома партии Гирину собрать коммунистов Челноковской волости и с позором изгнать Карасулина из партии, как двурушника и провокатора.

Северская губерния была огромна — от Ледовитого океана до казахских степей. Леса в ней обильны и дремучи. Реки не мерены, озера не считаны, болота не хожены. Ни дорог путных, ни связи. На два миллиона крестьянских душ шеститысячная горстка коммунистов, половина из коих и расписаться-то не умеют. И эта горстка должна была сдержать волну мелкобуржуазной стихии, образумить, убедить, повести за собой обозленного продразверсткой, распаленного кулацко-эсеровской агитацией своенравного сибирского мужика.

А добрая половина партийных и советских руководи-

телей губернии, особенно агитпроповцы, имели о деревне и крестьянине весьма отдаленное и смутное представление, вольно или невольно подыгрывая левакам, заболевшим «революционной чесоткой». И сам Савелий Павлович никогда землю не пахал, в деревне не жил, в секретарское кресло угодил под сильнейшим нажимом сверху и совершенно неожиданно: заболел тифом, застрял в северском госпитале, а тут — губернская партконференция...

Жизнь не отпустила Аггеевскому и трех часов на то, чтобы осмотреться на новом месте, приспособиться к незнакомой обстановке. Еще не закончился пленум, на котором его избрали ответственным секретарем губкома, а чья-то рука подсунула записку: «Ремонтники депо отказались работать, требуют встречи с вами. Митинг в четыре дня. Ждем». Часы Аггеевского показывали половину четвертого...

И повалили события, одно другого важней, чрезвычайней. Телеграфные и телефонные провода не поспевали проталкивать поток информации — неотложной и совсем необязательной, очень важной и пустячной,— которую низовые партийные комитеты считали необходимым передать в губернию. Почти каждая информация заканчивалась тревожным вопросом: что делать? У Аггеевского к концу дня начинало ломить виски, он прикуривал папиросу от дымящегося еще окурка,— а груда дел все росла и росла.

Чем только не приходилось заниматься ответственному партийному секретарю — от борьбы с сифилисом до сбора гусиного пера. И мудрено ли, что Савелий Павлович забыл проверить, исполнил ли секретарь укома указание губернского комитета об исключении Карасулина, да и сама эта фамилия не всплывала в памяти Аггеевского до тех пор, пока ему в руки не угодил донос на Карасулина. Это случилось перед самым выступлением Аггеевского на совещании секретарей волостных партячеек южных уездов губернии, где присутствовал и Онуфрий.

Целый час Аггеевский говорил о международном и внутреннем положении Республики Советов, о новых наскоках Антанты, о происках внутренней контрреволюции. Собравшиеся откровенно дивились, как складно и горячо говорит губернский партийный секретарь, и все ждали, когда же он наконец заведет речь о делах губернии, о продразверстке.

Когда оратор припал пересохшим ртом к стакану, Карасулин, не выдержав, выкрикнул:

— Вы бы нам обсказали, до коих пор у нас в губернии с трудящимся мужиком, ровно с кулаком, обращаться будут?

Разом взвились пчелиным роем недовольные голоса:

— Бают, к рожеству прикончат разверстку,— а с чьих закромов?

— Один кулак хлеб сгноил, вся деревня в ответе. Пошто так?

— Все стращаем мужиков. Далеко ль так-то поедем?

Скрестив на груди руки, Аггеевский молча выслушал всех, потом, тряхнув чубом, прикипел сощуренным глазом к Карасулину и недобро спросил:

— Ваша фамилия, товарищ. Откуда вы?

— Карасулин, из Челноково.

— Я так и подумал. Не хотел говорить о вас на таком представительном собрании, но, видно, придется... Подумайте, товарищи. Бывший партизан Карасулин приютил в своем доме жену ярого антисоветчика, карателя Боровикова. Спас от заслуженной кары злейших кулаков, виновных в мученической гибели целого продотряда.— Голос Аггеевского забирал вверх, становясь все тоньше и напряженней.— Карасулин открыто выступает против продовольственной политики Советской власти — единственно верного пути спасения революции от гидры голода. И он смеет называться коммунистом, секретарем волячейки? Тут явное недоразумение. Либо Карасулин только по обличью красный, либо он дремуче неграмотен, ему нельзя доверять руководство волостной партячейкой...

— Мне это руководство капиталу не прибавляет. Только время да хлопоты. — Карасулин встал, развернул мускулистые плечи, ожег Аггеевского насмешливо-злым взглядом.— Жена Боровикова — моя теща. Не вчера, не сегодня ей изделалась, почитай семнадцать годков. Семью мою спасла при Колчаке от верной погибели. Советской власти не вредила и за мужа не ответчица. Со двора мать моей жены и бабку моих детишек не погоню. Мы хоть и мужики, благородным манерам не обучены, а тоже люди. И свою шкуру заместо барабанов подставлять не станем. В деревнях земля под ногами горит, а вы тут, язви вас, псалмы поете. Свиньи от барана не отличат, а мужиком управляют. Разуйте глаза, поглядите, чего вокруг деется. Книжники!..

И ушел не оглядываясь. Не слышал, как, перекрывая шквальный гул, дрожащим от бешенства голосом Аггеевский прокричал в ухо Чижикову:

— Сейчас же арестуй его!

— Не убежит,— отозвался встопорщенный Чижиков.

— Я приказываю от имени губкома.

— Аггеевский еще не губком.

— Убежит — головой ответишь.

— Почаще о своей думай.

— Забываешься, товарищ председатель губчека,— медленно процедил Аггеевский сквозь стиснутые зубы.

В нем напряглась и трепетала от гнева каждая жилочка, непроизвольно сжимались и разжимались кулаки, а суженные глаза метали молнии из-под насупленных бровей. Сейчас бы он этого кулацкого горлопана, а заодно и слюнтявого предгубчека... Не дрожала прежде рука Аггеевского и теперь не дрогнет. Себя не щадил, но и других не миловал. Врагов надо не убеждать, а уничтожать. А тут стой и слушай. Заняньками, зацацкались с кулацкой мразью. Сейчас бы: «Шашки вон! Эс-с-кадро-оон!» Там было все ясно. А тут этот Чижик желваками ворочает. Откуда ВЧК выкопало его? Только строчит докладные. Какие законы, какие кодексы, когда революция задыхается от голода, а куркули гноят в ямах хлеб? Эх...

Кипел, клокотал Аггеевский. Негодовал и на Чижикова, и на Карасулина, и на тех, кто слушал челноковца разинув рот. Только распусти, позволь, уступи — превратят губком в мишень для острот и критики. И не приметишь, как ощипают революцию под шумок.

3

С темнотой приползла поземка и давай шипучим языком сахарные сугробы облизывать, белую пудру с них сдувать. Небо серым полотном отгородилось, укрыв проклюнувшиеся было волчьи глаза звезд. Все чаще, все сильней порывы ветра. Мелкие белые опилки закружились в воздухе. Смолкли дворовые псы, забившись в подветренные закутки. Кучно теснились в хлевах овцы. Беспокойно вздыхали, переступая на месте, коровы. Старики и дети забрались на пышущие жаром русские печи, зарылись в теплые тулупы, постланные на полатях. Все живое спешило в укрытие, в тепло. И только этот одинокий путник был рад непогоде, и чем свирепее становилась метель, тем

свободней и увереннец чувствовал он себя на завьюженном большаке, ведущем в Челноково.

Дойдя до околицы, путник остановился и долго стоял, прижимаясь спиной к воротному столбу и пытливо всматриваясь в белые вихры метели. Селом шел, как незнакомой таежной тропой, поминутно озираясь, сторонясь редких встречных. У свертка к воротам карасулинского дома остановился. Заметив в сугробе ведущие к огороду глубокие следы, верно ребячьих ног, пошел по ним, норовя ступать след в след. Начерпал валенки, несколько раз тыкался руками в снег, прежде чем добрался до крохотной избенки-малухи, в которой в зимнюю стужу или в осеннее ненастье стирали белье, трепали куделю, били шерсть. Вынул палочку из пробоя, тихонько приотворил дверь, протиснулся в проем. Прижав спиной дверь, вздул спичку. Крохотное пламя осветило небольшую бревенчатую избушку. В левом углу каменка с вмазанным в нее котлом. Вдоль толстенных, туго проконопаченных стен протянулись широкие толстые скамьи из лиственничных плах. У одной стены притулился небольшой, грубо сколоченный стол. Бочка, ведро, коромысло на деревянном шпиле, вбитом в стену, несколько невыделанных овчин на полу. Все это за короткие мгновения, пока горела спичка, пришелец сумел разглядеть и мысленно оценить пригодность каждого увиденного предмета.

Когда спичка потухла, он подхватил с полу негнущуюся овчину, втиснул ее в оконный проем, потом достал из котомки свечу и зажег. Припер поленом дверь. Осмотрел, ладно ли замаскировано оконце, неспешно расстегнул и сбросил задубевший на морозе армяк, скинул шапку, распахнул полушубок. Выдохнул белое облачко пару.

— Холодно, ешь твою маковку,— проскрипел хриплым с морозу голосом.

Посмотрел на сложенные у печки дрова, вынул из-за голенища валенка широкий большой нож, прислушался к заполошному вою метели и стал щепать лучину. Высушенные до звона сосновые поленья разом пыхнули и запылали, весело потрескивая, постреливая искрами. От распахнутой топки повеяло теплом. Гость смахнул полушубок, присел на корточки, подставил лицо потоку горячего воздуха. Освещенное неровным красным пламенем, оно было диковато и страшно: свалявшаяся, давно не чесанная борода — сивая от обильной проседи, кирпично-красная кожа щек иссечена глубокими морщинами, набряк-

шие покрасневшие веки, вздувшиеся отеки под глазами, встопорщенные жесткие седые брови, из-под которых хищно посверкивали глубоко упрятанные в глазницы маленькие глазки.

В малухе скоро потеплело настолько, что пришелец скинул старомодную суконную поддевку и остался в синей сатиновой рубахе.

Хлеб в котомке закаменел на морозе. Подцепив краюху на конец ножа, гость сунул ее в огонь. Хлеб подгорел, продымился, но так и не оттаял как следует: крошился под ножом, распадаясь на неровные куски. Зато мороженое сало резалось легко, и он накромсал целую стопку аккуратных, ровных ломтиков. Выпив полную кружку самогону, смачно крякнул и стал жадно закусывать.

Усталость, тепло и самогон повязали разум и тело, притупили чутье. Раскорячив ноги, уперся плечами в стену, припал к ней кудлатой взлохмаченной головой и сыто захрапел.

Как ни крепко спал, а сразу проснулся от стука упавшего полена. Увидел высокую мужскую фигуру, окутанную клубами морозного пара. Схватив со стола нож, кинулся на вошедшего. Встречный удар кинул плашмя на пол, вышиб сознание.

Первое, что почувствовал он, придя в себя,— рот полон липкой соленой влаги. Выплюнул шматок загустевшей крови. Матюгнулся. С трудом сел, опираясь руками в пол.

— Да это, никак, тестюшка, Фаддей Маркович? — донесся насмешливый голос Онуфрия.— Вот уж не чаял. Кабы знал...

— И на том спасибо,— сплевывая кровь, буркнул Боровиков. Поднялся с полу. Тяжело плюхнулся на скамью, осмысленно огляделся по сторонам. Больше никого. И то слава богу. В кармане полушубка наган. Добыть бы его. Тогда разговор пойдет по-иному.

— Вышел скотину глянуть, чую дымом наносит. А тут огонек в оконце, овчина-то оттаяла и упала, надо было чем-нибудь тяжелым прижать.— Онуфрий наклонился, поднял хрустнувшую овчину, положил вместе с другими. Насмешливо прищурясь, царапнул ледяным взглядом ошарашенного тестя, но заговорил с веселой укоризной: — Вот, язви тя, родственничек объявился. Почитай, двадцать годков не виделись, а он с ножом...

— Поблазнилось со сна черт-те что, в память еще не пришел, вот и кинулся,— как можно миролюбивее и вино-

ватее проговорил Боровиков, соображая, как бы подобраться к полушубку.

— Я на зло не памятлив. Мало ль чего промеж своих не случается.— Онуфрий выкатил ногой из-под стола чурбак, поставил на попа, сел.— Ну, гостенек дорогой, придвигайся к столу. Выпьем со свиданьицем, поговорим. Самогонка есть, сало доброе.

— Знобко чтой-то, должно, со страху. Накину полушубок.

— Ну-ну,— ухмыльнулся Онуфрий.— Валяй. Только со страху никакой полушубок не спасет.

«Спасет! — ликующе возразил про себя Боровиков.— Еще как спасет. Опосля сам увидишь...»

Выпили молча.

— Зачем пришел? — строго спросил Онуфрий.

— Вот это по-родственному.— Боровиков деланно засмеялся. Оборвал смех, словно подавился.— Может, сдашь меня в чека?..

— И без чека могу душу вытряхнуть.

— Это точно, могешь,— без иронии подтвердил Боровиков.— У вас, коммунистов, завсегда так: за добро злом. Кабы не мои хлопоты да не мои денежки, был бы ты теперича горемычным бобылем...

— Потому и сижу с тобой, разговариваю. Выкладывай, зачем пожаловал.

— В родное гнездо потянуло,— смиренно отозвался Боровиков.— По своим стосковался.

— Значит, надоело белый свет коптить,— полувопросительно, полуутвердительно заключил Онуфрий.

— Может, кому и надоело,— голос Боровикова твердел, наливался металлом, в нем все явственнее проступали угрожающие нотки.— А я еще хочу пожить, да краше прежнего. Боровиковы как ванька-встанька. И гнемся, да не валимся, и валимся — не падаем, а падаем — встаем. Вашему комиссарству скоро конец. Натерпелся мужик вдосыть от вашего владычества. Теперь я тебе ой как опять пригожусь.

— На такого живца не клюю. Отродясь не петлял позаячьи. И на испуг меня не возьмешь,— жестко, хотя и негромко проговорил Карасулин, с трудом сдерживая нараставший гнев.— Ишь заступники, защитники крестьянские. Иде вы были, когда Колчак мужиков порол шомполами, на виселицы вздергивал? Зад белогвардейцам лизали? Объедки с офицерских столов караулили? — Онуфрий

уже не сдерживал себя, громыхал свирепым голосом во всю мощь.— Не криви рыло! Насквозь вижу. Вам бы только мельницы назад воротить, да лавки, да дома, да власть. Пить, жрать, баб тискать...— вот и вся ваша программа, вот за ради чего мужика-то науськиваете на Советы. Учуяли, стервы, жареным запахло, поползли со всех щелей. Расшибить бы песью башку твою к разэдакой матери...

Боровиков всунул руки в рукава полушубка. Теперь он свободно мог вынуть из кармана наган. Это приободрило, пожалуй, даже взвеселило Фаддея Марковича. В нем закипела озорная ярость. Сейчас он покажет выскочке зятьку, чей верх. На коленях будет стоять, на брюхе поползет товарищ большевик. Понатешится над ним Боровиков за все: за украденную Аграфену, за позор бегства из родного дома, за отнятое богатство, за этот удар — за все, сразу и сполна.

— Шибко занесся ты, Онуфрий. Думаешь, коммунистическое званье ума тебе либо богатства прибавило? Был ты и есть г... в проруби!

Возликовал, увидев, как побагровело лицо Онуфрия, налились кровью глаза. Злой, звериный восторг охватил Боровикова. Он задыхался от злорадства, брызгал слюной и орал:

— Что с того, что ты за революцию башку подставлял? Двинули тебя товарищи пинком под зад — и весь разговор. Для мужиков ты — красный черт, для большевиков — белый сатана. И те и другие открещиваются. Хи-хи-хи...

— Ах ты гад! — Онуфрий ошпаренно вскочил.

Боровиков тоже сорвался с места, сунул руку в карман и похолодел: нагана не было. А железная рука Онуфрия сграбастала уже тестя за отвороты полушубка, легко подтянула к себе, и страшный удар в подбородок вмял Боровикова в стену. Как же он не заметил раньше этот серп, прижавшийся у порожка? Сделав вид, что валится на пол, Боровиков ухватился за ручку серпа, победно взвыв, занес над головой смертоносное лезвие и ринулся на Онуфрия. Тот метнулся навстречу нападающему и, прежде чем Боровиков успел вонзить в него серп, ударил тестя под дых. У Фаддея Марковича заклепало горло, надломился позвоночник, ставшие вдруг ватными ноги не сдержали, и он стал медленно оседать, выронив серп. Онуфрий не дал тестю упасть, поддержал, приподнял, по-

дождал, пока тот утвердится на ногах, и со всего размаху, с мужицким «кха» влепил такую оплеуху, что голова Боровикова едва не сорвалась с красной бычьей шеи. Снова придержал падающего, выровнял и свирепым ударом сокрушил наповал...

Долго неподвижно лежал Боровиков, дышал натужно и редко, с каким-то жутким хлюпаньем. Вот он заворочался, со стоном сел.

— А-а... Так... Значит, так...— сипел раскачиваясь.

— Одевайся,— медленно вытолкнул Онуфрий сквозь зубы,— и вали отсюда к такой матери. Чтоб духу твоего...

Покачиваясь, цепляясь за стены, глухо постанывая и охая, Боровиков вывалился на улицу, почти ползком добрался до того места, где перелезал забор, и заковылял прочь, к центру спящего, темного села...

Проводил Онуфрий тестя взглядом, повертел в руках боровиковский наган, поблагодарил судьбу, что надоумила ощупать тестевы карманы, пока тот очухивался на полу. Замахнулся было наганом, чтоб зашвырнуть в снег, да раздумал. Тревожные времена наступают, может, и сгодится боровиковская хлопушка. «Живуч, вражина. И придавить нельзя... Семью спас. Аграфену от изгальства, от позору уберег. Правильно сделал, что отпустил. И никому об этой встрече — ни своим, ни чужим».

Но неспроста, видать, явился тесть в село. Боровиковы понапрасну башкой не рискуют. Вот-вот вспыхнет и пойдет пластать... Тогда уж не удержишь. Сейчас еще можно, пожалуй, а завтра... Как объяснить им? Разве он сам не частица той силы, что направляет и двигает продовольственную разверстку? А что сделал он, чтобы исправить перегибы, предотвратить взрыв? Успокаивал мужиков? Сдерживал продотрядчиков? Первым вместе с товарищами вывез причитающееся с него по разверстке зерно?.. Позорно мало! Ведь он — большевик да еще партийный секретарь целой волости...

«Завтра собрание ячейки, будут меня с секретарей спихивать. Могут из партии турнуть. Мороз по коже. Не дай и не приведи... Возликует Боровиков... Выходит, и чужим и своим — поперек глотки... Вот тебе и мирный труд. В Москву бы сейчас, пробиться к Ленину. Узнал бы, выслушал, поверил. Он правду сыздаля чует... Нельзя уходить теперь. Скажут «сбежал», трусом запятнают. Можно бы это стерпеть, да как мужиков кинуть в такой момент?.. Написать? Ну как дойдет? Непременно должно дойти...

И вот он снова в малухе. Подбросил дров в печку, отодвинул свечу на угол стола, положил перед собой вырванный из конторской книги лист, послюнявил языком острие карандаша и медленно, буква по букве вывел первую строчку: «Дорогой товарищ Ленин». Прикрыл глаза, задумался, затвердел лицом. Снова склонился над письмом и уже не отрываясь, хотя и очень медленно, дописал его до конца. Шумно выдохнул скопившийся в груди воздух, отложил карандаш и долго разглядывал письмо, вертел его перед глазами, даже зачем-то посмотрел на свет, подышал на него, как мальчишкой дышал на затянутое морозным узором оконное стекло, чтоб прочистить глазок. Бережно погладил лист широченной тяжелой ладонью и вполголоса стал перечитывать написанное:

— «Дорогой товарищ Ленин. Пишет тебе крестьянин села Челноково Яровского уезду Северской губернии большевик Онуфрий Карасулин. Может, ты припомнишь, как беседовал со мной про сибирских мужиков, в Смольном, возле пулемету. А не припомнишь — и так ладно, не в знакомцы набиваюсь. Пишу потому, что более не знаю, кто мог бы беду постичь и отвести от сибирского крестьянина. Озлили его разверсткой. И не тем, что хлеб берут, а тем, как берут. А берут его и все другое только силой. Кулак ли, середняк ли — все едино. Ежели вражина какой кулацкий хлеб погноит, так за то у всей деревни до зернышка выгребут. Овец зимой стригут, стельных коров забивают. А кулаки и всякие белые недобитки тут как тут со своими наговорами. Подбивают крестьянина Советскую власть рушить, большевиков кончать. И не миновать беды, ежели не наведут порядок с разверсткой.

Ты-то ведь знаешь: сибирские крестьяне не все кулаки, большинство — честные пахари, сами себя кормят, они понимают нужду и голод, какие Россию терзают теперича, и готовы помочь всем, чем возможно. Есть, конечно, и среди них — только «дай» выговорить умеют, так тех можно и понудить, но сперва хорошенько поагитировать. Кулаков никто не жалеет и не обороняет, только надобно их допрежь отбить от мужичьего стада, чтоб стояли на особицу, на виду, а опосля и действовать как с эксплуататорами.

Знаю, недосуг тебе письма читать, их, поди-ка, мешками прут каждый день. И писать бы и жалиться не стал, да нету выхода. Я в твою партию вступал потому, как она самая праведная, за трудящегося готова жизнь отдать.

И мужики потому за большевиками шли. Пропиши мне, а тово лучше — в газетке пропечатай, как ты думаешь про наши северские дела. Да поспеши, не успеем мужикам глаза разуть, так схватятся за вилы. К тому клонится. На то их толкают кулаки и белая нечисть, а в Сибири ее, сам знаешь, лопатой греби.

Затем извини, что потревожил.

Поклон тебе моего семейства и от наших коммунистов, и от всего крестьянства.

Остаюсь член большевиков села Челноково Онуфрий Карасулин. Писано в ночь на 20 декабря 1920 года».

4

— Тятя, тятенька! — надорванным плачущим голосом выкрикнула Лена и с разбегу остановилась посреди комнаты, прижав стиснутые кулаки к груди.

— Чего ты? — встревожился Онуфрий. Больно уколол палец шилом. Слизнул выступившую кровь, отбросил подшиваемый валенок.— Кто за тобой гонится?

— Чижиков... губчека...

— Где Чижиков? — метнулась к дочери Аграфена.

— Сюда идет. Тятю арестовывать. Кориков говорил...

Испуг выбелил круглые щеки Аграфены, расширил и без того большие иконописной красоты и кротости глаза. Комкая длинными пальцами концы черного головного платка, женщина заметалась по комнате.

— О господи! Так и знала. Это тебе за Пикина, за Аггеевского...

— Перестань! — строго прикрикнула на дочь Марфа, поджав тонкие губы и нахмурясь.— Ступай в горницу, Лена. А ты, Агаша, испей водицы и становись к печке. Попотчуешь дорогого гостенька свежими шанежками.

В дверь громко постучали.

— Входи! — крикнул Онуфрий, подсучивая дратву.

Вошел Чижиков. Кинул на лавку рукавицы, снял шапку.

— Доброго здоровья, хозяева.

— Здравствуй, коль не шутишь,— неторопливо откликнулся Онуфрий, поднимаясь навстречу. Подошел, пожал руку.— Разболокайся. Дрова не покупные. Сейчас шанег хозяйка напечет, почаевничаем.

— Вот это кстати. Промерз и голоден как бездомная собака.

Онуфрий испытующе вглядывался в лицо гостя, встретился глазами с его жестким, пронизывающим взглядом, спросил:

— Пришел арестовать меня?

— Значит, грешок за собой чуешь? — Чижиков старательно пригладил ладонями светлый ершик на голове, сощурил в улыбке холодные серые глаза.— Выкладывай как на исповеди.

— Все хотят исповедывать, а каяться некому. Познакомься-ко вот пока с моей хозяйкой. Груня, покажись гостю.

Бледная Аграфена вышла из-за ситцевой занавески, поклонилась Чижикову.

— Слышал о вас много доброго. Говорят, полсела у вас грамоте выучилось. И дома вроде народной библиотеки...

— Что вы,— зарумянилась смущенная и польщенная Аграфена.— Библиотеку бы в селе открыть. А то на все Челноково, кроме нас да отца Флегонта, ни у кого и книги не сыщешь, разве что Евангелие.

— Крепко в бога-то верят?

— По-разному. Кто разумом, кто привычкой. Худо человеку без веры: не на что опереться... Сгорит моя стряпня.— И нырнула за занавеску.

— Грамотная у тебя хозяйка.

— По нашим понятиям даже шибко грамотная,— не без довольства согласился Онуфрий.

— Вот бы ее заведовать женотделом при волисполкоме.

— И не думай,— сразу отрубил Онуфрий.— Сам угодил как кур во щи, да еще бабу туда же...

— Что-то я тебя не пойму,— насторожился Чижиков.

— Чего непонятного? Так разжевано, грудной младенец сглотнет, не подавится... Да ты садись, не в церкви.— Подождал, пока гость усядется, сел напротив.— Значит, не видать по мне, что во мне? Тогда слушай. Заблудился я... На войне был — точно знал, где свои, где чужие, кого бить, кого оборонять. Зимний брал — все яснехонько было: буржуев свергать, большевиков ставить. С Колчаком дрался — никаких сомненьев. Свои с чужими отродясь не путались. Теперь вроде бы жизнь в берега вошла, отстоялась, а ни хрена не разберу. Замахиваюсь на чужого — бью своего. Сею правду — кривда растет. Тогда с Пикиным сцепились. Мог ведь он меня и в расход, рука б не дрогнула... Нам бы с им в оберуч, а он за наганом. И се-

кретарь губкома к врагам меня определил. Либо я как слепой возле огорода, либо их замотало. Убей — не пойму...

Хозяйка поставила на стол сверкающий пыхтящий самовар, тарелки с солеными груздями, квашеной капустой, моченой брусникой, подала на сковороде стреляющую, брызгающую расплавленным жиром яичницу с салом, а сама опять к печке шаньги печь.

— Давай, Гордей Артемыч,— пригласил хозяин,— ты, бают, кузнецом был, а я с мальства землепашец. Кузнецу без хлебушка, что пахарю без лемеха. Оттого серп-то и прикипел к молоту... Со свиданьицем.

И вот уже на столе горка ароматных, румяных и пышных шанег с творогом и морковью, пирожков с груздями, обливных сдобных сметанников.

— Кушайте, Гордей Артемович, не поморгуйте, как у нас говорят...

Шаньги удались на славу. Чижиков ел и нахваливал. Потом вынул кисет.

— Попробуй нашего,— предложил Онуфрий, распуская горловину кожаного мешочка.— Редчайший самосад, с приправой. Дух сладкий, а крепость — конь с одной затяжки кверху копытами.

— Хорош табачок,— закурив, похвалил гость,— весь в хозяина, сразу наотмашь и наповал.

— Так уж отцом приучен ходить в дверь.

— Хороша выучка. Прямо завсегда короче.

— Коротка пряма дорожка, а идти по ней трудней.

— Легкого пути ищешь? — Чижиков прицелился взглядом в раскрасневшееся крупное, будто из бронзы отлитое, лицо хозяина.

— Легкого не ищу, трудного не хочу,— неожиданно засмеялся тот.— Не пытай меня, Артемыч, я пытаный. Я от бабушки ушел и от дедушки ушел, а вот из губчека, говорят, не воротишься.

Чижиков засмеялся. Ему нравилась Онуфриева манера говорить. Снаружи вроде мягко и шутейно, а изнутри — прицельно, остро и откровенно. Помолчал, пуская дым, и, посерьезнев, спросил:

— Разверстку выполнили?

— По зерну дотянули было, так еще накинули. Сгребли недобор со всей волости и на наши плечи. Теперича нами любую дырку затыкай. Рыло в пуху — не мяукай.

— А остальные?

— Наихуже с мясной. Время для забоя не подходя-

щее: коровы стельные, телята маленькие. Помешкать бы чуток, так Пикин удила закусил, ни в какую.

— Что в селе думают?

— Что думают, то и поют. — Заметил недоумение на лице Чижикова, снял с гвоздика балалайку, шаркнул по струнам и, приглушив голос, пропел:

На осине, на вершине
Голубок качается.
Собирайте, мужики,
В разверстку масло, яйца.

— Это только листики, вот цветочки:

Хлеба ныне уродились,
Песни пели по селу.
Продотрядчики явились,
Все амбары — под метлу.

Белолицая Аграфена, скомкав передник, смотрела на мужа с откровенным ужасом и мольбой. Онуфрий ободряюще подмигнул ей, кинул звенькнувшую балалайку на лавку. Принялся сворачивать папиросу.

— Это кто ж такое сочиняет? — нахмурился Чижиков. — Уж не та ли, что тогда...

— Маремьяна-то? Не-е... Поозоровать, верно, любит. А это — кулацких рук дело, за версту видать.

— Сволочи, — глухо выговорил Чижиков. — Кумекают, какой корень рубить, чтоб дерево повалилось.

— То-то и оно, — Онуфрий повернулся к жене. — Дайка, Груня, уголек. — Прикурил от красного угля, несколько раз затянулся. — Сочиняют — еще полбеды, петь начинают мужики под ту дуду — вот это похужей. Поднапортил нам Пикин...

— Что ты все на Пикина валишь? Сам-то разве не понимаешь, кому и зачем нужна продразверстка? Ленин скрепя сердце подписал о ней декрет. За семь лет войны да разрухи нас как липку ободрало, ветерком качает. А тут неурожай. В Поволжье с голодухи мертвяков едят. В Питере детишки пухнут. Не одолеем голод — революции и Советской власти конец. Это тебе понятно? Конец. Где сейчас хлеб взять, окромя Сибири? Негде. Надо бы не задарма брать, а чем платить? Где выход? Чего молчишь? Твоя власть к тебе за советом обращается, а ты в молчанку играешь...

— Тут не до игры, язви тебя. Нюхни. Кровушкой пахнет. И впрямь, верно, нет другого ходу, раз Ленин таку бумагу подписал. Только и в дверь по-разному войти

можно. То ль хозяином, то ль гостем, то ль прохожим. Перво-наперво надо, чтоб на сходах сами питерцы да волжане так рассказали мужикам, особливо бабам, об этом голоде, чтоб слеза прошибла, чтоб никакого сомнения.— Онуфрий жадно глотнул остывшего чаю, расстегнул верхнюю пуговицу косоворотки, потер ладонью треугольник обнажившейся груди.— И не шарьте вы своими паклями по мужицким закромам, не хозяйничайте на его подворье. Знаешь ведь сам, чего в деревнях делается... С уваженьем, с терпеньем надо к мужику!..

— Ты этим словечком не играй. Мужик только на поглядку одинаков, а колупни его! Маркел Зырянов и Гришка Чепишкин оба мужики...

— Нет. Гришка Чепишкин не мужик. Дерьмо. Кто позже просыпается, ране ложится? Гришка. Чья пашня с огрехами, прокос с петухами? Гришки. Топорище себе изладить не умеет. Мужик! Я б такого в батраки с приплатой не взял. На ем даже комары засыпают. Советская власть на работящего мужика должна опираться...

Чижиков слушал, размеренно пристукивая по столу костяшками пальцев, и чем дальше развивал свою мысль Онуфрий, тем больше мрачнел председатель губчека. Серые глаза его потемнели, сузились. Чувствовалось: он с трудом сдерживается, чтобы не перебить Карасулина. И едва тот договорил, как Чижиков сразу ринулся в атаку.

— Знаешь, чьи это песенки? Знаешь или нет? — наседал он на Онуфрия.— Кулак — труженик, бедняк — лодырь. Это Маркела Зырянова припевка и таких, как он, мироедов. Слышал, сколько в России безлошадных мужиков? Думаешь, от хорошей жизни идут они за кусок хлеба батрачить на кулачье...

— Помешкай,— резко перебил Онуфрий и даже кулаком по столу пристукнул.— С чужого голосу поешь. Мужицкой жизни не нюхал, Сибири не знаешь, а так рубишь — одни щепки от лесины остаются. Ежели у мужика башка тверезая и руки работящие, не прощелыга он, то в Сибири завсегда себя и семью прокормит. По себе сужу. Один на шесть ртов роблю. Всяко бывало. Но побирушничать, шапку ломать...— Сложил огромную фигу, потряс ею над столом.— Земля у нас плодовита, что хошь родит. Сенов хватает. Лес под рукой. Рыбу в реках пригоршнями черпай. Орехи, ягоды, грибы, дичь всякая. Помене спи да помене бражничай — будешь и с хлебом,

и с табаком. Только болезнь либо беда какая — мор там на скотину иль пожар — могут согнуть мужика. И то не навовсе. Глянь-ко на Зоркальцевых. Отец однорукий, сын одноногий, а живут куда как справно, голову ни перед кем не клонят. Это — настоящие мужики. Сибирская косточка!

— Значит, у вас ни кулаков, ни середняков, только работящие либо ленивые?..

Широченной ладонищей Онуфрий прикрыл вздрагивающую руку Чижикова, легонько жамкнул ее. Пододвинул свой кисет. Медленно свернул самокрутку, старательно наслюнявил край, аккуратно склеил.

— И слепому видно: мужик не под одну гребенку стрижен. Есть одни руки на шесть ртов, а есть шесть рук на один рот. У Маркела Зырянова до прошлого года боле восьмидесяти коров было, а овец, свиней и прочей живности — не сосчитать. Своя маслобойка. До десятка работников в сезон держивал. А Максим Шукин? Чуть разве послабее будет. Но большинство наших мужиков сами себя кормят. Не бедуют, но и не жируют. В твердом достатке живут, а достаток тот вот здесь произрастает.— Кинул руки на стол ладонями вверх. Огромные, задубелые, темно-коричневые ладони иссечены глубокими морщинами, заляпаны бляшками сухих мозолей. Чем-то, непонятно чем, эти ладони показались Чижикову схожими с пашней, и он никак не мог отвести от них взгляда, пока Онуфрий не перевернул руки и не стиснул пальцы в громадные гиреподобные кулачищи.— Тут и богатство, и сила крестьянина. А богатеев и мироедов с трудягами мы сами поравняли, сами сбили их в един гурт. Почитай-ка приказы губпродкомиссара иль Яровского упродкома. Говорим, что деревня, мол, неодинакова, в ей богатеи и бедняки, а грозимся всем сряду, без разбору. Изъять весь хлеб, дополнительное задание на все хозяйства, заложников со всей деревни.— Сокрушенно покачал головой, досадливо акнул, отмахнулся.— Большинство в Челноково, да и вокруг,— крепкие середняки. Стоящие хозяева. С ими дружить надо, а мы... Хорошо, что наш мужик Ленину да Советской власти верит, а то давно б... Но ежели мы и дале так будем... Удумали вот каким-то штурмом в десять ден разверстку доконать по хлебу. Ленин дал срок до марта, а мы наперед батьки скачем. И не хотим растолковать мужику, с чего заспешили. А недруги наши ему уже про тот штурм листовочку подкинули. Как тебе это глянется?

Вот над чем голову сломай, а думай. Да живехонько, чтоб успеть наперед жизни забежать, а не под хвост ей засматривать.— Возвысил голос: — Не гоните разверстку! Уберите погонял из деревни. Заместо их — агитаторов сюда. Дайте поостыть мужику, разобраться, что к чему. И не принижайте в ем хозяина. Умейте просить. Вот мой сказ. Теперь — руби! — И нагнул тяжелую большую голову, будто подставляя ее под секиру.

С механической размеренностью Чижиков жевал сметанник, не чувствуя ни вкуса, ни запаха. Ему необходимо было что-то делать, иначе бы он не усидел, не смолчал. Его уже не раз подмывало вскочить, пробежаться по комнате, дать выход подкатившему к горлу волнению, но он хоть и с трудом, а пересиливал, сдерживал себя. Когда же Онуфрий умолк и можно было и нужно было говорить, Чижиков растерял и слова, и мысли. Он понимал: надо обязательно и решительно высказаться, подвести черту этому важному разговору. Но что сказать? Ведь он, Чижиков, член губкома и разделяет ответственность за все его действия и решения... И чтобы как-то продолжить разговор, Чижиков спросил:

— Скажи, Онуфрий Лукич, это правда, что ты разговаривал с Лениным?

— Было.

— О чем?

— Спросил он меня: кто да откудова. Узнал, что из мужиков, из Сибири, шибко обрадовался. Это, грит, хорошо, сибирский мужик за Советскую власть пошел. Он ить самый сытый и крепкий во всей державе. Помещиков не знавал, жил вольготно. Так прямо и высказался. Потом, само собой, поговорили о кулаках, о середняках. Кулака-то Ленин окрестил самым заядлым врагом. Никаких перемириев с им быть не могет, его только давить. Зато, грит, середняк навроде камыша на ветру: то налево, то направо его колыхает. Сегодня за нас, завтра супротив. Половинка к нам лепится, другая от нас отстает. Надо удержать его подле себя. Это чертовски...— так он сказал,— чертовски трудно сделать будет сибирским большевикам... Тут подошел какой-то матрос. Ленин поручкался со мной и напоследок просил передать мужикам, что верит в них. Вот и все.

Чижикову вдруг опять вспомнилось напутствие Дзержинского. Тот сказал примерно то же, что и Ленин. Запамятовали об этом, упустили — и вот результат... Нужно

решительно и немедленно что-то предпринять. Что? Как? Убедить бы президиум губкома...

— С чего закручинился, Гордей Артемыч?

— Я ведь в самом деле приехал арестовывать тебя.

— За чем же дело? — спокойно, без малейшей заминки откликнулся Онуфрий.— Нищему собраться — подпоясаться.

— Оружие забыл, а без него какой конвоир.

— Я тебе наган свой подарю.

— Прибереги себе. Сгодится.

— К тому катится. Исхитриться бы, запал у врага вынуть, чтоб не рванул под ногами...

— Знаешь как? — От нетерпения поскорее услышать ответ Чижиков даже встал.

— Не по моей голове задачка. Только кумекаю — выход все ж таки есть. Приструнить продработников, самых зловредных судить, отлепить от Советской власти, от коммунистов. Дать мужику оклематься, рассудить своим умом, где лево, где право. Размежевать с кулаком, чтоб тот на виду и на особицу оказался...

— Нужный ты революции человек, товарищ Карасулин,— негромко, но очень проникновенно выговорил Чижиков.— Трудно тебе будет на таком ветровороте. Поберегись.

— Кому быть повешенным, тот не сгорит. Ты ведь тоже под прицелом ходишь, Гордей Артемыч. Не дремли. Почаще оглядывайся. А в трудящегося мужика верь...

— Бывай,— Чижиков протянул руку.— Спасибо за угощенье. Такие шаньги и не снятся теперь российскому мужику...

— Нынче-то шаньги. А вот дотянем ли до лета... В обрез оставили.

— Будешь в Северске — не обходи. Всегда рад. Случится нужда какая... дай весточку.

— Добро, Гордей Артемыч.

Онуфрий проводил гостя до крыльца, вернулся в избу и у самого порога, как срубленный, рухнул на скамью. «Зачем вчера выпустил этого гада? Через Боровикова весь бы клубок размотали. Где-то здесь затаился. Отыскать...»

5

Рука едва коснулась щеколды, как та вдруг выпрыгнула из-под пальцев, и не отскочи Чижиков в сторону,

боднула бы его стремительно и с силой распахнутая калитка. Мимо пробежала девчонка, не глянув даже на отпрянувшего, долетела до крыльца и вдруг повернулась, и Чижиков узнал секретаря волостной комсомолии Ярославну Нахратову. Узнала его и Ярославна, подскочила запыхавшаяся, растрепанная, ухватила за рукав полушубка:

— Где он?

— Кого потеряла? — добродушно спросил Чижиков.

— Карасулин где?

— Чаевничает дома.

Она впилась в него расширившимися глазами, полными сомнения и тревоги, и, видимо, поверив, разом обмякла, выпустила чижиковский рукав и виноватым, но еще не остывшим от волнения голосом спросила:

— Вы его не арестовали?

— Как видишь,— улыбнулся Чижиков.— Давай вернемся — арестуем, если надо.

— И вы еще шутите!

— Пойдем-ка с чужого двора.

Взял ее под руку, вывел за калитку, и они медленно пошли серединой дороги, обстреливаемые из всех окон любопытными взглядами. Пока молчали, Чижиков присматривался к девушке.

— Что ты так переполошилась? В правоту своей власти не веришь? — улыбчиво спросил он.

— Верю. Но сейчас все так перепуталось, не пойму ничего. То Пикин на Онуфрия Лукича с наганом, то Аггеевский его публично к врагам революции, теперь вы... И в селе смутно, тревожно. Расплаты ждут. Не говорят об этом, а по всему видно — ждут. Мальчишки игру придумали в трибунал. Судят да расстреливают поджигателей...

— Найти бы их,— ввернул Чижиков.

— Давно бы, может, нашли, кабы не сыр-бор с Онуфрием Лукичом. Те, кто его перед губкомом чернит, похоже, нарочно внимание хотят отвлечь.

— В корень смотришь! — подхватил Чижиков: она высказала то, в чем он сам уже почти не сомневался.— Донос на Карасулина в губком не крестьянская рука составляла. Но кто? Может, ваш поп поусердствовал?

— Нет! — решительно запротестовала девушка.— Он уважает Онуфрия Лукича да и не доносчик по натуре, говорит, что думает...

— Ну теперь понятно, почему ты этого попа в комсомол вовлекаешь,— с деланной веселинкой в голосе сказал Чижиков, а сам прикипел к девушке острым взглядом.

— Никуда я его не вовлекаю,— отпарировала Ярославна сердито.— И не смотрите на меня так. Не все попы контрреволюционеры. Не будь Флегонт с богом повенчан, это был бы незаурядный человечище...

— А ты не задумывалась над тем, что дружба с попом кидает недобрую тень на тебя и на всю комсомольскую ячейку?

— Нет! — Ярославна даже приостановилась на миг.— Хороший человек не становится злодеем только оттого, что на нем ряса или...

— Погоны,— вставил Чижиков.

— Пусть даже погоны. Мало ли офицеров перешло на нашу сторону, сражалось за Советскую власть? Конечно, я понимаю: они — исключение. Но все равно... И вообще, по-моему, нельзя все достоинства человека мерить его взглядами. Я считаю свои идеи, свои убеждения самыми правильными, самыми человечными. Поп Флегонт не разделяет наших идей, но он — человеколюб, правдоискатель, миротворец, почему же он — мой враг? — Заметила протестующий жест Чижикова и заспешила договорить: — Сейчас, наверно, не время рассуждать о каких-то общечеловеческих добродетелях. Но ведь они есть. Достоевский, например, не был революционером, но он был самым талантливым в мире проповедником добра, исступленно защищал человеческое в человеке. Кто он — друг или враг? Видите? Тут получается живая диалектика. По ней и надо оценивать события и людей. Наверное, я не очень внятно высказала...

— Вполне внятно. Только ты не заметила, как забежала вперед, годков на пятнадцать, а может, и на двадцать пять. Будет время, когда мы станем ценить людей по-твоему: не торопясь, все взвешивая, делая скидки, уступки. Тогда ошибка в оценке не страшна и поправима. Но не теперь! — Голос его стал жестким.— Теперь кто не с нами, тот против нас! Ты ведь была на войне. Видела. Пережила. Чего ж тебя заносит? Я ни Достоевского, ни диалектики не знаю — не учил. Плохо, конечно. Но я знаю одно: сейчас самое главное — сберечь диктатуру пролетариата, не дать ей покачнуться. И тот, кто ее не поддерживает, тот наш враг. Нельзя шагать серединой реки, можно только берегом, и ежели не правым, то левым.

Либо-либо. Вот какая диалектика на настоящий момент. Такой она и будет до самой мировой коммуны... Снова взведены курки. Прозеваем — полыхнет. Нельзя допустить, ну а вдруг? Надо точно знать, кто рядом, на кого опираться, кого опасаться. Серединщики, те, кто ни вашим, ни нашим, в такую критическую минуту — хуже врага: не знаешь, то ли руку тебе протянут, то ли нож в спину. Не так разве?

— Все верно,— раздумчиво и как-то отрешенно произнесла Ярославна. — Хотя Флегонту я все-таки верю. А в целом вы, конечно, правы: теперь иначе нельзя. Я сама чувствую, что надвигается...— Вздохнула громко и вполголоса продекламировала:

И черная земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи.

— Черная земная кровь сулит нам мятежи. Очень верно. Кто такие стихи сочинил?

— Александр Блок.

— Из дворян?

— Нет. Вырос в семье ученых. Интеллигент до кончиков ногтей. А стихи пишет...

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем...
Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!..

— Ловко! — восхитился Чижиков.— Таких бы стихов да побольше, да чтоб народ их слышал... А мне говорили: ты только любовные стишки знаешь да ими потчуешь деревенских.

— И любовные знаю,— улыбнулась девушка.— Какая поэзия без любви? Тургенев любовь с революцией сравнивал. Я как-то прочла пушкинское стихотворение «Я вас любил», так девушки потом замучили меня — перепиши да перепиши...

— Сдаюсь.— Чижиков вскинул руки над головой.— Хорошо — наскочила на меня. А то когда бы встретились да разговорились. Такое время — не до речей... Да, вот что, чуть не забыл... что ты думаешь о Катерине Пряхиной?

6

Женщина словно из сугроба вынырнула и поплыла серединой дороги — легко и быстро, чуть на отлете держа правую руку и слегка помахивая ею в лад мелким, ровным шажкам. Одета она была по-зимнему нарядно: короткий, отороченный мехом полушубок, шерстяная серая юбка, белые аккуратные валенки. Зимний наряд не скрадывал изящества фигуры. Чижиков подсознательно попридержал жеребца, чтобы полюбоваться летящей походкой женщины.

Та даже не оглянулась на скрип полозьев и, только когда морда жеребца поравнялась с ее плечом, не оборачиваясь, отступила на шаг в сторону, пропуская лошадь.

Из-под цветастого полушалка Чижикова окатили озорным блеском зеленовато-серые глаза и дразнящая белозубая улыбка. И он сразу узнал: Маремьяна! Гордей Артемович не смог сдержать улыбки, и она разлилась по его скуластому с острым носом и твердым подбородком лицу, стерев с него выражение суровой озабоченности. И сразу стало видно, что председатель губчека совсем молод. Слегка привстав в кошевке, он бесшабашно крикнул:

— Берегись, красавица! Сомну!

— Мята трава шелковистей.

— Далеко ли?

— К постылому — далеко, к милому — рядом.

— Садись, подвезу.

— А ежели присушу?

— Дай бог.

Она уселась рядом. Подобрала полы полушубка, зажала коленями. Покосилась насмешливым глазом и засмеялась воркующе. У Чижикова пересохло в горле.

— За глаза тебя прозывают Железный Чижик. Издаля ты и впрямь суровый и жестокий — не подступись, а вблизях...— И снова засмеялась, да еще веселей, еще задиристей.

— И что ж вблизи? — прищурясь, лукаво спросил Чижиков.

— Вблизях ты баской. Ягодиночка.

Смуглое, подрумяненное морозцем лицо Маремьяны лучилось неизбывным молодым здоровьем и весельем. Огромные зеленоватые глаза поддразнивали, зазывали. Чижиков молодцевато шевельнул плечами, как заправский лихой кучер, привстал, гикнул — и рысак понес. На

поворотах их прижимало друг к другу, и Чижиков совсем рядом видел алую щеку, уголочек блестящего озорным счастьем глаза, затаившуюся смешинку на краешке пухлых ярких губ.

Маремьяна повернула к нему лицо, рукой в цветной узорной варежке заправила под полушалок выбившийся черный завиток.

— Не узнаешь?

Он узнал бы ее в любом наряде, в любой толпе, но, сам не зная почему, сделал вид, что силится, да никак не может припомнить. Маремьяна понимающе прикрыла глаза длинными, будто наклеенными черными ресницами и вдруг пропела:

Ох, любовь какая злая,
Широка и глубока,
Захочу и загуляю
С председателем чека.

— Во, черт! — восхитился Чижиков и захохотал.

— Опять не узнаешь? — довольная игрой, весело изумилась женщина.— Говорят, чекисты, как совы, глазасты. Сам меня тогда в заложники вписал.

— Маремьяна Глазычева?! — с деланным удивлением воскликнул Чижиков.

— Шибко догадлив.

И опять пропела:

Семиструнна балалайка
Ходит-бродит вдоль села,
Угадай-ка, угадай-ка,
С кем я ночку провела.

— Вот это уж не по моей части.

— Ой ли?

— Ей-богу.

— Так тебе и поверила...

Милый, выгляни в окно,
Одари хоть взглядом,
Неужели все равно,
Кто со мною рядом?

От близости Маремьяны, от ее голоса, от быстрой езды Чижиков будто пьянел. С ним творилось что-то пугающее и радостное. Внутри, в неподвластной рассудку и воле глубине,— крохотный язычок пламени, который, ка-

жется, еле теплился, вдруг разом полыхнул, окатил заревом, обдал жаром все тело, маковыми пятнами проступил на запавших серых щеках, запокалывал кончики пальцев. Смахнув рукавицы, сбив на макушку шапку, Чижиков жадно глотнул хмельного ядреного воздуху, и у него закружилась голова. А Маремьяна прямо в душу ему глядела распахнутыми во всю ширь колдовскими глазищами, смеялась и пела.

Черт знает, как она пела! Голос струился из самой донной душевной глубины, вынося наружу столько чувств — сильных и ярких,— что коротенькие, на погляд пустяковые деревенские припевки, спетые Маремьяной, вдруг обретали какой-то глубинный смысл, и, слушая их, Чижиков замирал от восторга и неосознанной, сладкой тревоги. В нем росло и росло, заполняя все существо, запретное, необоримое желание.

Оно внезапно вспыхнуло еще тогда, на сходе, в челноковском Народном доме. Чижиков разгневался на себя и, как ему показалось, одним властным движением напрочь смел со своего пути это нелепое, непрошеное чувство, намертво подмял, расплющил его — без раздумий и сожалений. Правда, наутро, неведомо почему, он все-таки позвонил начальнику Яровского домзака, узнал, освобождены ли челноковские заложники, и очень обрадовался, услышав, что те уже дома. Сегодня, пока шел от волисполкома до дома Карасулина... нет, не думал о ней, но все чего-то ждал, оглядывался на каждый стук калитки, на скрип шагов.

А Маремьяна пела:

Голубого не носить,
В оборочках не нашивать.
Нам друг дружку не любить,
Парочкой не хаживать...

Сердце бьется, сердце рвется,
Ровно голубеночек,
Ждет тебя и не дождется,
Дорогой миленочек...

Круто выгнув шею с развевающейся заиндевелой гривой, громко отфыркиваясь и всхрапывая, широкой размашистой иноходью мчался рослый гнедой жеребец. Легкая кошевка все время запрокидывалась, скользя то на левом, то на правом полозе. До тверди утоптанный снег хрустел под копытами, по-собачьи взвизгивая под коваными полозьями. Ветер полоскал длинный конский хвост, кружил

снежные крошки, хлестал по раскрасневшимся лицам Маремьяну и Чижикова.

— Целоваться-то тебе дозволено? — долетело до него.

Губы у нее холодные, трепетные, медовые.

В счастливых, хмельных глазах Маремьяны отразилось ослепительное солнце. Заглянул в них Чижиков и выпустил вожжи.

— По-чалдонски вот как целуются...

Обхватив его за шею, прикипела губами к губам.

Левую вожжу затянуло под полоз. Гнедко по колено забрел в снег, остановился.

— Сумасшедшая,— переводя дух, выговорил Чижиков тихо, с такой боязливой ласковостью, словно опасался, как бы не рассыпалась, не растаяла эта сказочная явь от звука его голоса.

— Наверно,— согласилась Маремьяна, кончиком языка поводила по губам, положила голову ему на грудь.

Даже сквозь полушубок он почувствовал ее щеку и, словно растворясь, перестал ощущать себя, сознавать происходящее. Обнял Маремьяну так сильно, что та охнула...

Жеребец призывно заржал. Откуда-то издали долетело ответное ржание. Чижиков стряхнул оцепенение, подобрал вожжи.

— Помешкай,— просительно протянула Маремьяна.— Посидим малость. Так хорошо. Боле этого не будет... О-ой...

В этом, словно из самого сердца исторгнутом бабьем «о-ой» было столько и радости, и боли, и безнадежности, что у Чижикова зубы скипелись.

— Ты что, Маремьянушка?

— Назад мне надо... Вишь, деревня. Сто глаз в ей. Все насквозь высмотрят. За себя не страшусь, ко мне не льнет. А ты ить чека. Такое понаплетут... Сейчас вот... Чуток отойду — и обратно в Челноково.— И с горькой улыбкой, прикрыв влажные глаза, договорила, будто простонала: — И вся стежка наша, Гордеюшка...

— Да ты куда шла-то?

— К тебе. С того дня иду...

— Как же ты? — спросил потрясенный и счастливый Чижиков.

— Сказала мужику: к сестре в Лариху сбегаю, принарядилась и скараулила.

— Маремьянка ты, Маремьянка...

Она взяла его руку, прижала к своей щеке,

— Не чаяла, что эдак-то бывает. Прости, коли...

— Ты хоть подумала?

— Зачем?

— Я ведь...

— Знаю.

— И не боишься?

Маремьяна отстранилась. Сказала с вызовом:

— Не хватает мне тепла, вот и жмусь к огню.

— А ну сгоришь?

Снисходительно и жалостливо посмотрев на него, улыбнулась царственно, вроде милостыню подала, и совсем тихо пропела:

Головешкою не шает,
Как костер любовь горит.
Только счастье тот познает,
Кто на том огне сгорит.

— Послушай, Маремьяна...

— Молчи. Ни словечка. Не было ничевошеньки. Померещилось... Прощай.

Коротким поцелуем обожгла Гордеевы губы, выскользнула из кошевы.

Чижиков зажмурился и долго сидел в диковинном забытьи. Когда открыл глаза, дорога до ближнего лесочка была пуста. И впрямь, как во сне...

Нехотя пошевелил вожжами.

Жеребец вышел на дорогу и остановился.

— Чего ты? Давай.

Лошадь побежала нешибкой рысью.

И сразу заклубились мысли, путаясь и переплетаясь. И не было уже в них только что промелькнувшей сказки — была явь, суровая и неотступная. Мелькали лица, обрывки фраз — своих и чужих, безответные вопросы, запоздалые решения, сомнения, догадки... Аггеевский настоял, чтоб арестовать Карасулина... «Если даже в заявлении липа — все равно надо проучить распоясавшегося горлопана»,— так заключил секретарь губкома. Чижиков мог послать в Челноково любого оперативника из губчека, но что-то не позволило ему поступить так. Захотелось встретиться с Карасулиным, высказать ему все, выслушать его, а уж тогда исполнять приказ. И сейчас Чижиков был рад, что не обидел, не оттолкнул, не обозлил этого человека. Обнаженно откровенен Онуфрий. Такие не гнутся, падают во весь рост... Он нужен сейчас деревне больше хлеба, бесстрашный большевик-правдолюбец.

С ним воевать — под собой сук рубить. Как объяснить Аггеевскому? Карасулинская мужицкая правда — колюча и зубаста, ее не погладишь, не потреплешь по загривку, она кусается, но отмахнуться от нее — значит отмахнуться от голоса трудового крестьянства... А тут еще Маремьяна... Откуда свалилась? Вот уж действительно — снег на голову. И, верно, ведь забыл, как целуются. До сих пор каждая жилочка... А вдруг... Замер от внезапной мысли. А вдруг — западня? И тут же решительно отмел: чушь, такого не подделаешь! Заводила, смутьянка, говорят, баб против разверстки настраивала, и такая... Силушки невпроворот. Рвется, где пожарче да поострее. Зыряновым на руку. Подзуживают. Середнячка да еще баба — ухвати-ка!.. Сама себя в беду бросит. Сгорит. И частушки-то у нее — огонь.

Сама, что ли, сочиняет?.. Кориков настоял, чтоб включили в список заложников. Глядел на нее, как кот на сало, а в ухо дудел: «Провокаторша, саботажница, под середняцкой скорлупой — кулацкое ядро...» Липкий и скользкий. Все норовил Карасулина под удар подставить. «Вот и поконтактируйся с партячейкой», «Разберись-ка, где кончается большевик и начинается анархист». И иное подобное гудел по пути к Народному дому, а, перехватив недобрый взгляд Чижикова, запел по-иному, хотя и ту же песню. Излишне, мол, резок, рискованно смел Карасулин в суждениях, не хватает ему гибкости да мягкости, а это вредит делу. Карасулин же на вопрос Чижикова, хорош ли Кориков как председатель волисполкома, ответил: «Я б ему мирское стадо не доверил, не то что волость».— «Что так?» — «Для себя живет, к себе гребет. Отца продаст, жену заложит, лишь бы мягко, тепло и сытно было». И никаких расшифровок, никаких подтверждений сказанному, а Чижиков поверил. Бывает так, глянул раз человеку в глаза, услышал его голос — и уверовал в него. Так и получилось... А к Корикову надо присмотреться. Да поживей... Не связан ли с Маркелом Зыряновым? Очень может быть, что тот причастен к поджогу... Ухватить бы ниточку, глядишь — в самый клубок приведет. Ударить без промаха, когда нащупается вражья сердцевина! Каждый час на счету. Успеть бы, не прозевать искру... А тут Маремьяна... Вот занесло. И замужняя. И не ко времени... Где оно, это время?.. Сколько она пробыла рядом? Полчаса? Час? Все перевернула, в другой цвет окрасила... Как же дальше? Без нее...

Развернул жеребца и погнал вскачь назад, в Челноково. Маремьяна стояла у дороги в первом перелеске.

— Загадала. Вернешься — полюбишь. Ох, Гордей. Не уговаривай, не зови — сама... Побереги себя. Приду. Жди. Любый... Теперь уезжай. Кому сказала? А то собачонкой по следу побегу. Ну? Да поезжай же...

Чижиков опомнился, когда жеребец отмахал от этого перелеска верст пять...

Глава восьмая

1

Две страсти было у челноковского попа Флегонта — книги и песни. Пристрастие к чтению и стало первопричиной вступления Флегонта на необычную для крестьянина стезю служения богу.

Первое знакомство Флегонта с книгой произошло при необычных обстоятельствах. В то время в челноковском приходе священником был отец Варфоломей — одинокий с причудинкой старик, прозванный Живыми Мощами за свою редкостную худобу. Был у Варфоломея единственный в селе сад, в котором кроме смородины и малины росли еще яблоки и даже сливы. Этот сад не давал покою челноковской ребятне. Высшей доблестью у нее в ту пору почиталось нарвать яблок или слив в запретном поповском раю, где каждый клочок был любовно обихожен и засеян разными диковинными цветами, которые, впрочем, юные налетчики оставляли неприкосновенными, вероятно, потому, что, изловив похитителя, Варфоломей никогда не бил его и не водил к отцу с поличным, а долго совестил и грозился небесными карами, после чего отпускал с миром, не изъяв даже награбленное.

Раз августовским смурым и душным днем, когда Варфоломей то ли крестил, то ли отпевал кого-то в церкви, а его кухарка судачила с соседкой на скамеечке у ворот, девятилетний Флегонт забрался в поповский сад за яблоками. Это был не первый его набег на Варфоломеевы владенья, и он наверняка закончился бы благополучно, если б вдруг на глаза Флегонту не попался большой иллюстрированный журнал, который лежал на подстилке, кинутой в зарослях малинника.

На обложке журнала был нарисован портрет молодой женщины, такой необыкновенно красивой и яркой, что, раз глянув на нее, Флегонт не мог уже оторвать загоревшегося взгляда. Крадучись он подобрался к журналу, вгляделся в портрет и почувствовал какое-то странное, не испытываемое прежде волнение, словно увидел крохотный кусочек сказочной страны, той самой, о которой по вечерам рассказывала бабушка.

Осторожно, не дыша Флегонт стал перелистывать страницы. На каждой была какая-нибудь картинка, одна удивительней другой,— они открывали перед потрясенным, зачарованным мальчиком все новые и новые виды того сказочного царства-государства, что притаилось за морями, за горами, за широкими долами...

Больше всего Флегонта поразила одна картинка. Диковинный зверь — полосатый и страшный, с огромными клыками в разинутой пасти — распластался в стремительном прыжке. А человек, тот, на кого бросился зверь, стоял пригнувшись, готовый к схватке, с ножом в руке. Мальчишке очень хотелось узнать, чем закончился этот страшный поединок, и он листал и листал журнал.

— Интересная картинка? — послышался негромкий мягкий голос Варфоломея.

— Очень,— восторженно откликнулся Флегонт и вдруг вздрогнул, вскочил, испуганно уставился на хозяина.

— Чего ты испугался? Я не кусаюсь. Сядь сюда. Садись же. Я прочитаю тебе, что здесь написано.

Целую неделю после этого мальчик то подолгу смотрел перед собой отсутствующим, невидящим взглядом и что-то шептал, а то приходил в необыкновенное возбуждение, лазил по крышам и деревьям, гонялся за котом, а сойдясь с приятелями, рассказывал им о стране Индии, где никогда не бывает зимы и где водятся полосатые звери, каких нет в здешней тайге, и ходят отважные люди, называемые путешественниками.

Как видно, Варфоломею приглянулся мальчишка, вскоре поп зазвал Флегонта к себе и долго показывал ему разные интересные книжки с картинками.

Так началась дружба девятилетнего сорванца, коновода, зорителей птичьих гнезд и опустошителей деревенских огородов, с одиноким, старым челноковским попом.

Читать мальчик выучился непостижимо быстро и с такой ненасытной жадностью набросился на книги, что иногда Варфоломею приходилось отнимать их у мальчиш-

ки, выпроваживая его на улицу или заставляя поливать цветы, подметать дорожки.

Все свободное от работы время (а Флегонт уже по-настоящему помогал отцу и пимокатничать, и хозяйство вести) мальчик проводил в поповском доме, когда же отец запивал горькую, Флегонт дни напролет не выходил из Варфоломеевой библиотеки, порой оставаясь там ночевать.

Читал он все: от закона божьего до романов Купера и Загоскина. Читал на пашне, на сенокосе, в пимокатной. Едва выпадала свободная минута, как в руках у мальчишки оказывалась книга. Отец не раз выговаривал Флегонту за это, грозился пустить его книги на раскурку, но в душе гордился сыном, радовался доброй молве о нем.

Обнаружив у мальчика певческие наклонности и хорошие голосовые данные, Варфоломей легко обучил его нотной грамоте, сделал певчим церковного хора, но не отговаривал и от мирских песен, которые и сам очень любил. Песня, говаривал отец Варфоломей,— это дар божий, голос души человеческой, ее радостный либо горестный вздох.

Пятнадцатилетним Флегонт уже отваживался вступать со своим учителем в споры о смысле человеческого бытия, ссылаясь при этом не только на священное писание и иные богословские книги, но и на сочинения Достоевского и Толстого, Шопенгауэра и Вольтера, Марка Аврелия и Платона. Варфоломей спорил с подростком как с равным. Не однажды свидетелями этих споров бывали местные учителя, или волостной старшина, или кто-либо из заезжих духовного звания гостей Варфоломея. Они дивились познаниям и красноречию крестьянского сына, и скоро челноковские мужики стали здороваться с подростком как с равным, почтительно величая его по отчеству.

Варфоломей уговаривал Флегонта поступить в духовную семинарию, писал о своем питомце письма церковным сановникам и даже самому архиерею, который однажды, посетив Челноково, беседовал с начитанным юношей и тоже звал в семинарию, но Флегонт не послушался.

Все свое имущество Варфоломей, умирая, завещал Флегонту. Тот распродал немудреный скарб священника и раздал деньги вдовам, но книги оставил себе и стал владельцем едва ли не самой богатой в уезде библиотеки.

Флегонт катал валенки, пахал, косил, пел в церковном хоре и по-прежнему каждую свободную минуту читал. Теперь он читал не спеша, с раздумчивыми паузами,

не торопился расстаться с прочитанной книгой. Порой часами просиживал в окаменелой неподвижности, прикрыв широченной ладонью свои большие навыкате глаза.

Медленно, как влага в твердый грунт, входила в него вера в бога.

Сколько раз жестоко и изнурительно мысленно спорил Флегонт с пророками и отцами церкви, круша и низвергая кумиров, руша основополагающие догматы христианства. Проповедь всепрощения и добра, требования духовной чистоты и бескорыстия — вот что больше всего привлекало его в христианстве. Ему претили россказни о чудесах, творимых не только всевозможными старцами и иными божьими людьми, но и самим Христом. На этой почве он одно время страстно увлекся толстовскими идеями, но после долгих раздумий решил, что великий граф ошибся. Придумал Флегонт и собственное толкование евангельских чудес Христа, которые пришлись не по душе Толстому: «Притчей о воскрешении Христа,— рассуждал Флегонт,— народ даровал бессмертие тому, кто отдал всего себя борьбе со злом, кто принес людям животворящий свет добра...»

Евангельские слова умиротворяли, успокаивали, просветляли Флегонта, примиряя с невзгодами и неправдами житейскими. Начитавшись, он облегченно вздыхал и тут же принимался за любое, подвернувшееся под руки дело, причем делал его с какой-то удивительно веселой, ненасытной жадностью. Чаще всего он уходил в пимокатную и там, окутанный паром, обжигаясь и покряхтывая, железными ручищами жамкал и перетирал влажную шерсть с такой силой, что та тихонько и жалобно попискивала.

Он пел за работой. Бьет шерсть, катает валенки, строгает или тешет что-то, а сам неприметно для себя напевает вполголоса. Больше всего по душе ему были протяжные и грустные песни про казака, «скакавшего через долину, через маньчжурские края», про таежного бродягу, «бежавшего с Сахалина звериной узкою тропой», или про «отца — природного пахаря».

В Челноково умели и любили петь. В любом доме на любом празднестве Флегонт был желанным и дорогим гостем. Его приглашали ласково и настойчиво, встречали с почетом, провожали с благодарностью. Он не отказывался от хмельного зелья, но пил только одну, первую чарку. Выпив единую, Флегонт больше не прикасался к хмельному, зато уж пел без перерыву, удивляя и покоряя всех

силой и красотой голоса. И попробуй-ка кто-нибудь зашуми, закуролесь во время его пения...

В канун Февральской революции скоропостижно умер молодой еще преемник Варфоломея, которому Флегонт не раз помогал править службы, особенно по торжественным праздникам. Время было тревожное, среди духовенства чувствовалась растерянность, а то и страх перед неотвратимо надвигающимися событиями, и ехать в своенравное, известное своей строптивостью Челноково никто не захотел. В этом, вероятно, и была главная причина того, что архиерей, знавший Флегонта еще мальчишкой, уговорил его принять священнический сан.

Односельчане отнеслись к этому событию как к чему-то само собой разумеющемуся. Когда ж увидели, что, сделавшись священником, Флегонт не бросил пимокатничать и на своем подворье по-прежнему все делал собственными руками, то прониклись к доморощенному, мужицкому попу таким уважением, что не устрашились в открытую заступиться за него ни перед колчаковцами, ни перед красными и оба раза отвели от него смертельную угрозу...

По местным деревенским понятиям Флегонт женился поздно, на двадцать пятом году. В жены взял семнадцатилетнюю «фершалку» Ксюшу — девушку скромную, чистоплотную и красивую. В селе все на виду друг у друга, сосед о соседе всю подноготную знает, но даже самые злоязыкие кумушки ни разу не почесали языки, не позлословили о семейной жизни Флегонта.

Тайком от мужа сердобольная Ксюша не одну солдатку «ослобонила» от нежеланного, без мужа зачатого плода, а сама народила шестерых парней. Старшему в момент описываемых событий шел пятнадцатый, младшему минуло пять.

Старший, Владислав,— вылитый отец — был любимцем Флегонта. До 1918 года мальчик учился в Северской гимназии, в науках преуспевал, брал частные уроки музыки. Когда занятия в гимназии фактически прекратились, Флегонт забрал сына домой, снабдив его всем необходимым для самостоятельной учебы. Владислав каждый день усердно и много занимался, а по вечерам занятно пересказывал сверстникам «Шерлока Холмса» или «Гарибальди», обучал их городским играм и песням.

В семье Флегонта сложился четкий распорядок. Вечерами долго не засиживались, утром поднимались с солнцем. Каждый старался помочь по хозяйству матушке (так

односельчане называли теперь Ксению Сергеевну), а потом Владислав садился за книги, Петр, Лука и Матвей убегали в школу, двое младших — на улицу.

В дом Флегонта часто наведывались званые и незваные. То бабы забегут за неотложной помощью к Ксении Сергеевне, то мужики зайдут к батюшке посоветоваться о чем-то важном и срочном, а то налетит целая ватага ребятни-друзей и сверстников поповичей. Нередко бывало: в ночь-полночь примчится нарочный от родственников уходящего в инмир с просьбой немедленно исповедовать и соборовать умирающего. Флегонт безропотно и спешно облачался и, невзирая на непогодь, исчезал с посыльным. Потому сроду не водилось собаки на поповском дворе и на ночь не запиралась калитка.

2

— Советская власть к тебе, папа,— сказал Владислав.

— Кто? — автоматически, без всякого интереса спросил Флегонт, не поднимая головы от книги.

— Сам челноковский губернатор.

— Кориков? — удивился Флегонт.

— Собственной персоной,— подтвердил сын.

— Чего ему надо? — Флегонт нехотя закрыл книгу и пошел в соседнюю комнату надевать рясу.

Круглое, холеное лицо, внимательные, спокойные светлые глаза, небольшая, аккуратно подстриженная клинышком русая бородка и такие же русые, расчесанные на ровный пробор мягкие, чуть волнистые волосы в сочетании с добротным суконным костюмом и белыми чесанками придавали председателю Челноковского волисполкома Алексею Евгеньевичу Корикову облик благовоспитанного и представительного человека.

— Не обеспокоил? — мягким голосом осведомился гость.

— Милости просим,— рокотнул Флегонт, широким жестом приглашая Корикова проходить и распахивая перед ним высокую крашеную дверь в комнату, служившую и кабинетом, и библиотекой.

Все стены в комнате были заставлены высокими, под потолок, застекленными шкафами, набитыми книгами. В переднем углу икона богородицы в дорогом позолоченном окладе. Под ней на маленьком аналое лежали крест и старинное Евангелие в тяжелом переплете с медными

узорчатыми застежками. Перед иконой слабо теплился желтоватый трепетный огонек лампады.

Мягкими мелкими шажками Алексей Евгеньевич прошел в комнату и остановился посредине, с любопытством озираясь. Хозяин вошел следом, тихо притворил высокую дверь, указал на старое кресло с потрескавшейся кожаной обивкой.

— Садитесь, Алексей Евгеньевич.

Кориков сел, не спеша положил ногу на ногу, осторожно, точно что-то неприкасаемо хрупкое, прикрыл круглое колено сцепленными кистями пухлых коротких рук. Подождал, пока усядется хозяин.

— Все пополняете свою библиотеку?

— Сейчас в Яровске и в Северске на толкучках такие книги попадаются... и не хочешь, да не пройдешь мимо.

— Никакие революции и контрреволюции не в силах отвлечь вас от книги.

— Да прославится отец в сыне своем. А у меня их шестеро. Для них и собираю зерна чужой мудрости, коими полны сии фолианты...

— Да, знания...— раздумчиво проговорил гость.— Как, увы, недостает их нашим советским проповедникам. Не умеем мы по-вашему, просто и убежденно...

— Всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий — возвысится,— глухим рокочущим басом произнес Флегонт евангельские строки.

— Что вы! — засмущался Кориков и пустил по круглому, порозовевшему и оттого еще более залоснившемуся лицу смущенную улыбочку.— Искренне говорю. Да и сами ведаете.

— У коммунистических проповедников есть весьма важное свойство, кое делает их речи зело зажигающими и без книжной премудрости. Это — убежденность, вера в правоту творимого. Неверящий не заставит уверовать другого. А большевики обратили в веру свою не токмо тысячи — миллионы! Не мне, грешному, говорить вам, сколь важно искренне верить: вы же духовную семинарию окончили.

— Было, было подобное,— скороговоркой подтвердил Кориков, и снова на его лице воссияла улыбка.— Не посмел ослушаться батюшки, а по окончании семинарии вместо духовной академии — в ссылку за вольнодумство...

— Осмелюсь обеспокоить вас одним нескромным во-

просом. Обрели ли вы теперь тот идеал, ради коего юношей отправились в ссылку?

— Ах, юность, юность! Благословенная пора. Всему верится, все можется. «Отречемся от старого мира...» «Мы наш, мы новый мир построим...» Что касается отречения, тут все обстояло легко и быстро. Отреклись. Отряхнули прах. А вот с новым миром...

Даже Флегонт, еще с той страшной ночи подозревавший, что Кориков ведет двойную игру, растерялся вначале, спрятал глаза, тяжело опустил огромную голову, ошеломленно слушая, как председатель волисполкома все жестче, злее, напористее хулит власть, кою сам же и представляет. Распалясь, Кориков не приметил перемены в лице и взгляде Флегонта, который сначала искоса, неприметно, а потом с откровенным любопытством всматривался в говорящего, Флегонт сильней всего ненавидел фарисеев, не терпел двоедушия, а этот фарисействовал бесстыдно — самоупоенно и громогласно. На людях, на виду он так же громко и взахлеб хвалил Советскую власть, как поносил ее сейчас. И, презрев приличие, Флегонт бесцеремонно перебил гостя:

— Простите мя великодушно, Алексей Евгеньевич, кому вы служите?

— Ах, отец Флегонт,— сладко улыбнулся нимало не смущенный Кориков,— вы по-евангельски прямолинейны. Я всего-навсего в меру своих возможностей стараюсь облегчить страдания моего несчастного народа...

Побурев лицом, Флегонт кашлянул так, что тренькнули оконные стекла.

— Нет доброго дерева, приносящего худой плод, и нет дерева худого, приносящего плод добрый. Всякое дерево познается по своему плоду, а человек по своим делам. Так глаголят пророки. Дела же ваши, Алексей Евгеньевич, противоборствуют словам. Ибо желающий благоденствия России не станет разжигать пожар внутри ея...

— О каком пожаре изволите говорить? — легкая бледность подернула тугие щеки Корикова, встревоженный взгляд пристыл к выпученным голубым глазам рассерженного попа.

— Не о том, который пожрал опоенных вами продотрядчиков, — гневно выговорил Флегонт. — Ныне уже не о том...

— Так вы считаете, что я... я...— от волнения Кориков не мог говорить. Нижняя губа отвисла так, словно

вместо изящного выхоленного клинышка к подбородку подвесили пудовую гирю.

Флегонт предостерегающе вскинул ручищу, глаза полыхнули гневом, но он усмирил его и проговорил глухо:

— Не надо унижать себя ложью.

— Позвольте все-таки объясниться.— Голос Корикова снова звучал мягко и ровно.— Время надвигается тревожное, и сейчас чрезвычайно важно знать, кто рядом.— Откашлялся в кулак, видимо, готовясь к пространной речи.— Да, я служу Советской власти, но единственно для того, чтобы по возможности оградить народ от ее злоупотреблений. Помните завет Христа...

— Остановитесь! — Флегонт вскочил.— Не надо. Вы и сами не верите сим словам, ибо рождены они коварством. Не о благе народном радеете вы — лжепророки. Собственное «я» вы разумеете не иначе, яко главным стержнем мироздания...

В тесно заставленной комнате Флегонт казался непомерно, опасно большим. Корикову почудилось, что выпученные глаза попа ищут что-то тяжелое. Алексей Евгеньевич невольно вжался в кресло. Но Флегонт и не глянул на гостя. Вперив глазищи в икону, он несколько раз истово перекрестился, медленно повернулся к примолкшему Корикову.

— Не приплетайте имени Христа к неугодным ему деяниям. Сказано же: кто говорит «я люблю бога», а брата своего ненавидит, тот лжец!

— Успокойтесь, отец Флегонт,— Кориков тоже встал. Невысокий, выхоленный и вычищенный, он казался до смешного мизерным рядом с огромным, взъерошенным и яростным Флегонтом. Нервно потерев пухлые ладошки, Алексей Евгеньевич запел медвяным тенорком: — Прошу великодушно простить меня за то, что невзначай вовлек вас во гнев.

— Бог простит,— ответил Флегонт и, несколько раз пройдясь по комнате, сел, жестом пригласив гостя сделать то же.

Тот не замедлил занять прежнее место. Возведя глаза к иконе, сокрушенно произнес:

— Тяжкие времена настали, и нам в такой смуте нелепо разъединяться, отыскивая противоречия, несогласия...

«Чего ему надо? Союзника из меня сделать? Боже милостивый, вразуми мя, направь на путь истинный...»

— ...Я осмелился потревожить вас, чтобы просить покровительства одному примерному христианину,— плавно лился голос. Кориков выдержал длинную паузу и продолжал вкрадчиво: — Вы, конечно, знаете карасулинского тестя Фаддея Марковича Боровикова. Почтенный, уважаемый человек. Долго скитался на чужбине, вкусил горечь одиночества и вот воротился в родные пенаты. А тут — ни двора, ни родни...— голос Алексея Евгеньевича дрогнул от сострадания,— один выход был у скитальца — покаяться и примириться с дочерью и зятем. В свое время он спас карасулинскую семью от верной гибели и был уверен, что за добро ему отплатят тем же. Как вы думаете встретил тестя-благодетеля Онуфрий Карасулин? Избил до полусмерти и вышвырнул на улицу. Теперь Фаддею Марковичу надо где-то отлежаться, прийти в себя, залечить побои...

— А потом? — не тая насмешки, в упор спросил Флегонт.

— Потом? — Кориков замялся, пожал плечами.— Потом... Кто знает...

— С чего бы это Фаддей Маркович отважился так безрассудно головой рисковать? — словно думая вслух, с тем же оттенком недоброй иронии заговорил Флегонт.— Полагаю, чека ждет не дождется его. И не диво. Давно ли с превеликим усердием служил он Колчаку?

— Может, в чем-то и переусердствовал тогда Боровиков, только ведь и его можно понять. Двухэтажный дом, мельница, бойня, кожевенный завод... богатейший хозяин во всем уезде и... все прахом, по ветру. Тут оборзеешь, как говорят мужики.

— В чем нужна моя помощь? — сухо осведомился Флегонт.

— Онуфрий наверняка запродал голову тестя. Не зря же навестил Карасулина сам председатель губчека. Этот без причины с места не снимается... Челноково — не Петербург, в зимний лес не сунешься, где же укрыться несчастному Фаддею Марковичу? Позвольте ему на время у вас на подворье, в баньке иль в пустующем летнем флигельке...

Флегонт, слушая Корикова, прикрыл глаза, опустил тяжелую крупную голову. «Фарисеи! Что для них свято? Мельницы, бойни, дома — вот их бог. Ничтожные торгаши! За тридцать сребреников не токмо Христа — отца родного распнут. Взашей бы его... Господи, прости мя.

Дай силы и разуменья устоять на гребне, не оступиться ни вправо, ни влево, ибо и там и тут — бездна...»

Давно умолк Кориков, а Флегонт все так же сидел, смежив ресницы и склонив голову. Смиренная улыбочка, спрыгнув с холеного клинышка, сгинула, вместо нее на лице Алексея Евгеньевича появились растерянность и тревога.

— Сего сделать не могу, — глухо пророкотал Флегонт.— Слишком много людям зла причинил ваш подзащитный, и скрывать его под сенью храма святого... Не обессудьте...

Кориков резко встал. Он весь клокотал от гнева. Этот мужичий поп-самоделка и впрямь воображает себя земным наместником бога.

— Жизнь полна метаморфоз, отец Флегонт. Вдруг колесо истории еще раз обернется, Боровиков и иже с ним окажутся наверху, тогда как? У вас ведь шестеро сыновей...

— Молите бога, что сан мой и облаченье не позволяют ответить вам, как вы того заслужили. До свиданья.— И Флегонт растворил высокую дверь.

Глава девятая

1

В ту пору президиум Северского губкома РКП(б) заседал редко. Отчасти потому, что большинство членов президиума постоянно разъезжали по уездам и волостям огромной губернии то по делам своего ведомства, то с самыми различными поручениями губернского комитета партии, а еще потому, что Савелий Павлович Аггеевский заседаний не любил. Каждое заседание президиума губкома было заметным событием в жизни Северской партийной организации и проходило обычно при большом стечении приглашенных.

Члены президиума сидели за особым столом, накрытым красной скатертью. Савелий Павлович очень любил красный цвет: на полу его кабинета была разостлана красная ковровая дорожка, окна занавешены красными тяжелыми портьерами, и даже чернильный прибор на столе Аггеевского был сделан из красного мрамора. По устано-

вившемуся порядку справа от Аггеевского сидел председатель губисполкома, старый большевик-подпольщик Савва Герасимович Новодворов — плотный, приземистый, квадратный мужчина с широким плоским лицом, отяжеленным массивным подбородком, который рассекала пополам тонкая, но глубокая морщина. По левую руку от Аггеевского всегда садился секретарь губкома, ведающий вопросами пропаганды, Лавр Гаврилович Водиков — широколобый, с насмешливым взглядом глубоко посаженных коричневых глаз и пышными пшеничными усами. Водиков — самый образованный в президиуме, в прошлом адвокат, левый эсер, примкнувший в годы гражданской войны к большевистскому подполью.

На недавней партконференции членом президиума губкома был избран и Чижиков. Гордей Артемович беспокойно ерзал на стуле и то приминал воинственно топорщащийся ежик волос, то шуршал густо исписанными листами. В длиннющей повестке дня сегодняшнего заседания под номером первым значился доклад председателя губчека «О политическом положении в губернии».

Аггеевский любил поговорить сам, но длинных речей на президиуме не терпел, и если докладчик перешагивал за оговоренный регламент (обычно он составлял пятнадцать минут), Аггеевский перебивал оратора категоричным: «Заканчивайте!» Иной раз оратор не мог с ходу «закруглиться», тогда Савелий Павлович вставал и, произнеся: «У нас не Государственная дума» или что-нибудь подобное, сажал оратора и открывал прения.

Чижиков знал эту черту Аггеевского и теперь думал, как бы, не занимая лишнего времени, четко и впечатляюще изложить суть политических событий, происходящих в губернии. Отсеивая наименее значительные, группируя, систематизируя важные, Гордей Артемович звенышко по звенышку увязывал факты и события в единую цепь, подкрепляющую выводы губчека. Но тут нежданно и непрошено врывались вдруг мысли о Маремьяне... И не просто мысли — целые картины, живые и яркие, возникали вдруг в сознании Чижикова. Тогда Гордей Артемович ощущал странную, неприятную раздвоенность: одна часть его сознания отливала в сжатые, емкие формулировки тревожные трудные мысли, другая — неслась в кошеве по накатанной дороге, обнимая озорную, смеющуюся Маремьяну... Тревога и радость мешались, наплывала беспокойная неуверенность, и, досадуя, сердясь, ругая

себя последними словами, Чижиков комкал, отгонял непрошеные видения — медленно вчитывался, въедался в тезисы своего доклада. Но это не очень-то получалось. И только когда долетел высокий звонкий голос Аггеевского: «Считаю заседание открытым», видения разом растаяли и мысли выстроились четким, железным строем.

— Чека считает современное политическое положение в Северской губернии чрезвычайным,— начал Чижиков, и сразу в просторной комнате стало как будто тесно, загустела тишина, все взгляды устремились на волевое, скуластое, слегка побледневшее лицо председателя губчека.— Мы накануне антисоветского восстания. Все симптомы налицо. Вот хроника событий в деревнях Яровского уезда за последние полмесяца: перестрелка в Иевлево, разгром ссыпного пункта в Астахово, изгнание продотрядчиков из Караульного, бесследное исчезновение двух секретарей сельских партячеек и, наконец, всем известная трагедия в Челноково...

— С которой чека до сих пор не разобралась,— вклинился Водиков.

— Чека за продработниками охотится, на контрреволюцию ни времени, ни сил не остается! — выкрикнул Пикин.

Плеснулся разноголосый гул и разом стих, и стало еще напряженней и тревожней. На побелевших скулах Чижикова перекатывались желваки.

— Мы не на толкучке! — сухо и жестко выговорил он. Глубоко вдохнул носом и продолжал речь: — В Иримском и Тоборском уездах обстановка не лучше. За полмесяца в губернии семнадцать вооруженных столкновений. Двадцать пять убитых и тяжело раненных. Пожары, пожары и пожары. Эсеровские листовки зовут к мятежу. В некоторых деревнях и волостях южных уездов нащупаны штабы зреющего мятежа из кулаков и бывших офицеров. В селах создаются ячейки крестьянского союза, которые ведут бешеную антисоветскую пропаганду. Контрреволюционный заговор уходит корнями к сибирскому крестьянскому союзу и эсеровскому парижскому центру.— Чижиков выговорил все это на одном дыхании. Умолк. Скользнул жестким проницательным взглядом по лицам собравшихся и, не меняя ни тона, ни позы, продолжал: — Мы не разобрались толком в социальных особенностях сибирской деревни, начали разверстку без всякой политической подготовки. Партячеек в большинстве деревень

нет. Сильно влияние кулачества, замаскированных эсеров...

Краем глаза Чижиков видел нахмуренное лицо Новодворова, тонкопалую руку Аггеевского, нервно приплясывающую на красном сукне, склонившегося над папкой Водикова с карандашом в руке. Чувствовал: не по душе им сказанное, но заговорил еще напористей:

— Разверстка ведется через колено, только силком, всех крестьян стригут под одну гребенку. Факты приведены в докладной президиуму. О подобных безобразиях не раз писала «Беднота». Уисполкомы завалены жалобами. До чего ведь доходит! Вот продотряд Обабкова. Мародеры! Такие и дают пищу для разнузданной антисоветской пропаганды. Убежден: Обабков — более опасный враг Советской власти, нежели иной отъявленный белогвардеец. Потому что действует от нашего имени и представляет нашу власть, а губпродкомиссар товарищ Пи...

— Он — тоже контрреволюционер! — выкрикнул Пикин.

— Вам лучше знать,— безжалостно отпарировал Чижиков.— Не время для обид и не место. Больше хлеба нужна нам бдительность. Посмотрите, какая шваль окопалась в областрыбе, в потребкооперации, в органах просвещения и здравоохранения! Немало разных недобитков и в продорганах. Примеры — в докладной. Кулак плюс рассерженная, обиженная разверсткой, одураченная эсерами часть середняка, плюс затаившиеся белогвардейцы — вот горючая смесь грозящего восстания. Все накалено до предела. Не хватает искры...

Новодворов трубно кашлянул, Аггеевский щелкнул крышкой больших именных серебряных часов — подарок Реввоенсовета за мужество и отвагу. Чижиков правильно истолковал этот жест и перешел к практическим предложениям:

— Прежде всего, усилить политработу в деревне. Укрепить сельские партячейки, помочь им. Все силы губернской парторганизации — селу. Губком то ли не понимает этого, то ли черт знает что. Кулаки натравливают неграмотных женщин на коммунистов, на нашу власть, а женотдел губкома разглагольствует перед ними о вреде сифилиса, о свободе брака и любви в советском обществе. Пора прекратить и дискуссионную болтовню о роли профсоюзов. Пусть этим займутся теоретики. Под угрозой Советская власть, а мы... Враг не дремлет. Даже частушеч-

ки специальные придумывает.— И Чижиков продекламировал частушки, услышанные от Онуфрия Карасулина.— Надо Обабкова и ему подобных — из партии исключить, судить показательным судом ревтрибунала и расстрелять, как врагов революции... Надо профильтровать аппарат — партийный и советский, повымести оттуда эсеровскую мразь. Лучше малограмотный друг, чем шибко грамотный враг. Поставить вопрос перед ЦК РКП(б) об укреплении губернии в военном отношении. Кому нужен затеянный губпродкомом решительный штурм разверстки с прицелом закончить ее к новому году? Не разумнее ли навалиться всеми силами на пропаганду, успокоить крестьян, не ослабляя, конечно, и работы по выполнению продразверстки в сроки, установленные декретом СНК.

Чижиков сел. В комнате до предела спрессовалась, сгустилась гремучая грозовая тишина. Потом разом, будто прорвало невидимую запруду, хлынули голоса — требовали слова, протестовали, одобряли.

Первым выступил губпродкомиссар Пикин. Он вскочил так, точно его подтолкнули снизу. Еще полностью не распрямясь, заговорил нервно и зло:

— Вопреки мрачным пророчествам губчека через неделю мы добьем хлебную разверстку. Надо благодарить, а не поносить северских продработников. Они сломали хребет сибирскому контрреволюционному кулачеству — самому матерому и непримиримому. Мы потеряли почти три десятка лучших бойцов. Они погибли за революцию, за Советскую власть. Да, были перегибы. Но в классовой борьбе лучше перегнуть, чем недогнуть. Мы отвечали ударом на удар кулацкой гидре. Заговор и восстание — выдумка губчека! Кулаку того и надо, чтобы мы поверили в эту байку, ослабили нажим. Прямая обязанность чека не следить за продработниками, не подбирать кулацкие слухи, а бить контру карающим мечом революции. Обабков — отличный продовольственник, за месяц собрал хлебную разверстку с шести волостей. Кулаки тебе, Чижиков, при жизни памятник соорудят, если ты Обабкова срубишь! Губчека напугалась кулацкого рыка и нас стращает. Считаю выступление Чижикова вредным, выводы его только на руку классовому врагу.

Пикин сел так же стремительно, как и поднялся. Он, видимо, выговорился не до конца, тонкие губы все еще шевелились, точно пережевывали оставшиеся невысказанными слова.

— Весьма прискорбно, что во главе губернских карающих органов революции стоит человек, не понимающий основное назначение ВЧК,— так начал свое выступление секретарь губкома Водиков. Он говорил неторопно, размашисто, подкрепляя слова впечатляющими, уместными жестами.— Ты, Чижиков, молодой человек и в партии всего четыре года. Не зря говорят «молодо-зелено». Ты заблудился в хаотическом нагромождении в общем-то весьма тревожных фактов...

Пространную речь Водикова воспринимали по-разному, но слушали одинаково внимательно все, кроме Пикина. Губпродкомиссар всем существом был сейчас далеко от этой комнаты. Он скакал аллюром по звонкому зимнику. Воронко под ним покрылся белыми завитками, острые копыта секут и дробят укатанный снег, молодой морозный ветер обжигает щеки. «Наддай!» — Пикин хлещет плетью жеребца. Тот делает рывок, высоко вскидывает передние ноги и вдруг отрывается от земли, взмывает и летит, и чем выше поднимается, тем отчетливей и дальше видит Пикин. Сотни деревень проплывают внизу, несутся по бесчисленным дорогам всадники, ползут обозы, доверху груженные зерном. «Давай, давай!» — Пикин машет рукой продотрядовцам на подводах с мешками. Не сегодня-завтра он отправит в Наркомпрод победную телеграмму: разверстку выполнили, шесть с половиной миллионов пудов северского хлеба отправлено голодающему центру. Ради этого стоило не щадить себя и других, день и ночь мотаться по губернии, недосыпать, недоедать, слышать поющую над головой пулю, которая предназначалась тебе... «Чего это я? Куда занесло?» — растерянно и смущенно пробормотал, опомнясь, Пикин и тут же услышал сочный голос главного агитпроповца губернии Водикова:

— ...Ничего экстраординарного в деревне не происходит, товарищ Чижиков. Стреляют, поджигают, убивают даже. И что? Все это аксессуары классовой борьбы. Согласен, действия продработников не всегда верны, есть перекосы, даже недопустимые, но они всего лишь — ответная реакция на провокационные антисоветские вылазки кулаков...

Странно, но поддержка Водикова не обрадовала Пикина. Ему чуялось в тоне оратора что-то барски высокомерное. Губпродкомиссар с самому себе непонятным сочувствием взглядывал на Чижикова. Когда же Водиков обрушился

на председателя губчека за небрежный отзыв о профсоюзной дискуссии и, наговорив множество правильных и умных слов об отношении партии к теории, заключил, что «небрежение Чижикова к общепартийной теоретической дискуссии есть лишь показатель его политической малограмотности», Пикин не стерпел и с неприкрытой обидой выкрикнул:

— Мы университетов не кончали!

Этот неожиданный выкрик, видно, смутил Водикова. Он чуть стушевался и больше не разглагольствовал о теории, а перешел к критике выводов и предложений докладчика:

— Подумай, что ты предлагаешь? Раззвонить на всю республику, взбудоражить ЦК и Совнарком известием о готовящемся антисоветском восстании? Пикин прав. Враги хотят взять нас на испуг. Классовая борьба не бывает без крови. Нам не привыкать. На каждый выпад врага надо отвечать железной выдержкой и сокрушительным ударом. И это прежде всего должна делать чека. А ты занялся миротворством и попустительством. По твоей вине до сих пор не найдены виновники гибели продотряда в Челноково. По твоей вине до сих пор разгуливает на свободе провокатор и подкулачник Онуфрий Карасулин, который пригрел своего тестя, колчаковского карателя Боровикова...

— Не может быть! — выкрикнул Чижиков.

— Все может быть, — спокойно ответил Водиков. — В классовой борьбе все возможно. Сегодня Яровский уком партии наконец-то исключил Карасулина из РКП. Надеюсь, теперь никакие моральные ограничители не связывают рук чека, и она наконец-то займется Карасулиным...

«Что они наделали? Что наделали! Что подумает он обо мне, о всех нас? Озлобится, отшатнется... Немедленно повидаться с Онуфрием!..»

И тут перед мысленным взором Чижикова предстало крупное, бронзовое лицо Карасулина. Обида и боль в глазах, в чуть перекошенных губах. «Как же так? Свои своего... И в такой момент?..»

Завихрились в голове Чижикова мысли — тревожные, трудные, и он лишь вполуха слушал следующих ораторов.

А прения между тем разгорелись еще жарче, и поводом к тому явилась речь председателя губисполкома

Новодворова. Его в губернии уважали и за революционное прошлое, и, главное, за рассудительность, трезвый, спокойный подход к любому делу. Но ораторским искусством Савва Герасимович не блистал. Говорил убедительно, но не броско.

— Доклад губчека,— сразу начал он о главном,— встревожил, наверное, не только меня. Над ним следует всем подумать. В основе своих выводов Чижиков, по-моему, прав, но правоту эту можно и нужно проверять лишь в деревнях, глаза в глаза с крестьянином, к сердцу которого, честно говоря, мы пока не нашли дороги...

Глухой гул прокатился по комнате и тут же стих, но его отголоски остались — то тут, то там слышались всплески нетерпеливых взволнованных голосов.

— Эсеры не преминут воспользоваться сложившейся ситуацией, попытаются столкнуть трудящегося мужика с Советской властью, а драться с мужиком — самого себя бить...

Так закончил свою речь Новодворов, и тут же выскочила к трибуне исполняющая обязанности заведующей женотдела губкома Крылова. Внешне она удивительно походила на плакатную пролетарку: красная косынка, синяя блуза, лицо худощавое, но розовощекое, короткая стрижка, челка на лбу, взгляд дерзкий, прямой, голос как конармейская труба:

— Товарищ Чижиков вообразил себя эрудитом-энциклопедистом. И профсоюзную дискуссию осудил, и крестьянский вопрос осветил, и даже высказал новые мысли об эмансипации женщины. Может, товарищ Чижиков по совместительству возглавит женотдел губкома?..

Заместитель редактора губернских «Известий» Иннокентий Кожухов — человек в Северске новый, образованный, отменно владеющий пером, за что губернские власти прощали ему пристрастие к спиртному. Речь свою Кожухов, по всему видно, готовил заранее и тщательно, потому она изобиловала и примерами, и выдержками из писем крестьян, и цифрами статистики:

— Чижиков не крестьянин, не сибиряк, психологии сибирского мужика не знает, к тому же недопустимо легковерен и восприимчив, оттого и поддался на провокационную удочку кулаков и эсеров, ввел в заблуждение губком и, наверное, ВЧК. Так ведь, товарищ Чижиков? — И паузу сделал, ожидая ответа, но Чижиков промолчал.

«Почему его заинтересовало, сообщил ли я ВЧК? Видно, так заинтересовало, что помимо воли прорвалось... Откуда он? Каким ветром?» Чижиков, вскинув глаза, встретился взглядом с Кожуховым, тот смешался, на мгновение умолк, но замешательства этого никто, кроме Чижикова, не приметил...

Аггеевский, как всегда, заключал и, как всегда, рубил наотмашь:

— Не много ль мы разглагольствуем о психологии сибирского крестьянина? Не заседание президиума губкома, а курсы политграмоты. Как пролетарии всех стран равны, так и эксплуататоры одинаковы. Кулак везде кулак, он наш непримиримый враг. Его можно задавить только силой. А ты нас пугаешь мятежом, Чижиков. Мы не пугливы! Да если поднимет голову эта мразь — раздавим беспощадно! Будем рубить до седла.— Аггеевский занес над головой правую руку и с силой опустил ее, будто и в самом деле кинул клинок на голову врага.— Не привыкать! Пусть враги трепещут и дрожат нашей мести...

В таких наступательных тонах выдержал Аггеевский всю свою речь. Чижиков тут же выслушал упрек в мягкотелости по отношению к перерожденцам вроде Карасулина. Ответственный секретарь губкома взял под безоговорочную защиту продработников, наговорив им кучу комплиментов, и под конец предложил проголосовать резолюцию:

«1. Председатель губчека т. Чижиков в своем докладе сгустил краски, сместил центр тяжести, проявил недопустимую растерянность и элементы паники. Политическое положение в губернии не вызывает особой тревоги. Всякие разглагольствования о готовящемся антисоветском мятеже — провокационные вражеские слухи.

2. Одобрить линию губпродкома на досрочное завершение хлебной разверстки к 1 января 1921 года. Обязать все партийные комитеты и ячейки РКП(б) оказывать в этом продорганам всяческое содействие...»

С той минуты, как резолюцию с незначительными поправками проголосовали, Чижиков вроде бы и не присутствовал на заседании президиума. «Что происходит? — снова и снова спрашивал себя.— Кто заблуждается — он или Пикин, Аггеевский, Водиков? Если они правы, ему, Чижикову, нечего делать на посту председателя губчека, а если прав он?..»

2

Чижиков никак не мог подстроиться в ногу с Новодворовым: очень уж широко тот шагал, еле приметно при этом взмахивая правой рукой. За весь путь он ни разу не поворотился к спутнику, не посмотрел на него, не обмолвился словом. Только подойдя к воротам аккуратного домика, обронил: «Вот и дошли» — и, толкнув калитку, пропустил гостя в маленький, тщательно расчищенный от снега дворик. Из сеней выкатилась клубком белая пушистая лайка и с радостным взвизгом запрыгала на задних лапах вокруг Новодворова, норовя лизнуть хозяйскую руку, которая ласково трепала собаку по загривку, гладила по голове.

— Приветливый пес,— проговорил Чижиков.

— Весь в хозяина,— улыбнулся Новодворов.— Проходи, пожалуйста. Аннушка радешенька будет. Она ведь с Дзержинским работала, да вот подкосила хворь.

Молодая женщина лет тридцати, а может быть, и моложе — болезнь старит человека, бледнолицая и строгая, стояла у порога, тяжело опираясь на толстую трость с блестящим круглым набалдашником.

У нее узкая, влажная, но сильная рука с твердой — наверное, от посоха — ладонью.

Первое, что бросилось Чижикову в глаза, были цветы. Горница походила на зимний сад. Одна стена сплошь была затянута плюющом и жасмином. На всех уголках, на табуретках, на тумбочках, на специальных подставках и прямо на полу стояли самые разные цветы — от огромной, под потолок, раскидистой и величавой пальмы до тоненькой, как змейка, туи. Напоенный цветочным ароматом воздух был необыкновенно приятен и свеж.

Еще в доме было много книг — разномастных, потрепанных и совсем новых. Ими были забиты два пузатых шкафа со стеклянными дверцами и старинный буфет. Книги лежали и на полочке вешалки в прихожей, и на подоконниках.

Кроме цветов и книг, ничего примечательного Чижиков не увидел. Мебель была случайная, простая, порядком подержанная. Железная койка, накрытая грубошерстным серым одеялом, деревянный диван, дубовый круглый стол да полдюжины стульев — вот и вся утварь. Оглядывая комнату, Чижиков вспомнил строки из недавно попавшей в руки чекистов эсеровской листовки под броским загла-

вием: «Комиссару — пуд, мужику — фунт»: «Полюбуйтесь, как вольготно живут советские губернаторы и губернские комиссары в отнятых у богатеев особняках. Дорогая мебель, ковры, хрусталь, бронза и позолота окружает большевистских вождей...» И руки не отсохнут у брехунов! А иные крестьяне верят. Сфотографировать бы это губернаторское «именье» да разослать фотографии по деревням...

— Чем попотчуешь, дочка? — донесся из кухни голос Новодворова.

— Ухой из карасей,— откликнулась Аннушка.

— А говорят, нет провидения. Шел и терзался: чем гостя потчевать? Откуда рыба-то?

— Палтусов принес.

— Это наш сосед,— пояснил Новодворов, накрывая на стол.— Машинист депо. А уж рыбак! Не поспит, не поест, на рыбалку сбегает. И летом, и зимой со свежей рыбой.

То ли Чижиков сильно проголодался, то ли оттого, что переволновался, но янтарная душистая уха ему и впрямь очень понравилась, и он, к удовольствию Аннушки, дважды просил добавки.

Молча ели до тех пор, пока Аннушка не спросила:

— Что было на президиуме?

— Да вот Гордея Артемовича прорабатывали...

— За что? — обратилась Аннушка к Чижикову.

Сначала нехотя и спокойно, потом все более возбуждаясь и горячась, Чижиков пересказал все, что было на президиуме.

— И ты голосовал за такую резолюцию? — с удивлением спросила Аннушка отца.

— Голосовал. На полном ходу телегу вспять не повернешь: опрокинется. А он такую махину задумал развернуть. Разве это так делается? Нет бы сначала выложить свои козыри одному да другому члену президиума...

— Значит, амбиция заела? — подкусила дочь.

— Кое-кого заела. Но главное не в том. Не все в его докладе было приемлемо. Ну, к чему сейчас выдвигать предложение о притормаживании разверстки? Осталось каких-то восемь процентов. Пущены в ход последние силы и вдруг — отбой? Ни в политическом, ни в моральном плане этого нельзя одобрить. Надо и продработников понять. Я испытал, каково с сибирским куркулем изъясняться, тут и железные нервы не выдержат. Иногда

обстоятельства вынуждают на крайности. Но если крайности становятся основным методом — это следует жестоко пресекать, тут Гордей Артемович совершенно прав. Я уже не говорю о преднамеренных провокациях пролезших в продорганы врагов. С ними один разговор.— Выразительно шлепнул ладонью по столу, будто прихлопнул зловредное насекомое.— У одинаковых поступков могут оказаться противоположные причины. Тут живая диалектика... Чего улыбаешься, Чижиков?

— Недавно в Челноково Ярославна Нахратова, комсомольский секретарь, толковала мне про эту самую диалектику.

— Слыхал о ней,— кивнул Новодворов.— Секретарь губкомола прибегал советоваться: допустимо ли, чтоб Нахратова дружбу с попом водила. Поп, говорят, в своем роде уникум: самоучка да еще мужик, ищет щель, чтоб сунуть голову и — ни вашим, ни нашим...

— И что же, допустима такая дружба? — нетерпеливо перебила Аннушка.

Чижикову вдруг показалось, что вопрос обращен и к нему. Снова встала перед глазами Маремьяна. В кулацкую дуду дудела, смущала баб, а он... Поманили пальчиком — и готов... И тут же приказал себе: не ерунди! Если это настоящее — Маремьяна будет с нами. Ты добьешься этого! Добьешься, или — грош тебе цена...

— По мне, все допустимо, что в конечном счете работает на Советскую власть,— ответил дочери Новодворов.

— Значит, цель оправдывает средства? — Аннушка заволновалась, сердито отодвинула чашку.

— Нет! — спокойно и ровно, будто и не замечая волнения дочери, ответил Новодворов, отхлебнув чаю.— Это разные песни. Несоединимые. Негодные средства осквернят самую прекрасную цель. Немыслимо злом добро делать. И в выборе средств требуется особая разборчивость и осторожность.

— Но без крови, без насилия не обойтись!

— Ты права,— Новодворов успокаивающе накрыл ладонью узкую руку дочери,— без насилия старое не сковырнуть. Но силой можно свергать, разрушать. А не созидать. Убеждение — вот оружие, каким нам предстоит в совершенстве овладеть, если мы хотим построить новый мир.

— Но одними словесами мир не переделать. Проповедей, даже распрекрасных, мало для того, чтобы из чело-

века выбить все скотское,— возразила Аннушка. Видно было: не впервые заговорили они на эту тему.

— Принуждение допустимо только к врагам, но не к сомневающимся. Их надо убеждать.

— Примерно то же говорил мне Карасулин,— сказал Чижиков.

— Я слышал его перепалку с Аггеевским на совещании секретарей волпартячеек. Демагог. Под мужицкого правдоискателя работает. Вот, мол, она правда-то какова... Хотя в том, что он высказал тогда, немало разумного и верного, но тон, форма — совершенно недопустимы для большевика. Главное качество партийца не в том, чтоб, увидев болячку, ткнуть пальцем и негодовать, а в том, чтоб своими руками эту болячку либо сковырнуть, либо постараться залечить. Карасулин же только вопит.

— Не согласен с вами. Карасулин не только пальцем тыкал да орал, он в меру сил, пожалуй, даже сверх своих сил, старается предотвратить беду...

Чижиков рассказал все, что знал о челноковском партсекретаре. Аннушка принялась защищать и оправдывать Карасулина, и снова разговор вернулся к тому, с чего начался,— к положению в деревне. И снова заспорили. Точки зрения Чижикова и Новодворова неприметно сближались. В чем-то уступал Чижиков, с чем-то соглашался Новодворов.

Когда все изрядно утомились и прикончили самовар, Новодворов, как бы подводя итог, сказал:

— Мы плохо знаем сибирскую деревню и крестьянина-сибиряка. На то есть объективные причины. Они могут нас в какой-то мере оправдать, но не выручить. Ленин прав, говоря, что многие партийные работники, отлично проявившие себя в революции и гражданской войне, оказались неспособными найти верный путь к крестьянину, привлечь его на сторону большевиков и тем избежать многих горьких ошибок. Здесь же, в земледельческой Сибири, крестьянский вопрос суть альфа и омега всей работы большевиков. Мы это явно недооценили — в том одна из причин создавшегося положения. И я принимаю на себя вину за это... Ты в целом верно определил направление главного удара, Феликс Эдмундович не ошибся в тебе.— Он встал, тяжело прошелся по комнате, остановился перед Чижиковым.— Но Аггеевского и Пикина не суди слишком строго. Мало грамоты. Мало опыта. А жизнь гонит! В башке и в сердце — революция клоко-

чет. Хочется поскорей да покороче — вот и ломят, ни себя, ни других не щадя. Одергивать их? Обязательно! Критиковать? Непременно! Но жар не остужать: от холодного никто не воспламенится.— Вздохнул. Повернулся и неспешно, тяжело вышагивая, снова раздумчиво заговорил: — Губерния у нас неохватна, а сил ничтожно мало. На десять деревень — одна партячейка. И какая? Шесть-семь неграмотных, либо малограмотных мужиков, и у самого старого,— он иронически подчеркнул интонацией последнее слово,— полугодовой партстаж. Ни телефонной, ни регулярной почтовой связи между селами. Дичь и глушь. Знахарки, круговая порука. Здесь ведь все вплоть до волостных дел раньше решалось мирским сходом. Всем миром. Понимаешь? И на полтора миллиона квадратных верст всего пять так называемых городов и три тысячи рабочих. Прибавь к этому тысячи осевших в глуши офицеров и прочих колчаковцев. Потому эсеры и сделали ставку на Северскую губернию...

Савва Герасимович умолк. Большое плоское лицо с тяжелым подбородком подернулось тенью задумчивости. Но седую голову он держал по-прежнему высоко и гордо и широких плеч не сутулил. Чижикову вдруг подумалось, что эта осанка и медлительность речи и ровное спокойствие манер даются Новодворову нелегко. И Чижиков вдруг увидел окружающее по-иному, и его царапнула по сердцу убогость обстановки, которую не могли скрыть ни цветы, ни книги. «А ведь ему никак не меньше шестидесяти. Жизнь позади. Дочь калека. Ни жены, ни внуков...»

Поймав обеспокоенный взгляд Новодворова, Чижиков спросил:

— Давно вы в Сибири?

— И давно и недавно. Дважды был в ссылке. В Нарыме. Там иной быт и люди особенные, промысловики. Первый раз бежал. Во второй жена со мной была. Тяжело заболела. Перед самой Февральской похоронил. Потом фронты. И снова Сибирь. Уже иная. Земледельческая. Сытая... С осени вот дочь приехала. Покушение на нее было. Врачи говорят поправится. Она молодец. И хозяйка, и друг сердечный. Я ведь потомственный наборщик. Губернский воз тяжелехонек. Иногда кости трещат, жилы в струнку вытягиваются. Пока смены не вырастим — нам везти. Мой опыт, твоя энергия — что-нибудь получится в сплаве!..

3

Вечером после заседания президиума губкома во флигеле, принадлежавшем Вохминцевой, но ныне благоразумно записанном на одну из дальних родственниц, собрались гости по случаю дня рождения пани Эмилии. Были тут и Вениамин Федорович, и Коротышка, и Кожухов, и Крылова, и еще несколько человек, среди которых выделялся пожилой бритоголовый «товарищ из центра». На столе, заставленном закусками и графинами с разведенным спиртом и самогонкой, пыхтел и плевался паром самовар. В сенях на табуретке дежурил Гаврюша.

Кожухов прочел застенографированные в блокнот речи всех выступавших на президиуме губкома. Его слушали с превеликим вниманием, отложив и питье, и закуски. Потом накинулись с вопросами. Особенно дотошно выспрашивал «товарищ из центра».

Когда Кожухов рассказал, как он вроде бы ненароком хотел выведать у Чижикова, информировал ли тот ВЧК о своих выводах, «товарищ из центра» нахмурился и бесцеремонно прикрикнул:

— Разиня!

— Вы это мне? — обиделся Кожухов.

— Да. И не пузыритесь. Патрон в патроннике. Курок взведен. Нужно стрелять. Малейшее дрожание руки — и пуля мимо цели. Возможность второго выстрела исключена. Дон и Кубань волнуются. Тамбовщина полыхает. Флот и армия ворчат. Вот-вот рванет под самым сердцем большевиков. Пора начинать. Понимаете? Северская губерния должна начать. За ней — Петропавловск, Курган, Омск, Барнаул, Новониколаевск, и вся Сибирь, и Дальний Восток. Польша, Франция, Чехословакия, Япония ждут не дождутся этого. Голод уже полузадушил пролетарско-большевистско-комиссарскую диктатуру. Вооруженного натиска изнутри она не выдержит. Нужно только качнуть Сибирь-матушку. Этого ждет от вас затаившийся мир и наш центр...

— Так почему же я разиня? — вклинился Кожухов, успевший хватить полный стакан самогону.

— Своим, извините покорно, дурацким вопросом вы приковали внимание Чижикова к собственной персоне. Теперь изучением вашей биографии займется чека. От провала вас спасает начавшийся мятеж либо...

— Исчезновение Чижикова,— подсказал Коротышка.

— Совершенно верно,— подтвердил «товарищ из центра».— Причем немедленное и бесследное. Вот ваша боевая задача номер один. Чижиков спелся с Новодворовым. К такому дуэту прислушаются и ВЧК, и Совнарком, и ЦК РКП. Если здешними делами заинтересуется Дзержинский, тогда — крах. Вы это понимаете? Потому надо спешить. Чижика — в клетку, из которой еще никто не вылетал.

— Гы-гы-гы,— довольно заржал Коротышка.

— И это поручаем вам,— метнул в его сторону взгляд «товарищ из центра».

Коротышка вскочил и отчеканил:

— Будет сделано.

— Не сомневаюсь,— «товарищ из центра» обласкал взглядом Коротышку.— Главное, не забывайте психологический эффект. Его надо не просто подстрелить — он должен исчезнуть. Бесследно и бесшумно. Это деморализует остальных. Понятно?

— Так точно,— опять вскочил Коротышка.

— За успех операции,— бритоголовый поднял стакан.— За здоровье Ильи Ильича!

Все чокнулись с Коротышкой. Тот бормотнул растроганно: «Благодарю. Благодарю, господа» — и залпом опорожнил стакан. Некоторое время слышен был хруст огурцов и капусты на зубах, звон посуды, тихое умиротворенное посапывание ведерного самовара. Пани Эмилия выглянула за дверь, увидела бодрствующего Гаврюшу, воротилась к столу.

— Может быть, чайку, господа? — спросила она.

— Можно по стаканчику, покрепче,— согласился бритоголовый, тщательно обтирая губы чистым, хрустящим носовым платком.

Ему первому подала пани Эмилия наполненный стакан, пододвинула вазочку с мелко наколотыми кусочками сахару. Отпив полстакана, «товарищ из центра» снова старательно обтер губы, кашлянул, привлекая внимание собравшихся.

— Еще одно сделать немедленно — вывести из строя железную дорогу на Екатеринбург. Собранный по разверстке хлеб понадобится, чтобы кормить многотысячное войско повстанцев. А без сибирского хлебушка продовольственный баланс большевиков испустит дух, усилив недовольство рабочих центра. Возглавит операцию Добровольский.

Плечистый мужчина с властным лицом и неправдоподобно большой бородой степенно поднялся и с достоинством вымолвил одно слово:

— Сделаем.

Коротышка поднял стакан за здоровье Добровольского, но «товарищ из центра» решительно пресек: «Хватит» — и попросил хозяйку убрать со стола графины.

— Голова должна быть ясной и холодной,— сказал он. И, закурив, продолжал: — Прошу вашего совета. Продразверстка распалила мужика, но взрыва не произошло. Тут мы проморгали, а ведь могли превратить любую стычку с продотрядом в начало всеобщего восстания. Даже челноковская операция не увенчалась успехом. Малограмотный мужик Карасулин — один — сорвал так тщательно разработанный план. Если бы Пикину удалось расстрелять с десяток человек прямо тут же, без суда и разбирательства,— списочек-то был подготовлен,— тогда челноковцев можно было бы качнуть, прихлопнуть там и Пикина, и Чижикова с красноармейцами, кликнуть клич и... пошло-поехало — от села к селу, от волости к волости... Карасулин все поломал...

— Карасулин обезврежен,— прозвенел высокий, с трудом сдерживаемый голос Горячева.— Он исключен из партии с позором, завтра о нем появится статья Кожухова...

— Можно и нужно было сделать это значительно раньше,— недовольно проговорил «товарищ из центра».

— Зато это сделано руками губкома,— возвысил голос Горячев.

— Хорошо,— уступил нехотя «товарищ из центра».— Но хлебная разверстка вот-вот будет завершена по всей губернии. Продотряды уберутся из деревень, страсти утихнут. Мужик как легко возбуждается, так легко и успокаивается. Надо немедленно что-то придумать!

Первым высказался Кожухов. Он был уже крепко навеселе. Лицо раскраснелось, маленькие с покрасневшими веками глаза поблескивали. Говоря, он размахивал руками, и Эмилии Мстиславовне все время приходилось одергивать его, прося говорить потише.

— Выполнена только хлебная разверстка. Понимаете? Только хлебная,— ораторствовал Кожухов.— А мясо, шерсть, табак, лен...

— Короче,— недовольно бросил бритоголовый.

— Понимаю, — осклабился Кожухов. — Формулирую

суть. Выбрать село, где мужики позлее, и спровоцировать заварушку со стрельбой и кровопролитием. Нарочных в соседние села. Там предварительно подзудить. И загудит...

— Таким приемом можно вызвать локальный беспорядок, не более,— отрезал «товарищ из центра».

— Со-вер-шенно точ-но!

Вениамин кинул в блюдечко недокуренную папиросу. Продолговатое тонкое лицо его было решительно и бледно.

— Нужен другой ход. Аб-со-лютно! Я много думал. Вот мой план. Подберем деревеньку, где верные мужики спрячут семенное зерно и объявят, что съели его. Я тут же информирую Пикина. Ставим в известность губком и губ-ис-пол-ком. Подымаем тарарам на всю губернию: «Под угрозой весенний сев! Кулаки готовят голод в Сибири!» Выход один — се-мен-ная разверстка! Силой продотрядов изъять у мужиков семенное зерно, ссыпать в общественные амбары. Уверен, Пикин и Аггеевский согласятся. Надо же спасать семена. Тем более есть пример Центральной России... Мужики взвоют, вцепятся в семена. Все накалится до пос-лед-не-го пре-де-ла. До край-но-сти! Нужна будет малая искорка... Предусмотрел. Придумаем предлог для перевозки семенного хлеба, скажем, в Яровск, а сами пустим слух, что семена увозят в Россию. От такой искорки беспре-менно вос-пла-ме-нится! И как! Тут не зевать: сковырнуть Советы в Северске, оседлать железную дорогу, сформировать штаб всесибирского восстания, установить связь с другими губерниями, заставить затрубить зарубежную прессу. Забастовки сочувствующих рабочих Питера, Москвы, Нижнего Новгорода! По просьбе временного всесибирского правительства иностранные войска спешат на помощь восставшей Сибири! Савинков и Парижский центр собирают средства и силы для последнего удара по большевикам. Тогда, тогда...

Вениамин задохнулся и все никак не мог проглотить что-то, большой кадык на длинной худой шее судорожно дергался. Эмилия Мстиславовна почтительно протянула ему стакан остывшего чая. Вениамин отпил глоток, шумно выдохнул воздух. Коротышка, щелкнув портсигаром, протянул Вениамину папиросу. Тот отмахнулся.

— Извините. Разгорячился. Недоговорил...

— Отлично договорили,— заспешил с одобрением бритоголовый.— Не зря вас так ценит центр. Я же говорил: мне нечего делать, коли тут Вениамин Федорович Горячев командует. Ваше предложение блистательно. И то, что его

реализацию вы добровольно принимаете на свои плечи, еще и еще раз свидетельствует о вашей преданности высоким идеалам социалистов-революционеров. Почту за честь оказаться в числе ваших ближайших помощников. И позвольте от души предложить тост за ваш план, за его осуществление, за будущего премьера временного правительства Сибири — Вениамина Федоровича Горячева!

От восторга пани Эмилия даже в ладоши захлопала, а Коротышка гаркнул было «Многие лета», да его вовремя остановили, напомнив, что рядом чужие уши, а до триумфа пока далеко, впереди борьба и борьба. И все-таки торжественность и приподнятость момента сказалась на всех участниках «вечеринки». Теперь часто шутили, смеялись, деловые вопросы обсуждались менее официально. Как-то само собой получилось, что дальнейшим ходом собрания руководил уже не «товарищ из центра», а Вениамин Горячев. У него была поразительная память. Он поименно помнил почти всех руководителей волостных ячеек сибирского крестьянского союза, помнил, в какой волости сколько проживает бывших офицеров, где и какое имеется оружие. Приказы Горячев отдавал коротко, четко, но в то же время очень вежливо, обязательно добавляя «прошу вас».

Расходились на рассвете. По одному...

Глава десятая

1

Древний Северск справедливо называли воротами Сибири. Через них вошла в Сибирь дружина Ермака, змеею вполз печально знаменитый сибирский кандальный тракт, ворвалась стальная колея Транссибирской железнодорожной магистрали. Все русское вошло в Сибирь через Северск. Здесь родилась сибирская школа иконописи и зодчества, здесь жили первые ученые, летописцы, художники и поэты Сибири.

Со всех сторон Северск окружали леса. Они подступали к городу вплотную. Не раз на городских улицах появлялась рысь, жителей окраин зимними ночами будил тягучий вой голодных волков.

С Северской губернии и начиналась западная граница

не охватной даже мыслью, бескрайней и дремучей сибирской тайги, которая на север простиралась на полторы тысячи верст до приполярной тундры, на восток же щетинистая таежная рать катилась через многие хребты и реки до самого Японского моря.

Но колючая громадина тайги не могла прикрыть Северск от холодного дыхания Ледовитого океана. Зимой студеные ветры продували город насквозь, и горожане так привыкли к их завыванию, что порой вроде бы и не замечали. Однако таких метелей, как в январе двадцать первого, в Северске давно не помнили. Домишки по окна завалило снегом, от белых метровых папах крыши угрожающе прогибались и жалобно поскрипывали по ночам.

Небывалая по свирепости метель разразилась над Северском в самый канун рождества. День занялся поздно, разгорался медленно и тяжело, с трудом выпутываясь из липкой паутины непогоды. Горожане просыпались задолго до рассвета от пронзительного, щемящего душу воя ветра. Он буйствовал в лабиринте улиц и переулков, ломился в ворота и калитки, срывал с привязей ставни, стаскивал с веревок замерзшее белье, валил подгнившие заборы и столбы. К вечеру ветер совсем осатанел и пошел ломать с ураганной силой. Редкие прохожие сгибались дугой, скользили и падали. Лошади норовили повернуться задом к ветру, тревожно фыркали, приседали на задние ноги. В воздухе носились смешанные с дымом клубы снежной пыли — колючей и острой, как песок, кружились белые вихревые спирали. Сыпанул снег — сухой, мелкий, частый, и начался такой буран, что даже псы боялись высунуться за ворота.

— Ишь ведь как колобродит, нечистая сила, в душу ее выстрели,— ворчала баба Дуня, плотнее прижимаясь спиной к горячей русской печи.— Иде-то Катенька? Не иначе у этого злыдни...

Баба Дуня была незнакома с Катиным полюбовником, ни разу не видела его, но не любила. Не за то, что соблазнил Катерину: молодой бабе без мужика — сухота, не жизнь, а за то, что помыкал ею. Почему старуха так решила, осталось загадкой даже для Катерины, ибо она ни разу не обмолвилась ни единым словечком плохим о своем любовнике. Но баба Дуня, видно, и впрямь умела читать чужие мысли, заглядывать в чужие души, а внучка ведь не чужая. Каждый вздох, каждый взгляд ее на виду у бабушки. Баба Дуня наговором и травкой начала «отсу-

шивать» от Катерины «злыдня» — так старуха называла про себя Вениамина — и полагала, что делает это небезуспешно. Побледнела молодуха, аппетит и сон потеряла, а все-таки не могла вырвать из сердца присуху, и хоть реже стала навещать Горячева, однако ниточка меж ними была еще крепка...

От непогоды у бабы Дуни простреливало поясницу, ломило суставы, зевота раздирала рот. В душе копилась и копилась тревога за Катю, мучило предчувствие близкой и неотвратимой беды, нависшей над внучкой. Старая вздыхала, бормотала молитвы. «Ойё-ёшеньки! Несчастная Катя. Присушил ее окаянный. Тяготится им, а льнет... Разок бы только глянуть ему в глаза — что за ворон? Пока он в отъезде, Катюша оттаивает, а как дома — натянутой паутинкой трепещет. В тягость ей эта любовь, ой в тягость»...

На бабу Дуню наплывали видения собственной молодости. Давно ли?.. Ой как давно. Ни рукой, ни сердцем туда не дотянуться. От былого-то что осталось? Была репка сладенькая, хрусткая, тугая, стала ровно мочалка. Все одрябло, ноги от земли еле оторвешь...

— Ойё-ёшеньки, Катенька...

Бормотнула и задремала. Очнулась, когда в сенях дверь хлопнула. «Пришла»,— обрадовалась, а сама еще никак глаза не разлепит. Из сеней донеслись шорохи, приглушенный мужской голос. Бабу Дуню сдуло с лавки, подбежала к двери, крикнула:

— Ктой там?

В дверном проеме встала засыпанная снегом Катерина.

— Напугалась? Я не одна...

— Иде он?

Вошел Вениамин. Тоже весь в снегу.

— Добрый вечер, Евдокия Фотиевна. Извините, что без зову. Провожал Катю. Еле добрались. Решил погреться. Завтра рождество, хочу первым у вас пославить...— вполголоса нараспев затянул:— рождество твое, Христе боже наш...

— Ишь ты, помнишь еще!— Старуха не спускала с гостя всевидящего взгляда.

— Такое не забывается, Евдокия Фотиевна,— прочувствованно ответил Вениамин.

— Я и забыла, что меня эк-то величают. Все «баба Дуня» да «баба Дуня». Зови уж и ты так.

— С удовольствием.

— Ну-к проходи, разболакайся. Сейчас спроворю самовар. Почаевничаем. Пироги с нельмой спекла. Добрые пироги.

Самовар загудел — умиротворенно и протяжно, и в маленькой комнатке стало еще уютнее и домовитей. На Вениамина повеяло чем-то до боли родным и таким далеким. навеки утраченным, невозвратимым, но горячо желанным, что он, вдруг обмякнув, опустился на скамью и долго расслабленно молчал, вслушиваясь в шум непогоды за окном, сладкое сопенье самовара, тонкий перезвон посуды в руках женщин. Ему было хорошо и покойно, не хотелось ни говорить, ни двигаться. На какие-то мгновенья Вениамин увидел себя в отцовской горнице — просторной, светлой, с расписным потолком и до вощеного блеску промытыми крашеными полами. В горницу входит мать с подносом, на котором заманчиво посверкивает, румяным поджаристым боком огромный, затекший жиром гусь. «Давай, давай, хозяйка, шевелись-пошевеливай»,— несется навстречу ей самодовольный голос захмелевшего отца. А кругом стола бородатые лица, довольные, раскрасневшиеся, хмельные. Тут вся «головка» села. У любого и в голове не пусто, и в мошне густо...

Вениамин вздрогнул, открыл глаза. «Черт, совсем замотался... Эти, кажется, и не заметили. Старуха—хитрая и, видно, неглупая. На языке — мед, в глазах — яд. Отпугнет Катю... Черт с ней. Скоро это ухнет в небытие... Привязался. Красивая, чувственная бабенка, неиспорченная. Премьерша сибирского царства... Может, и будет ей. По другому разу получится: «кто был ничем, тот станет всем»...

— Тебе бы покрепче чего,— говорила баба Дуня, протягивая гостю стакан с густой темной домашнего приготовления бражкой.— Не взыщи... Эта тоже добра. Не одну буйну голову на пирог поклала.

Бражка действительно оказалась на редкость приятной и хмельной. После трех стаканов щеки Вениамина побелели. Он расстегнул верхнюю пуговицу сатиновой косоворотки. А баба Дуня все подливала в стакан «дорогому гостеньку», усиленно потчевала его пирогами да груздочками.

— Ешь, ешь. Молодой, а заморенный. Не жалеешь себя. В эки-то годы, бывалоча, мужики зимой едут с сеном да на спор и разуются, свесят с воза голые ноги. Кто первым заколеет, обувку натянет, тот и проиграл. От щеки

парня, бывало, бересту поджечь можно. А ныне ково...— и махнула рукой.

— Жизнь, баба Дуня, сло-о-жная штука,— многозначительно протянул захмелевший Вениамин. Ему не хотелось ни говорить, ни тем более спорить. В голове приятная туманная легкость, а ноги будто в пол вросли. Непрошеная улыбка липнет к губам. Необоримая сила тянет к Катиным коленям.— Можно я закурю?

— Дыми,— разрешила хозяйка.— Хоть попахнет в избе мужиком. Думала, выйдет Катенька замуж...

— Бабушка,— засмущалась Катерина.

— Да я чего? Мне и так ладно. Ты-то вот... Ни девка, ни баба, ни мужняя жена.

— Напрасно вы,— поспешил вмешаться Вениамин.— За мужем у Кати дело не станет. Если бы не эта собачья жизнь, я б за счастье почел...

— Чем же тебе нонешняя жизнь не потрафила? — спросила баба Дуня, прицельно щурясь, чтоб лучше разглядеть лицо собеседника.

В Вениамине вдруг словно лопнуло что-то, и от недавнего покойного благодушия не осталось следа. Заговорил громко и зло:

— Вы тут закупорились в избушке на курьих ножках, отгородились, вам любой ветер в спину. Хоть красные, хоть зеленые — один шут. При царе — хорошо, при Колчаке — неплохо и сейчас жить можно. Ве-ли-ко-лепное рав-но-весие. Так ведь?

— Трудяге всласть любая власть,— подковырнула баба Дуня.

— Нет, не любая,— тут же отпарировал Вениамин.— И вы сами знаете это. Наш мужик прежде хозяином был. А теперь всяк, кому не лень, по мужицким закромам шарится. Задарма его и в извоз, и на лесосеку...— Вениамин в два глотка опорожнил стакан. Потянулся к недокуренной папиросе, лежащей на блюдечке.— Мужик нас ненавидит, мы — его. Вот-вот друг дружке в глотки вцепимся. Полетят клочья, заголосят над Сибирью красные петухи. Напьется земля кровушки...

— Пошто ж вы мужика-то теребите? Ты ведь и сам-то...

— Да он шутит, бабушка,— в глазах и голосе Кати растерянность.— Шутит...

— Хм! — недобрая ухмылка покривила лицо Вениамина, уголки губ вздернулись.— Это похоронная шутка,

Катюша. Да ты же отлично знаешь, что вокруг делается: Чижиков небось обучил политграмоте. Только правды от него не жди. Потому как сам во всем повинен, а кто себя сечет?

— Ты ведь тоже первый помощник губпродкомиссара,— Катерина и сердилась, и гордилась Вениамином.

— Факир поневоле — вот кто я.

— Эку страхолюдину удумал, факира какого-то,— засердилась и баба Дуня.— По-простому-то говорить, никак, вовсе разучился.

— Отучили нас по-людски с народом разговаривать. Либо лай, либо...— вызверился вдруг Вениамин, оскаля крупные желтоватые зубы, вскинул над головой мослатый крепкий кулак, да, перехватив испуганный взгляд старухи, сдержался, еле подмял пыхнувшую ярость. Выдавил глуповатую ухмылку, подмигнул невесть кому.— Я, баба Дуня, только винтик. Куда вертят, туда кручусь. Остановлюсь самочинно — резьба к черту, и меня в мусор. Повернусь в другую, неположенную сторону — тоже в ящик. Не ради же этого семнадцать лет проучился, четыре года провоевал. Ранен дважды. В тифу подыхал...— Многозначительно поднял указательный палец вверх.— Приказывают там, мы исполняем. Сам Ленин требует: давай и давай хлеб. Как и где добыл — неважно, дай! — и все. Лишь бы голодные рты заткнуть, продлить свое владычество. А где взять, как не у мужика? Тот артачится, не хочет задарма отдавать. Мы ему наган в рыло...

— Кто же тебя, мил человек, неволит супротив совести идти? — спросила баба Дуня.— Пошто душа не лежит, а руки тянутся?

Он уже раскаивался, что не сдержался. С чего распахнулся? Перед кем? А ну как Катя Чижикову запродалась, донесет? Оступиться на таком, сгореть, рухнуть в такое время? Спятил. Опоила колдунья приворотным зельем, развязался язык, нагородил... И заспешил выкрутиться, сгладить впечатление:

— Судьба, баба Дуня! С ней еще никто не поспорил, не потягался. Вон Катю из пламени вынесла. Могла сделаться сообщницей поджигателей — стала сотрудницей губчека. А другого, наоборот, из красного в белое перекрашивает...

— С судьбой не спорь, а и столбом не стой, покойничек отец говаривал, царство ему небесное. Только не судьба в огонь-то тебя кидает, а гордыня.

Надо было, наверное, сдержанно возразить, но Вениамин опять озлобился. «Не хватало оправдываться перед этой...» Баба Дуня поняла его молчание по-своему, решив, что заколебался, засомневался в своей правоте, и назидательно произнесла:

— Одна голова не бедна, а хоть и бедна, так одна.

— Это вы к чему? — Горячев даже головой потряс.

— Все к тому же. Своя голова всего царства дороже.

«Куда целит старая хрычовка?» Придав голосу минорный тон, Вениамин негромко, проникновенно проговорил:

— Эх, баба Дуня. Измотался я... Советской власти — хорош, мужикам — плох. Вертись берестой на огне...

— Ты хошь бы Ленина не приплетал,— неприязненно упрекнула Катерина.— Разве он велит эдак-то с мужиками обращаться? По-хорошему ума не хватает, вот вы и за наган...

Это уж было слишком. Не хватало, чтоб она читала ему нравоучения!

— Чего ты понимаешь! — взъярился Вениамин.— Наслушалась чижиковых песенок. Ленину хорошо. Сидит за кремлевской стеной и пуляет телеграммами: «Хлеба. Хлеба. Хлеба!!! Вынь да положь!» Откуда прикажете вынуть? Только из мужицких амбаров. Видела в Челнокове, как нас к амбарам-то допускают. Вот мы и...— уперся в Катерину злым, горящим взглядом.

— Ишь как распалился, сердечный.— Баба Дуня не то издевалась, не то сочувствовала.— Не дает тебе покою совесть-то. Гложет. Вот и борзеешь. Бросаешься на всех...

Коварная бражка взвинтила, подпатянула нервы и разжижила волю. Надо бы вовсе умолкнуть, оборвать на этом разговор, сказав что-нибудь примирительное, смягчающее, но Вениамин не смог с собой совладать.

— Вы мою совесть не троньте, ба-ба Ду-ня! Она и так, как ущемленная змея...

— Чистая совесть звонким лесным ручейком текет, а не гадюкой в щемилах извивается,— отчужденно, с нескрываемым осуждением выговорила баба Дуня.

— У кого она чистая-то? Может, у вас?

Баба Дуня не обиделась. Покачала медленно ровно бы отяжелевшей вдруг головой.

— Пошто так торопко о людях судишь? Всех своим аршином? Кабы не было совести чистой, кто бы разглядел замаранную? Да ты успокойся. Мы тебя ни в чем не уличаем. Разве с бабьим умом в таких делах разбираться?

Нам ли тебя судить? Живи себе как знаешь, как сподручней да ловчей...

— Спасибо за высочайшее соизволение,— съязвил Вениамин и даже голову склонил в почтительном полупоклоне. Скакнул исподлобья взглядом со старого лица на молодое, трудно выдохнул задержанный в груди воздух и примирительно произнес: — Ладно. Оставим этот разговор. Да и надо ли в такую ночь, перед рождеством Христовым, в первую встречу толковать о каких-то мужиках, о хлебе. Господи! Я ведь хотел только объяснить, почему до сих пор не женился на Кате, отчего и себя и ее мучаю. Не сладко ей, и мне тоже... Но в тихой семейной гавани бросать якорь еще не время. Вот образуется все, расстановится по местам, тогда и мы свадьбу отпразднуем. О лучшей жене не мечтаю. Это, баба Дуня, говорю совер-шенно от-вет-ствен-но и чисто-сер-дечно!

— И на том спасибо. Пей-ко чай-от, остынет...

После ухода нежданного гостя баба Дуня долго молчала, прятала глаза от вопросительного взгляда Катерины. Та, не выдержав, подсела к бабке, обхватила ее за шею и тихо, дрогнувшим голосом спросила:

— Ну что?

— Так я и думала. Не обмануло сердце...

— Да что, бабушка?

— Выворотень он. В голове одно, на языке другое, в деле опять иное. Почто его в эком-то месте держат? Неуж не видят иудину душонку...

Задержав дыхание, испуганно округлив глаза и слегка приоткрыв рот, Катерина слушала бабушкин приговор, а в голове, петляя и кружа, затравленно метались мысли. Кто он? Что на уме у него? Что на сердце? Недобрый — это сразу видно. Как власть-то ненавидит. Рад, что мужика озлобили... А может, крестьян ему жалко? С того и себя казнит, и других не милует? Опостылело, а делать надо... Глаза-то, глаза-то как пыхнули... Да кто же он? С бабушкой об этом не поговоришь. С Чижиковым? Сразу насторожится. И не станет Вене веры. Вовсе измотается... До чего же нежный, до чего ласковый бывает. Прильнет губами... Зачем отворила ему? Люб ведь, люб, окаянный...

И от горькой обиды на Вениамина, и на себя, и на весь свет Катерина заплакала. Баба Дуня принялась успокаивать. От бабкиных ласк Катина горечь вытекла со слезами, и те стали легкими, сладкими.

— Ты сразу-то спиной к ему не поворачивайся. От та-

кого чего хочешь жди... Почуял, что ты отдаляться стала, забоялся, с того и сюда пришел. Полегоньку, но беспременно пяться. А то не приведи господь... Дуреха...

Катя не противоречила бабушке. Слушала и не знала, что думать, что делать.

2

Катерине показалось, что ее вовсе не случайно встретила в коридоре пани Эмилия, а нарочно подстерегла...

— Давно не видела вас, голубушка. Вы все мимо, все мимо. Хоть бы разочек заглянули, скрасили мое одиночество. Порой не знаешь, куда деть себя,— голос у пани Эмилии сладкий, а глаза сухие, зоркие и пытливые.— Зайдите на минутку. Чашечку чайку. Разговор для вас...

— Я потом... потом,— бормотала Катерина, невесть чего испугавшись, и силилась вырвать руку из цепких пальцев пани Эмилии.

— Нет уж, нет,— ласково пела та, увлекая за собой молодую женщину.— Самовар на столе. И чай заварен. Сделайте мне приятное...

Из-за огромного ведерного самовара Катя не угадала сидящего за столом человека, а когда тот поднялся и она узнала челноковского кулака Маркела Зырянова, то едва удержалась, чтобы не броситься вон из комнаты.

Маркел все заметил и понял, но виду не подал. Вскочил, обрадованно засуетился вокруг Кати, приговаривая:

— Здравствуй, землячка, здравствуй, красавица. Давненько не виделись. Как узнали про твое воскресение... веришь ли, бабы заставили отца Флегонта молебен отслужить. Чуть в святые не произвели. А ты, девка, заянилась, в Челноково и глаз не кажешь, не хочешь с нами дружбу водить. Смотри, Катерина,— шутливо погрозил ей кулаком.— Доберемся до тебя, хоть ты и в чека теперь...

— Да что ты, дядя Маркел,— смущенно отговаривалась Катерина.— Какое там чека...

— Не говори, девка. Сами не махонькие, понимаем, что к чему. Ловка ты! Прямо тебе скажу — ловка! Провела их за нос, как слепых кутят. Хе-хе-хе...

Он смеялся так заразительно, что, глядя на него, заулыбалась и пани Эмилия, и у самой Кати дрогнули было губы в бессознательной улыбке, но она тут же опомнилась. «Над чем это он так ухохатывается? Кого я провела. О чем он?»

А Маркел, вдосталь насмеявшись, тыльной стороной ладони стер с глаз слезы и деловито предложил:

— Садись-ка за стол. Чайку не попьешь — не поробишь.

— Недосуг, дядя Маркел,— отнекивалась Катерина, с тоской поглядывая на дверь и тихонько пятясь к ней.

— И не моги. Садись. Мы тебя часто вспоминаем. Умница. И характер — любой мужик позавидует.

— Чего ты меня нахваливаешь?— почуяла недоброе Катерина.

Он усадил-таки ее за стол, сам налил и пододвинул к ней чашку с чаем, вазочку с сахаром, тарелку с пирожками.

— Угощайся.— Повернулся к пани Эмилии:— Ты только подумай, Эмилия Мстиславовна, как ловко она обвела всех вокруг своего пальчика.— Ухватил Катю за мизинец, потряс ее руку, бережно уложил на прежнее место.— Ведь как было-то? Принес я ей сонной травки, говорю: «Будут продотрядчики победу обмывать, ты им незаметненько в самогонку подсыпь. Куда-либо это зелье не сыпанешь — горьковато очень, а в самогон — самый раз. А как они повалются да захрапят, подашь нам знак, выставишь лампу на окошко. Мы ставеньки прикроем да подопрем, а ты тем временем полезай на чердак и прыгай оттуда в сугроб, а чтоб не зашиблась ненароком, мы постоим, примем». И что ты думаешь? Ровно по-писаному изделала. И продотрядчиков усыпила, и с чердака скакнула, и попа еще одурачила, да как ловко, что он ее от нас и увез спасаться. Умора, да и только. А в газетке-то, в газетке-то как все ловко обсказала. И на допросе ни гу-гу. Да ить что еще удумала, сама же в энту чека и затерлась. Ой, ловка, девка. Ой, ловка!

При первых словах Маркела лицо Катерины отразило крайнюю степень изумления и растерянности, потом на нем проступил испуг — обескровил и щеки, и губы, осыпал соленой росою лоб. Женщина вскочила, несколько секунд остекленело смотрела на Маркела, как смотрит лягушка на подплывающую к ней гадюку.

— Врешь! Врешь! Все врешь!— отчаянно завопила она.— Да чего вы его слушаете, он сам не знает, чего плетет... я не усыпляла... не сговаривалась. Господи... да что же это?!

— Верно, девка. Так и надо. Никому не доверяйся. И пани Эмилии. Может, она тоже агент губчека. Только шутю я насчет Эмилии Мстиславовны. Свой человек. Ты

других остерегайся. И Вениаминчика своего бойся, хоть и полюбовник, а продать может. Потому интеллигенция и красный наскрозь...

Катерина хотела закричать, завыть, но спазма перехватила горло, и из пересохшего рта, кроме хриплого сипенья, невозможно было извлечь ни единого звука. Ей не хватало воздуха. Она задыхалась. Разбухшее сердце судорожно колотилось где-то возле самого горла. «Сейчас они убьют меня»,— мелькнуло в сознании.

Она не помнила, как выскочила в коридор, как влетела на второй этаж, рванула запертую изнутри дверь комнаты Горячева и та, слетев с крючка, распахнулась, не видела, как, выхватив из кармана наган, испуганно отпрянул от стола что-то писавший Вениамин. Едва ступив в комнату, она с размаху рухнула на пол, и ее придавила, сплющила чугунная чернота беспамятства...

3

Обморок был затяжным и глубоким. Катерина очнулась на кровати, долго непонимающе всматривалась в белое пятно Вениаминова лица, которое то удалялось, то приближалось. Вениамин поднес к ее губам стакан с водой. Женщина сделала несколько судорожных глотков и обессиленно закрыла глаза. Вениамин сунул ей под нос ватку, смоченную нашатырным спиртом. Острая боль прострелила голову. Катерина громко и длинно выдохнула, уже осмысленно осмотрелась. Бескровные губы шевельнулись.

— Что случилось?— встревоженно спросил Вениамин.

— Сейчас... Дай еще водички.

Он накапал в стакан каких-то душистых капель. Катерина выпила, полежав несколько минут, села на кровати, оправила кофточку.

Ее удивило спокойствие, с каким Вениамин выслушал рассказ о наговоре Маркела. Он даже облегченно вздохнул, когда она высказала все, присел рядом, полуобняв ее за плечи.

— Чего ты, дурочка, напугалась? Никто на тебя не донесет. Ты ведь теперь в губчека. А и донесут если, так не докажут: сие — вещь не-до-ка-зуемая.

— Что ты говоришь?— испуганно отшатнулась Катерина.— Как ты можешь... Он все выдумал, паразит!

— Тем более нечего беспокоиться. Ты так ворвалась, подумал: за тобой янычары гонятся. Ох и напугала.

А это — чепуха. Было не было — теперь никто не докажет. Приляг. Отдохни. Мне срочно нужно дописать одну бумагу. Быстренько снесу ее на работу, там ждут. Вернусь, обо всем поговорим... Это наверняка была глупая шутка. Маркел — злой человек. Мне о нем дядя Флегонт как-то рассказывал. К поджогу, может, он руку и приложил. Черт знает! Но зачем ему тебя впутывать? Ничего не понимаю. И эта, говоришь, была там, преподобная шлюха пани Эмилия? Не-по-нят-ное сод-ружество! Я по пути загляну к ней сейчас. Набью рыло этому кулаку и пани выдам, чтоб знала...

Катерина прикинулась, что задремала. А в ее душе скипались воедино обида, боль, страх и ненависть. Вот расплата за ту малую ложь, на которую подтолкнул ее Вениамин, заставив умолчать о Корикове, принесшем продотрядовцам самогонку. Кориков и Маркел — заодно, это и кутенку ясно. Пани Эмилия тоже каким-то образом с ними. Подстерегла, специально затащила... Но ведь Кориков — председатель волисполкома! Мыслимо ли такое? И Вениамин не чужой между них. С чего бы ему сразу Корикова прикрывать? Надо было начистоту признаться Чижикову... Может, этого и боится Маркел, оттого и ловит в тенета. Господи, как перепуталось все... Кругом враги. И кто? Самый близкий, любимый человек... Чего я несу? Ополоумела. Любит ведь он... Не человека — бабу любит. Ни разу в душу ему не глянула. И это — любовь? Может, права бабушка: выворотень он? Играет как кот с мышью. Уйти от него, скорей и насовсем...

Вениамин давно ушел, тихонько притворив дверь, а Катерина лежала, перелопачивая, просеивая события минувших недель, сопоставляя их, и все более утверждалась в самом страшном: и Вениамин, и Маркел, и Кориков — одна вражья стая. Холодела от этой мысли, отгоняла ее, снова и снова начинала разматывать клубок и приходила к тому же...

Женщина поднялась и увидела свою шубенку и полушалок на стуле. Когда принесли? Кто? Что сказали Вениамину?

Он уже все знал от них?! А может, и зазвал ее для этого? Как уговаривал, чтоб пришла сегодня!.. Катерина машинально поправляла одеяло на постели, взбивала и без того пышную подушку и все думала — тяжело и прерывисто — об одном и том же...

В коридоре послышались шаги. Чем-то приятно воз-

бужденный Вениамин долго кружил по комнате, довольно потирал руки, покрякивал, попыхивая папиросой и вроде бы не замечая Катерины. А та и ждала, и боялась, и хотела разговора с ним — откровенного и беспощадного. И о Маркеле Зырянове, о той паутине, которую плел вокруг нее вместе с Маркелом и Вениамин. (И он, и он — заодно!) Женщина не смела поднять глаз на Вениамина: казалось, глянет — и все поймет, все страхи ее и подозрения.

Но вот его взгляд скользнул по Катерине. Подсев, он обнял ее за плечи, притиснул к груди.

— Чего раскисла? Вот святая простота. Мало ли какую дурь мог сморозить полупьяный Маркел.

— Трезвый он. Наговаривает, гад! Сеть плетет...

— Не кричи. Не было, было — господь бог ведает... Если это и ловушка, то отлично подстроенная. От-лич-но! Не вдруг выскочишь. Да и надо ли? На-до ли! Я, например, слышал, что-то в этом роде, кажется, от дяди...

— Не мог отец Флегонт такое вымолвить! Напраслину на него возводишь!..

— Может, и не Флегонт говорил,— сразу попятился Вениамин.— Не утверждаю. Но от кого-то слышал...

— И поверил!— Катерина сбросила его руку с плеча, отодвинулась, впилась требовательным, суровым взглядом.

Скользнули вбок глаза Вениамина.

— Чудачка... Такое пережила, а из-за пустяков на стенку лезешь. Ну, допустим, поверил — и что? По мне ты хоть сожги Рим, все равно люблю. Люблю — и к чертям всю политику! Вокруг тарарам, содом и гоморра, а на нашем островке — любовь...— Потянулся к ней.

— Погоди,— резко откачнулась Катерина, выставив перед собой руки.— Не трогай. Выходит, ты с ними?

— Что значит «с ними»? С кем?— Он мигом преобразился, стал серьезен и даже строг.— Совсем помешалась. Наверно, скоро и с бабы Дуни подписку возьмешь на верность большевикам... Я люблю тебя, понятно? Ради любви помог тебе вылезти из петли, сухой из воды выбраться. Забыла? Если б не та статейка в газете и не заступничество одного товарища в губкоме, ты давно бы жила под клеточным небом, а может, и вовсе не жила. Я эту сволочь кулацкую знаю. Спасая свою шкуру, они утопили бы тебя. Пойми: ты — малая песчинка в адском водовороте. Слизнули бы тебя без следа. И меня могли за заступничество прихватить, и Флегонта припутать. Но я даже не подумал

об этом. И тебя тогда не допрашивал. Так ведь? Люблю — значит, верю. И ты верь. Остальное че-пу-ха. Выкрутимся. Я заткну глотку и Маркелу и этой... Пусть не суют свои сучьи рыла куда не следует.

— Ты все-таки веришь им.

— Катя, Катя,— осуждающе покачал головой.—Милая ты моя. Ну чего ты от меня хочешь?

— Ни-че-го,— тихо по слогам выговорила она.—Просто я думала... я думала...

— Ну-ну,— поторопил он.

— Все перепуталось... Голова гудит, муторно на душе. Я пойду. Проводи меня до ворот.

— Не бойся. Маркел давно уехал. Я ему так наддал — на коленях стоял, каялся. И этой вислозадой пани всыпал. Разве я позволю кому-нибудь обидеть тебя? Глотку перерву!.. А у тебя ни к черту нервишки. Учись держать чувства в поводу. Главное, чтоб Чижиков ничего не угадал. А то подберет нужный ключик, сунет нос в щелочку, и пиши — пропало. Они мастаки чужие души отмыкать. Спе-ци-алисты! Тут надо всегда на взводе... Маркел, конечно, больше об этом нигде не пикнет, но тряхни его в чека — расколется: своя шкура дороже. И на очной ставке все повторит да еще краше, еще подробней разрисует. Тогда капкан щелк — и уж ни я, ни сам господь бог не спасут тебя от ревтрибунала, а оттуда одна дорога — в мир иной. Чижикова бойся, а не Маркела. Сама себя не выдай...

Мягкий баюкающий голос все плотней опутывал Катерину. Она слушала, закрыв ладонями лицо, и все, что только что казалось почти ясным, очевидным, начинало двоиться, окутываться туманом И уже хотелось верить другому: он заступился, Маркелу и пани Эмилии досталось. Значит, вправду любит, жалеет ее, бережет... Вот и от Чижикова остерегает... Но тут вынырнуло в памяти чижиковское лицо — бесхитростное, открытое, усталое. И разом отлетели добрые мысли о Вениамине, вспомнилась рождественская ночь, бабкины слова. Он все знал. Он — с ними. Боится, чтоб к Чижикову не склонилась, хочет помешать, потому и Маркел вынырнул. Ох, дуреха... Да ведь любит же!..

Еще несколько минут назад она могла бы ударить, оттолкнуть, оскорбить Вениамина, но когда он жарко приник к ее смятенным, сторонящимся губам, властно обнял и прижал ее слабо сопротивляющееся и оттого еще более

желанное тело, Катерина, не желая того и проклиная себя за то, обвила руками его шею и со стоном сладкой боли отдалась...

Потом, остыв, она снова засомневалась и снова все вспомнила и мигом охладела, но что-то опять удержало ее подле Вениамина. Надо было самой, без помех неторопко разобраться в хаосе чувств и мыслей, еще раз все сопоставить и сверить. Но сейчас — не могла. Она любила, и ненавидела, и боялась его, и тянулась к нему...

— Эх, Катя. Голубка ты моя, премьерша сибирская. Скоро в пламени, в боли и муках родится такое... Ты будешь счастлива. Я хочу и сделаю так...

Отнял ее ладони от лица и стал жадно целовать и снова разом выпил всю ее решимость и волю, снова стал близким, желанным. Отлетели сомнения и страх. «Главное — любит»...

За окном давно плескалась ночь, а они все никак не намилуются, не оторвутся друг от друга. Временами Вениамин вроде трезвел от любовного хмеля, отдалялся от Катерины, и та начинала осмысленно и трезво воспринимать происходящее, но тут Вениамин, будто почуяв неладное, опять льнул к ней.

Потом он курил, а Катя сладко полудремала на его плече. Еле расслышала, как он спросил:

— Хочу завтра Чижикова повидать. Будет у себя?

— Днем должен быть, вечером в Челноково собирается.

— Откуда знаешь?

— Спрашивал, как Веселовским зимником проехать. Другие-то перемело...

— На ночь-то глядя, да тайгой?

— Он завсегда по ночам. Днем, говорит, работать надо.

— Замордует себя,— посочувствовал Вениамин.— На полный износ работает. И не боится в такое время по ночам?

— Смелый.

— Непуганый... Это хорошо.— Поднес циферблат к горящей папиросе, затянулся.— Без четверти двенадцать. Пойдем провожу. Хоть ты и отчаянная и чекистка, а все-таки... Чижиков и то, наверное, без провожатых-то не ездит?

— Когда как. Иногда только с кучером.

— Ночью да по тайге... Я б, пожалуй, не решился...— Вениамин зябко передернул плечами.

— Трус,— погладила ладошкой по колючей щеке.— Как же ты воевал?

— Когда воевал, у меня не было тебя, нечего терять. А теперь... не хочу...

И снова зацеловал, заласкал Катерину.

4

Ничего подобного Катерина не переживала до сих пор. Едва Вениамин выпустил ее из объятий и торопливо зашагал прочь, как снова заныло сердце. «Только бы бабушка спала, не расспрашивала».

Баба Дуня тихонько похрапывала на печи, и, боясь ее разбудить, Катерина не стала зажигать лампу, не притронулась к еде. Бесшумно прошмыгнув в горенку, торопливо разделась и скользнула под прохладное одеяло. Свернулась калачиком, зажмурилась. «Не думать. Ни о чем. Уснуть. Уснуть... Любит — а об остальном завтра»...

И вдруг разом нахлынули все недавние сомнения. «Любит? А зачем тогда врет про Маркела, зачем запутывает, с толку сбивает? Так ли любят-то? Думает, деревенская дурочка, соломенная вдова... приласкал, погладил — и твоя душой и телом. Врешь, баринок! У деревенских душа-то не хуже, чем у ваших образованных барынек... Чего это он про Чижикова пытал? Куда да когда... О господи, а я-то разболталась. Гордей Артемыч только мне, верно, и обмолвился, потому как челноковская... Ой, да кого это я?! Совсем тронулась. Нужон ему Чижиков — вот и спросил. И чего надумываю?.. А голос-то дрогнул. Сразу не приметила, а сейчас точно вспомнила — дрогнул... И Маркел, и эта пани с ним заодно. Что я им? Ровно куль соломы. Приспичит — кинет под ноги. Ране барином был: в Питере учился и теперь мужиками помыкает. «Мы им наган...» Чижиков так не скажет, и Онуфрий Карасулин. Свинья не родит бобра. Это уж точно... Сгорела б тогда — никто не поперхнулся... Но любит же! Сердце не обманешь: любит! Полюбил волк кобылу — оставил хвост да гриву... Премьерша... Что такое? Не по-русски, видно... Про красного-то петуха тогда говорил, аж затрясся. Грозится, а самому страшно»...

И пошло кружить в сознании: Маркел, пани Эмилия, сгоревшие продотрядовцы, Чижиков, а посередке — Вениамин.

С боку на бок ворочалась Катерина, то бубликом свертывалась, то закрюченной рыбой выгибалась. Измучила, измочалила душу и тело и вдруг — уснула. И сразу привиделся ей Вениамин в голубой косоворотке, перехваченной витым пояском с кистями, в начищенных сапогах. Тянет руки к ней, сам тянется каждой жилочкой и что-то говорит. Что? Хотела Катерина в глаза ему заглянуть, а глаз-то нет, вместо них сквозные дыры зияют. Смеется он этими дырами, страшно скалит непомерно большой рот и все что-то лопочет, непонятное, но страшное. Хотела убежать Катерина, да ноги скользят, семенит ими, и все ни с места. Рука Вениамина протянулась к Катиному горлу. Забилась она, захрипела, а Вениамин вдруг закричал бабушкиным голосом: «Катенька! Да очнись ты!» Открыла глаза Катерина и, еще не прорвав пелены сна, услышала испуганный голос бабы Дуни:

— Господь с тобой, Катя. Очнись же!

— А?.. Что?..— вскочила, обняла бабушку, припала к ней.

— Успокойся, Катенька. Сон дурной приснился? Сгинь, нечистая сила. Царица небесная, матушка заступница, помоги...

Шепчет, шепчет баба Дуня молитвы, крестит внучку, гладит ее по голове, и затихает Катерина, успокаивается, бессильным телом обвисает, уронив голову на бабкины колени.

— Что с тобой, голубушка?

Рассказала Катерина, что с ней приключилось, и о подозрениях-сомнениях своих не умолчала — вся открылась. Поохала баба Дуня, покачала головой.

— Запутать тебя хотят, в силки пымать. Пауки. Нужна им, стало быть. В душу их выстрели, ишо чего удумали? Глупая ты, доверчивая, как голубь, а ить они — воронье-падальники. Заклюют — и перышков не останется.— Твердо взглянула внучке в глаза.— Больше к нему ни шагу. Слышишь? Да не трясись и глаза не мочи. А Чижикову своему как на духу откройся. Не иначе сгубить его замыслил злыдень.

5

За ночь Катерину так перевернуло, что Чижиков, встретив ее в коридоре, даже приостановился.

— Что с тобой?

— Приболела,— вяло отозвалась она и попыталась изобразить улыбку, но не смогла, только губы покривила.

— Иди домой,— мягко приказал Чижиков.— Отлежись. Передай бабке: в ревтрибунал отправлю, если за два дня не поставит тебя на ноги. Ступай.

— Мне бы... зайдемте к вам...

Если бы Чижиков не встретился ей первым, не отсылал домой, наверное, Катерина так и не насмелилась бы зайти к нему, и теперь, шагая за председателем губчека, она никак не могла собраться с мыслями и решить, что и какими словами сказать. «Да и надо ли? Моего ли ума? Говорят же, «не бабьим умом держится дом», а тут такое... Сгублю Вениамина и сама влипну...» На пороге страшного признанья она вдруг необыкновенно отчетливо осознала, сколь многим обязана Вениамину. Вспомнила, как заботливо ухаживал он за ней, бинтовал ее обмороженные ноги, как нежно ласкал и успокаивал... Пусть даже он не любит ее по-настоящему, но ведь зла она от него не видела. Может, все ее подозрения ничего не стоят, а человеку навредит, не будут ему уже доверять, как прежде... «Выворотень он»,— встали вдруг в памяти бабушкины слова. «Ой, не зря он о Чижикове пытал»...

Вот уже Чижиков толкнул дверь своего кабинета и остановился у порога, кивком головы пригласил Катерину проходить вперед:

— Садись.

А сам прошел к окну, отодвинул штору, постоял, то ли занятый какой-то думой, то ли специально для того, чтобы дать Катерине время успокоиться, собраться с мыслями. Как бы там ни было, женщина была благодарна ему за эту паузу, и пока Чижиков, машинально приглаживая светлый ершик на голове, стоял у окна, она не то чтобы совсем оправилась, но все же взяла себя в руки. И сразу пришло решение: о Вениамине и Маркеле ничего не говорить, просто предостеречь Чижикова от ночной поездки в Челноково, насторожить его.

— Что с тобой?— участливо спросил Чижиков, глядя на Катерину.— Сиди, сиди,— и сам сел рядом.— Не боишься дыму?

Достал из кармана кисет, стал свертывать папиросу, а Катерина снова вспомнила ночь под рождество, разъяренного Вениамина, негромкий, скрипучий голос Маркела Зырянова, дурной сон и бабкин наказ...

Чижиков пустил к потолку длинную синюю струйку дыма.

— Не скучаешь по Челноково?

— Не скучаешь ли, мышь, по мышеловке? — сухим натянутым голосом трудно выговорила Катерина.

— А я хотел тебя в попутчики залучить.

— Не ездите ночью по Веселовскому зимнику! — вырвалось у женщины.

— Чего так? — равнодушно спросил Чижиков.

— Вдруг подстерегут...

Катерина сама испугалась сказанного, а Чижиков ни лицом, ни голосом не выдал изумления, тем же тоном спросил:

— Кто?

— Не знаю... — пришибленно выдавила Катерина и вся сжалась.

— Так не годится, Катя. Ты такие вещи говоришь... Сама понимаешь, не девочка. Тут либо — все начистоту, либо — совсем ничего. Середины нет. За нас или против. Поняла? Вот ты и выбери. Не насилую тебя, не неволю. Можешь встать и уйти. Только посередке — вашим и нашим — не выйдет. Затянет на дно — и конец... Не бледней. У меня никаких капель не водится. Испей-ка водицы.

Проворно поднялся, налил в стакан воды, поднес Катерине. Та в два глотка опорожнила стакан, и сразу все ее тело покрылось испариной. Ладонью смахнула влагу со лба и щек.

— Вам легко... Сама понимаю — середки нет... Только не моего ума это. Не мне судить... Я же простая баба...

— Думаешь, мне масленица? Я, Катя, кузнец. Мое дело с железом нянькаться, мять его, гнуть, лепешить. А тут — живые люди. Кто ненароком заблудился, а кто специально темное местечко ищет, других в темноту заманивает — попробуй разберись с ходу. А времени нет... Да и в чужую душу окно не прорубишь. Вслепую, на ощупь своих с чужими долго ль перепутать? Царевы защитники, те университеты кончали, а у меня за спиной ничего, кроме кузницы... Можно, конечно, бросить все и драпануть. Кабы знал, что на мое место посадят красного грамотея, так бы и сделал. Не посадят — нет его. Вот те, что нам на смену придут, будут настоящие красные чекисты — и образованные, и воспитанные. До той поры нам воз везти. Тянуть за десятерых и на ходу учиться. Трудно? Да. Очень? Согласен. Но можно. Ленин в каземате книги пи-

сал, по которым революцию делали. А мы? Народ нам верит, почитает как защитников правды... Надо, Катя...

Опять взялся за кисет. Катерина посмотрела, как он свертывает папиросу, и снова, как при первой встрече, по-матерински остро и нежно пожалела его. «Не щадит себя. Двужильным за глаза кличут. Уходит на свету и раньше всех приходит. Ездит по ночам, чтоб день на дорогу не тратить. Скараулят на Веселовском зимнике. Может, тот же Маркел. Не дрогнет рука. Цельный продотряд сгубил. Меня туда же хотел. Теперь в силки имает. Ну, нет... Веню только жалко... Премьершу какую-то удумал...»

— Премьерша,— еле внятно пробормотала она.

— Какая премьерша?— заинтересовался Чижиков.

— Слово такое, непонятное,— смущенно отозвалась Катерина.— Не знаете, что это?

— Наверное, жена премьера.

— Какого премьера?

— Так называют главу буржуазного государства. Премьер-министр, а жена, стало быть, премьерша. Откуда тебе попало на язык такое словечко?

— А ежели сибирская премьерша, так это как же?

Чижиков неопределенно передернул плечами, сказал неуверенно:

— Похоже, супруга сибирского премьера какого-то... Погоди. Да ведь это же...— И даже вскочил от волнения.— Откуда это у тебя? Кто в премьеры нацелился? Ну? Чего молчишь?..

Катерина отрешенно вздохнула, опустила голову. Начала рассказ с той ночи, когда, подойдя к припертой двери, услышала скрип снега под ногами убегающих поджигателей и почуяла запах дыма. Чем дальше рассказывала, тем сильней волновалась, путалась, возвращалась к уже известному и еще раз пересказывала. Ничего не упустила. И о том, как Вениамин заставил ее промолчать о Корикове, и о его разглагольствованиях в рождественскую ночь после бабушкиной бражки, и о встрече с Маркелом и пани Эмилией, и о том, что было потом.

Чижиков ни разу не перебил, не задал ни одного вопроса.

— Вон как,— раздумчиво и тихо произнес он, когда Катерина умолкла, концом полушалка вытерла мокрые ладони.— Ага...— И долго молчал, нахмурясь, сосредоточенно глядя в пол.— Надо, чтоб о нашем разговоре ни-ни. Слышишь? И не догадывался.— Взял влажную Катину

руку, крепко, прочувствованно пожал.— Спасибо тебе, товарищ Панова. Спасибо, Катя. Не от себя, от Советской власти, от всей партии большевиков. Не ошиблись мы в тебе.— Помрачнел.— Вот еще что... Может, неприятно и трудно будет тебе, но... другого выхода нет. Пока нет. Потерпи, подружка, маленько, пересиль себя.

— Вы о чем?— встревожилась Катерина.

— Да все о Горячеве. Помешкай чуток... Прости меня, не имею права и все-таки прошу — потерпи. Арестовать его сейчас — и оснований маловато, и — главное — делу вред. Но отпугнуть — вовсе беда. Понимаешь? Если он заподозрит что — сгубит тебя и сам схоронится. По всему судя, он, пожалуй, один из главных, с того и премьершей тебя провозгласил. Знаю, тяжело тебе, но ты уж, голубушка, перемоги себя. Чтоб он никакой перемены не заметил. Сообщать все будешь лично мне.

— Не смогу я...— глядя в пол, покачала головой Катерина.— Не смогу больше с ним. Не пересилить. Ненавижу...

— Ну что ж... Понимаю. Хотя от этого не легче...— Чижиков на минуту задумался.— Тогда вот что... Сегодня же порадуй его известием, что ты уже не курьер, а оперативный сотрудник губчека. Да не шарахайся ты! Будешь в отделе борьбы с беспризорностью. Интересно и вполне посильно. Форму и оружие получишь сегодня же. Гимнастерка будет тебе к лицу. Пошлем тебя на двухнедельные курсы. Вернешься — там подумаем, как дальше. А сегодня похвались и непременно ему напомни о встрече с Маркелом, боюсь, мол, как бы не проболтался, не дошло до Чижикова, хоть и напраслина, а засомневается... Ну, Катерина Панова, удачи тебе!— Полуобнял ее за плечи.— Ступай.

Глава одиннадцатая

1

Ни от тюрьмы, ни от сумы не зарекался Онуфрий Карасулин и все-таки не думал, что доведется ему дожить до таких черных дней. Гибель продотряда, столкновение с Пикиным, потом с Аггеевским, схватка с Боровиковым и,

как горчайший итог роковой цепи,— исключение из партии...

Целый день заседала Челноковская волпартячейка, разбирая дело своего секретаря. На собрании присутствовал первый секретарь Яровского укома партии Гирин. Он выступал раз десять, доказывая челноковским коммунистам, что их вожак — Онуфрий Карасулин «переродился из стойкого партийца, героя гражданской войны в кулацкого подпевалу». Увещевал Гирин, просил, требовал, обвинял собрание в политической слепоте, но шестнадцать коммунистов Челноковской волости не только не согласились исключить Онуфрия из партии, но даже и взыскания ему объявить не захотели, целиком оправдывая действия своего вожака.

Особенно яростно защищали Онуфрия Ярославна Нахратова и недавно принятый в кандидаты РКП(б) Ромка Кузнечик.

У Пигалицы был не только сильный голос, но и на редкость твердый, неломкий характер. Она-то и оказалась главным оппонентом Гирина. Ромка подбадривал девушку выкриками, распалившись, вскакивал, опираясь на один костыль и гневно пристукивая и размахивая другим. Остальные партийцы — степенные малоречивые мужики — поддакивали Ярославне и Ромке, роняли немногословные, тяжеловесные фразы в поддержку своего секретаря и нещадно переводили самосад. Кончилось тем, что охрипшая Ярославна, размахивая кулачком, со слезами на глазах выкрикнула:

— Надо еще посмотреть, чью линию вы проводите, если в такой критический момент хотите обезглавить партийную ячейку.

Взбешенный Гирин хлопнул дверью так, что едва не вышиб простенок, и ускакал в Яровск. На другой день туда вызвали Онуфрия. И хотя большинство членов укома отмалчивалось, за предложение Гирина все же проголосовали почти единогласно, исключив Онуфрия Карасулина из рядов РКП(б).

Собрания ячейки были закрытыми, но все, что говорилось там, сразу становилось известным челноковцам. Еще не зная о решении укома, мужики сошлись во мнении: напраслину возводят на Онуфрия, мстят ему за строптивость и крутой норов.

Маркел Зырянов полдеревни обежал, с каждым встречным поговорил. Вот, мол, пока дудел Онуфрий в одну

дуду с комиссарами — хорош был, а как вступился за крестьянина, постоял за сермяжную правду, ему сразу отходную сыграли.

Онуфрий Карасулин встретил лихую напасть, не склоняя головы, не опуская глаз. «Спасибо за науку,— сурово, но спокойно сказал он Гирину после того, как проголосовано было предложение об исключении из партии.— Ране бы надо было стегануть меня как следует. Не сидел бы тогда до се сложа руки, не ждал бы, когда вы поумнеете, пеши бы дотопал до товарища Ленина...»

Весь путь от Яровска до родного села Онуфрий просидел в санках, ровно зачугунелый. Ни прибытка, ни выгоды не давало ему большевистское званье, а он дорожил им без меры. Ни в мыслях, ни в делах Карасулин никогда не отделял себя от партии, считая с бя обязанным исполнять все ее решения в большом и малом. За честь своей партии, за ее доброе имя он не колеблясь принял бы смерть. И вдруг оказалось, что он не нужен этой партии, «переродился». Этого Онуфрий не мог ни понять, ни принять, и если бы не верил, что его правота одолеет любые завалы и рано или поздно выйдет незамутненной к людям, наверное, совершил бы сейчас что-то непоправимое.

Но он верил.

— Ой, батюшки!— всплеснула руками Аграфена, узнав об исключении мужа.— Теперь засудят тебя...

— Не веньгай,— тихо, но непререкаемо оборвала Марфа.— Что не деется, все к лучшему.

— Помру, то же скажете,— угрюмо пошутил Онуфрий.

— Типун те на язык,— обиделась теща и, поджав губы, величаво проплыла в горницу.

Несколько дней Карасулин не выходил со двора и к себе никого не привечал, ссылаясь на хворь. Но через три дня неодолимая тяга к людям вытянула его из дому, и, выждав сумерки, он направился в волисполком. Едва ступил в исполкомовский коридор, столкнулся с Алексеем Евгеньевичем Кориковым. Тот первый поклонился, подал пухлую коротенькую руку, изобразив на розовощеком лице сострадание.

— Торопитесь?— почтительно осведомился Кориков.

— Куда?— вопросом на вопрос ответил Карасулин.

— Кто знает... кто знает. У каждого свои заботы. Если не очень спешите, заглянули бы ко мне на пару минут.

Недоуменно передернул плечами Онуфрий, но все-таки направился в кабинет председателя волисполкома. Алек-

сей Евгеньевич пропустил Онуфрия вперед, плотно притворил дверь, прошел к дивану, широким плавным жестом приглашая гостя садиться.

— На мягком в сон клонит.— Карасулин сел на стул.

Кориков пустил по лицу лукавую улыбочку, и та, сделав нужное, скрылась в аккуратном клинышке бороды. Необыкновенно легко и плавно для своей грузной фигуры Алексей Евгеньевич присел на диван. Принял излюбленную позу — нога на ногу, сплетенные кисти рук на животе.

— Похоже, вы и на меня сердиты, Онуфрий Лукич?

— Сердятся виноватые.

— Истина! Только боль не становится слабее от сознания, что тебя незаслуженно секут. Пожалуй, наоборот... Да, Онуфрий Лукич, орька людская неблагодарность. Были вы волостным комиссаром. Заслуженно. И вот награда большевиков за мужество и верность идеалам революции. Был революционером — стал антисоветчик, с часу на час жди ревтрибунала. Хорошо еще, не знали они о Фаддее Боровикове, которого прятали у себя в малухе...

Онуфрий оглушенно захлопал глазами. Кровь рванулась в голову, бронзовые щеки стали кирпично-красными. «Ах, гады! Одной веревочкой повязаны. Четыре месяца рядом с ним — и не разгадал. За то и хвалит меня, сочувствует...» Не меняя позы, вроде бы даже с ленцой выговорил:

— Я-то думал, клепал на вас тестюшко, когда хвалился, что вы заодно.

Удар оказался неожиданным. Алексей Евгеньевич смешался, закашлялся, но, встретясь глазами с острым, неприязненным взглядом собеседника, вдруг залился мелким, легким смешком.

— Ха-ха-ха! Колючий вы, Онуфрий Лукич. С какого боку ни подступись, везде шипы. А ведь нам с вами не пикироваться — дружить надо. Крепко-накрепко Ну, посудите сами, выиграли б вы оттого, если б я, к примеру, сообщил о ваших тайных связях с Боровиковым? Губчека как рассудит? Сначала жену контрреволюционера пригрел, потом через нее с самим Боровиковым связался. Припомнят, что при Колчаке никто пальцем не тронул ни семью, ни хозяйство красного партизана коммуниста Карасулина. Спроста ли сие?.. Погодите, дайте договорю. Вас обманули, Онуфрий Лукич. Обещали рай земной,

а что дали? Прозревшие рабочие уже бастуют в городах, волнуются солдаты. Про крестьян говорить нечего... Вы — настоящий революционер. Ни Пикина, ни самого Аггеевского не убоялись, горько поплатились за народную правду. Уверен — понадобится, жизни не пожалеете ради священных идеалов революции, которые попрали коммунисты...

«Что такое он говорит? Мне? Сейчас я его перелицую... Пусть стерва докукарекает, а уж потом...»

— ...Какие блага получили мужики от большевистского владычества — сами видите. А нахлебников, нахлебников-то сколько расплодилось, сколько дармоедов, погонял и обирал сидит на шее крестьянина. И все знают только одно — дай! Есть слух — новую разверстку готовят, будут семена отнимать. Не сдобровать господам народным комиссарам: возьмутся мужики за вилы. Может, и к лучшему, что вас из партии того... Ей-богу. Крестьяне с вашим словом считаются. Неужто в лихой час отшатнетесь от мужиков?..

Онуфрий с трудом сдерживался, чтобы не вскочить, не ударить... И раньше чуял он в Корикове что-то скользкое, неискреннее. Чуял — и что? Шарами хлопал да самосад переводил... Лишь теперь понял, кто опоил продотрядчиков, откуда прилетела телефонограмма Ярославне Нахратовой... Теперь какая вера ему? На это и рассчитывают выползни. Спелись, гады. Маркел — Боровиков — Кориков. Кто еще? Куда ниточка тянется? В Яровск, в Северск? Через кого? Не может не тянуться, раз они на Советскую власть замахнулись. И надо же, в такое время... Ах, мать-перемать, худая скотина всегда в ненастье телится... Поделом с секретаря спихнули, из партии выперли. Такое паучье гнездилище под носом не разглядел!.. Уверовали, гады, в близкую поживу... Вдруг будто плетью по глазам обожгло, высекло искры: «А ведь они меня за своего принимают. На обиду мою рассчитывают. А и хорош я был, сукин сын, коли белогвардейская сволочь в кумовья зачислила... Мало мне Аггеевский всыпал тогда, и Пикин не зря к нагану тянулся, и Гирин прав. Боровикова из рук выпустил, этого змия проглядел, поджигатели на воле ходят... По заслугам я получил».

Задохнулся от ярости Онуфрий, но выражение его лица оставалось прежним — внимательно-недоуменным. Не спуская с Корикова сузившихся глаз, спросил:

— А ежели я, к примеру, все это перескажу Чижикову?

Нимало не смутился вопросом Алексей Евгеньевич. Пробежался короткими пальцами по пуговкам френча, словно проверял, застегнуты ли, обжал щепотью холеный русый клинышек, подмигнул.

— Всего не скажете.— Нажал голосом на «всего».— Про Боровикова придется умолчать, иначе товарищ Чижиков должен будет выписать ордер на арест гражданина Карасулина, исключенного из партии за притупление политической бдительности и покровительство, не *попустительство,* а *покровительство* врагам соввласти. Так ведь, кажется, сформулировано?

«Все скажу,— тут же решил Онуфрий.— Головой поплачусь, а гадине зубы вырву».

Кориков тем же певучим голосом продолжал:

— Если и хватит дури все выляпать,— он опять подчеркнул «все»,— никому, кроме себя, худо не сделаете. Кто поверит двурушнику Карасулину? Оговаривает честных советских работников, провоцирует. Хе-хе-хе!.. Да ты не дурак,— перешел вдруг на «ты», и в голосе заструились железные властные нотки.— В голове, слава богу, не мякина, иначе до прапорщика не дослужился б, да и кокарду на красную звезду не сообразил сменить. Подумай, Онуфрий Лукич. То, что тестю ребра намял,— не смущайся этим...

Огромные, натруженные работой, задубелые руки Карасулина сжались в тугие кулачищи. С трудом разжал он их, уложил подрагивающие пальцы на колени, расслабил взбугрившиеся желваки.

—...Подумай, подумай, Онуфрий Лукич.

— Коли подумаю, как известить?— с вызовом громко спросил Карасулин, глянув прямо в глаза Корикову.

— По делам твоим угадаем, в какую сторону держишь. У нас кругом глаза и уши. Хоть в укоме, хоть в губкоме, хоть в самой губчека. Имей это в виду. Не угрожаю, всего лишь предостерегаю. Не хочется такую голову понапрасну с плеч...

— Можешь боле не жевать, уже проглотил. Примет ли брюхо твою жвачку — не знаю. Молчит покудова. С тем и до свидания.

— До новых, более приятных встреч, Онуфрий Лукич.— Кориков пустил самодовольную улыбочку по лицу, и та, мигом облетев его, нырнула в густую русую поросль вынеженной шелковистой бородки.

2

Онуфрий вышел на крыльцо волисполкома и с протяжным громким «ф-фу!» остановился, нырнул в карман за кисетом. Свернул лошадиную самокрутку, продрал пересохшее горло едучим дымком и поспешил с крылечка. Куда глаза глядят, лишь бы подальше от этого места.

Широкая, длинная, обсаженная с двух сторон тополями главная улица Челноково обрывалась у крутого берега большой судоходной реки. Туда, к пустынной и безлюдной в это время года пристани, понесли ноги Онуфрия. Чугунным орешком оделил Кориков, а грызть надо. Хоть зубы в труху — а разгрызи. Опять приспело время крутых поворотов, чуть зазевался — головой вниз. «На таких поворотах черт копыта ломает»,— говаривал покойный тятя.

Мало пожил на свете отец, едва сорок перешагнул. Жаден был до работы, никогда не знали покою крепкие, как кедровые корневища, руки. Любой инструмент играл и пел в них, любое дело спорилось. Вот уж кто действительно был и швец, и жнец, и на дуде игрец. Задымила печь среди зимы — к Луке Карасулину за помощью, надумал хозяин деревянными кружевами новую избу изукрасить — опять к Луке с поклоном. Он все умел. Работал весело, с припевками, с улыбочкой. Воистину мастер. Руки у отца были покрупнее Онуфриевых, а пальцы — чуткие, памятливые. Глянет раз в нутро занедуживших ходиков — и давай развинчивать их до последнего болтика. Выточит на глазок новую детальку, соберет механизм — и снова весело тикают часы. Охоч был до любого дела. Ради забавы взялся колоть толстенный, в два обхвата, чурбак. Надо бы клин приспособить, да Лука вошел в раж, с полного замаху всадил колун по самый обушек, кхакнув, вскинул чурбачину над головой и вместе с ним рухнул на землю мертвым. От разрыва сердца помер. Сам не мучился, другим не докучал, да еще в азарте, за работой. Всякому бы такая смерть.

Онуфрию тогда пятнадцатый год доходил, брату десять минуло, сестре семь. Принял Онуфрий на плечи отцову ношу, согнулся, но устоял и потихонечку пошел с ней по жизни. Схоронил мать, женил брата, выдал замуж сестру, сам семьей обзавелся. За богатством не гнался, но достаток любил. До работы был по-отцовски жаден, все в доме делал своими руками. На зов о помощи откликался охотно, к себе помощников зазывал редко...

Медленно просеивал через сито памяти Онуфрий всю свою жизнь, которую начал сознавать и чувствовать горбом с той самой минуты, как воротились с кладбища, оставив там отца, и меньшие вместе с матерью прильнули к нему — единственной опоре и защите.

Чем ближе к сегодняшнему дню подвигались воспоминания, тем бережнее и медленнее просеивал их Онуфрий, ощупывал, пробовал на зуб прожитое. Важно было убедиться, что ни малейшего повода не дал недобиткам надеяться на его измену, что предложение Корикова — всего лишь наглая провокация со ставкой на горькую, незаслуженную обиду...

Ничего пятнающего большевистскую честь не отыскал Онуфрий в своем прошлом и сразу отвердел, налился озорной решимостью — разворошить паучье гнездо. «В таком деле спех на смех, а не спешить — нельзя. Не дай бог начнется семенная разверстка, тогда не миновать беды...» Надо было что-то предпринять немедленно, сейчас же. Онуфрий развернулся и увидел бегущую к нему Ярославну.

Они не виделись с последнего собрания. Челноковские коммунисты с решением укома не согласились и отправили коллективный протест не куда-нибудь, а прямо в ЦК РКП(б), заявив Гирину, что до ответа из Москвы нового секретаря волпартячейки избирать не станут, а заместо него пока покомандует заместитель Карасулина Евтифей Пахотин — невысокий чернявый мужик, до самых глаз густо заросший смоляными волосами.

В дни карасулинского затворничества Ярославна не раз порывалась навестить Онуфрия Лукича, но в последний момент не решалась. Ярославна была автором того письма-протеста, которое челноковские коммунисты послали в ЦК, прося его «незамедлительно разобраться в деле стойкого большевика Карасулина, пресечь гонение на него и наказать виновных». Вместе с Ромкой Кузнечиком она обежала за день всех партийцев Челноковской волячейки, собрала подписи и отправила Ромку нарочным в Северск, чтобы собственноручно опустил письмо в ящик, прикрепленный к почтовому вагону идущего в Москву поезда. И вот теперь девушка боялась, как бы не подумал Онуфрий Лукич, будто ждет она от него какой-то благодарности. Потому и не заходила, хотя и томилась от неведения — что с ним?

Увидела сейчас Карасулина из окна школы, когда тот

не разбирая дороги, не глядя под ноги шел неверными шагами к реке, и вдруг обмерла от пронзившей мысли: «Порешит себя...» Рванула с гвоздя полушубок и бросилась следом.

— Ты что? — во взгляде и в голосе Карасулина тревога. Схватил Ярославну за плечи, легонько встряхнул.— Да что стряслось, язви тебя, онемела, что ли?

— Ничего,— еле выдохнула Ярославна, бессильно ткнувшись лбом в холодную овчину карасулинского полушубка.— Показалось мне... подумалось...

— «Показалось», «подумалось»,— ласково передразнил он.— Ишь как разжарило тебя, вся нараспашку. Запахнись.

Покорно застегнула полушубок Ярославна, подняла на Онуфрия глаза.

— Что теперь будет?

— Чему быть — того не миновать... Хорошо, что ты погодилась. Дело есть...— Помолчал, раздумчиво нахмурился.— Мы вот обиделись... Рассерчали... и на губком, и на уком,— необычно медленно подгонял Карасулин слово к слову,— за то, что со мной так разделались, а ведь поделом мне, по заслугам.— Придержал за локоть отпрянувшую Ярославну.— Сейчас иуда Кориков предложил мне вместе Советскую власть свергать. Решил, что теперича мне, окромя ихней своры, податься некуда. В тридцать два глаза глядели мы на этого оборотня, и что? У них уже и уголек в пригоршне, и береста наготове. Чуешь? Да за такой прогляд мне первому надо башку срубить! Теперь слушай...— Коротко передал суть кориковских разглагольствований.— Ежели он про семенную разверстку правду брякнул — отворяй беде ворота... Я завтра к Чижикову подамся, боле мне ни у кого веры нет, а ты упреди Ромку, Пахотина и пасите Корикова, чтоб ни на минуту с глаз ваших не уходил. Только насторожишь их будто от себя — обо мне ни единого слова. Заодно и к Маркелу, и к Щукину приглядывайтесь. Кто вокруг них гуртуется? Куда ездят? Откуда гостей встречают? А сказанное держи до поры в себе. Теперь по домам. Я — задами, вдоль реки...

— Конспирация? — Ярославна невесело усмехнулась.

— К тому клонится.

3

Едва переступил Онуфрий родной порог, встретился глазами с тещей, как тут же понял — здесь тоже произошло что-то неладное. Видно, и вправду беда в одиночку не ходит.

— Пойдем-ка, зятек, потолкуем, пока Груша на стол накроет. Ты, Леночка, сбегай покличь братиков, они с горки катаются.— И, подхватив на руки меньшую, Марфа неспешно проплыла в горницу.

Онуфрий уже предчувствовал, что разговор будет о чем-то, связанном с недобрыми событиями последних дней. И не ошибся.

— Ты — мужик,— строгим властным голосом начала Марфа, поглаживая беловолосую голову младшей внучки,— потому соломки подстилать не стану, падай на голу землю. Больней упадешь — здоровей встанешь.. Ныне утром пошла на двор и с муженьком встренулась. Подстерег меня. Рассказал, как ты его приветил. Не сужу. Поделом ему, по заслугам. Не об том речь. Грозился убить тебя. Ежели б, грит, не было меня в дому, спалил бы. Он может. Лютый. Поберегся б ты, Онуфрий. У него рука не дрогнет единственную дочь вдовой изделать, внучат осиротить.

— Знаю,— угрюмо обронил Онуфрий.

— То-то, видать, что не знаешь. Знал бы — из рук не выпускал. Надо было повязать его да властям. Чего шары-то выкатил? Туда ему и дорога...

— Я-то думал...— ошеломленно пробормотал Онуфрий.

— Гусак думал, в лапшу попал,— оборвала Марфа.

— Муж ведь твой.

— Кобель блудливый, а не муж. Бога гневить не хотела, отца с матерью срамить, вот и терпела. Господи, как изгалялся он надо мной, а особо после того, как ты Грунюшку увел. Сколь раз зарок давала: решу его и на себя руки наложу. Бог не дал... Еле умолила его заступиться за Грушу с детишками. Обманула, что убили тебя. Даже панихиду по тебе отслужила. На коленях его молила, отравить грозилась и дом поджечь. Перстень мой, серьги золотые сама начальнику контрразведки отдала. Был тут такой живоглот: не то француз, не то поляк — Мишель Доливо. Говорят, с живых красноармейцев кожу сдирал. Сколь ему денег переплатила и всякого добра передарила ради того, чтоб Грунюшку спас от разору и поруганья... Поберегись, Онуфрий. Ты — мужик сильный, а бесхитро-

стный, он — змий, в игольное ушко проползет, сухим из реки вылезет... Богом меня заставил поклясться не говорить тебе. Грех на душу принимаю, простит ли господь?..

— Простит,— успокоил Онуфрий.—Спасибо, мать. Сам казнюсь, что дал ему уползти. Теперь ищи щуку в озере.

— Если знаешь омуток, где хоронится, —словишь.

— Если бы да кабы.

— Ступай. Я посижу маленько. Отойду. А то Аграфена сразу почует недоброе.

Аграфена все-таки почуяла, но весь день молчала и только ночью, уложив поудобнее голову на плечо мужу, тихонько спросила:

— О чем с мамой секретничали?

— А-а,— небрежно-насмешливо протянул Онуфрий.— Советовались, как дружбу с Советской властью наладить.

— И как?

— Покаяться. Повинную голову меч не сечет.

— Онуфрий,— размягченно прошептала Аграфена, теснее прижимаясь к мужу.— Затяжелела я...

— Ну?— ласково погладил жену по голове, натянул ей на плечи одеяло.— Нашего полку прибыло.

— Не ко времени. Может, сходить к попадье освободиться, пока не поздно.

— Удумала... Где четыре коня пасется, пятый прокормится. Мужика только роди. Пока подрастет, оперится, все установится, как следует быть. Выучим его, грамотеем сделаем, станет других уму-разуму учить...

Обласканная, убаюканная Аграфена забылась в крепком сладком сне, по-ребячьи тихонько посапывая, а Онуфрию не спалось. Пережитое за день снова подкатило к самому сердцу, встало комом в горле — не продохнуть. Больше всего его поразила теща. Крепок кержацкий корешок. Рука не дрогнет, и глаз не моргнет. Скорей повидать Чижикова. «Завтра махну в Северск. Скажусь — в губком на парткомиссию, у этих и вправду, видно, везде свой глаз. Дожили. Сами с собой в прятки играем, язви тебя...»

С улицы донеслись приглушенные голоса, скрип полозьев, лошадиное ржанье. Что-то необычное и тревожное почуялось Онуфрию в этом шуме, и он, осторожно выпростав руку из-под головы спящей жены, соскользнул с кровати, подошел к окну, отдернул занавеску. По дороге двигался целый обоз. Впереди шла рослая белая лошадь, запряженная в пустую кошеву. «Никак, Маркелов Гнедко»,— отметил про себя Онуфрий. Следом на четырех

санях ехали вооруженные люди. «Неуж продотряд?» И вдруг в одном из едущих Онуфрий узнал Чижикова. Обрадовался и забеспокоился. Что-то случилось? Откуда они? Среди ночи — целый отряд...

Онуфрий не знал того, что какой-нибудь час назад произошло на Веселовском зимнике.

4

Веселовским зимник прозвали по имени северского скототорговца и воротилы, задававшего тон на сырьевой ярмарке, купца Веселова, по указке и на деньги коего была пробита эта дорога, почти вдвое сокращающая путь от Северска до Челноково.

Летом тут ни пройти, ни проехать: сплошные болота, зато зимой хоть шаром покати. Неширокая, но прямая просека, по которой проходил зимник, была прорублена в вековой таежной чаще. Местами кедры и ели так тесно прижимались к дороге, что колючие лапы смыкались над ней, образуя подобие тоннеля. И днем-то неприятно ехать, а уж ночью — не приведи бог. Крестьяне в одиночку никогда не ездили по Веселовскому зимнику. Соберутся артелью, нагрузят возы, прихватят ружьишко-другое вроде бы от волков и целым караваном тронутся вечерком, чтобы к рассвету попасть на северский базар.

У жителей окрестных деревень хранилось в памяти несметное количество былей и диковинных небылиц об этом зимнике. Говорили, что перед самой революцией стала выходить на дорогу женщина с конским задом и ногами. Выйдет из леса, станет на пути одинокого путника и начинает пытать мудреными вопросами ополоумевшего от страху мужика. Потом появился на зимнике оборотень, который под видом то жеребенка, то лисы-подранка заманивал доверчивых в такую лесную глухомань, откуда никто не воротился. Еще говорили, что в рождественскую ночь, в самую полночь, когда прокричит вещий петух, появляется на зимнике бешеная вороная тройка и несется вскачь диким неземным галопом, разметав на ветру длинные смоляные гривы и хвосты, сминая на пути все живое...

Неспроста Чижиков облюбовал Веселовский зимник для ночной поездки в Челноково, неспроста «проговорился» Катерине о своем намерении.

С той встречи у дверей пикинского кабинета губчека

заинтересовалась Горячевым. В разные концы были посланы запросы о личности Вениамина Федоровича, но поезда в то время ходили медленно, а люди задыхались в горячке неотложных и очень важных дел — оттого, видно, ни на один из запросов ответа пока не пришло. После признания Катерины Чижиков уже не сомневался — Горячев не просто причастен к вражьему стану, а играет в нем видную роль. Но иных доказательств тому, кроме Катерининых слов, председатель губчека не имел, а без верных, неопровержимых улик Горячев был неуязвим: Пикин считал его одним из лучших продработников губернии, поверял ему самое сокровенное, прислушивался к его мнению, советовался с ним. Да и, не нащупав нитей, идущих к Горячеву, неразумно было трогать его. Ради этих нитей и затеял Чижиков ночной вояж по Веселовскому зимнику...

Ночь выдалась морозная, безветренная, звездная. Густой синевой отливали высоченные сугробы. На белесом небе хоть бы одно облачко затерялось. Эта опрокинутая над головой бездонная, незамутненная глубь дышала ледяной отчужденностью, и оттого еще холодней и неприютней становилось на пустынном древнем сибирском тракте.

Ледяную тишину глухой ночи медленно распиливал протяжный тонкий скрип полозьев. Со стороны Северска двигалась одинокая подвода. Грудастая вороная кобылица легко катила небольшие розвальни, в которых едва поместились двое в добротных тулупах. Они молчали: то ли дремали, то ли думали. Из-под длинных сильных ног кобылицы летели в розвальни снежные комья. Тот, у которого в руках вожжи, все время сдерживал лошадь, видимо, берег ее силы. Вышколенная вороная недовольно косила блестящим глазом, раздраженно пофыркивала, но слушалась возницу, бежала нешибкой, развалистой рысцой.

— Евстафий,— подал голос тот, кто правил лошадью,— у тебя бумажка для курева имеется?

— Найдется, Тимофей Сазоныч,— охотно откликнулся молодой ломкий басок.— Держи.

— И табачок есть?

Парень молча подал кисет. Тимофей Сазонович намотал вожжи на головку саней и стал сворачивать папиросу. Сплюнул прилипшие к языку табачные крошки, повернулся к попутчику.

— Теперь бы огоньком разжиться, Евстафий.

— Вот лешак,— парень засмеялся, подавая кресало.

Тимофей Сазонович громко затянулся, блаженно крякнул, выпустив из широких ноздрей клуб густого дыма.

— Хороша махорочка. Сколь разного табаку перекурил, перепробовал, а лучше дарового нет.

— Тимофей Сазоныч...

— Ково тебе?

— Смеяться будешь,— засмущался Евстафий.

— А ты не смеши.

— Тебе не страшно?

— Если всурьез — страшно... Пять лет воевал. Меня убивали, сам убивал, а все едино — страшно. Ишо как! Помирать-то ить и корове неохота. А мы — человеки. Разумные творенья... Помню, первой в разведку пошел... мать честная. Лягушка квакнет — у меня с заду капнет, треснет сучок — спереди течет. Исподники даже отстирывать не стал, так и выбросил. Опосля зато по белым тылам, как по своему огороду, разгуливал. Раз попал колчаковцам в лапы. Вот где страх... Не подумаешь, как изгалялись над нами. Тут в Яровске пытал меня один гад. Доливо по фамилии, начальник контрразведки. Махонький такой, напомаженный, надушенный, весь блестит. Поджаривает скулы зажигалкой, смотрит в глаза и смеется: «Ну как, запах жареного мясца не вернул вам память?» Притомится, зовет своих помощничков с шомполами, а сам сидит в креслице, покуривает, притопывает хромовым сапогом и напевает «тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля». Досель в ушах это сатанинское траля-ляканье, до гробовой доски мотивчик не позабудется. А то вражина сядет к этой, как ее, фортепьяне и давай по ней молотить. Пленник стонет, проклятья выкрикивает, а Доливо знай наигрывает. Сколь разных белых выродков повидал, но Доливо — один... Как я спасся — не пойму. Повели на расстрел ночью. Я через перила моста в речку со связанными руками. Вынырнул из воды напоследок дохнуть, на мир глянуть, а перед носом бревно. Положил на него подбородок, напрягся и давай ногами бухтить, к берегу выруливать. Выплыл, мать честная. Конвойные даже не стреляли: руки-то у меня скручены... Так там меня изукрасили — пришлось бороду отрастить. Ин раз затменье найдет, представится, будто и нет меня вовсе и только сон снится...

Слева вплотную к дороге подступил лес. Тимофей Сазонович остановил лошадь.

— Ну, Евстафий, теперича разувай глаза и гляди в оба. Все помнишь? Не трусься. Это вот и есть Веселовский зимник. Но, голубка!

Лошадь свернула на зимник, и сразу тайга поглотила ее вместе с людьми. Чем дальше отъезжали они от тракта, тем уже становилась дорога, теснее обжимал ее с обеих сторон лес. Тимофей Сазонович то и дело заставлял лошадь идти шагом, а сам внимательно вглядывался в ночную тайгу, прислушивался к ее шорохам и вздохам, не забывая при этом что-то пьяно бормотать и напевать бесконечную песенку про Ваньку-ключника.

Вот он сильно толкнул Евстафия в бок и заголосил на весь лес:

— Оте-е-ц мой был природный па-ах-харь...— Споткнулся, оборвал песню.— Евстафий! Мать-перемать, зараза, сонная тетеря, кому говорю?

— Чего базлашь? — заплетающимся языком еле выговорил Евстафий.

— Ты как со мной? Как со мной, с-сукин с-сын? Р-родного дядю? Я т-тебя, п-паразита...

Так они переругивались до тех пор, пока не отъехали за поворот. Там Тимофей Сазонович вылез из саней, взял лошадь под уздцы и дико реванул:

— Н-но! Грабют! — Подождал немного, прислушался, поманил пальцем Евстафия. Спросил шепотом: — Видал?

— Ага,— отозвался тот.— Трое справа, и слева кто-то есть...

— Похоже, столько же. Давай лошадь с дороги, вот сюда на эту прогалину. Привяжи к дереву. Торбу с овсом ей, чтоб молчала. Так, теперь слушай. Я на лыжи и к тем троим зайду с тылу. Похоже, будут дерево на дорогу валить. Старый бандитский прием... Может, и не так, конечно, все равно надо поближе к им. Устанавливай пулемет вон там, за елками, чтоб дорогу видать. Как услышишь, гаркну: «Стой! Руки вверх!» — изготовься и гляди. Ежели выскочат на дорогу да руки к небу — не стреляй, а услышишь перепалку — бей, да не в молоко. Короткими очередями, чтоб ни один через тебя не прорвался. Вон и вестовой. Вишь, наметом скачет. Значит, Гордей Артемыч где-то на подходе. Прячься. Пусть скачет...

Когда всадник проскакал мимо и скрылся, Тимофей Сазонович достал из-под сена винтовки, ручной пулемет, короткие охотничьи лыжи. Подхватил винтовку, сунул

носки валенок в ременные петли на лыжах и нырнул в лес. Он был потомственным охотником, шел бесшумно и скоро, ловко маневрируя меж деревьями. Не прошло, наверное, и четверти часу, как Тимофей Сазонович оказался за спиной троих вооруженных винтовками людей, что жались к деревьям у самой дороги. Прислушался к их негромким голосам. «Так и есть, дерево подпилили — на дорогу повалят». Приладил ствол винтовки на сучок, прижал приклад к плечу и замер, вслушиваясь. Чутким охотничьим ухом уловил отдаленный поскрип полозьев. Вот и кошева показалась из-за деревьев. Хрустнула, падая, сосна. Сидящие в кошеве выкинулись в снег, прижались к нему. И тут прогремел голос Тимофея Сазоновича:

— Стой! Руки вверх! Выходи на дорогу!

Трое кинулись за поваленное дерево, в спину им ударил пулемет Евстафия. Один из трех прилип к дороге, двое нырнули в лес, вслед им гремели выстрелы.

— Евстафий! — гаркнул Тимофей Сазонович, и пулемет смолк.

Чижиков подбежал к глубоким следам в снегу, уходящим в таежную темень.

— Далеко не уйдут. Сейчас подъедут ребята на лыжах, догонят.

— Вряд ли,— засомневался Тимофей Сазонович и медленно пошел по следам, держа винтовку наготове и стараясь прижиматься к деревьям.

Через несколько минут воротился.

— Лыжи у них были припрятаны. Хитрющие собаки. Не на авось шли... А этот насмерть?

— Не ворохнулся,— ответил Евстафий.— Документов никаких.

— На такое дело удостоверений личности не берут. И все-таки можно попробовать догнать,— не совсем уверенно сказал Чижиков.

— Нет,— твердо отрезал Тимофей Сазонович.— Тут надо целый взвод отменных лыжников, да чтоб охотники были, тайгу знали, а так...— махнул рукой,— по одному выщелкают всю погоню. Иде-то у них коняга должон быть схоронен. Не пеши же сюда топали. Его бы сыскать.

Коня нашли верстах в двух от места нападения. Это был высоченный белый жеребец, запряженный в большие розвальни.

— Богатый трофей,— залюбовался конем Чижиков.— Жаль допросить нельзя.

— Пошто нельзя? — Тимофей Сазонович ухмыльнулся.— Сейчас отвяжу, разверну, и пусть себе идет. Лошадь добрая, найдет дорогу к дому. А мы следом. Так прямехонько и дойдем до ворот.

Предсказанье Тимофея Сазоновича в точности исполнилось. Он уселся в розвальни, развернул лошадь лицом к дороге, и когда та тронулась, по брюхо увязая в снегу, привязал вожжи к головке саней и больше к ним не притронулся. Выскочив на дорогу, лошадь сразу развернулась в сторону Челноково и понеслась. Все тронулись следом.

Не успела лошадь подвернуть к дому Маркела Зырянова, как ворота отворились, негромкий Пашкин голос спросил:

— Ну как, тятя?

— Хорошо, сынок,— в тон вопрошающему ответил Тимофей Сазонович.

— Кто тут? — испуганно вскрикнул Пашка, выскакивая из ворот.

— Чего ты переполошился? — так же спокойно проговорил Тимофей Сазонович.— Коня тебе привел. Добрый коняга.

— А тятя? Где он? — встревожился парень.

— Погляди вон на санях, не он ли.

Нет, убитым оказался не Маркел Зырянов. Это приободрило Пашку, и он стал наступать на Тимофея Сазоновича, требуя от него ответа, где он взял лошадь и куда делся отец.

— Здоровый ты дубина вымахал, а дурак,— беззлобно проговорил Тимофей Сазонович.— Откуда нам знать, где твой тятя. Мы конягу на дороге подобрали, в вожжах запутался. Ты бы спасибо сказал за то, что такого доброго жеребца возвернули в целости и сохранности, а не гавкал, шлепогуб.

— Сам-то ты кто? — взъярился парень.

— Мы из чека. Слыхал про такое? Вон председатель губчека товарищ Чижиков, на которого твой тятя охотился...

— А-а! — Пашка обхватил руками голову и кинулся в избу...

Ничего этого не знал Онуфрий Карасулин, стоя подле окна и глядя с тревогой на проходящий мимо обоз.

Затихли скрип полозьев и голоса, а он все стоял у окна, чего-то ждал. Ждал — и дождался. На дороге показался Чижиков, с ним еще двое, винтовки грозятся из-за плеч. Свернули к воротам Карасулина, Онуфрий поспешно натянул штаны, сунул ноги в валенки и, набросив полушубок, пошел встречать жданных, но незваных гостей...

Утром Челноково гудело на разные голоса. Все только и говорили о неудавшемся покушении на Чижикова, таинственном исчезновении Маркела Зырянова и ночном аресте бывшего секретаря Челноковской волпартячейки Онуфрия Лукича Карасулина.

Глава двенадцатая

1

Что-то повернулось в жизни, встало наперекос, заскрипело, угрожающе кренясь... Полуграмотная дикарка, знахаркина внучка стала оперативным работником губчека, и, похоже, он, Вениамин, скоро получит доступ к самой секретной информации. Завзятый большевик Онуфрий Карасулин выщелкнут из партии и упрятан в подвал губчека... Бывший начальник бывшей контрразведки Коротышка профукал Чижикова на Веселовском зимнике... Вдруг затосковала по сгинувшему мужу пани Эмилия и стала поговаривать об отъезде в Питер... Черт знает что творилось вокруг. Только поспевай поворачивайся, соображай. А и без этих зигзагов неожиданных было над чем мозги поломать Вениамину Горячеву.

Стараниями Боровикова в Челноковской волости сколотилось четыре вооруженных отряда. Появились подобные отряды почти во всех волостях Яровского и Иримского уездов. И связь между ними налажена, и ждут не дождутся они сигнала, а подать тот сигнал не то что рискованно, а нельзя: никакой уверенности, что, вспыхнув, скажем, в Челноково, мятеж разом охватит весь уезд и, слившись с очагами в соседних уездах, полыхнет на всю губернию. За те несколько дней, что прошли после завершения хлебной разверстки, в настроении крестьян произошел крутой перелом. Стали успокаиваться мужики. Как ни науськивают их кулаки — ничего не получается.

А время не ждет. Не терпит время. Каждый день промедления — непоправимый стратегический и тактический проигрыш. Нужно немедленно запускать семенную разверстку, да где-то что-то застопорило. Горячев места не находил себе, а тут еще чека. Все явственней чувствовал Вениамин Федорович: кружит она над ним, и каждый новый круг — все ниже, и, может быть, уже не за горами миг, когда капкан защелкнется... С недавних пор нет-нет и клюнет в самое сердце мерзкая, но неотвратимая и острая мыслишка: а надо ли? Не сдуру ли? Не сослепу ли? Не башкой ли о стенку? Так ведь именно все и окажется, если Чижиков успеет домотать узелок до конца и узнает, кто таков Вениамин Горячев, прежде чем тот станет во главе мятежа. А мятеж все отдаляется, а кончик клубка все ближе...

Можно еще бежать. Кинуть все и вся к дьяволу и драпануть, и пусть господин Доливо и этот перевертыш Кориков сами поднимают крестьян... И до этой точки докатывались порой мысли Вениамина. И не вдруг отлипали от противной, подлой черты, нужно было усилие, напряжение, чтоб оторваться и вновь настроиться на боевой лад... Но взнуздывая себя, он становился еще неистовей и злей, действовал еще решительней и рискованней. Встречался со связными повстанческих штабов и эсеровских ячеек, добывал оружие, вербовал бывших белогвардейских офицеров, и все это — под носом Чижикова, на грани, на самом острие лезвия, сатанея и хмелея от близкой опасности.

Постоянная раздвоенность в мыслях, поступках и словах изнурительна была для Вениамина Горячева. Нужно было чудовищное напряжение — физическое и духовное, чтобы одной половиной разума и чувств служить в губпродкомиссариате, выслушивать доклады, читать донесения, сочинять всевозможные инструкции и циркуляры, а другой половиной раскручивать все сильней подготовку к взрыву. Порой эта вынужденная раздвоенность доходила до крайности, Вениамин становился как бы расщепленно-двоедушным, и правая рука его воистину не ведала, что творит левая. Это выматывало до основания, и часто Горячеву до судорог хотелось, чтоб поскорей наступил конец, неважно какой — победный или трагический — лишь бы конец...

Он еще больше усох, кожа на лице подернулась нездоровой желтизной. Редко улыбался и то лишь одними

губами. Раздвинет их, покажет желтоватые от курева крупные зубы — вот и вся улыбка. Но сегодня, впервые за многие дни, Вениамин не то что по-настоящему улыбнулся, а захохотал, да так весело, так раскатисто и звонко, как не смеялся давно.

Рассмешила его статья в восемнадцатом номере еженедельника «Серп и молот», который издавался в Екатеринбурге Уральским промышленным бюро ВСНХ. Статья называлась «Употребление собачьего мяса» и начиналась так:

«Вопрос об употреблении собачьего мяса сейчас ставится не впервые. Ничем, по существу, не отличаясь от мяса других животных, собачье мясо по своей питательности должно цениться высоко, и эта ценность еще увеличивается тем, что собаки очень мало сравнительно с другими животными, например коровами и лошадьми, предрасположены к болезням, которые могут быть у человека...

Таким образом, брезгование собачьим мясом является, по существу, ни на чем не основанным предрассудком, заставлявшим выбрасывать ценный продукт...»

На этом месте Вениамин Федорович и расхохотался — зло и весело, и яро, и затяжно до слез.

— До-комис-сарились! За собачек принялись... Ха-ха-ха!..

Его распирало злорадство. Нет, не зря, черт возьми, рисковал он башкой, не напрасно и сейчас защемленно бьется и корчится его расщепленная душа. Грядет все-таки — и скоро — желанный праздник расплаты...

Заключительные строки он торжественно и нараспев продекламировал:

— «Хо-рошие вкусовые качества, пи-тательность и дешевизна собачьего мяса уничтожат еще один предрассудок — это ни на чем не основанное брез-го-вание»...

И снова захохотал.

«До весны далеко. Не хватит вам собак, друг дружку пожрете...— Вдруг мысль скакнула в сторону.— Переложить эту статейку в листовочку для горожан под заголовком ну хотя бы «Пирожки с собачкой...» Схватил со стола карандаш, придвинул чистый лист и запетлял, заузорил по нему острым концом графита...

Днем Горячева вызвали к губпродкомиссару. Пикин молча протянул ему только что полученную бумагу. Это

было донесение председателя Челноковского волисполкома Корикова о расхищении семенного зерна крестьянами деревни Лариха, что в трех верстах от Челноково. Донесение заканчивалось опасением: как бы подобные явления не стали массовыми, тогда не миновать беды...

— Ну, что об этом думаешь? — Пикин впился в Вениамина нетерпеливым взглядом.

Распаляя губпродкомиссара, Вениамин нарочно затянул паузу и заговорил деланно равнодушно, вроде бы раздумывая, сомневаясь, взвешивая:

— Кориков — опытный руководитель. Волость — самая кулацкая, насквозь прошпигована белогвардейщиной, черт знает почему чека никак не...

— Что ты думаешь о сообщении? — перебил Пикин.

— Логично и, если хотите, закономерно. На дядю работать сибиряк не привык. Но если у ларихинских мужиков сыщутся последователи — а они не-премен-но сыщутся! — тогда нечем будет засевать землю весной, а это снова голод и где? В Си-би-ри! Страшная перспектива! По-моему, надо безотлагательно... Впрочем...— Горячев изобразил на лице смущение.— Я, кажется, лезу не в свое дело. Вы сами примете нужное решение.

— Кончай ты словоблудие! — окончательно потерял терпение Пикин.— Размагнитился, что ли? Расслаб за какую-то неделю? Говори, что предлагаешь?

— Не размагнитился, но устал, если по правде сказать,— и с ходу, переменив тон на деловой, почти командный, Вениамин посыпал: — Что думаю? Срочно создать несколько чрезвычайных контрольных бригад, подкрепить их вооруженной силой и немедленно, в темпе провести выборочную проверку наличия семенного зерна в нескольких волостях...

— Верна! — с ходу подхватил Пикин. — Верна! — Подбежал к столу, постучал по нему сухим, накрепко стиснутым кулаком.— Немедленно проведем проверку и...— снова уставился выжидательно на Горячева.

Тот лишь плечами пожал, изобразив на лице: «Чего тут гадать, и младенцу ясно».

Тут же вместе они составили телеграммы упродкомам и продконторам, составили список особоуполномоченных, расписали их по уездам. Пинком распахнув дверь кабинета, Пикин гаркнул:

— Васса! Членов коллегии и начальников отделов ко мне!..

А неделю спустя коллегия Северского губпродкома, одобрив доклад члена коллегии Горячева Вениамина Федоровича, единогласно приняла подготовленную им следующую резолюцию: «В связи с отсутствием заинтересованности крестьян в сохранении прежних посевных площадей, участились факты расходования семенного зерна на продовольствие и фураж, создалась прямая угроза весеннему севу 1921 года, а следовательно, продовольственному положению страны. Исходя из вышеизложенного, а также опираясь на директивы Наркомпрода и опыт губерний Центральной России, губпродкомиссариат решил провести семенную разверстку, в месячный срок изъять у крестьян все семенное зерно, свезти его в общественные ссыпки...» Далее следовал список председателей чрезвычайных троек, в коем значился и Вениамин Федорович. Его направили в Яровский уезд.

2

В тот же день губпродкомиссар Пикин докладывал о семенной разверстке руководителям Северской губернии. В кабинете Аггеевского кроме самого Савелия Павловича были Водиков, Новодворов и Чижиков. Пикин короткими пробежками мерял кабинет, размахивал руками и сыпал пулеметной очередью:

— Мы провели тщательную подворную проверку в восемнадцати крупных селах. И что же? В половине хозяйств недостает семян. Кулак не дурак. Зачем ему пахать, сеять, жать, если хлеб отнимет государство? А чтобы силой не заставили землю обсеменять, базарит семена, перегоняет на самогонку. Либо мы отнимем семенное зерно и сохраним посевные площади двадцатого года, либо в нынешнем году останемся без хлеба...

Новодворов кашлянул протяжно и громко. Он всегда так кашлял, раздражаясь или сомневаясь в чем-то. Пикин оборвал речь, остановился против председателя губисполкома, уставился на него воспаленными глазами.

— Замордовал ты себя, товарищ Пикин,— неожиданно сказал Новодворов с мягким сочувствием.— Отдохнуть бы тебе.

— Закончим семенную разверстку, подам в отставку,— отрезал Пикин.

— Зря ершишься, я от души.— Новодворов тяжело

поднялся, отошел к окну, за которым кружились белые вихры метели.

— Мне твои соболезнования не нужны,— Пикин крутнулся волчком.— Выскажешь их на моих поминках...

Поймав холодный, осуждающий и сочувствующий взгляд Чижикова, губпродкомиссар презрительно изогнул верхнюю губу, сощурился и, наверное, сказал бы что-нибудь колкое, если б Чижиков не опередил его и не заговорил о минувших событиях. Он рассказал о ночном происшествии на Веселовском тракте, о Маркеле Зырянове, как выяснилось, главном виновнике гибели продотряда в Челноково, и заявил, что чека удалось ухватить нить антисоветского заговора, и есть надежда, что в ближайшие дни руководящее ядро готовящегося мятежа будет обнаружено и обезврежено.

— Они тоже чуют, что попали под прицел, что все решают считанные дни, даже часы, и все сделают, чтоб в эти считанные дни запалить мятеж. Нам важно выдержать, не дать повода...

— А семенная разверстка даст этот повод? — врезался вызывающе резкий голос Пикина.

— Да,— спокойно подтвердил Чижиков.— Может дать.

— Так и знал.— Пикин метнул в Чижикова негодующий взгляд.— Северская губчека существует не для борьбы с контрреволюцией, а для борьбы с продорганами.

— Не кипятись. Утвержденную Совнаркомом хлебную разверстку губерния завершила, да еще на сто два процента...

— Вопреки твоим пророчествам,— снова вставил Пикин.

— Крестьянин выдержал. Устоял,— продолжал Чижиков, вроде и не слыша Пикина.— Сейчас мы переживаем в деревне хоть и ненадежное, но равновесие сил. Месяц-другой — и страсти поутихнут. Этого и боятся враги, торопятся еще раз подхлестнуть, взъярить мужика, бросить на Советскую власть. А наши продовольственники, как по заказу, подсовывают семенную разверстку. Да тебя, Пикин, кулаки и эсеры расцелуют, белогвардейцы многие лета пропоют. Крестьянам надудели в уши, что, приев весь хлебушко, коммунисты примутся за семена. Почитайте эсеровские листовки — там прямо об этом. Ничему нас жизнь не научила. Кичимся, что добили хлебную. Я-то знаю, каким боком могли выйти нам эти сто два

процента... Сейчас, как никогда, нужно выиграть время. Дать деревне успокоиться. Мы перережем нити заговора, обезглавим его, распропагандируем середняка. Семенная разверстка теперь — безумие! Преступная авантюра!..

— Ишь как! — недобро ощерился Аггеевский.— Выходит, мы с Пикиным — враги революции? Между прочим, он советовался со мной перед тем, как ставить на коллегию. Ты паникер, Чижиков. Твое дело всю эту сволочь рубить до седла,— секанул воздух излюбленным жестом рубаки-кавалериста,— а ты тут нюни распустил...

— Рубить надо врага, а не крестьянина, который кормит, одевает и защищает Советскую власть,— хмуро отпарировал Чижиков.

— Ты эту демагогию брось! — Аггеевский отшвырнул папиросную коробку, которую только что намеревался открыть.— Знаем, что рубить надо врага, но врагом может оказаться любой, даже...

— Стой, Савелий! — Новодворов повернулся к Аггеевскому. Он был бледен.— Ты ответственный секретарь губкома, твое слово слишком много значит. Чего мы пикируемся с Чижиковым? Наша с ним несогласованность незримо перерастает в неприязнь, а это уж, извините, делу вред, врагу — потеха, и этого нельзя допустить. Я согласен с доводами Чижикова. Надо воздержаться от семенной разверстки. Лишь как наказание у тех, кто действительно транжирит семена, можно изымать их, да не иначе как на виду у мира, по его приговору. И ты на меня, Савелий, так не смотри. Разве не чуешь — и по директивам, и по печати — партия идет к перемене курса в отношении крестьянина? Уверен: разверстка доживает останные дни. Да и мужик не дурак, вся его сила в земле, а необсемененная земля — мертва. Не станет он мертвить свою землю своими руками. Он в лучшее верит. Не каждый год неурожай, не каждый год голод, а стало быть, и разверстка...

— Быстро ты перестроился,— Аггеевский поморщился, как от зубной боли, продул мундштук папиросы, повертел, помял ее в длинных пальцах, сунул в рот.— Давно ли здесь примерно о том же говорили, и ты по-иному думал...

— Был такой грех. И я — человек. Хоть и бела голова, а сердце стукотит по-молодому. Да ведь революция — молодость мира.— Улыбнулся скупо, вздохнул и продолжал по-прежнему негромко и медлительно: — В теперещ-

пей обстановке каждый день — это такой срок! Мы перехватили тогда. Определенно. Заигрались революционной фразой. Оторвались от земли, от реальной действительности. Я за это время десяток деревень объездил. Пять волостных сходов провел. Везде одно и то же. Чижиков и тогда был в принципе прав. Теперь и подавно. Ты, Савелий, кавалерийские замашки брось. Тут одной атакой ни хрена не добьешься. Хватит, нарубались.

— Да?! — глаза Аггеевского зажглись горячечным огнем.— Значит, штык в землю, шашку в ножны, а белогвардейская сволочь и кулачье будут нам диктовать? Не выйдет!

— Рубака из тебя отменный, но политик — сомнительный.— Новодворов тяжелыми шагами пересек кабинет. Подошел вплотную к Аггеевскому.— Напомню тебе одно ленинское высказывание. Мы знаем, говорил он, что товарищи, которые больше всего работали в период революции и вошли целиком в эту работу, не умели подойти к среднему крестьянству так, как нужно, не умели сделать это без ошибок, и каждую из таких ошибок подхватывали враги... Не помню до конца всей фразы, но смысл и так уже ясен. Советую подумать об этом. Крепко и всерьез. Деревня не кавалерийский эскадрон и не конармия. Это, брат, такая стихия, такой разгул страстей. Особенно теперь, когда за спиной у нее — революция, колчаковщина...

— Можешь все это высказать на губернской партконференции. Недолго ждать. А пока я — ответственный секретарь губкома, и хочешь ты или не хочешь...

— Не кипятись,— попытался охладить его Новодворов.— Никто под тебя не копает.

— Подкопов не боюсь. Привык ходить в лобовую. Пулям и то не кланялся.

Аггеевский сбил головку со спички, сломал еще одну. Наконец прикурил. Поймал взгляд Водикова.

— Чего молчишь, красный проповедник? Соображаешь, к какому берегу ловчей прибиться, или хочешь наблюдателем остаться?

Распушив указательным пальцем и без того пышные усы, Водиков сощурился в улыбке.

— Я ловчить не умею, Савелий Павлович.— Уколол язвительным взглядом Новодворова.— Не та школа, закалка не та. В эсерах был боевиком и большевиком стал в колчаковском подполье. Классовая борьба приняла сей-

час самую острую форму. Они нас пугают мятежом, мы отвечаем семенной разверсткой. Допускаю контрреволюционное восстание. Ну и что? Произойдет окончательное социальное расслоение деревни, и мы наконец-то вырвем зубы белогвардейской гадине и махровому антисоветскому кулачеству, расчистим и удобрим почву для семян социализма. Если же мы сейчас попятимся — дважды проиграем. Сорвем весенний сев и укрепим позиции врагов. Революция бескровной не бывает. Нам, революционерам, нечего бояться крови. Расстреляй мы тогда Маркела Зырянова и его подручных в Челноково, не было бы и покушения на Чижикова. Пикин был прав тогда. И теперь он прав...

— Вот именно! — подхватил Аггеевский. Он пламенел. Жаром полыхали впалые щеки, сухо поблескивали горящие глаза.— Рубить до седла кулацко-белогвардейскую сволочь. Не подстраиваться к ней, не заигрывать, не заискивать!..

— Как это делает наша губчека! — выкрикнул Пикин.

И посыпал пулеметной скороговоркой о кулацких вылазках, о недремлющей белогвардейщине, о политической близорукости Чижикова. Казалось, и внутри него все кипело и клокотало, накаляя и сотрясая худое тело. И когда, задохнувшись, он приостановился и смолк, Новодворов сочувственно обронил:

— Лечиться тебе надо, Аника-воин. Укатали тебя северские горки...

— Я уже сказал,— надорванно выкрикнул Пикин.— Сделаем семенную — и баста, в расход! Пенсию у тебя не попрошу, обузой не сяду на шею...

— Зря горячишься, товарищ Пикин. В таком деле нужна трезвая голова. Речь-то ведь идет о судьбе почти двух миллионов крестьян, и нельзя так, сгоряча, с маху. Нельзя!

— Да до каких пор будете тут палки в колеса!..— уже почти не владея собой, взорвался Пикин.— Я же докладывал вчера Аггеевскому, он согласился. Мы не в лото играем! Голод жрет революцию. Ленин контролирует каждый продовольственный маршрут, сам распределяет по пудам поступивший хлеб. ЦК обязывает помогать продорганам, а тут... тут мать-перемать...

Левая щека у него дернулась, рот повело в сторону, он громко клацкнул зубами, и вдруг по щекам его поползли слезы. Матюгнулся еще раз сквозь сжатые зубы,

отбежал в угол и там стоял, согнутый, судорожно вздрагивая худой надломленной спиной.

Все молчали, отводя глаза друг от друга. Они знали трагедию пикинской семьи, почитали его за одержимость в работе, за кристальную душевную чистоту. С Пикиным спорили, порой беззлобно подтрунивали, но уважали. От него ждали любой бесшабашной, безрассудной выходки, но не слез. Оттого и молчали неловко и пристыженно.

Пикин совладал с собой. Подсел к столу, скрутил папиросу, рассеивая табак по красной скатерти.

— Давай раскручивай свою семенную,— тихо сказал Аггеевский.— Здесь половина членов президиума губкома, с остальными я сейчас обговорю, оформим официальным решением. Только чтоб без перегибов. Побольше привлекай крестьян. Да перед тем как в закрома засматривать, соберите мужиков, растолкуйте. К ссыпкам охрану из надежных крестьян-коммунистов. Договорились, товарищи?

Никто не отозвался.

— Значит, решено,— резюмировал Аггеевский.

Чижиков подсел к Пикину. Вполголоса спросил:

— Давно у тебя Горячев?

— С начала. Как создался губпродкомиссариат.

— По чьей-нибудь рекомендации?

— По-моему, была рекомендация политотдела пятьдесят первой дивизии. Он там начальником госпиталя, кажется, был. Схватил тиф. Остался в Северске. Что он тебя интересует ?

— Сдается мне, в чужом опереньe летает... Присмотрись к нему внимательно... И вот еще просьба. В продотряд, который поедет вместе с Горячевым в Яровский уезд, надо включить одного человека. Черкни записочку начальнику продотряда, чтоб принял рядовым бойцом бывшего красноармейца Сатюкова Тимофея Сазоновича. Крестьянин. Отличный человек и боец первостатейный.

— Это еще зачем?

— Надо. Понимаешь, очень надо.

Пикин написал требуемую записку. Чижиков встал, протянул руку.

— Будь здоров. Да, вот еще что. Попроси кого-нибудь составить подробные списки всех продработников губернии, от бойцов продотрядов до уездпродкомиссаров с указанием, откуда пришел к вам и по чьей рекомендации.

Не хмурься. Для тебя стараюсь. Когда-нибудь поймешь, спасибо скажешь. А за Горячевым понаблюдай. Непременно.

3

Пикин шел торопливой неровной походкой, взгорбив худую спину. Недавно ему исполнилось двадцать семь. Велики ли годы? А внутри все перегорело. Появись сейчас волшебник, скажи: «Давай, Пикин, выкладывай три самых заветных желания»,— и выложить нечего. Разве что попросит помочь досрочно семенную разверстку выполнить. Все желания, все интересы, весь смысл жизни Пикина замыкался на делах губпродкомиссариата. А их невпроворот, и все горячие, кровью подкрашенные, порохом да дымом пахнущие.

С того дня, как вышел Декрет Совнаркома о продовольственной разверстке в Сибири, стремительный водоворот событий засосал Пикина и он утратил реальное представление о времени. Прожитое измерялось пудами собранного и отгруженного хлеба. Хлеб был дороже всего на свете, от него зависело существование Республики Советов. Пикин понимал это, и не было ничего, чем бы он не мог поступиться, через что не решился бы перешагнуть ради того, чтобы дать голодающей Советской России лишний пуд сибирского хлеба. Нечеловеческих усилий стоило Пикину досрочное выполнение губернией продовольственной разверстки. Если бы не мать, он, наверное, давно бы свалился от истощения. Он мог по первому желанию выжать из памяти названия многих сел и деревень, массу имен крестьян, продовольственных, партийных, советских работников самых разных рангов, но никогда не помнил время обеда и без напоминания матери не садился за стол. Мужики за глаза называли его двужильным, он работал как воевал — не щадя себя и других. Больше всего на свете он боялся покоя. И сейчас на пороге нового труднейшего испытания — семенной разверстки — Пикин втайне даже радовался тому, что предстоит еще разок схлестнуться с зажиревшими кулаками. До исступления ненавидел Пикин алчное племя мироедов, которое потными жадными лапищами сплюснуло пикинскую судьбу, жену с детишками, ровно тараканов, пришлепнуло, дважды стреляло в него, растерзало лучших его продработников.

«Не вовремя черт принес этого Железного Чижика! Крутой и упрямый, зараза, но в мужицких делах ни хрена не смыслит. Боится ворошить осиное гнездо. «Равновесие... Успокоение...» Институточка! Тут надо горящей головней...»

Закипал, наливаясь яростью, Пикин. Жаркая волна окатила худое тело, щеки и шея горели будто в крапивнице. Расстегнул куртку, крепко потер ладонью грудь. Не замедляя шага, зачерпнул из сугроба снега, стиснул его в кулаке, жадно откусил белую холодную мякоть. С силой поддал носком сапога смерзшийся лошадиный катыш. Скорей бы в деревню! Перестраховывается Чижик... Эти жирные кулацкие крысы не полезут в открытую с вилами и дробовиками против пулеметов... И Пикин неожиданно для себя запел высоким озорным фальцетом:

Чижик, чижик, где ты был?
На базаре водку пил.
Выпил рюмку, выпил две —
Закружилось в голове...

«Кто же все-таки рекомендовал Горячева? Вот у кого железная рука! Побольше бы таких продработников, давно бы сусло из кулака брызнуло. Чем он не поглянулся Чижику? У Гордея глаз... насквозь пробивает. Упорный. Прет в лобовую — и никаких! Сойтись бы с ним, сдружиться...— Запнулся на этой невесть откуда вдруг выпрыгнувшей мысли. — Открутим семенную, тогда поговорим обо всем по-доброму...»

Торопливой пробежкой пронесся по коридору губпродкома, одним духом влетел на второй этаж. Гаркнул секретарше, озорно подмигнув:

— Васса! Давай председателей чрезвычайных троек!..

Глава тринадцатая

1

Жестоко казнил себя Чижиков за минутную слабость. Если б Пикин не заплакал тогда... Надо было вместе с Новодворовым до последней возможности драться против семенной разверстки. Правда, у губпродкомиссариата есть факты, которые настораживают. Ну как в самом деле во

многих хозяйствах поедят да потравят семена? Не должны бы, но «если бы да кабы»... Чека должна была знать о потраве семян прежде Пикина. А может, и не было никакой потравы, а есть лишь превосходно разыгранный эсерами спектакль? Чека должна была знать: когда и кто первым протрубил о растранжиривании семян, кто родил идею семенной разверстки, когда, кто и как проводил подворную проверку? Все это Чижиков обязан был знать, но он не знал. Маломощный, малограмотный, малоопытный аппарат губчека задыхался.

Черт вынес откуда-то банду мерзавцев. Переодетые в красноармейцев, они с поддельными мандатами и ордерами от губчека вламывались в дома, насиловали, грабили, избивали. Две недели гонялись за бандитами, четверых чекистов схоронили. Не успели обвинительные заключения на бандитов в ревтрибунал передать, как снова боевая тревога: почти четыреста пудов хлеба уперли с элеватора. Целая шайка воров и спекулянтов. Тоже не вдруг выпололи. Последнюю неделю весь оперативный состав губчека нащупывал следы подпольного эсеровского комитета. А до деревни так и не доходят руки. Деревня целиком на попечении политотделов уездной милиции, а в этих политотделах такие грамотеи...

«Эх, мать честная, вот мазнул так мазнул»,— в который раз пенял себе Чижиков, снова и снова переживая разыгравшуюся в кабинете Аггеевского сцену. Никого другого, кроме себя, он уже не виноватил. Даже Пикина со всеми его перехлестами. Что-то притягивало его в губпродкомиссаре. Пикин издерган, истрепан бессонным, бесконечным хлебным штурмом, он так с головой ушел в свою, требующую нечеловеческого напряжения работу, что просто не может, не в состоянии взглянуть на вещи свежим взглядом, понять свои ошибки. Он, Чижиков, должен был помочь ему это сделать, поговорить спокойно, без горячки, убедить на неопровержимых фактах. Должен был — и ничего не сделал. Не хватило времени, знаний, терпения. А теперь уже поздно: семенная разверстка утверждена и подписана... Кого же ему винить, кроме себя самого?

Отчетливо вспомнилось: слушая пространные разглагольствования Водикова, Пикин недовольно морщился, хмурился, хотя Водиков целиком поддержал губпродкомиссара. Почему Пикин не приемлет поддержки от Водикова? Свое эсеровское прошлое тот искупил подполь-

ем, прям и смел, образован, что твой профессор, в чем же дело? Да ведь и сам-то Чижиков, по совести говоря, чувствует необъяснимое недоверие к Водикову. Может, грамоте его, краснобайству завидует? С Пикиным начистоту бы, в две головы скорей докопались до причины. Горячев частенько наведывается к Водикову, и выходит, как ни крути, подозрения тенью падают на главного пропагандиста губернии...

Еле оторвался Чижиков от тяжелых мыслей. Пригласил в кабинет Тимофея Сазоновича Сатюкова.

Тот вошел, как всегда, широким твердым шагом, браво доложил о прибытии. Сел, глядя в глаза Чижикову.

— Как твоя благоверная? — спросил тот.

— Почитай заново родилась. Прытче дочки бегает. Выходила баба Дуня. Вот тебе и знахарка. Хотел отблагодарить ее — не взяла, да еще отчехвостила меня, в душу, грит, тя выстрели.

— Характерная бабуля... Наследники-то растут?

— Чисто беда с имя, — улыбнулся Сатюков. — Старшой-то себя губчекистом называет. Сколотил ватагу сорванцов и объявил войну «буржуазной контрреволюции». Рядом у нас купчиха живет, сын у нее колчаковским офицером был, так они ночью забрались к ней на крышу, развалили трубу да еще просунули через нее в печь пук горящей соломы. Такой переполох устроили, на всю улицу. Пришлось снять штаны и выпороть ремнем своего губчекиста.

Смеялся Сатюков добродушно, весело, запрокидывая лицо, заросшее непроглядно густой рыжеватой бородой. Из-под мохнатых, тоже рыжих бровей посверкивали живые, умные глаза.

Но стоило Чижикову сказать: «Послушай, Сазоныч, есть одно дело», как Тимофей погасил улыбку, весь подобрался, уставясь немигающим настороженным взглядом на председателя губчека.

— Вот тебе направление. Сейчас явишься в губпродком, к начальнику продотряда особого назначения Карпову. Будешь бойцом в его отряде. Скажешь — из чека поперли за выпивон и неповиновение начальству. Можешь разрисовать меня в карикатуру. Надоело, мол, перед всякими тянуться, захотелось волюшки. Понял? Надо, чтоб тебе поверили. Главная твоя задача — не спускать глаз с Карпова и Горячева: его-то и будет сопровождать ваш отряд. Учти, можешь угодить в осиное гнездо. Кар-

пов этот только объявился в наших краях, по личной рекомендации Горячева назначен начальником продотряда. Постарайся угадать, что за птица. Каждый шаг, каждое слово мотай на ус. Присмотрись к бойцам отряда. Сыщешь надежных, обопрись, но не раскрывайся. Играй под мужичка-простачка, которому надоели большевистская дисциплина и всякие ограничения. Надейся только на свои силы. В случае крайней нужды можешь передать что нужно с секретарем челноковской комсомолии Ярославной Нахратовой. Приказ о твоем отчислении из батальона губчека, наверно, уже вывесили. Мы тебя списываем за «проступки, порочащие высокое звание чекиста...» Уточни, с кем встречается Горячев, о чем и с какими мужиками разговаривает. Помни: оступишься, вызовешь подозрение — не пощадят. Осиротишь детишек. Так что смотри...— Помолчал. Пожевал нераскуренную папиросу.— Если дело не по душе — скажи. Неволить не стану.

— Обижаешь, Гордей Артемыч.

— Прости, Сазоныч. Только ведь и вправду на такое надо идти добровольно... Ну давай закурим напоследок и помолчим перед дорогой...

Когда Сатюков ушел, Чижиков позвонил в караульную и попросил привести арестованного Карасулина.

2

Онуфрий зарос щетиной, был угрюм и раздражен. В ответ на «Добрый вечер, Онуфрий Лукич» буркнул сквозь зубы «Здравствуй, гражданин начальник» и остался стоять посреди комнаты, едко и колюче поглядывая на Чижикова из-под насупленных бровей.

— Обижаешься, значит?

— Тебя в рыло, а ты кланяйся мило. Так, что ли? — криво усмехнулся Карасулин.

— Садись,— миролюбиво предложил Чижиков,— закуривай.

— И так башка от курева — хоть обручами стягивай.

— Дрянь дело, Онуфрий Лукич,— подсаживаясь рядом, проговорил Чижиков.— Начали семенную разверстку...

— Ну?..— вскинулся Карасулин. От недавней обиды и раздражения — ни следа.— Выходит, они и взаправду похитрей нас. Мне Кориков об этой разверстке загодя говорил.

— Кориков?!
— Ворон первым падаль чует.
— Но почему тебе?
— Отколотая щепа обратно не пристает.
— Так они что, решили...
— Может, и решили, а вернее, на зуб пробовали.
— Что ж ты молчал об этом? — рассердился Чижиков.
— А ты меня спрашивал?
— Да, виноват я перед тобой...— поник Чижиков.— Поговорить тогда ночью не удалось: пришлось срочно скакать в Яровск. Потом опять запарка. Вот и протомили тебя в подвале четверо суток... Но, черт возьми, не понял ты разве, зачем мы тебя арестовали? Чтоб вернулся ты в Челноково окончательно обиженный нами, чтоб враги не сомневались больше в тебе. Разжевал наконец? Эх, Онуфрий, Онуфрий. Да и я хорош...— Сокрушенно покачал головой.— Ну, ладно. Что упало, то пропало. Давай о деле. Непосильную ношу хочу взвалить на твои плечи.
— Чужие не свои — знай вали... Выходит, они нас — вокруг пальца, как надумали, так изделали. Он ведь прямо сказал: вот начнется семенная и...
— Не могу поверить, что Кориков преднамеренно открылся тебе. Скорей всего, в азарте болтанул.
— Сам этот клубок день и ночь мотаю, никак до конца не доберусь.
— Надо распутать,— твердо сказал Чижиков, не спуская с собеседника цепкого взгляда.
— Черти б его распутывали,— угрюмо пробубнил Карасулин.— Ну, коль охота мозги поломать, слушай. Про то, что я Боровикова пригрел, слыхал? Я и в самом деле первым повидал дорогого тестюшку, похристосовался с ним...
Он в подробностях живописал встречу с Боровиковым, потом рассказал, как «пробовал его на зуб» Кориков.
— Я ведь утром надумал к тебе ехать, а тут ты сам заявился, заарестовал меня да и ускакал...
Онуфрий свернул папиросу, прикурил от чижиковской и задымил вовсю.
— Да...— проговорил Чижиков.— Значит, пока проглянула такая цепочка: Зырянов — Боровиков — Кориков — Горячев и, видимо, поп Флегонт.
— Вряд ли Флегонт с ними. Он хоть и поп, а из мужицкой борозды не вылазит. К богатству не льнет. Все своими руками.

— Красный поп?

— Может, и не красный, но во всяком разе не белый.

— Случись заваруха, твой двуцветный поп служить будет молебны антисоветчикам.

— Колчаковцы его чуть не расстреляли за то, что отказался такой молебен служить.

— Черт с ним, поставим над попом вопрос. Поглядим, куда погнется, все равно посередке не устоит... Тебе, Онуфрий Лукич, придется еще денек-два у нас погостить. Хоть и обидно, и прискорбно то, что случилось с тобой, но, ей-богу, нет худа без добра. А в партии тебя восстановит Москва, и мы подмогнем в этом. Уверен. Не обижают здесь?

— Гляди, сам кого бы не обидел.

— Так вот, денька через два мы выпустим тебя на поруки. Авторитет твой среди крестьян от этого не качнется, а Кориков и его братия должны проникнуться к тебе особым доверием. Надо разглядеть изнутри это логово. Опередить их. Сможешь?

— Попытка не пытка.

— Тогда давай прощаться. И будь осторожен. Очень может быть, что Кориков прав — и даже в этом доме у них есть глаза и уши. Учти это.

Часовой увел Карасулина. Чижиков несколько раз прошелся по комнате. Итак, картина проясняется. Задача — нащупать связи челноковских заговорщиков с соседними волостями и деревнями и Яровском. А главное — раскрыть головку заговора в самом Северске, найти нить от Северска к соседним губерниям. До тех пор Горячева трогать нельзя...

Нельзя? А допустимо ли тут промедленье? Не правильней ли немедленно арестовать Горячева, Корикова и всех подозреваемых в связях с ними — разрубить бикфордов шнур, пока не грохнуло? Нет, он не имеет права этого делать. Судя по оперативкам ВЧК, зреет всесибирский мятеж и где-то затаился его штаб, с которым связаны северские заговорщики. Пока главная пружина не обнаружена — нельзя раскрывать карт... Еще чуть бы попридержать события либо их опередить, чтоб до разворота семенной разверстки обезглавить заговорщиков! Все говорит за то, что контрреволюция делает на семенную главную и последнюю ставку. Предупредить и ударить первым, да так, чтобы вышибить дух из врага, разом и навсегда!..

3

Долго стоял Чижиков на пустой вечерней улочке, радуясь морозной тишине и одиночеству, которые незримо снимали гнетущую дневную усталость. Глубоко вздохнул, пошевелил плечами и вдруг почуял тревожный и сладкий запах древесного дыма. Дрогнувшими ноздрями втянул смолистый пряный аромат и вспомнил: сегодня суббота, банный день.

Сибиряки — народ чистоплотный. Хоть земля в дыбки, а каждую субботу топят баню. Как ни беден двор, а в нем обязательно своя банька — неказистая, невеликая, но зато своя. Топится она часто «по-черному», дым уходит не в трубу, а в раскрытую настежь дверь, оттого на бревенчатых стенах густой и толстый налет сажи.

Какая-то бесплотная струна шевельнулась в душе, и Гордей Артемович вспомнил отца. Вот кто самозабвенно любил попариться, поиграть с березовым веничком. В этом деле он был мастак. Мало кто в слободке мог потягаться с ним, даже матерые, как кедровые корни, мужики не выдерживали.

Отец поливал раскаленную каменку не водой, а квасом и делал это до тех пор, пока воздух в бане не становился настолько горячим, что от одного резкого взмаха краснела ожогом рука. Тогда, надев рукавицы-голицы и шапку, он взбирался на полок, удобно располагался там и принимался с размаху хлестать и сечь и поглаживать себя размякшим огненным веником, покрякивая, постанывая, гогоча до той поры, пока в знойной истоме не разомлеет тело. Багровый, пышущий жаром, отдувающийся, скатывался отец с полка, стремглав вылетал из бани на мороз, с разбегу нырял в снег. Ухал, ахал, довольно урчал, катаясь в снегу, тер им волосатую грудь, лицо, руки. Влетев с улицы, снова вскакивал на полок и опять со всей силы охаживал себя вдоль и поперек пахучим веником. Потом выливал на себя ушат ледяной воды и уходил в предбанник одеваться...

Воспоминания были такими яркими, что Чижикову нестерпимо захотелось в парную — прямо вот сейчас вскарабкаться на полок и как следует отхлестать себя веничком. Стал прикидывать, к кому из знакомых можно напроситься побаниться. И вдруг:

— Гордей Артемыч...

— Маремьяна?.. Здесь?! Откуда?

— Сказала «приду» — пришла. Обожди. Не надо тут... Пойдем со мной. Тут рядышком.

Он не спрашивал куда, молча повернулся и зашагал рядом. Поймал ее руку в цветной рукавичке, крепко стиснул и уже не отпускал до конца пути.

— У сестры домишко здесь. Уехала за мужем в Пермь. Раненый он. В госпитале. Меня попросила подомовничать. Я баню стопила, попаришься... да ты чего молчишь?

— Онемел от радости.

— Гордеюшка...

Дом и в самом деле был небольшой — кухня да горенка, но аккуратный и обихоженный. Хозяйка, видно, чистюля из чистюль — ни соринки, ни пятнышка нигде. Пол устлан домоткаными половиками, на подоконниках — целый сад. Все это Чижиков разглядел только утром, а ночью... ночью он видел лишь Маремьяну. Да и когда ему было разглядывать, замечать, если вся-то ночь оказалась короче куриного шага...

— Выпьешь после бани-то? — спросила она, ставя на стол бутылку с самогоном.

— Нет. Не надо. Да и зачем? И так в глазах двоится. Посиди, чего ты все бегаешь.— Обнял ее за мягкие округлые плечи, потянулся губами к ищущему полураскрытому рту и провалился в небытие, утратив всякое ощущение времени, начисто позабыв обо всем.

Сколько просидели они так, тесно прижимаясь друг к другу, задыхаясь от долгих, до боли сладких поцелуев,— кто знает.

Маремьяна бессильно запрокинула голову, полузакрыла глаза, громко вдохнула открытым ртом.

— Пусти,— слабо шевельнулась.— Постель застелю.

— Сиди. Я сам.

— Не мужичье дело... Ой... Гордеюшка...— ткнулась лбом в его грудь, поцеловала в шею.— Не оторвусь никак...— Перешагивая порог горницы, кинула через плечо: — Не входи без зову.

Он не успел папиросу свернуть, как донесся ее слабый голос. Швырнул на стол несклеенную самокрутку, задул лампу.

Вся эта ночь — короткий, сладкий миг. Иногда они вроде бы на самом деле засыпали и даже видели сны, но какой-то крохотный кусочек мозга все время бодрствовал, отчего сны мешались с явью, с обрывками мыслей,

и разом просыпаясь, они продолжали прерванный разговор, который был бы, наверное, непонятен никому другому, ибо разговаривали они обрывками фраз, а то и просто звуками.

— Хм! Хм-хм,— странным гортанным голосом коротко смеялась Маремьяна и вздыхала.

Чижиков, безошибочно угадывая смысл этих звуков, легонько прижал Маремьяну к себе, потерся щекой и подбородком о ее горячую щеку.

— Ты спи, спи,— пробормотала она.— Я-то за день высплюсь, а тебе ведь... спи...

— И так сплю. Все во сне. Проснусь и...

— Ден семь она проездит. Залюблю тебя так-то... Ветерком закачает.

— Сама поберегись...

Она засмеялась и тут же заснула. Припухшими губами он целовал ее голову, перебирал тонкие пряди волос и незаметно тоже заснул. Проснулся от ее шепота:

— ...дожить бы до лета. Полюбиться на волюшке. Трава зеленая-презеленая, васильки, ромашки разные, иволга... кукушка поет. Ох, Гордеюшка...

— Маремьянка-веснянка... Видишь, как складно? Стану тебе припевки сочинять.

— Я б такие спела — силушки нет: всю выпил...

— Так уж и всю? Может, хоть капелька осталась?

— Ма-алая росиночка. На самом донышке. И ту ведь выпьешь.

— Непременно...

Глава четырнадцатая

1

У нее было красивое древнерусское имя Ярослава, которое она сама переиначила в Ярославну, но сверстники почему-то всегда придумывали ей обидные прозвища. В детстве мальчишки дразнили ее Кляксой, подружки-гимназистки шипели в спину — Рогулька и даже здесь, в Челноково, ее, учительницу и секретаря волостной комсомольской ячейки, за глаза называли Пигалицей. Наверное, и ученики между собой называли ее так же, но в лицо почтительно величали Ярославной Аристарховной.

Она выросла в Северске, в семье адвоката, известного своими либеральными взглядами и блистательной защитой рабочих Шаровского завода, захвативших цеха в знак протеста против произвола хозяина. Отец умер в девятнадцатом, успев месяц просидеть в колчаковской тюрьме. Ярославны в то время не было дома: она поступила в красноармейский госпиталь и вместе с ним полтора года колесила по дорогам гражданской войны.

Когда госпиталь вновь оказался в освобожденном от колчаковцев Северске, Ярославна ушла из него. Губернский комитет комсомола направил ее секретарем Яровского укома РКСМ. Просекретарствовав несколько месяцев, Ярославна забастовала: «Пусть другие в кабинетах сидят, хочу на передовую». Ее послали учительствовать в Челноковскую школу, избрав секретарем волячейки, которая насчитывала тогда всего шесть комсомольцев.

Недавно ей минуло девятнадцать. В маленькой, тоненькой и гибкой, как краснотал, Ярославне таился огромный запас энергии. Она и ходила-то не по-здешнему — легко и стремительно носилась по селу, гордо запрокинув аккуратную, скульптурно точеную голову. Говорила она тоже необыкновенно быстро, и горячо, и негодуя, и радуясь всегда искренне и бурно. Она не умела лгать, ее жизненный принцип — что на уме, то и на языке — не раз подставлял ей подножки, и она больно ушибалась, но все равно не менялась, оставаясь такой же горячей и непосредственной.

У Ярославны было круглое большелобое лицо с тонким, чуть вздернутым носом, небольшим, сочным ртом и очень живыми синими глазами, глядевшими на мир так ясно, чисто и доверчиво, что людям недобрым и неискренним становилось не по себе от ее взгляда. Она неплохо играла на фортепьяно, любила петь, знала на память уйму стихов. За первый же месяц челноковской жизни ей удалось сколотить драмкружок, на представления которого сбегалось все село. Через тот кружок и приобщились к комсомолу многие молодые люди, и в начале двадцать первого года челноковская волостная комсомолия насчитывала два десятка парней и девушек.

Добрых книг в челноковской читальне не было, а Ярославна дня не могла прожить без чтения. Страсть к книгам и свела ее с Флегонтом. Тот сразу привлек девушку могутной мужицкой мудростью, прямодушием и песнями.

— Зело скорблю,— басил он при первом знакомстве,— что сан мой не позволяет примкнуть к вашему кружку. Отменное дело вершите...

В укоме и губкоме комсомола к дружбе Ярославны с Флегонтом отнеслись более чем неодобрительно, не раз выговаривали за это строптивой девчонке, но та отвечала, что ничего предосудительного тут не видит, и по-прежнему часто бывала в поповском доме.

Челноково исстари славилось красавицами. Челноковские девки не засиживались в невестах, сваты наезжали сюда даже из Северска. Рядом с рослыми фигуристыми деревенскими девчатами Ярославна выглядела подростком. Однако на посиделках и вечеринках она плясала «шестеру» и пела припевки так лихо, что мало кто отваживался выйти с ней на перепляс с частушками. Там, на вечерках, и стали прилипать к Ярославне прищуренные глаза Пашки Зырянова.

В тайнике, за божницей, хранил Пашкин отец, Маркел Зырянов, список коммунистов Челноковской волости, и второй в том списке — следом за Онуфрием — значилась Ярославна Нахратова. Верил Маркел — вот-вот настанет судный день, и тогда он самолично с верными людьми переимает всех упомянутых в том списке — смертном приговоре и уж вдосталь понатешится, понагалится над коммунистией, по капельке спустит из их жил всю кровушку, разом и навсегда разочтется за все свои беды и обиды. О списке том знали лишь самые верные единомышленники да сын Пашка. Он и писал под Маркелову диктовку фамилии челноковских комиссаров и вместо продиктованного отцом «Пигалица» записал неровными, раскорячистыми буквами «Ярославна Нахратова». Писал, а сам знал: не отдаст девку на расправу — самому нужна...

Пашка и ростом и характером вышел не в отца. Тонкий и высокий, как жердь, но не гибкий: не то что под ветром — под мешком-пятериком не гнется. Брюхо к хребту приросло, а плечи саженные, мышцы сплелись упругими жгутами. Кулак у Пашки, что свинчатка, врежет в правое ухо — из левого кровь брызнет. Охоч был до кулачек парень, лют и безжалостен в драке. И в работе не жалел ни себя, ни лошадей, ни батраков.

Пашка — жених что надо: и богат, и работящ, и скроен недурно. Челноковские девки охотно заигрывали с ним, заманивали, подзадоривали, но держались настороже: за-

зевайся — вмиг подомнет — и поминай как звали. Не уговором, не лаской брал Пашка девок — силой. Не раз его жестоко били братья и дружки опозоренных девчат. Двужильный был, стервец. Отлежится, отхаркается розовой слизью и опять на ногах и опять косит из-под жесткой пепельной чуприны недобрым взглядом, кусает им весь мир.

Что-то беспощадно-хищное проглядывало в сухом обветренном большеносом Пашкином лице, в самодовольном оскале крупных белых зубов, в хитроватом прищуре медлительных глаз. Всякий раз, сталкиваясь с ним, Ярославна внутренне настораживалась, напрягалась сжатой пружиной, всем своим видом показывая небрежение к парню.

...Это случилось вскоре после ареста Онуфрия. До позднего вечера засиделась Ярославна в школе, проверяя ребячьи тетрадки. По два, по три раза перечитывала одну и ту же страничку и все никак не могла вникнуть в суть написанного, найти ошибки. Собрала в стопку тетради, отодвинула на угол стола и застыла в тяжелом раздумье. Зачем она забилась в эту глушь? Думала встряхнуть, омолодить деревню, развернуть ее на новый путь. Сколько сил растрачено. А итог?.. Карасулин исключен из партии и арестован, коммунисты растеряны, комсомольцы притихли, четверо подали заявления о выходе из ячейки по неграмотности якобы. Тревожно и зыбко на селе...

Такая тоска — ничто не мило. Ярославна смотрела на расплывающийся язычок пламени семилинейной лампешки, а видела лицо Онуфрия. Как-то он там сейчас? Неужели не выпустят, неужели Чижиков не поймет, что Карасулин чист перед партией? Тогда придется ехать в Северск самой...

Тут дверь с грохотом распахнулась, и перед ошеломленной Ярославной предстал пьяный Пашка Зырянов. Его появление было столь неожиданным, что Ярославна не сумела скрыть растерянности: время позднее, в школе, кроме глухой сторожихи, никого, и та давным-давно спит в своей комнатенке. Заметив испуг девушки, Пашка победно ухмыльнулся, спросил:

— Напужалась?

— Да,— призналась Ярославна, решив, что миролюбивый тон наиболее приемлем сейчас.

— Во! А иш-шо вожак деревенской комсомолии.— Пашка захохотал не своим — натянутым, высоким — голосом и сел на стул.

— Зачем пожаловал? — как можно спокойнее спросила Ярославна.

— Угадай.

— Я не гадалка. Шагай к бабке Ярихе, это по ее части.

— Оттудова иду. Наворожила тебя в невесты. Когда сватов засылать?

— Тебе нужна невеста богатая, работящая, а я не твоего поля ягода.

— Мово! — азартно выкрикнул Пашка, звучно шлепнув ковшом ладони по острому колену.— В самый раз ягодка! Сыздаля гляну — слюнки текут. Сырую б сглотнул — не поморщился. Ха-ха-ха!

Ярославна строго глянула на Пашкины осоловелые глаза, нахмурилась. Этот кулачок и впрямь, видно, думает, что, застав врасплох, напугал досмерти. Выкобенивается, как над своей батрачкой. Сердито прикрикнула:

— Топай своей дорогой! Скотские комплименты побереги для другой, я в них не нуждаюсь!

— Во! Такая ты мне того боле глянешься. Такую царапучую я тебя и вовсе люблю. И никому другому не отдам, сам съем.

— Подавишься! — Ярославна вскочила, сжала кулачки.

— Ой ли? Не по росту, думаешь, сшит? Моргуешь? А ежели я сейчас защемлю тебя и без сватов и венчаний... А?

Пружинисто встал. Расширившимися, горящими глазами впился в Ярославну и, медленно наступая на нее, тихо, с хрипотцой и каким-то жутким присвистом цедил страшные слова:

— Теперя ты моя, гусынька.— Раскрылил в стороны длинные клешнятые руки, пригнулся.— Сперва надкушу, опосля сосватаю. Так-от верней...

«Не уйти»,— мелькнуло в сознании Ярославны. Мгновенно пронзившее ее ощущение собственной беспомощности и обреченности парализовало разум и тело. Она оцепенела. Высохшим известковым ртом ловила колючий воздух, не спуская глаз с надвигающегося Пашки. Надо было остановить его, сбить хмельной пыл каким-то необыкновенным словом, неожиданным жестом, отвлечь, обмануть, но у нее достало сил только на то, чтобы пронзительно и дико закричать:

— А-а-аа!..

— Забазлала! — злорадно возликовал Пашка.— Ишшо не так взвизгнешь. Из пушки пали — не услышут, а и услышут — не придут. Старуху твою глухарку я запер. Ха-ха-ха! Ловко! Так-то. Теперича нам никто не помешает... Ты теперича моя...

Все более распалялся Пашка, дышал глубоко, открытым ртом, обдавая Ярославну самогонным перегаром. Та медленно пятилась до тех пор, пока не уперлась спиной в стену.

— По-мо-ги-и-и...

Жесткие Пашкины руки сграбастали хрупкую трепещущую фигурку, с силой притиснули ее к широкой твердой груди.

Ярославна царапала Пашкино лицо, рвала его волосы.

— Не смей!.. Негодяй!.. Мерзавец!..

Он, по-медвежьи урча, сильнее притиснул к себе девушку. Припал горячим мокрым ртом к тонкой белой шее. Острым подбородком подцепил воротник блузки, и покатились на пол перламутровые пуговки.

— По-мо... Спа-а-а...— задыхаясь, теряя силы, полузадушенно выкрикнула Ярославна.

Пашка легко вскинул ее на руки, метнулся к диванчику. Кинул на него девушку, накрыл ладонью кричащий рот, другой рукой слепо и остервенело рвал в клочья платье.

В этот миг что-то очень больно и тяжело ударило в напряженно изогнутую Пашкину спину. Тот качнулся, но не отпустил своей жертвы и даже не оглянулся. Другой удар, сильнее и больнее первого, согнул Пашку в дугу. Он скакнул в сторону, оглянулся и увидел Ромку Кузнечика с поднятым костылем в руке.

— А-а-у! — звероподобно взревел Пашка и бросился на Ромку, но тот ловко отскочил за стол, и тут же в его руке сверкнул вороненый ствол нагана. Хлобыстнул выстрел.

Саженным прыжком Пашка метнулся в дверь. Вслед ему снова бабахнуло. Над самой головой пуля отколола щепу от косяка. Пашка вылетел из школы и широченными скачками понесся по дороге. Ромка пустил вдогонку еще одну пулю.

Когда Ромка воротился в школу, бледная, растрепанная Ярославна сидела в уголке диванчика, кутаясь в полушубок.

— Как же это?..— в Ромкином голосе растерянность,

сочувствие, укор и боль.— Мать честная. Надо же... Иду — огонь в окошке. Хотел зайти, побалакать... Охамело волчье! Как Онуфрия засадили, они ровно с цепи сорвались... И чего Пашку из чека выпустили? Сутки продержали — и, пожалуйста, домой возвернулся. Емельянов объясняет: нету улик... Не прощу себе, что промазал... Как он сюда попал?

— Забыла дверь запереть. Ввалился и сразу...

— У тебя же наган.

— В полушубке. Разве ждала... Налей водички... Вон там в шкафу иголка с нитками. Теперь отвернись.

— От нас не уйдет. Загремит в ревтрибунал. Сейчас заберу начальника милиции и...

Он так и сделал, но Пашка Зырянов исчез из села бесследно.

2

— Давненько не радовала меня своим посещением Ярославна Аристарховна,— мягко басил Флегонт, распахивая перед девушкой дверь своего кабинета.

После той черной ночи, когда лишь случайность спасла Ярославну от надругательства, на душе у нее становилось все тревожней. Девушка стала пугаться темноты, вздрагивая от дверного скрипа, от шума шагов за спиной, на ночь клала наган под подушку. Ее тяготило одиночество, хотелось с кем-то поделиться мучающими безответными «почему?». А с кем? С комсомольцами-сверстниками? Те сами видели в Ярославне духовного наставника. Был бы Онуфрий Лукич... Когда же на дверях волисполкома появился породивший волну самых невероятных слухов приказ о семенной разверстке и среди крестьян началось брожение, Ярославна совсем растерялась. Никогда еще она не чувствовала так остро свое бессилие. Спасаясь от дурных мыслей, девушка забрела к Флегонту. Просто поговорить пусть с совсем иначе мыслящим, но умным, добрым человеком, хоть немного развеяться.

Флегонт усадил девушку в глубокое кожаное кресло, оценивающе, понимающе вгляделся в ее лицо, нахмурился.

— Не нравишься ты мне сегодня, Ярославна Аристарховна. Не занедужила ль, помилуй бог?

— Нет-нет. Я здорова...

— Недуг души сокрыть труднее, нежели недуг тела.

Духовные муки наитягчайшие есть. Кто поймет и облегчит их, кроме бога? «Просите, и дано будет вам; ищите и найдете, стучите, и отворят вам». Может быть, тебе неприятно слышать сие: ты же материалистка, большевичка. Обещаете насытить всех неимущих и бедствующих, но чем утолите жажду духовную?

— Большевики прекрасно понимают: не хлебом единым жив человек. Только руки у нас до всего пока не доходят. Надо всю мерзость счистить с земли, дать людям кусок хлеба, крышу, работу, построить общество братства и свободы...

— И ты веришь, что сие можно достичь насилием?

— А как? Как сделать иначе? Ни философы, ни апостолы, ни ваш Христос не дают ответа. Хорошо сказано: «Все люди братья», а брат Маркел Зырянов целился в голову брата Чижикова. Неведомые братья заживо сожгли девять бойцов продотряда. Очень красиво звучит призыв: получил пощечину в левую — подставляй правую. Но попробуй-ка подставь Боровикову да Зырянову. Живьем в землю втопчут. Так как же быть? Проповедовать — одно, а делать — другое? Или сперва всю эту нечисть каленым железом, с корнем...

— Сначала эту нечисть, потом ту, а там кто-то попытается истребить самих очистителей, и несть конца кровопролитию. Вы хотите достичь царствия божия дьявольским путем, но разве мыслимо, опускаясь вниз, подняться вверх? Ненависть, жестокость, месть — из сего не возвести храм всеобщего благоденствия. Ищите дорогу к сердцам человеческим. Смягчайте их, укрощайте свою ярость и гнев и тем смягчите злобу врагов ваших.

— Все это слова и слова! — с каким-то отчаянием воскликнула Ярославна, и даже слезы блеснули у нее.— Красивые, но оторванные от жизни, от действительности. Пусть ваш Христос ответит: как построить новый мир без насилия и крови? Как общество, где человек человеку — волк, переделать в общество, где человек человеку — брат? Я учила закон божий, знаю молитвы, читала Евангелие, но там все висит в облаках, и Христос...

— Христос возжег пред заблудшим человечеством негасимую путеводную звезду — Добро! «Возлюби ближнего своего как самого себя». Слышите? Вдумайтесь в сей завет. «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде

примирись с братом твоим и тогда приди и принеси дар твой». «А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас...»

Голос Флегонта, густой и сочный, словно окутывал Ярославну. Огромные навыкате глаза его влажно блестели. Умиротворенной торжественностью светилось большое, окаймленное пышной бородой лицо с крутым высоким лбом.

— Сие лишь ничтожно малая толика Христова учения о Добре. Вдумайся в них, дочь моя. Отверзи пред ними сердце свое. Заповеди сии — нетленны...

Бесшумно растворилась высокая дверь, на пороге кабинета встал Флегонтов любимец — Владислав.

— Извини, папа. К тебе целая делегация крестьян. Я просил их подождать, но они так возбуждены...

— Я пойду,— встрепенулась Ярославна.

— Погоди.

— Но я буду вас стеснять.

— Не думаю. Какие у мужиков тайны от тебя? — И вместе с сыном пошел навстречу крестьянам.

Тех было четверо. Крепкий середняк Прохор Глазычев — Маремьянин муж, Ромкин отец — Евдоким Зоркальцев, прозванный за свое увечье Полторы Руки, челноковский кузнец, известный всей округе умелец Ефрем Шустов и отец девяти дочерей, бедный, хотя и очень старательный и работящий мужик, Константин Лешаков, прозванный Иисусом Христом за дивное сходство с иконописным лицом Христа.

Только что-то чрезвычайное могло свести вместе этих столь разных, далеких друг от друга людей. Пряча тревогу под приветливостью, Флегонт поклонился всем, жестом пригласил проходить, спросив как бы между прочим, не помешает ли их беседе Ярославна, которая зашла к нему за книгами да и зачиталась в кабинете.

— Пущай сидит,— ответил за всех Евдоким Зоркальцев.— Мы к тебе, отец Флегонт, почитай от всего села. Сидели, табак тратили, чуть не подрались, а к одному берегу не прибились.

— Что стряслось?

— Опять нагрянули...— рвущимся голосом ответил Константин Лешаков.

— Кто?

— Уполномоченный из губернии Горячев с целым от-

рядом,— пояснил Прохор Глазычев.— Будут семена отбирать. Вечером сход в Народном доме.

— Горячев? — Флегонт даже привстал.

— Мужики как услышали — переполошились,— вступил в разговор Ефрем Шустов.— Семена кто отдаст? Сам посуди. Говорят, на хранение. А мало ль голодных ртов в России. Гребанут да сплавят куда-нито. Что тогда? Голод... Ты нам пособи, отец Флегонт, посоветуй, как быть. К слову твоему прислушиваются...

— Как бы до рукопашной не дошло на сходе-то,— вымолвил Евдоким Зоркальцев.— Эх, был бы Онуфрий...

— На мирском сходе выступать мне не позволяет сан,— помолчав, сказал Флегонт.— На вечерне обращусь к прихожанам, постараюсь, елико возможно, успокоить... С Горячевым обязательно повидаюсь. Думаю, не откажет в любезности встретиться со мной. Может, и к лучшему, что приехал именно он. В любом случае надо сохранять спокойствие. Не забывайте о сгоревших продотрядовцах, о покушении на Чижикова, о сбежавшем Маркеле с сыном. Все сие власти отменно помнят и при случае... Сами понимаете. Женщин приструните, особенно Маремьяну, ты бы Прохор...

— Она в Северске, сестрин дом стережет,— сказал Прохор.

При этих словах мужики почему-то попрятали глаза друг от друга. Прохор заметил это и вспыхнул жарким румянцем.

— Ну а ежели, как Кориков сказал, зачнут под метлу семена выгребать, тогда что? — спросил Евдоким Зоркальцев.

— Поменьше слушайте Корикова,— не утерпела, вступила в разговор Ярославна.— С чего вы взяли, будто станут силой да под метлу? В приказе губпродкомиссара прямо сказано: «При участии самих крестьян». Значит, ваше слово что-нибудь да значит. А на провокационные слухи нечего клевать...

Она разгорячилась, встала, посыпала огненной скороговоркой:

— ...Главное — не поддаться панике, сдержаться и крестьян удержать от беспорядков. На это больше всего рассчитывают враги. Кориков и Горячев — это еще не Советская власть, может, даже наоборот...— Запнулась, спохватясь, что сказала лишнее, потупилась, но тут же снова вскинула глаза.— Кориков пришел и ушел, а власть

Советская одна, ее ничем не заменишь.— Резким движением головы перекинула косу за спину.— Скоро съезд большевиков. На нем Ленин о крестьянских делах будет докладывать. Ленин все знает, и будьте уверены, крестьянина в обиду не даст, без семян и без хлеба не оставит. Ему верьте, за него держитесь!..

3

Бывало, сход нелегко было собрать, приходилось не по разу зазывать крестьян. Но сегодня валили в Народный дом, как в церковь на пасху — целыми семьями, задолго до назначенного часа. На скамьях усаживались впритирку и все-таки не уместились. Устраивались на подоконниках, мостились на полу, подпирали стены. От табачного дыму жалобно мигали лампы, кашляли бабы. Все напряглись, сжались. Молча кивком головы здоровались, молча устраивались, молча сворачивали цигарки, лишь изредка кто-нибудь вполголоса кинет короткую фразу — и снова язык на замок. Один Ромка Кузнечик хорохорился, громоголосил, но на его острые словечки откликались вяло и неохотно. У дверей и окон маячили немые фигуры в дубленках с винтовками. На краю сцены сидел Коротышка, болтал в воздухе короткими ногами, курил, исподлобья оглядывал лица мужиков. Иногда, забывшись, Коротышка начинал напевать вполголоса: «Тра-ля-лля-ля, тра-ля-лля-ля», но на это траляляканье не обращал внимания никто, кроме нового бойца продотряда Тимофея Сатюкова.

На сцену вышли Горячев с Кориковым и начальником волостной милиции Емельяновым. К ним тотчас присоединился и Коротышка. Тесно облепили небольшой стол под красной суконной скатертью. Зал многоголосо вздохнул и вмиг затих, будто вымер.

Степенно поднялся Кориков, ласково лизнул ладошкой клинышек бородки, внушительно проговорил:

— Товарищи крестьяне! Позвольте начать волостной сход трудящихся крестьян Челноковской волости. В порядке дня один вопрос — о семенной разверстке. Слово имеет чрезвычайный уполномоченный и член коллегии губпродкома товарищ Горячев.

Горячев встал. Повел по залу лихорадочным взглядом. Заговорил негромко и намного мягче обычного:

— Через час-полтора начнется такой же сход в Сыто-

минской волости, где я должен быть неп-ре-менно! Потому буду краток. Изложу только суть. Все остальное — в руках начальника продотряда особого назначения товарища Карпова...

Изумленный Коротышка слегка отшатнулся и даже рот приоткрыл. Вот уж чего он не ожидал. Думал вместе с Горячевым будут ярить челноковцев, а тут... «Ловок, гад!» В глазах Коротышки плеснулась злоба. Но ни этого взгляда, ни мгновенной растерянности начальника продотряда никто из крестьян не заметил. Зато все заметили, как браво поворотился Коротышка к Горячеву и, пристукнув каблуками, четко выговорил:

— Не беспокойтесь, товарищ чрезвычайный уполномоченный! Все будет сделано согласно инструкции губпродкома.

А в зрачках Коротышки Горячеву отчетливо виделось: «Сволочь. Опять чужими руками... И это припомним...» Резко отвернувшись от помощника, Вениамин пошарил глазами по залу и снова заговорил:

— Северская губерния первой в Сибири выполнила план продразверстки. Пол-но-стью. И дос-рочно! За то товарищ Ленин объявил северским крестьянам благодарность, отметил их классовую сознательность.— Ухмылка изогнула ниточку губ.— Вы заслужили покойный мирный труд. Отдыхайте, готовьтесь к весне, говорит вам Советская власть.

В зале облегченно зашевелились.

— Только не всем по нутру такое положение,— тем же вроде бы сочувствующим голосом продолжал Горячев.— В губпродком от сельских коммунистов и от волисполкомов поступают сигналы, что некоторые крестьяне стали травить скоту, перегонять на самогон семенное зерно...

В зале будто бомба разорвалась. Загремели голоса, затопали, задвигали стульями.

— Брехня! — крикнул кто-то.

— Тихо! — возвысил голос Горячев.— О таких фактах сообщают партийцы и из вашей зна-ме-нитой Челноковской волости...

И под все возрастающий гул назвал несколько фамилий крестьян из соседних с Челноково деревень. Тут голос его почти потонул в шуме и выкриках.

— Товарищи крестьяне!

Вскинув руку, Вениамин призывно помахал ею, и ког-

да водворилась относительная тишина, продолжал горячо и громко:

— Перед лицом таких фактов губисполком принял решение о семенной разверстке. Что такое разверстка, вы знаете. Семена для сдачи будут исчисляться в зависимости от посевных площадей двадцатого года плюс двадцать процентов страховой фонд. Знаю, каково вам слышать это. И мне не велика радость такое говорить. Но раз верховный орган губернии — губисполком решил, наше дело — выполнять приказ... Мы не себе брали ваш хлеб в разверстку и не по своей воле. Так что не копите зло на продотрядчиков — они лишь исполнители... Через пятидневку мы должны доложить товарищу Ленину, что семенная разверстка выполнена. Вы — трезвый, рассудительный народ. Понимаете, что к чему, и не будете играть с огнем. Теперь мне пора в Сытомино. Детали объяснит Карпов.

Сопровождаемый гулом голосов, Горячев спустился со сцены и стал протискиваться к двери. «Каков «идейный вождь»... А мы марайся, стреляй, трави. Садануть бы ему в затылок!..» И такая лютая ярость заклокотала в душе Коротышки, и так велико было желание сейчас же, немедленно сорвать ее на ком-то, что он выскочил из-за стола, вскинул кулак и, едва смолк гул, командно звенящим голосом отчеканил:

— Митинг закончен. Пускай попы да ораторы балаболят. Наше дело солдатское: приказано — сделано. Ясно? Напомню только — всякое неповиновение продработникам будет рассматриваться как контрреволюция. У саботажников изымем весь хлеб, и продовольственный и фуражный, а самих — в рев-три-бу-нал! Ясно?..

— Не совсем! — выстрелом докатилось из темной глуби переполненного зала.

— Кому и что неясно? — побагровел Коротышка.

— Мне!

Поднялся чернобородый Евтифей Пахотин, заместитель Онуфрия, оставшийся после его исключения во главе волпартячейки. Покрутил головой, будто ослабляя стянувшую горло удавку, и зычно, с открытым вызовом загремел на весь зал:

— И не только мне! Перво-наперво надо сообщить, за кем сколько семян числите. Опосля комиссию из крестьян изделать, чтоб в ее присутствии и семена брать и в общественный амбар класть. Семена — жизнь, а с ей

не шутят. Неуж мужик — баран, не понимает, отчего кошка мяучит? Кто ж себе враг? Предлагаю затвердить список сторожей: Евдоким и Роман Зоркальцевы, Константин Леша...

— Ма-а-алчать! — яростно выкрикнул Коротышка и грохнул по столешнице сразу обоими кулаками.— Запел кулацкий выродок, забаламутил...

— Сам ты выродок. Я отродясь в кулаках не хаживал, своей хребтиной себя кормлю. И в партии у большевиков с девятнадцатого года. Так что хайло не разевай. На испуг не возьмешь...

— Крысиков! Арестовать его!

Высокий, плосколицый с водянистыми пустыми глазами Крысиков сорвался с места и с двумя продотрядчиками стал ввинчиваться в густую, непробойную, орущую толпу. Мужики вскочили, заступили Крысикову путь. Кто-то так сунул ему под ложечку, что у Крысикова побелели глаза. Он рванул из кобуры револьвер. Чьи-то железные пальцы перехватили руку, стиснули — и револьвер выпал.

— Что вы наделали? — гневной скороговоркой кричал Кориков в лицо Коротышке.— Немедленно воротите этого дурака, отмените приказ об аресте. Иначе из нас вместе с вашим отрядом потроха вышибут...

— Заткнись, миротворец! — рявкнул Коротышка и, выхватив наган, выстрелил в потолок.

Толпа на миг стихла. Коротышка выстрелил еще раз.

— Вы что? Сбесились! Под пули дурацкую башку подставляете? Хотите, чтоб всю деревню орудийным огнем снесли? А ну по местам! Живо! Садитесь, говорю вам. Вот так! А ты выйди, чернобородый, покажись, каков храбрец! Из-под лавки все ловки гавкать...

— Я не гавкаю! Не собачьей породы! Сызмальства мать с отцом человечьей речи обучили.— Пахотин медленно продирался сквозь толпу. Вышел, остановился у самой сцены и, глядя прямо в глаза Коротышке: — Неладно начинаешь, товарищ начальник продотряда. Всех не заарестуешь и в трибунал не отправишь. Лучше послушай, что я тебе скажу. Обойди завтра все дворы, перевесь семенное зерно у каждого и в списочек занеси. Опосля в мешки его да не все в одну кучу, семена-то неодинаковы. Каждый пущай свой мешок метит и везет в общий амбар. Ты расписочку дашь с печатью да с обязательством к севу семена те возвернуть. И сторожей к ссыпке, как я сказы-

вал ране, да таких, чтоб верил им народ, чтоб знал — скорей головой поплатятся, но ни одно зернышко не пропадет. С тем и возвращайся в губернию либо поезжай туда, где семена на самогон пускают, там пали со своего пугача. Дело я говорю, мужики?

— Верна-а-а!

— Ладна-а-а!

— Давно бы так!

«Ах, гады. Сиволапое мужичье. Большевичок идейный. Вздернуть бы тебя сейчас...» Коротышка вскинул над головой до мелкой дрожи стиснутый кулак:

— Хватит митинговать! Не будет по-твоему, бородатый провокатор! Ишь, умник. Вас созвали не советоваться, а приказывать! Ясно? Так вот мой приказ. Никаких обмеров. Никаких расписок. Никаких гарантий. Никаких ваших сторожей! Завтра к вечеру семена сдать! К тем, кто не сдал, послезавтра придем во двор и выгребем из амбаров все под метлу. Не вздумайте стать поперек. Реквизируем весь хлеб и скот... сошлем... посадим... зам...

Губы его побелели и уже не выговаривали слов, а что-то бессвязное лопотали, на них запузырилась слюна. Коротышка задохнулся от ярости. И в этот миг мертвую тишину располосовал негромкий вроде бы голос Пахотина:

— Ваше благородие, господин Карпов, очнись! Колчак сдох, и твои каратели на том свете.— Повернулся к залу, зычно гаркнул: — Мужики! Айда по домам! Пущай на других глотку дерет эта офицерская сволочь!

С обвальным грохотом люди вскочили с мест и, что-то угрожающе крича, ринулись к выходу. Коротышка понял: нет силы, способной сдержать этот поток. Он скрипел зубами и тискал в кармане рукоятку нагана.

Глава пятнадцатая

1

Нелегкую жизнь прожил чекист Тимофей Сазонович Сатюков. Шесть лет воевал, изведал немецкого плена, побывал в белогвардейской контрразведке, не однажды заглянул в глаза смерти. Казалось, нет уже в жизни ничего такого, что могло бы поразить, заставить удивиться. И вдруг...

Он сидел на корточках подле самой сцены и отчетливо слышал, как Коротышка, по-ребячьи побалтывая короткими ногами и покуривая, напевал: «Тра-ля-лля-ля, тра-ля-лля-ля». Едва заслышав это траляляканье, Тимофей Сазонович обмер и долго не мог перевести дух. Это была та самая песенка без слов, которую при допросах напевал колчаковский палач, начальник дивизионной контрразведки Мишель Доливо.

Значит, Карпов и Доливо — одно и то же?! От этой мысли Тимофей Сазонович холодел. И тут же начинало казаться, что Карпов не Доливо и песенка вовсе не та. Но Тимофей Сазонович мысленно приклеивал к подбородку Карпова маленькую бородку, клеил на верхнюю губу короткие подковообразные усы, вешал на утиный нос золотое пенсне и все больше убеждался, что перед ним Мишель Доливо. А уж мелодию песенки Тимофей Сазонович ни при каких обстоятельствах не мог спутать ни с какой другой.

Речь Горячева насторожила Тимофея Сазоновича. «Чего это он все за Советскую власть, за Ленина норовит схорониться». А когда Карпов схватился с Пахотиным, старый чекист, не веря своим ушам, порой начинал тихонько пощипывать себя за руку. Когда же Пахотин крикнул мужикам: «Айда домой! Пущай на других глотку дерет эта офицерская сволочь!», Тимофей Сазонович едва не вскочил и не кинулся арестовывать начальника продотряда особого назначения. И как ликовал Сатюков, глядя на мужицкую лавину, которая, разметав по сторонам растерянных продотрядовцев, хлестала ревущим потоком в настежь распахнутую, трещащую под ее напором дверь Народного дома.

Когда просторный зал опустел, продотрядовцы сгрудились вокруг Карпова.

— Товарищ Крысиков! — прозвенел металлом злой голос Коротышки.

Крысиков кинул руки по швам, прищелкнул каблуками сапог.

— Расквартируйте бойцов в домах э... э...

— Зырянова, Зоркальцева, Лешакова и Карасулина,— вставил Кориков.

— На полный хозяйский рацион,— продолжал командовать Коротышка.— Отберите двух бойцов — и через час ко мне. Я буду в кабинете Корикова.

Пока расставляли бойцов на постой, Тимофей Сазоно-

вич все время крутился перед глазами Крысикова, всячески выказывая свою расторопность и услужливость, и в конце концов добился-таки, что тот оставил его при себе. Третьим оказался татарин Кабир Сулимов — сухой и юркий, с белозубой улыбкой.

По пути к волисполкому Крысиков пояснил:

— Мы оперативная тройка для особых поручений. Без команды от меня ни на шаг. Без моего приказа ни с места.

— Р-р... стрр...— проурчал Тимофей Сазонович, хотя этот человек вызывал у него острую неприязнь.

Крысиков был саженного роста, но какой-то вялый и глуповато-флегматичный. В нем чувствовалась огромная физическая сила и туповатость.

Коротышка начальственно восседал за столом в кабинете Корикова.

— Пахотина арестовать. Бесшумно и немедленно,— приказал он.

За Пахотиным отправились все трое, прихватив с собой волисполкомовского сторожа. Он и постучал в дверь пахотинского дома и на вопрос Евтифея: «Кого несет?» — ответил смиренно: «Не узнаешь, что ль? Кориков тебя кличет, чтобы, говорит, сей момент был».— «Не помрет твой Кориков до завтра»,— сердито отозвался Пахотин. «Да ты ково это разуросился, Евтифей? — подпустил в голос строгости сторож.— Тебя Советская власть вытребовает, а ты ей кукиш кажешь?»

Они подстерегли Пахотина в полусотне шагов от родного дома.

— Ты арестован,— просипел Крысиков, заступая Пахотину дорогу и хватая его за рукав полушубка.

— Не лапай,— огрызнулся Евтифей, вырываясь.

Крысиков, не размахиваясь, молча сунул кулак под ложечку Пахотину, и тот, словно надломившись, брыкнулся в снег. Сграбастав упавшего за воротник, Крысиков легко поднял его, поставил на ноги, пообещал:

— Ишо раз бзыкнешь, селезенку отшибу.

— Ты за это ответишь...

— Значит, мало? — промурлыкал Крысиков и снизу, ровно крюком, поддел Пахотина кулаком под скулу. Евтифей распластался на земле.

— Сволочь,— выругался он, поднимаясь.

И тут же пятипалая крысиковская кувалда опустилась на Евтифеев загривок с такой силой, что у Пахотина за-

трещал хребет. Евтифей качнулся, но устоял и благоразумно смолчал.

— Так-то,— самодовольно уркнул Крысиков.

У Сатюкова сжимались кулаки. «Чего же это творится? Коммунист ведь Пахотин, середняк. С кем воюем? Этот Крысиков, похоже, только тем и занимался, что мужиков калечил...»

Коротышка встретил их на пороге волисполкома. Глянув на Пахотина, понимающе улыбнулся.

— В подвал. Ключи себе. Никакой милиции. Ночевать в дежурке,— выпалил пулеметной очередью и скрылся в дверях волисполкома: видно, был сильно взволнован или куда-то спешил...

2

Действительно Коротышка был очень взволнован и спешил. Несколько минут назад его отозвал в сторону начальник волостной милиции Емельянов.

— Я к тебе с просьбой, товарищ Карпов.

— Слушаю,— Коротышка привычно прищелкнул каблуками.

— Ты, бают, бывший разведчик, чекист.

— Так точно. Чем могу служить?

— Тут наш милиционер нашарил берлогу Боровикова. Белый каратель и первейший враг Советской власти. Мы за ним боле месяца охотились. Теперь надо зверя имать, а у меня два милиционера и те...

— Все ясно, товарищ Емельянов. Беру это на себя. Давай в помощь твоего Шерлока Холмса и считай, что бандит в твоих руках.

— Вот спасибо. Ну, спасибо. Выручил, брат,— возликовал Емельянов.— Я ведь, понимаешь, всю жизнь плотничал...

— Не беспокойся. Где твой следопыт?

Емельянов знаком подозвал стоявшего поодаль молоденького парнишку в милицейской форме и, когда тот подошел, представил:

— Гриша Воронов. Комсомолец. В милиции второй год.

— Где засек? — деловито спросил Коротышка.

— Ни в жизнь не угадаете! — Гриша понизил голос.— В малухе, на кориковском дворе. Увидел — глазам своим не поверил...

— Как ты выследил его?

— Я как узнал, что Боровиков объявился у нас, клятву дал — не успокоюсь, пока энту змеюгу не сыщу. Батя мой у него в Яровске на бойне работал. Повздорили из-за чего-то, а Боровиков — тут же в контрразведку: арестуйте, большевикам сочувствует. Ну и расстреляли... Целые ночи я по селу каруселил, ни одна мышь мимо не проскочила...

— Ну и дальше?

— Дымок из малухи пошел. Зашел с огороду, а он выполз по нужде.

— Молодец! — Коротышка тиснул Гришину руку. — Буду ходатайствовать о награждении тебя именным оружием. Кто-нибудь еще знает об этом? Отлично. Никому ни гу-гу. В два часа ночи встретимся здесь. Только помни, никому...

— Могила,— заверил Гриша.

— Тесен мир. Тесен,— бормотал Коротышка, глядя на дверь, за которой скрылся милиционер.— Везуч Фаддей Маркович. Живуч, боров...

Они встретились, как условились — ровно в два у волисполкомовских ступенек.

— Теперь слушай меня,— вполголоса заговорил Коротышка, пригнувшись к Гришиному лицу.— Наган в карман полушубка и не выпускай рукоятки. Ни о чем не спрашивай. Делай, что скажу. Придется стрелять — бей в ноги. Нужен живой. Я уже отправил сообщение в губчека. Сам и повезешь Боровикова в Северск. А мы тут с Кориковым разберемся — проверим, что за птица. Тронулись. С богом...

По тропе, вытоптанной вдоль изб, они неспешно шли гуськом, стараясь ступать так, чтобы снег не скрипел под ногами.

В белесом небе слабо мерцали белые звезды. Луна кропила землю белым светом. Снег посверкивал свежей чебачьей чешуей. Покряхтывали от холода опушенные куржаком громадные тополя. Тихо вокруг. Петухи давно оттрубили полночь. Намерзлись за день дворовые псы и теперь спали в закутках, вполуха слушая морозную тишину.

— Зайдем с тылу,— вполголоса скомандовал Коротышка и, кинув руки на жердь, легко перемахнул изгородь.

Они брели по колено в слежавшемся, обдутом ветрами

снегу. Через каждые три шага Коротышка замирал, как гончая на стойке.

Вот и угол малухи. Остановились, перевели дух.

— Сними-ка шапку, Гриша,— еле слышно сказал Коротышка.

Парень не задумываясь стащил с головы мохнатую шапку, и тут же в самое темя клюнула его рукоятка нагана. Гриша рухнул на снег. Коротышка склонился над поверженным, ударил еще раз в височную ямочку так, что хрустнул череп. Распрямился, стер пот со лба. Крадучись прошел к двери. Тихонько царапнул по доске и сразу услышал шорох в малухе. Стукнул дважды.

— Кто? — испуганный, хриплый голос.

— Отвори, Фаддей Маркович. Свои.

— Кто там?

— Доливо. Мишель. Не узнаешь?

— Ты?! Откуда?

— С того свету. Отворяй живей.

Они долго тискали друг друга в объятиях. Расцеловались. Фаддей Маркович даже слезу обронил.

— Выдь, погляди, какого голубя перехватил я по пути к тебе,— сказал Коротышка.

— Окостыжел, гад,— Фаддей Маркович пнул носком валенка разбитую голову Гриши Воронова.— Ну, спасибо, Мишель. Век не забуду.

— Свои люди — сочтемся. Надо куда-то припрятать этого. Тебе придется исчезнуть. Ненадолго. Еще день-два — и ахнет. Я прихватил для тебя удостоверение. Дам несколько адресов. Нужно подстегнуть, чтоб полыхнуло более-менее одновременно...

Чуть свет Коротышку разбудил начальник милиции Емельянов.

— В чем дело? — недовольно скривил мясистые губы Коротышка.

— Ты цел? — недоверчиво спросил Емельянов.

— Ты что, перепил?

— Где Воронов?

— Вместе с двумя нашими бойцами повез Боровикова в губчека. Теперь твой Воронов вознесся. И тебе, как начальнику, перепадет кусочек славы.

— Да брось ты...— засмущался Емельянов.— Как вы его?

— Без осечки. Только об этом пока надо помолчать. Даже в уезд не следует докладывать. Сейчас такое время...

— Ясно, товарищ Карпов.

— И вот еще что... Как по-твоему, знал Кориков о том, кто прячется на его подворье?

— Сам над тем же голову ломаю. Ведь председатель волисполкома...

— Вот-вот. Теперь гляди да поглядывай. Я доложил губчека свое мнение. Думаю, скоро Кориков последует туда же, только под конвоем. Но пока — ша! Ни звука.

— Ясно.

Глава шестнадцатая

1

Челноково ходило ходуном. На головы ошалелых мужиков, торопливо свозивших семена в ссыпку, градом сыпались слухи, один страшней другого.

Евтифея Пахотина ночью пороли плетьми, всяко измывались. Анна евонная сунулась к начальнику отряда, тот чуть не спасильничал бабу, еле отбилась...

Евдоким Полторы Руки не дал свинью на прокорм продотряду. До полусмерти избили мужика. Ромка кинулся на выручку — измолотили прикладами...

Фешку Оловянникову заманили в баню, раздели догола, озоровали и охальничали над ей...

Поначалу Флегонт отнесся к этим слухам с недоверием, но когда они подтвердились, поп ринулся в волисполком к начальнику продотряда.

За окном еще не сгустились сумерки, а в кабинете Корикова горели три лампы-молнии. Коротышка играл в шахматы с Кориковым. Крысиков наблюдал за игрой. Увидев Флегонта, Коротышка, не поднимаясь с места, иронически протянул:

— А-а, святой отец... Чем могу служить?

Флегонт снял шапку, расстегнул шубу, но не сел.

— Только крайняя нужда заставила меня переступить сей порог. Опомнитесь! Остановитесь! Ужель не зрите бездну, над коей занесли ногу?

— Мудрено глаголете. Не уразумею, о чем речь,— усмехнулся Коротышка.

— Немедленно прекратите издеваться над крестьянами, накажите виновных в бесчинствах, иначе я сам, сейчас же поеду в губернию и расскажу обо всем властям. Полагаю, мне в данном случае поверят больше, нежели целой крестьянской делегации.

— Ха-ха-ха! — громко засмеялся Коротышка. Вскочил и, подбежав вплотную к Флегонту, закричал ему в лицо: — Моли бога своего, что я в хорошем расположении духа. И не суй нос куда не просят. Он поедет в губернию!.. Ах, какие страсти. Поезжай! Я думаю, чека небезынтересно будет узнать, как по твоему наущенью Катерина Пряхина сожгла продовольственный отряд, а сама с твоей помощью укрылась от возмездия. А разве не на твоем подворье целый месяц укрывался белогвардейский холуй Боровиков? Алексей Евгеньевич, вы сможете это подтвердить?

— Да-с,— склонил голову Кориков.

— А кто в день нашего приезда собрал у себя мужиков и подстрекал их к непослушанию и сопротивлению властям? Кто подучил Пахотина взбаламутить сход? Кто уговаривал меня сорвать приказ губпродкома о семенной разверстке? Под святой рясой вы...

— Не надо больше,— неожиданно тихо и как будто спокойно пробасил Флегонт.— Для лжепророков нет святого. Наветов и угроз ваших не страшусь. Господь не покинет меня...

— Где же ваше непротивление злу? — медвяно улыбнувшись, запел Кориков.— Где евангельское всепрощение и кротость, кои вы проповедуете с амвона? Христос какие муки терпел, а в губчека не жаловался...

— Гы-гы-гы! — сыто и нагло заржал Коротышка.

— Ха-ха-ха,— захохотал Крысиков.

— Хо-хо-хо! — тоненько и тихо вторил им Кориков, прикрывая рот ладошкой.

Медленно, пуговка по пуговке, Флегонт застегнул шубу, повертел на голове, будто примеривая, круглую меховую шапку, молча повернулся к выходу. Хохот за спиной разом оборвался. В наступившей тишине выстрелом прогремел хрипловатый от бешенства голос Коротышки:

— Значит, в губчека?

— Да,— глухо откликнулся Флегонт.

— Сунуть под нос дуло — не дакнет,— буркнул Крысиков.

— Свой на своего? — ехидно прошелестел Кориков.— По совести ли сие?

— Да! — громыхнул полным голосом Флегонт и с такой силой толкнул высокую тяжелую дверь, что только что подошедший к ней с той стороны Тимофей Сазонович не успел увернуться и от удара в плечо отлетел на добрую сажень, растянувшись на полу. Флегонт прошел мимо, не заметив его.

— Сатюков! — донесся голос Коротышки.

— Здесь! — браво откликнулся Тимофей Сазонович и, приоткрыв дверь, просунул голову в кабинет. Коротышка сделал знак, чтоб Сатюков остался в приемной, и сам вышел к нему.

— Быстренько перекуси и сюда. Повезешь Пахотина в Яровск. Ненадежный и коварный субъект. Обязательно попытается удрать. Тут уж, хочешь не хочешь... Так что, если не довезешь до места — не беда. Туда ему и дорога. Ясно?

— Так точно.

— Тогда действуй. Назад его можешь не тащить. Присыпь снежком — и хорош. Теперь столько волков — живо panюхают. Уловил?

— Слушаюсь. Разрешите идти?

— Давай.

Тимофей Сазонович бравым строевым шагом протопал по коридору, а выйдя на крыльцо, вдруг обмяк, бессильно привалился спиной к резному столбику и принялся слепо ощупывать карманы, отыскивая кисет.

2

Флегонт опомнился только на церковном дворе.

Взойдя на паперть, пал на колени и, не чувствуя леденящего холода промерзших каменных плит, долго и одержимо молился, укрощая, усмиряя себя. Обида словно бы потускнела, и, облегченно вздохнув, Флегонт поднялся на онемевшие ноги, но в уши вдруг ударил жеребячий гогот Карпова. Возникло перед глазами выбеленное ненавистью лицо Крысикова: «Сунуть под нос дуло — не дакнет». И снова закипело в груди. «Господи, как же быть? Вразуми, наставь на путь...»

Так боролись между собой священник и мужик.

Долго и упорно.

Мужик победил.

— Матери я не сказал, только тебе.— Флегонт полуобнял Владислава за узкие плечи.— Сейчас еду в Северск. Путь неблизкий, ночь и...

— О чем ты, папа? — голос Владислава дрогнул.

Флегонт прижал сына к себе, глухо произнес:

— Ты — мужик... Старший. Не приведи бог, стрясется что со мной... на твои плечи и семья, и хозяйство. Береги мать...

— Я не пущу тебя! Сейчас позову маму...

— Успокойся! И не вздумай хоть намеком потревожить ее. Видишь, что на селе делается? Хочу пресечь сию богопреступную мерзость. Уразумел?

— Да, папа.

— До свиданья, сынок.

— В добрый путь. С богом...

Рысак азартно фыркнул и с места взял крупной резвой рысью. Флегонт уселся в кошеве поудобнее, подоткнул под зад полы тулупа, зарыл ноги в сено, поднял высокий воротник. Слегка ослабил вожжи, сдерживая жеребца, и тот пошел отмахивать красивой ровной иноходью.

Промелькнули шеренги темных придавленных бедою изб, остался позади жердевой заплот околицы, и в обе стороны от дороги раскинулась заснеженная равнина. Здесь были челноковские поля. Где-то дремал под снегом и Флегонтов надел. Ах, дожить бы до весны, еще раз пройти с плугом по дымящейся парной пашне, послушать поднебесную песнь жаворонка, поваляться в пахучей мягкой траве на благостном солнцепеке, каждой клеточкой ощутить свою неразрывную связь с гигантским мирозданьем, в коем ты хоть и малая, но неотъемлемая частица... Ни с чем несравненно счастье — жить! Дышать. Двигаться. Видеть. Слышать. Чувствовать! Каждый час жизни — неповторимо прекрасен. Каждый вздох — радость. Коснулся тебя горячий, животворный солнечный луч — радуйся. Опахнул тебя ветер, холодный ли, теплый ли,— радуйся. Окропил разгоряченное тело твое небесный дождь — ликуй. Всякой твари, летящей, ползущей, бегущей вокруг тебя,— радуйся. Зеленой травинке, легшей под ногу твою, листочку березы, бросившему тень на тебя, боровику красноголовому, вставшему на тропе твоей,—

всему живому, что окружает тебя,— радуйся. Благослови день и час твоего появления на земле.

Дорога круто пошла под уклон. Вышколенная лошадь, приседая на задние ноги, скользила копытами по твердому насту и, только спустившись с горы, снова взяла рысью. Под полутораметровой ледовой толщей лениво катила стынущие воды невидимая и неслышимая река, которая приютила подле себя многие сотни деревень, сел и городов. С ранней весны до самого ледостава плывут и плывут по ней вереницы плотов, караваны барж, суда и суденышки. Правый берег — крутой, густо порос лесом. Вдоль него — знает Флегонт — глубокие черные омута, всегда полные рыбой. Отменно хорошо в ночную пору пробежаться с наметкой. Тихо над рекой. Пахнет водой, рыбьей чешуей, смолой. Могучие руки Флегонта неслышно кладут на темную воду прикрепленную к пятиметровому шесту наметку. Рядом стоит Владислав с кошелем на боку и вслушивается, не плеснет ли в мотне. Как оба волнуются они, когда в наметке ворохнется вдруг щука и начнет молотить хвостом, того гляди, разнесет мережу в клочья. В эти мгновения Флегонт забывает обо всем. Крепко прижмет шест ко дну, пятится рысцой, выволакивая наметку на берег, подальше от воды. Ловко перевернет мотней вниз и с каким-нибудь азартным, веселым присловьем выкинет к ногам сына извивающуюся, разевающую зубастую пасть речную хищницу. Постоят подле нее, полюбуются ее упругими, метровыми скачками — и дальше... Он уходил с наметкой затемно, возвращался на свету. То ли блаженство с росы, с туманного утреннего холодку нырнуть под нагретое Ксюшей одеяло. Та что-то сонно пробормочет, прильнет к нему жарким телом, и сразу кровь загудит, забьет набатом в висках. Ох, сладка любовь на зорьке, на рассветном коровьем реву. Спится после этого... Не слышишь, как уйдет Ксюша проводить корову в стадо, как вернется и ляжет подле, дозоревать. Дивно хороша жизнь! Сколько радости в ней. Только не уставай радоваться, умей наслаждаться. Жалки пресытившиеся жизнью. Убоги равнодушные...

Вдали затемнел лес. Все ближе подступал он к дороге. На много верст в любом направлении Флегонт знает в нем каждое поваленное дерево, каждый ручей, каждую болотину. Знает, какая тропа, куда и откуда ведет. Где властвуют вальяжные лесные баре — белые грибы, где хороводятся мясистые ядреные грузди или красноздые

рыжики, где можно вдосталь полакомиться и полный туес набрать пахучей сладкой малины, либо терпкой сочной брусники, иль вяжущей рот пряной черемухи — все знает Флегонт... Лес — лучшее украшение земли, ее самый пышный и дорогой наряд. Лес — щедр и добр ко всему живому, будь то зверь, насекомое или человек. Иди смело в любую глушь. Не бойся не ведающих солнца буераков, густых, непролазных ельников, по пояс заросших травой березняков — лес не тронет тебя...

Припотел жеребец, но бежал по-прежнему ходко, размашисто. А Флегонт думал и думал. Легко скользили его мысли.

— Стой!

Поперек дороги всадник с винтовкой за плечами. Словно из-под земли вынырнул. Флегонт опустил вожжи, скомандовал «тпру», и жеребец остановился.

— В чем дело? — спросил спокойно, а сердце тоскливо сжалось, и противный змеиный холодок заскользил между лопаток.

— Поворачивай назад!

Всадник подъехал к саням, и Флегонт узнал Коротышку. Предчувствие не обмануло.

— Чего стоишь? Живо! И моли бога за меня. Послал бы Крысикова — давно бы ты лежал с продырявленной башкой. Дома скажешься больным. И пока наш отряд в Челноково, чтоб духу твоего за воротами не было. Разнесем к разэдакой матери твое святое гнездо вместе с попадьей и поповыми дочками... Поворачивай! Да жми рысью, продрог, пока тебя дождался...

Флегонт молча развернул жеребца. Коротышка скакал рядом с санями.

«Ничего страшного,— пробовал успокоить себя Флегонт.— Вернусь домой, побуду под негласным арестом. Такова, видно, божья воля. Плетью обуха не перешибешь». И разные иные успокоительные мысли выжимал из себя, а сердце все сильнее стискивало предчувствие неотвратимой беды.

— Выходит, я арестован? Но по-моему...

— Не знаю, что по-твоему. По мне бы куда спокойней, если б ты находился у господа в раю.

— Чем я вам не угодил?

— Спрашиваешь у мертвого здоровье. Или не понимаешь, на чью мельницу воду льешь? Может, разъяснить?

— Сделайте милость,— смиренно произнес Флегонт.

— Ты — самый опасный человек: не поймешь, какому богу служишь...

— Бог один.

— Теперь все в мире раскололось на две половинки — красную и белую. И бога два. Ты хочешь между двух огней — и чтобы крылышки не подпалило и лапки не припекло? Не выйдет!

— Мы не поймем друг друга. Есть такие понятия, как «вера», «убеждения», «долг».

— Намекаешь?

— Нет. Думаю...

— Думал барсук — попал на сук. Как бы и ты...

— Перестаньте грозить, я не ребенок. С вами трудно разговаривать.

— Я тебя за язык не тяну.

— Вы коммунист? — неожиданно спросил Флегонт.

— Разве рогов не видишь? Гы-гы-гы!

Коротышка замурлыкал любимый мотивчик, а в голове, сменяя одна другую, возникали неотразимо притягательные картины расправы над попом. Нет, он не станет его просто расстреливать. Сначала заставит поползать на брюхе, отречься от своего бога, проклясть его, а уж потом... Свела бы их судьба полтора года назад, он вытряс бы из этого бугая душу по долькам. «Вера», «убеждения»... Коротышка люто ненавидел всех во что-то верящих, чему-то свято поклоняющихся. Да и не верил им. Вон идейный Горячев корчится, как карась на сковородке, лишь бы башку собственную уберечь, чужими руками жар загребать. Как он опять увильнул! И перед Советами чистенький, и перед мужиком добренький... Отца родного заложит, лишь бы в вожди угадать... Сам Коротышка давно не имел за душой ни убеждений, ни принципов. В прошлом, по которому он скорбел и возврата которого так жаждал, его привлекало только одно — безнаказанность. Он не страшась, не таясь, мог насиловать, грабить, убивать, мог распоряжаться чужими судьбами, чужими жизнями, чужим телом. Сознание неограниченной власти над другим человеком было для него источником неизъяснимого наслаждения... Еще полчаса назад Коротышка и не думал расправляться с Флегонтом, хотел лишь припугнуть его и препроводить в Челноково. Но гордый нрав Флегонта, достоинство, с которым он держался, распалили Коротышку, а мысли о Горячеве окончательно вывели из себя, и он

воспылал желанием во что бы то ни стало сломить настырного попа, подмять его, втоптать в грязь...

Не успел Флегонт проехать и полуверсты, как сзади послышался крик:

— Не гони! Успеешь на свои поминки!

— Напрасно стараетесь. Я смерти не боюсь.

— Врешь. Никто не хочет подыхать. Даже попы. Гы-гы-гы...

— Любопытно, кем вы были прежде.

— Могу сказать. Мертвые умеют хранить тайну. Был офицером. Не каким-нибудь, «ать-два — левой». Нет. Начальник дивизионной контрразведки. Пра-шу любить и жаловать. Моя профессия — пытать, вешать, расстреливать. Что? Защекотало между лопаток? Гы-гы-гы! С сегодняшнего дня приступлю к прямым обязанностям. Начну с тебя. По тебе плакала петля еще в девятнадцатом. Теперь за старое, за новое и за сто лет наперед сочтемся. Чего развесил уши? Мать-перемать, сука длинногривая...

— Закрой поганый зев! — рыкнул в полную мощь Флегонт. Конь под Коротышкой испуганно скакнул, едва не скинув седока.— Можешь меня расстрелять, но лаять на себя не позволю!

Коротышка сорвал с плеча винтовку, лязгнул затвором.

— Не позволишь? Распротак-разэдак, в бога, в душу, в печенки-селезенки... Стой!

Флегонт остановил коня.

— Вылезай!

Спрыгнул на дорогу Коротышка, икнул, матюгнулся замысловато и спокойным, мягким голосом:

— Прошу вас, товарищ, раздевайтесь. Тулупчик и шубку хотя бы надо снять. Добрый товар, незачем пачкать.

Только теперь Флегонт до конца осознал безысходность своего положения. Мог ведь этого бандюгу стащить с коня и обезоружить. Была такая мысль, но сам же воспротивился ей. Теперь оставалось надеяться только на чудо, но в чудеса Флегонт мало верил. Не зря, видно, попрощался с сыном, не зря всю дорогу мечтал дожить до весны, незримо для себя скорбел по земным радостям... Скидывая тулуп, Флегонт шептал:

— Господи, даруй мне христианскую кончину живота моего, скорую, безболезненную и непостыдную...

— Чего бормочешь? Становись мордой к луне и молись. Я пока покурю.

3

Пудовый амбарный замок с громким металлическим хрустом выплюнул дужку. Железная кованая дверь растворилась со скрипом, похожим на мяуканье. Подняв над головой фонарь, Тимофей Сазонович заглянул в черноту подвала, сердито выкрикнул:

— Пахотин Евтифей! Живо выходь!

В дверном провале тут же возникла фигура Пахотина. Смоляная борода закуделена, нечесана, свисает грязными сосульками. На щеке сочащаяся сукровицей царапина Пахотин с трудом разлепил опухшие губы, хрипло спросил:

— Чего надо?

— Не разговаривай!

Когда шли по двору, Тимофей Сазонович успел шепнуть воровской скороговоркой:

— Ни о чем не спрашивай. Молчи. Выедем за деревню — тогда...— Завидев Крысикова, подтолкнул Пахотина в плечо, заорал: — Шагай, паразит! Руки! Руки за спину.

Когда Челноково осталось позади, Тимофей Сазонович остановил лошадь. Развязал руки Пахотину.

— Я тут прихватил добрую шубу, одевай. И винтовка на твой пай припасена. Чего рот разинул? Одевайся скорей, по пути все обскажу. Надо торопиться.

...Пахотин первым заметил кошеву на дороге, рядом коня под седлом и человека, стоящего у обочины с винтовкой в руках. Подъехав чуть ближе, Тимофей Сазонович ахнул:

— Да ведь это наш Карпов и здешний поп!.. Ну, помни, как сговорились. Руки-то за спину...

Коротышка тоже издали заметил приближающиеся розвальни и, опустив винтовку, поглядывал на подъезжающих.

— Ты, Сатюков?

— Так точно, ваш-бродь...

— Ну-ну, ты эти шуточки оставь... Вовремя поспел. Вытряхивай своего подопечного, ставь рядом с попом. Красивое зрелище будет. Красный поп и черный коммунист на пути в царство божие. Гы-гы-гы...— Повернулся к вылезавшему из саней Пахотину.— Раздевайся живенько, батюшка замерз, поджидая попутчика...

— Разрешите обратиться,— подал голос Тимофей Сазонович.

— Ну, чего еще?

Сатюков приблизился и вдруг ловкой подножкой сшиб Коротышку в снег. Подскочивший Пахотин помог обезоружить и связать по рукам и ногам ошеломленного Мишеля.

— Вот так-то, ваше благородие, господин Доливо,— проговорил запыхавшийся Сатюков.

Дал выкричаться Коротышке, а потом укоризненно сказал:

— Видать, с перепугу умом тронулся, ваше благородие? Не узнал? Зажигалочкой морду мою поджаривал да песенку напевал, помнишь? На расстрел меня вели, я с моста в речку... Припомнил? Лежи и не брыкайся! Утром познакомлю тебя с Чижиковым...

«С Чижиковым?!— еще не пришедший в себя Флегонт замер, пораженный внезапной догадкой.— Значит...— Поднял со снега тулуп, торопливо надел, сел в кошеву.— Чека теперь и без меня все узнает... Все ли? Ехать и высказать!..»

Уложив с Пахотиным связанного в сани, Тимофей Сазонович повернулся к Флегонту.

— А вы возвращайтесь домой. Только о том, что было,— пока молчок.

— Мне надобно в Северск.

— Попутчики, стало быть? Поезжайте, мы вам не препятствуем.

Уже на следующей версте резвый Флегонтов рысак оставил сатюковские розвальни далеко позади.

Глава семнадцатая

1

Февральская ночь. Беззвездная, холодная, ветреная. На пустых, настороженных улицах — ни души. Город замер, будто затаился в ожидании чего-то страшного и близкого. Вот-вот грянет, падет на головы... От предчувствия беды мерзли души горожан, жались люди к горячим печам, друг к дружке, прислушиваясь к вою ветра за наглухо закрытыми ставнями. А ветер прошивал Северск со всех сторон, хозяйничал в пустынных и темных улицах, сдирал с тумб и заборов еще не успевшие выцвести

желтые листы с приказом губпродкомиссара о семенной разверстке. Рядом с этими большими листками, засеянными аршинными буквами, там и тут белели тетрадные листочки в густых строках машинописи. Они призывали горожан подняться «на защиту крестьян», свергнуть власть «обманщиков комиссаров», создать «новые, подлинно народные Советы без коммунистов». Листовки были полны таинственных и многозначительных намеков на близкую катастрофу, назревающий взрыв и т. п.

Невероятные, порой прямо-таки фантастические слухи осами кружили над головой перепуганного обывателя, будоражили, ошарашивали, сбивали с толку. Темные личности на базаре, в очередях, в вокзальной толпе разными голосами нашептывали одно и то же: сибирский мужик вот-вот поднимется на дыбы, поддержите его, и большевикам — конец.

Зашевелились, заворочались «бывшие», повылазили из щелей и нор. Запохаживали вокруг когда-то своих особняков, фабрик, маслоделен и лавок. То там, то здесь летели под откос эшелоны с сибирским хлебом. Всю ночь полыхал гигантский костер на месте сенного склада, куда с целой округи свезли собранное по разверстке сено. То и дело выбывала из строя городская электростанция. Предвкушая близкий разгул анархии, словно воронье на падаль, в город отовсюду слетались воры, проститутки, торговцы наркотиками и прочее отребье старого мира.

Председатель губчека Гордей Артемович Чижиков позеленел от курева и бессонных ночей. Поступавшие со всех концов губернии донесения свидетельствовали о надвигающейся катастрофе. Но тревожные вести с мест только усиливали боевой задор Пикина, и тот слышать не хотел о «понятной». Сибревком согласился с доводами Чижикова и Новодворова и высказался за отмену семенной разверстки, но Сибпродком поддержал Аггеевского и Пикина. Между обоими «Сибами» началась тяжба, а, минуя их, в Совнарком не прыгнешь... Пикин и его продовольственники использовали заминку и вовсю раскрутили семенную. Готовясь к худшему, Чижиков расширял, наращивал агентурную сеть, пополнял, приводил в боеготовность подразделения чека, шлифовал, выверял, настраивал молодой, еще как следует не приработавшийся механизм.

Только что ушел Арефьев, унес утвержденный приговор ревтрибунала о расстреле пятерых бандитов. Все пя-

геро — бывшие белогвардейские офицеры. «Работали» хладнокровно, расчетливо и нагло. Поимка их едва не стоила Чижикову жизни: пуля, пробив шапку, прочертила кровавый рубец на голове, но череп не задела...

Чижиков посмотрел на часы. Половина третьего. «Надо поспать часика три-четыре»,— мелькнуло в сознании, и тут же зевота развела рот так, что скулы захрустели.

Тоненько запел телефон. Чижиков поднял трубку. В ухо ударил хрипловатый голос дежурного комендатуры:

— Товарищ Чижиков, к вам тут поп. Прискакал и лезет напролом. Еле удержали.

— Какой поп?

— Из Челноково.

В мгновение Чижиков припомнил все, что слышал о челноковском попе. Сонливости как не бывало.

— Давай его сюда.— Положил трубку, достал из кармана кисет.

— Великодушно прошу простить за беспокойство и поздний визит. Если бы не чрезвычайные обстоятельства, не дерзнул бы...— рокочущий бас Флегонта заполнил кабинет.— Чего вы столь пристально разглядываете меня?

— Впервые вижу по... духовное лицо в своем кабинете.

— Позвольте присесть? От пережитого слабость в ногах.

Флегонт начал рассказ с прихода к нему крестьян и закончил происшествием на дороге, едва не стоившим ему жизни.

— Пренебрегая саном своим, молю вас, немедленно пресеките бесчинства. Промедление воистину смерти подобно...

Чижиков слушал громоподобный голос Флегонта, а сам писал на листе: «Яровск. Уполномоченному губпродкома Горячеву. Немедленно выезжайте Северск чрезвычайное совещание. Семенную разверстку временно приостановите. Аггеевский. Новодворов. Пикин». Надавил пуговку звонка. Протянул вошедшему листок, сказал вполголоса:

— Проследите, чтобы сейчас же передали.

Вгляделся в крупное, обветренное, с резкими, будто резцом высеченными, чертами лицо Флегонта. Вспомнил недавний разговор с Онуфрием. Полувопросительно, полунасмешливо проговорил:

— Значит, хотите нам помочь... Получается, вы и впрямь красный поп.

— Нет,— Флегонт покачал головой.— Пути наши несоединимы. Вы хотите злом искоренить зло. Мы же считаем: лишь добро родит добро...

— А решение Поместного собора?— перебил Чижиков.— А послания патриарха Тихона о «борьбе с вероотступниками»? Их вы тоже считаете добром?.. Если счистить с патриарших слов богословскую чешую, получится белогвардейско-эсеровская листовка.

— Не Поместному собору, не патриарху служу, хотя и не отвергаю их всевластия. Служу пахарю, судьба коего есть судьба России. К одному призываю паству: довольно кровопролития. И вас молю о том же...

— К сожалению, сотоварищи ваши действуют иначе. И с амвона Советскую власть клянут, и оружие в церквях прячут. А тоборский архиерей в подпольный повстанческий штаб вошел.

— Тут вера не повинна, не она их толкает...

— Она не она — в том ли дело? Одно ясно — в классовой борьбе нет золотой межи. Либо справа, либо слева. С народом или против...

— Есть высокие, всечеловеческие идеалы, кои стоят над всем земным...

— Нет!— твердо возразил Чижиков.— Все духовное из земного, на нем стоит, ему служит. Ваши заповеди существуют почти две тысячи лет. Двадцать веков вы убеждали, призывали, даже сжигали непослушных на кострах. И что? Человек человеку стал братом? Нет. Ибо сама церковь служила сильным мира сего... Только большевики способны построить новый мир. И построят! Без богатых и бедных, без господ и рабов. Это и будет царство разума и справедливости.

— Блажен, кто верует...

2

Глухой ночью кто-то царапнул в ставень. Как ни крепко спал Максим Щукин, а сразу проснулся. Тучен был Максим Саватеевич и в летах, а скользнул с кровати неслышно, не скрипнув половицей, легко и бесшумно пересек горницу, проворно накинул полушубок на исподнее, сунул босые ноги в теплые с печки валенки и выскользнул в сени.

Едва отворил калитку, от угла дома отлепилась серая тень. Максим, отстранясь, пропустил гостя во двор, запер

на засов калитку. Две здоровенные собаки, злобно поуркивая, обнюхали пришельца и отступили успокоенно.

Гуськом прошли в баню. Хозяин зажег в предбаннике фонарь. Пришелец смахнул рукавицы на лавку, сбил на затылок лохматый малахай.

— Здоров будь, Максим Саватеич.

— И ты здравствуй, Маркел Панфутьевич.

Маркел Зырянов громко выдохнул белое облачко, расстегнул длиннополую борчатку, легко и непрочно прилепился с краю толстенной скамьи. Максим Щукин сел рядом, широко расставил короткие ноги, уперся ладонями в колени.

— Лясы точить недосуг,— заговорил Маркел.— Пашка заколел, поди, ожидаючи. Я его с конем у глазычевского зароду кинул. Боровиков тебе кланяется. Велел доподлинно выведать все. Выкладывай, да поживее.

Но Максим Щукин с ответом не поспешил: негоже было ему, челноковскому богатею, ногами скать даже перед Боровиковым. Пожамкал в жестком кулаке бороду, с шумом втянул ноздрями воздух, словно принюхиваясь, и только после этого заговорил:

— Мужики оборзели. Вот-вот в глотку продотряду вцепятся. Наши все наготове. Коммунисты давно на мушке. В продотряде есть и верные большевикам. С мужиками хороводятся. Карасулинские подпевалы, особливо энта Пигалица, тоже вовсю стараются. Чуть займется где, они враз тут — плеснут, собьют пламя, притушат. Потерпите, мол, мужики, недоразуменье это все. Самому-де Ленину письмо отправили, тот беспременно разберется. Дудят и дудят в мужицкие уши...

— Да вы-то ково смотрите? — не стерпел Маркел, вспомнив разом все старые обиды.— К ногтю их...

— Они не лаптем щи хлебают. Держатся кучно. Получается ни туда ни сюда на сегодня...

— А семена? — нетерпеливо перебил Маркел.

— Семена, почитай, все сдали. Пигалица со своими и те мужики, что вокруг них, с ссыпки глаз не сводят. Хотели мы красного петушка подпустить. Подговорили Гришку Чепишкина. Еле сам ноги унес...

— Нашли кого,— вознегодовал Маркел.— Самим надо. Пора от жениных подолов руки-то отымать да за топор. Ежели и этот раз упустим...

— А по всему судя, упустим,— вздохнул Щукин.— Ты не вскакивай, не скись. Не ме́не тебя и башкой и ру-

ками ворочаем. Надо что-то придумывать. И скорехонько, пока не остыл мужик...

— Ты эту песню забудь! — жестко, тоном приказа оборвал хозяина Маркел. — Оружие шарьте где только можно. У продотрядовцев тащите. Ярите мужиков... Нас на заимке уже близко к сотне. Как стрела на тетиве... Коммунистов блюди, чтоб ни один с глаз не уполз. Карасулин не воротился ли ненароком?.. Значит, чека ему перекрут изделала. Порадую Боровикова...

Он ушел бесшумно и скоро, будто сгинул в хрустком стылом мареве пасмурной февральской ночи.

Максим Щукин в сопровождении псов обошел подворье. Словно запнувшись за что-то невидимое, остановился и долго вслушивался в морозную тишину. «И впрямь не проморгать поворот. Другого боле не будет. Боровиковский отряд поди-ко не один в уезде. А по всей-то губернии? Кинуться разом, запалить, ударить набат. Небось не устоят, качнутся мужики. Тогда коммунистам крышка...»

3

У пани Эмилии был редкостный нюх на людей, и она сразу угадала, что эти двое — враги, хотя ничего подозрительного ей не сказали, лишь спросили, у себя ли товарищ Горячев.

— Нет его дома, — ответила пани Эмилия, соображая, как ловчее обвести нежданных пришельцев. — В отъезде.

— Проводите нас в его комнату, — попросил тот, что помоложе.

— Я же сказала...

— Гражданка Вохминцева, не устраивайте спектакль. Быстренько проводите, — властно отчеканил второй и опустил руку в карман полушубка.

— Ключа у меня нет, — твердо заявила пани Эмилия, остановясь у комнаты, которую занимал Горячев.

— Не беспокойтесь, — незнакомец слегка попятился, ударил плечом в дверь, и та отворилась.

Его товарищ жестом пригласил пани Эмилию войти.

— Вам придется побыть с нами...

— С какой стати?

— Кончайте базар. Сядьте и не разговаривайте.

— Сколько я буду так прохлаждаться?

— Сколько будет надо.

Незнакомцы принялись осматривать комнату. Оба встрепенулись, заслышав в коридоре шаги. Когда шаги поравнялись с дверью, пани Эмилия вскочила и крикнула:

— Гаврюша!

Тот ворвался и с ходу бросился на одного из незнакомцев, сбил с ног, стал душить. Второй поспешил на помощь товарищу, но не смог оторвать Гаврюшу, полез в карман за наганом. Пани Эмилия со всего размаху ударила его подсвечником по голове...

Прежде чем засунуть трупы под кровать, она обшарила карманы. Так и есть, оба из чека. Ордер на обыск в доме.

Она подходила к вокзалу, а за спиной занималось пламя пожарища: горел бывший дом терпимости Вохминцевой. «Жильцы спасутся. Барахла не жалко. А Гаврюша? Наверно, проснется слишком поздно... Прими, господи, невинную душу в рай».

Зал ожидания был переполнен. Это обрадовало пани Эмилию. Протиснувшись между спящими, прилепилась на уголок скамьи и, прижав чемоданчик с драгоценностями, стала ждать первого поезда на запад. Она уедет без билета. У нее много золота, слишком много, на него можно купить не только место в вагоне, но и целый поезд со всеми потрохами. В Петрограде найдутся старые знакомые, а и не отыщутся — она не пропадет... Главное — поскорей уехать. Иначе капкан захлопнется. Пусть горячевы очертя голову лезут в огонь, а с нее хватит, она еще хочет пожить в свое удовольствие.

Что-то обеспокоило пани Эмилию. Повела настороженным глазом по спинам и головам спящих и дремлющих: нет, никто вроде бы не смотрит на нее. Что же тогда потревожило? Еще раз скользнула взглядом по залу и встретилась с немигающими черными глазами Катерины Пряхиной. Рядом с ней стояли двое в полушубках. Они двинулись прямо к пани Эмилии. «Ах, мерзавка! Живой не уйдешь». Сунула руку в муфту, нащупала маленький браунинг. Он бьет наверняка только с полутора метров. Подпустить и — в упор...

Глава восемнадцатая

1

С той минуты, как перепуганная Лена вбежала в избу с криком: «Бабушка! Мама! Солдаты к нам...», в доме Карасулиных все пошло кувырком. Напуганные арестом Онуфрия, женщины и без того места себе не находили. Услышав о солдатах, обе переполошились, кинулись к окнам, а потом заметались по кухне.

В избу без стука вошли Крысиков и еще двое, настежь распахнув дверь и напустив столько холоду, что у Марфы от раздражения весь страх пропал, и она сердито прикрикнула:

— Затворяйте двери, не в завозню зашли.

Крысиков не удостоил ее даже взглядом. Не раздеваясь, не сняв шапки, уверенно прошел в передний угол, по-хозяйски с маху подсел к столу, негромким голосом возвестил:

— На постой к вам и на полный харч.

— Шапку бы наперед скинул,— все больше распаляясь, Марфа метнула на Крысикова гневный взгляд.

— Ты потише,— с затаенной угрозой отозвался Крысиков, но шапку все-таки снял.— Пока мы здеся, твое дело прислуживать, а не веньгать.

— Отродясь в прислугах не хаживала. Да и вы навроде не барских кровей...

— Хватит балаболить!— озлился Крысиков, прилипая взглядом к литой, гибкой фигуре Аграфены, которая шепотком старалась унять расходившуюся мать.— Давай пожрать чего-нибудь. Учти, я без мяса не живу, чтоб каждый день мясное и до отвалу. Не то сам присмотрю в ограде любую животину и...— цокнул языком, чиркнул себя по горлу растопыренной пятерней.— В этом деле мы... Не сорвется!.. Не пяль кержацкие шары. Знаем, что за ягодка. Муж в берлоге прячется, зятек в губчека вшей кормит. Так что...— сжав кулак, стукнул им по столешнице, подмигнул.— Поняла?

Марфа поняла, оттого и смолчала. Выставила на стол чугун со щами, кинула три деревянные ложки, швырнула глиняную миску и ушла в горницу. Аграфена, заглаживая материну выходку, нарезала хлеба, налила щей.

— Это по мне,— расплылся Крысиков и небольно ущипнул Аграфену за ягодицу.

До слез покраснела женщина, задохнулась от негодования и, зажав ладонью рот, скрылась в горнице.

— Добра, да необъезжена,— сказал один из спутников Крысикова.

— Карпова бы сюда, он бы их обеих...— подал голос другой.

— Сами управимся,— самодовольно усмехнувшись, заверил Крысиков.

Женщины слышали этот разговор и до того были напуганы, что спать улеглись вместе с детишками посреди горницы, а Марфа положила под подушку острый сапожный нож.

С той минуты мать и дочь ждали беды, которая каруселила по селу, стучалась то в одни, то в другие ворота, все ближе подступая к их дому.

Ждали и дождались...

Близко к обеду Крысиков крепко навеселе ввалился в избу. Долго топотил сапожищами, сбивая снег.

— Аграфена Фаддеевна!— необычно раскатисто и весело гаркнул от порога.— Выдь сюда.

Аграфена перешагнула порожек горницы, остановилась. Она была в доме одна: мать с Леной убирали скотину, младшие на улице. Крысиков то ли знал об этом, то ли учуял, и в пьяном голосе, в мутных глазах его засветилось такое похотливое злорадство, что Аграфена вся сжалась, затравленно поглядывая по сторонам и в душе моля бога, чтоб поскорее послал в дом Марфу или когонибудь из детей.

— Вот тебе мой приказ: стопи баню! Сейчас же. Придешь мне спину веничком пошоркать, а я — тебе... Ха-ха-ха... Не маши руками. Я ить мог без всякого предупреждения. Сграбастал — и все, и не пикнешь... Куда ты? Стой!

— Постыдился бы. Залил шары-то... У меня четверо. Пятого жду. Бога побойся.

— Вот побанимся, вместях и помолимся. Говори толком, придешь?

— Да ты что, спятил? Лучше руки на себя наложу.

— Коли так, выгребай все зерно. Под метлу чтоб! И на ссыпку. Скот твой реквизую, как у злостного врага Советской власти. Подыхай с голоду вместях со своим волчиным выводком.

Аграфена на миг представила себе: пустые закрома, пустой хлев, голодные ребятишки... Прижала в отчаянье

руки к высокой налитой груди и со слезами тягучим бабьим причетом заголосила:

— Куда же я с детишками? Без мужика? Лучше жизни нас реши. Все равно не жить...

Эти причитания только развеселили Крысикова.

— Не голоси! Зазря стараешься,— ощерил он в улыбке прокуренные зубы.— Мое слово — кремень. Сказал — отрубил. Чего у тебя убудет? А за поперешность по миру пущу, и все едино подо мной будешь. Люба ты мне. Ох, люба...

Тут вошла мать. Аграфена кинулась к ней, обхватила, прижалась, всем телом и зашлась в плаче. Поняв, в чем дело, Марфа толкнула дочь в горницу и, подперев спиной дверь, принялась поносить Крысикова, не стесняя себя выражениями. Пообещала размозжить ему топором башку, если он хоть пальцем прикоснется к Аграфене.

— Заткни хайло!— взвизгнул посиневший от бешенства Крысиков, медленно подвигаясь к Марфе.

— Не подходи!

Растопыренная пятерня впилась в горло женщины, и Марфа захрипела, взмахнула бессильно руками. Крысиков еле заставил себя разжать пальцы. Бесчувственное тело повалилось на пол. Сцапав за полушубок, Крысиков легко оторвал Марфу от полу, поставил на ноги и стукнул спиной о стену так, что из полуоткрытого рта женщины брызнула кровь.

— Бабушка!— полоснул тишину Леночкин крик.

Отшвырнув бесчувственную Марфу, Крысиков повернулся к девочке, медведем пошел на нее.

— Ма-а-а!

Тут распахнулась входная дверь. Влетел пулей Сулимов. Рвущимся голосом крикнул от порога:

— Крысиков! Живо к Горячеву.

Несколько мгновений Крысиков обалдело стоял посреди комнаты. Кинул взгляд на беспамятную Марфу, на прижавшуюся к печке Лену. Длинно выматерился.

— Откуда его черт принес?

— Давай живо. Прискакал злой как собака. Топает, кричит.

— Вернусь — чтоб баня была натоплена!— бросил Крысиков и ушел с посыльным.

Придя в себя, Марфа увидела склонившихся над ней Аграфену и внучку. Глянула на дверь и вскрикнула: на пороге стоял Онуфрий...

2

Даже тупой Крысиков, едва ступив в кабинет председателя волисполкома, с одного взгляда определил, что Горячев не то что взволнован, а прямо-таки взбешен.

— Где Карпов?— ринулся он к вошедшему.

— Не могу знать,— недовольно воркотнул Крысиков.

— Что за дьявольщина, мать-перемать!— взорвался Горячев.— В такой момент исчезает начальник продотряда, а вы... Может, его прихлопнули иль...

Ошеломляющая догадка оборвала речь. А ведь бывший начальник дивизионной контрразведки мог и улизнуть от кровавого финала. Привык беззащитных пытать да расстреливать. А тут и в лоб и в затылок целят... Горячев как-то сразу уверовал в дезертирство Коротышки — трус, жалкий подонок!— и, срывая зло, заорал на Крысикова:

— С бабами воюешь! Нашел вре-мя...

Исстегал всласть, отвел душу. Гориллоподобный Крысиков не на шутку взбеленился и еле сдерживался, чтоб не пришлепнуть Горячева кулачищем. Поняв, что перехлестнул, Горячев разом переменил выражение лица и как можно торжественней:

— Вы назначаетесь начальником продотряда. Вся полнота власти в ваших руках.

— Р-р-р... стр-р-рр...

— Будем всячески содействовать,— проговорил молча наблюдавший всю эту сцену Кориков.

— И чуд-нень-ко!— прежним, звонким и сильным голосом воскликнул Горячев.— Теперь слушайте. Есть неопровержимые данные: крестьяне надумали ночью разгромить ссыпку и семена — по домам. Получен приказ губпродкома вывезти семена в Яровск. Сегодня. Немедленно! Сейчас же реквизируйте нужное количество лошадей. Не церемоньтесь с саботажниками. Не цацкайтесь. Грузите семена и в сопровождении всего отряда — в Яровск. Понятно?

— Так точно!— браво выкрикнул Крысиков.

— Успеха,— Горячев протянул руку.— Я в Сытомино. Встретимся в Яровске. Действуйте, то-ва-рищ на-чаль-ник!

Проводил Крысикова взглядом, торопливо закурил, повернулся к Корикову.

— В Северске повальные аресты. С часу на час примчатся сюда меня арестовывать. И тебя тоже... Карты раскрыты. Маски — к черту. Сегодня или никогда!..

Максима Щукина на глазах всего села под конвоем привели в волисполком. Все, кто случился в тот час в приемной председателя, слышали, как Кориков кричал на Щукина, грозил ему трибуналом, вот только за что грозил — никто не понял. И не слыхал никто, как между двумя гневными тирадами Кориков торопливо шепнул:

— Свершилось, Максим Саватеич. Сейчас будут мобилизовывать подводы. Вечером обоз с семенами должен выехать в Яровск. Успеешь уведомить Боровикова?

Щукин только головой кивнул.

Тут Кориков прокричал еще несколько угрожающих фраз, а потом опять еле слышно:

— Своих в ружье. Чтоб наготове. Как полыхнет, сразу — набат. Сперва продотрядчиков. Боровиков перекроет дорогу на Яровск. Своих краснопузиков потом выщелкаем.

И опять Щукин лишь кивнул.

— Чтоб через два часа — четыре подводы к волисполкому! — закричал Кориков, подступая к самой двери.— Не мной придумано. Не виноват, что такой приказ... Первый приведешь и первым поедешь. Сам! Шевелись.

За окном бухнул пушечным выстрелом большой церковный колокол. Ахнул еще раз, еще — и зачастил.

— Набат!— встрепенулась Аграфена.— Опять пожар!..

Яростно ревел многопудовый медный богатырь. Сквозь его набатный гул прорывались отдаленные крики, выстрелы.

В приоткрытую дверь просунулась голова в ушанке.

— Крысиков, тикай! Наших кончают!

— Началось,— глухо обронил Онуфрий.— Допелекались. Покатило... Эх!..— Накинул полушубок и выскочил на улицу.

Заполошно гудит над Челноково набат. Мечется над селом красная метель. Выстрелы трещат в разных концах, то одиночные, то пачками.

Скачут бешеным аллюром кони, будто дьяволы. Ржут пронзительно и жутко.

Беснуются во дворах взъерошенные псы.

Плачут дети.

Голосят женщины.

Началось...

3

Слепо закружила, заметалась по северским ночным заснеженным улицам черная весть о мятеже. В каждую калитку стукнула, в каждое окно заглянула. Разметала вдребезги призрачный зыбкий сон губернской столицы.

Чьи-то нетерпеливые руки нашлепали на заборы скороспелые, вкривь и вкось размалеванные листовки: «Началось!.. К оружию!.. Долой!..»

Боясь расплескать, обронить хоть каплю злой мстительной радости, кинулись бывшие в объятия друг другу, тыкались сизыми, просамогоненными носами, терлись давно не холенными бородами, кряхтели, стонали и плакали, скрежеща зубами, нянькая свинцовеющие кулаки. А мысль их тем временем торопливо выстраивала в шеренгу красных губернских комиссаров, заядлых партийцев и совработников, боясь выпустить кого-то из-под беспощадного неумолимого прицела. Всех, всех их — больших и малых, с чадами и домочадцами, все распроклятое комиссарское отродье — на распыл, под корень! Спустить до останной капельки, дочерна, допьяна напоить большевистской кровушкой сибирскую землицу.

Поскрипывали, позвякивали кольцами тяжелые калитки, волчьими, алчными глазками посверкивали огни за сомкнутыми ставнями пузатых, раскорячистых домов. Спешно чистились добытые из тайников наганы и винтовки, начинялись картечью охотничьи патроны. «Все! Конец! Теперича сквитаемся! Отольются наши слезки!..»

Всполошила, подняла на ноги черная весть и тех, кто ставил и оборонял красную власть. Из бараков, полуподвалов и скособочившихся слободских избенок шли и шли они в свой губернский партийный комитет. Походя сдирали мятежные листки, ненароком засматривали в подозрительные окна, напряженно вслушиваясь, вглядываясь в грозовую темь.

В полночь в кабинете ответственного секретаря Северского губкома встретились с Аггеевским председатель губчека Чижиков, главный красный пропагандист Водиков, председатель губисполкома Новодворов и губпродкомиссар Пикин.

Какое-то время молча курили, избегая даже взглядами задевать друг друга. Но вот к красному сукну секретарского стола припечатал свой кулак Аггеевский, и сразу все взоры замкнулись на нем.

— Ну? — требовательно спросил он всех сразу.

— По нашим данным, мятеж охватил весь Яровский уезд,— напряженно-высоким голосом заговорил Чижиков.— Судя по всему, завтра полыхнет в Тоборском и Шаимском. Только что арестован подпольный эсеровский центр в Северске. На двадцать третье февраля намечен был переворот...

— На завтра? — встрепенулся Аггеевский.

— На завтра,— подтвердил Чижиков.— План поджигателей предельно прост. Наводнить город полчищами разъяренных семенной разверсткой кулаков. По сигналу захватить арсенал, вокзал, телеграф, разгромить советские учреждения. Выйти на связь с Парижским эсеровским центром. Втянуть в сибирский мятеж мировую контрреволюцию, заполучить сюда новую Антанту и кинуться на Москву...

— Сработала-таки семенная,— горестно и покаянно произнес Новодворов.

— Еще как,— подтвердил Чижиков.

Пикин стоял к ним спиной, припав разгоряченным лбом к холодному переплету оконной рамы. Он был весь болезненно напряжен. Каждая фраза Чижикова и Новодворова пулей впивалась в худую надломленную спину. А в воспаленной комиссарской голове — вулкан... Обошли, обкрутили недобитки. Его руками и костерок склали... Лучше бы сгинуть от бандитской пули. Пусть бы порубали, распнули гады, чем такое... Остерегали ведь, настораживали, да и сам не вовсе ослеп-оглох, чуял... Нет, плохо, видать, чуял, совсем потерял нюх, если Карповым-Доливо на руку сыграл. Покаяться? Сдать полномочия?.. Списать себя в расход?.. Нет, сперва вышибить зубы эсеровской гидре, расплющить гадине башку!

— Всех партийцев — в коммунистический полк. На казарменное положение. Батальон чека и части гарнизона — в боеготовность номер один,— неспешно выговорил Водиков, ероша большим пальцем пышные усы.

— Гарнизон ненадежен,— тут же вклинился Чижиков.— Батальон чека — маломощен и числом, и вооружением. Надо немедленно просить поддержки у Реввоенсовета Республики и...

— Эка хватил,— пресек Аггеевский.— Раззвонить на всю вселенную... Сами эту мразь высидели, сами раздавим! — Жестом завзятого рубаки секанул воздух.

— Прежде надо попробовать сбить пламя, локализо-

вать мятеж,— заговорил Новодворов.— Старых большевиков, лучших пропагандистов губернии — в волости. Сами — туда же. Распропагандировать, успокоить крестьянина. Поднять мужицкий встречный вал, заградить Северск от мятежной волны.

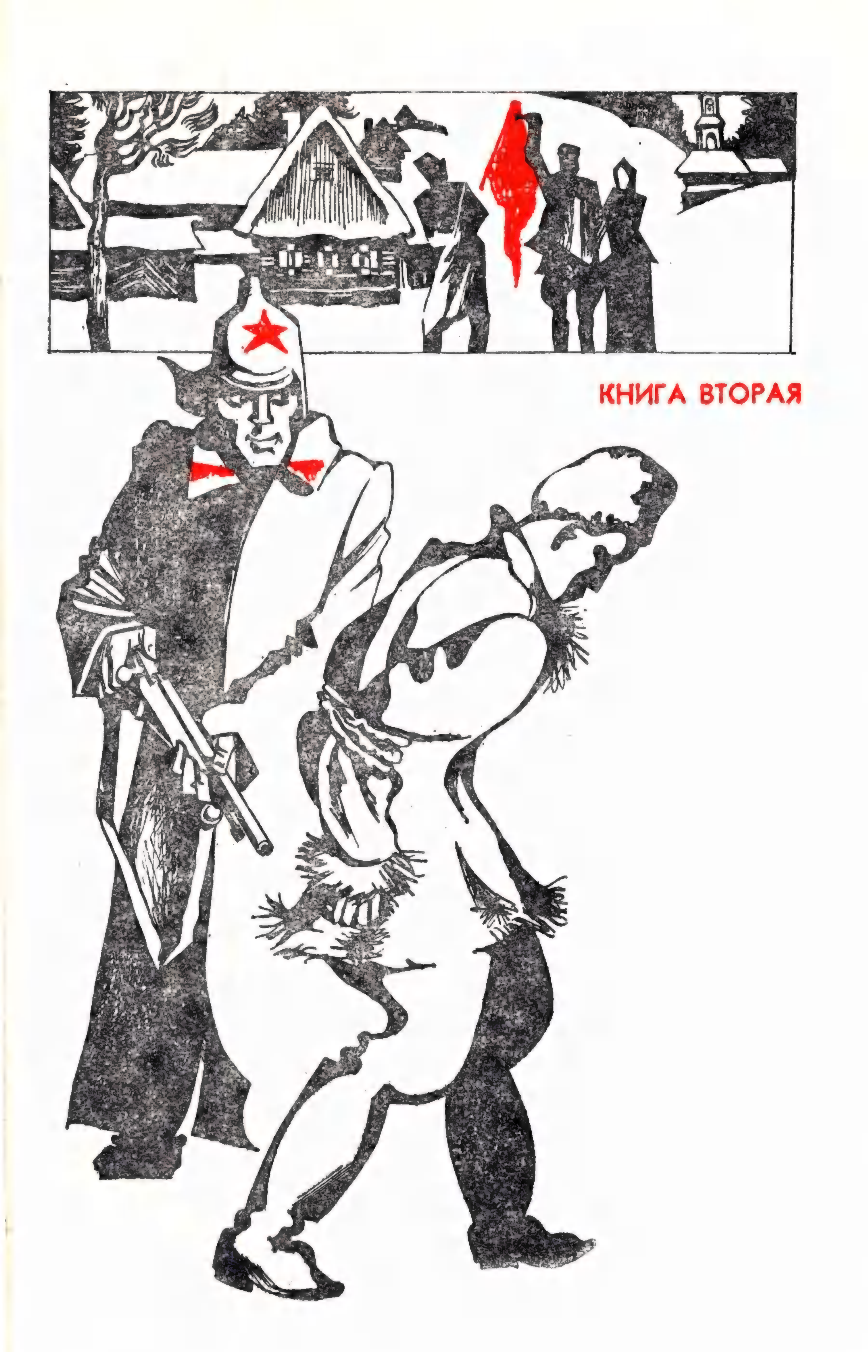
— Пропагандистов — под кулацкие пули?! Они будут стрелять, а мы — псалмы петь?! — взвинтил до крика голос Аггеевский..

— Не кипятись, Савелий,— предостерегающе поднял руку Новодворов.

— Никаких миротворческих уступок контрреволюции! Введем в губернии чрезвычайное положение.— Аггеевский пристукнул кулаком по столу.— Создадим главный штаб по борьбе с мятежом. Аггеевский, Новодворов, Чижиков, губвоенком Оселков и Водиков. Есть возражения?— обвел всех пылающим взглядом.— Выше голову, товарищи! Сейчас проведем партактив города. На повестке дня — штык! Надо увещевать трудящегося мужика, а офицерско-кулацкую сволочь стрелять и рубить без пощады!

За окном занимался поздний рассвет.

Был он сер и тревожен...



КНИГА ВТОРАЯ

Глава первая

1

Густой тревожный рев набатного колокола хлестал по нервам челноковских мужиков, и те ошалело метались между ссыпкой и домом, унося, увозя из-под общей крыши бесценное семенное зерно. Кто половчей, похитрей, не упускал случая прихватить чужой мешок: «не я — другой сгребет». А в это время по селу волчьими стаями кружили, выискивая продотрядовцев, хмельные от крови и самогона дружки Пашки Зыряпова и бородачи из отряда Боровикова. Лица многих были страшны и звероподобны: перекошенные рты, раздутые волосатые ноздри, вот-вот выпрыгнут из орбит мутные от злобы и хмеля глаза. За каждым бойцом кидалась целая ватага и, нагнав, била его чем попало, топтала и рвала с изуверским ожесточением. Девятерым продотрядовцам удалось пробиться к волисполкомовскому двору, запрячь пару розвальней и, отстреливаясь, вырваться из села. Одиннадцать человек застрелили или забили насмерть. Остальных Боровиков надумал всенародно казнить на площади. Выдумка приглянулась, и недобитых продотрядовцев отовсюду поволокли к волисполкому.

Если бы в те роковые для Челноково часы сыскался сторонний, трезвый наблюдатель, он непременно заметил бы единое, организующее начало этого кровавого хаоса. Чьи-то руки вовремя сшибли замки с еще не загоревшейся ссыпки, и та запылала лишь тогда, когда из нее вытащили все семенное зерно. Кто-то расставлял на стыках улиц, на выезде из села людей с ружьями. Кто-то отправил в соседние деревни гонцов с приказом начальника волостного повстанческого штаба: коммунистов и комсомольцев — арестовать, сопротивляющихся — уничтожить, милицию — разоружить, создать вооруженные отряды. По чьей-то указке почти что в один час заголосили набатно колокола многих церквей Яровского уезда, загрохотали выстрелы, взмыли в седое февральское небо красные петухи...

Но стороннего наблюдателя в Челноково не оказалось, и лишь немало дней спустя, шаг за шагом восстанавливая в памяти происшедшее, многие мужики смекнули, что к чему, и заскребли пятерней бороды, зачесали макушки,

разом отрезвев от угара, и стали искать выход из западни, в которую их кого незаметно заманили, а кого втолкнули... Но все это еще будет впереди. Пока же...

Со всех сторон к утоптанной снежной круговине в центре села стекались людские потоки, и скоро перед высоким резным волисполкомовским крыльцом скучилось несколько сот разгоряченных мужиков. Многие были в немалом подпитии: полы полушубков — нараспашку, хмельные души — настежь. Кулацкие сынки Пашка Зырянов и Димка Щукин стояли в окружении вооруженных полупьяных парней, и те, как рысаки перед скачкой, пританцовывали на месте, петушились, задирались, голосили непотребное. Мужики постепенней помалкивали, покуривали да поглядывали на высокое, похожее на помост крыльцо, где жались друг к дружке шестеро продотрядовцев в изорванной одежде, с обезображенными побоями лицами. А из Пашкиной стаи будто каменьев град:

— К ногтю их!

— Накотовались! Пришел великий пост!

— Волоки вниз!

— Расступись, мать-перемать, дай пальнуть одной пулей всех...

Все громче раздавались крики, требующие немедленного самосуда, и не избежать бы еще одной кровавой расправы, если б рядом с продотрядовцами не возник вдруг Онуфрий Карасулин.

— Откуль он? — вытаращил глаза Пашка Зырянов.

Одобрительный гул прокатился по толпе. Онуфрия тут знали все. И хотя немало было недругов у бывшего секретаря волпартячейки, большинство крестьян верили: Карасулин всегда за мужика, за то и с Пикиным не побоялся схлестнуться, и с самим Аггеевским. Знали об аресте Онуфрия, сочувствовали его семье, оставшейся без кормильца,— а кормилец-то, оказывается, уже домой возвернулся! Это была добрая весть, и она как-то успокаивающе подействовала на многих. Толпа стала затихать.

— Шлепнуть его, гада, — вполголоса буркнул Пашка, приподнимая винтовку.

— Тихо ты! — осадил друга Димка Щукин. — Тут надо втихаря и без осечки.

Но Пашка и сам был не дурак, понимал: стрелять сейчас в Карасулина — все равно что стрелять в толпу. Разные здесь собрались люди, по-разному думают, а этой смерти — не простят.

— Мужики! — хлестнул по толпе раскаленный голос Онуфрия. — Товарищи!

Толпа, ответно рокотнув, смолкла, и запоздалый Пашкин возглас одиноко повис в тишине:

— Товарищев вспомнил, челноковский комиссар!

Карасулин только взглядом пригрозил Пашке, но с речи не сбился.

— У всех у нас наболело под завязку. Теперь вот до крови дошло... Горько это, мужики. В таком запале не приметишь, как себе же могилу выроешь... Чего изделали — не воротишь. А что дале будет? Об завтрем думать надо...

— Верна-а-а!..

— Большевистский подпевала!..

— Не тявкай!..

Онуфрий нахмурился, жамкнул в кулаке рукавицу.

— Ти-хо, товарищи!..

Тут в дверях волисполкома появился Алексей Евгеньевич Кориков под руку с бородатым незнакомцем в каракулевой папахе, за ними Маркел Зырянов, Максим Щукин и Фаддей Боровиков.

— Ба! Да тут уже большевистский проповедник! — вскричал Кориков. В голосе — и изумление и угроза.

Толпа притихла, настороженно ловя каждое слово, слетавшее с крыльца.

— Коммунисты завсегда на готовенькое! Ловки чужими руками жар грабастать, — плеснул яду Маркел Зырянов.

— С твоих рук, окромя отравы в самогон, ничего боле не схлопочешь, — отрезал Онуфрий и, окинув оценивающим взглядом кориковское окружение, ухмыльнулся. — Никак, новое правительство объявилось?

Никто не нашелся с ответом. Онуфрий повернулся к толпе, поднял над головой стиснутую в кулаке рукавицу.

— Об завтрем, говорю, думать надо. Думайте, мужики, пока не опоздано, опосля б и подумали, дак нечем будет. Не пугаю. Самому страшно. Пролилось кровушки... Кто изгалялся да охальничал — поделом. И ежели б на этом крыльце сейчас стоял Карпов — я б язык откусил, ни словечка в заступу не обронил. А эти, — кивнул на шестерых продотрядовцев, — солдаты. Их-то за что?

— Ворон ворону глаз не выклюет, — громко проговорил Маркел Зырянов.

— Из партии поперли, а его все на красное тянет, — добавил Максим Щукин.

— ...Теперь шары им продрало, поняли, где сено, а где солома. Сажай их на розвальни, и пущай катят до самого Яровска да наперед своим котелком думают...

— А ты откель знаешь? — выкрикнул хриплый голос откуда-то сзади.

— Чего? — не понял Онуфрий.

— Откель знаешь, что эти не изгалялись? Может, самые собаки и есть!

— Ежели бы изгалялись, сюда б не приволокли, — рассудительно возразили в толпе.— Варнаков-то в перву голову и пристукнули.

Толпа трезвела, начинала рассуждать, и это не на шутку встревожило Корикова.

— Когда народ поднялся на борьбу с насильниками, Карасулин на лавке посиживал да в окошко поглядывал, — возгласил Кориков хорошо поставленным голосом. — А теперь пришел учить нас уму-разуму.

В толпе загомонили. Хмельные парни из Пашкиного окружения разом взяли верх и понесли:

— Он с имя заодно!

— Сам такой!

— Большевиками купленный!

— Сам с карповыми хороводился!..

— Эй ты, орало! — крикнул Онуфрий. — Беги ко мне на ограду, погляди, кто там лежит!

Несколько парней сорвались с места и, пробив толпу, кинулись к дому Карасулина. Поднялся такой базарный гомон, будто собравшиеся задались целью перекричать друг дружку. Кориков слегка придвинулся к Карасулину и вполголоса проговорил:

— Кто вас уполномочил?

— Не ты...

— Смотри, Онуфрий Лукич...

— Сам смотри.

Кориков сделал шаг вперед, поднял руку, требуя тишины.

— Товарищи крестьяне! Полагаю, вы уже по горло сыты псалмами самозванного миротворца Карасулина, защищающего насильников.— Бросил взгляд на посиневших от холода, еле державшихся на ногах продотрядовцев.— А теперь позвольте зачитать приговор...

Но тут словно по команде все повернулись навстречу

подъезжающим дровням, на которых лежало ничком окостеневшее тело. Мужики расступились, пропустили подводу к крыльцу. Пашка вскочил на дровни, пинком скинул на снег тело, и все узнали Крысикова.

— Знаком? — громко спросил Онуфрий.

Толпа взорвалась криками.

— Первейший гад!..

— Палач!..

— Чистый собака!..

— Собаке — собачья смерть,— жестко, слово по слову выговорил Карасулин.— Кто еще скажет, что я с имя заодно? Ну? Чего рты позамыкали?.. Тогда поговорим про этих.— Ткнул побелевшим кулаком в продотрядовцев.— Может, кто про них чего худое знает? Выходи наперед, скажи.

Никто не вышел.

— Побили насильников, кои вырядились в красное, а внутре чернота. Навроде этой крысы. И безвинной крови пролилось... Кто полег — не воскресишь. Но этих — не тронем! Мы не палачи. Не колчаковцы! Нам землю годовать надо, скотину гоить, ребят ростить, а не под пулемет башку подставлять. Понятно ли говорю?

— Ясна-а-а!!! — в десятки мужицких глоток гаркнула толпа.

— Тогда сажай их на эти дровни, понужните коня, чтоб до Яровска зайцем скакал. А вы там,— повернулся к продотрядовцам,— передайте: мы не супротив Советской власти. Но галиться над собой никому не позволим. Ежели хотят подобру с нами — милости просим, пущай приезжают, поглядят, разберутся...

И те самые мужики, которые полчаса назад неистовствовали, требуя расправы над продотрядовцами, сейчас усаживали в дровни обалдевших от радости, еще не верящих в спасение бойцов, наперебой советовали им, как короче ехать в Яровск. Не все, конечно. Иные из мужиков и с места не сдвинулись. Но таких было меньшинство.

Кориков и те, кто с ним,— не вмешивались. Понимали: сейчас не остановишь, благоразумней смолчать.

— Вот так-то, господин Кориков,— Карасулин круто повернулся и зашагал вслед за дровнями, держа путь к дому.

Потянулись с площади и многие из мужиков.

— С крючка сорвал гад! — в сердцах плюнул в снег

Маркел Зырянов, приперчив плевок едучим матерком.— И откуда свалился?

— Ночь-от долга,— тихо, будто раздумывая вслух, протянул Максим Щукин, с иноческим смирением опустив глаза и сложив на животе руки.

— Его надо не втихаря... на всем народе сказнить... лютой смертью,— отрывисто бросил Боровиков.— Сам намылю веревку для зятюшкиной шеи...

— Не торопитесь,— то ли Боровикову, то ли всем вместе посоветовал Кориков,— тут подумать надо, взвесить...

Алексей Евгеньевич нервно огладил ладошкой клинышек бородки. Подотстал от жизни бывший яровский городской голова. И о виселице задудел не ко времени. Мужик теперь не тот, что в восемнадцатом, совсем не тот.

Да, немножко не так все началось. Слишком торопливо и комом. Никакой ясности, никакой программы. Что завтра обещать мужикам? Стравить бы им сейчас этих шестерых, распалить, плеснуть в огонь маслица, тогда с разбегу и со своими коммунистами бы разом разделались. После такого назад никто бы уж не попятился.

А ведь как думалось? Под колокольный звон соберутся все на площади, и он, Кориков, взволнованный и важный, выйдет к народу и торжественно возвестит начало новой эры крестьянского самовластия. Покается, конечно, в достойных выражениях, что вынужден был бороться за святое дело под личиной совработника. Благодарные мужики со слезами умиления провозгласят его освободителем, и отовсюду слетятся гонцы с известием о свержении коммунистов. Ах, как гладко и красиво получалось в мечтах. А на деле... Пока пожар не занимался, тут кружились и Горячев, и Карпов, и иные представители каких-то неведомых центров, союзов, комитетов, и все дудели в одну дуду: только начните, поднесите спичку, а уж потом, а уж мы... Полыхнуло — и никого. Бери все на свою голову, а она — одна. Сколько раз спасал ее из петли, трижды начисто перекрашивался, фамилию менял. Глупо оступиться в самом начале горы. Есть, конечно, про запас подложные документишки, есть и гнездишко укромное, никому не ведомое. Только это на крайний случай, на самый крайний. Главное — не прозевать перемену ветра, не угодить под боковую волну. Коварна жизнь, нельзя ни на кого положиться, никому довериться. Каждый ради своей шкуры десять чужих спустит. И Щукин, и Зырянов, и уж конечно Боровиков, и этот, в папахе, невесть

что за птица. В самом деле он Добровольский или тоже дутый? В бородище — конь запутается... Все вроде единомышленники, а довериться некому. Каждый к себе тянет, для себя норовит. У большевиков иначе. Те спаяны. Одного кольнешь — всем больно. Иначе бы им Россию не перекувыркнуть... «Куда меня понесло? Давить их надо! Жечь! Живьем в землю!»

Алексей Евгеньевич вскинул голову, надул грудь, выпрямился, будто принимал парад. Лицо стало властным и непроницаемым. Глаза затвердели в полуприщуре. «Ну-с,— мысленно благословил себя,— жребий брошен».

— Товарищи крестьяне! — бодро выкрикнул в заметно поредевшую толпу.— Свершилось! Отныне мы...

Да, жребий был брошен.

2

Сизые февральские сумерки занавесили окна, легли голубоватой тенью на высоченные сугробы, обесцветили дневные краски, звуки, запахи.

Зимние вечера в Сибири короче вздоха. Не успел приглядеться к фиолетовому полумраку, а на пороге ночь. Потому так и спешил Онуфрий Карасулин к начальнику волостной милиции Емельянову. Чуял: как ни черен был день, а близкая ночь будет еще черней, на долгие годы оставит в душах кровавый полынный след.

Неприятно поразило Карасулина поведение начальника милиции. Он выглядел каким-то усохшим. Пришибленно гнулся, вздрагивал при каждом шорохе за окном.

— Ково ты ровно в лихоманке трясешься? — грубовато спросил раздраженный Карасулин.

Емельянов скосоротился, как от зубной боли, и молча подал Онуфрию клочок бумаги, вырванной из какой-то конторской книги. На неровном бумажном лоскуте печатными буквами было написано:

«Боевой приказ № 2

С получением сего приказываю Вам в течение трех часов организовать штаб повстанцев по свержению большевистской власти. Создать отряд, мобилизовать всех, способных носить оружие. Арестовать всех коммунистов и истребить. Милиционеров и продотрядчиков разоружить и арестовать. Об исполнении немедленно дать знать главному штабу.

Нач. штаба Кутырев Комендант Васильев

21 февраля 1921 года».

Какой штаб? Что за комендант? Дважды перечитав листок, Карасулин скомкал его в зачугуневшем кулачище. Пристукнул им по столешнице. «Эх, Чижиков. Передержал ты меня в своей клетке...» А вслух спросил:

— Откуда?

— Кориков в спешке забыл на своем столе. Чуешь? Прищучат нас ночью...

— Дивлюсь, что досель не тронули.

— Мало их пока. Боровиковский отряд, что в лесу хоронился, по другим деревням, говорят, раскидали, чтоб уж наверняка... Каких-то еще офицеров ждут...

— Будем за бабий подол держаться — как гусятам голову открутят. Где твоя милиция?

— Шевелев один остался — и того ранили, еле до дому дополз...

— Сам-то где пропадал?

— Не поверишь... Зашел в стайку на коней глянуть, а кто-то снаружи дверь колом подпер. Дуриком орал, кулаки разбил. Досель бы сидел, если б парнишка не наскочил. Кинулся за винтовкой — а ее и след простыл...

— Эх ты, Аника-воин... Да и все мы хороши оказались. Надо же! Такую контру из-под носу выпустили. Помирать стану — себе не прощу. Значит, на твою милицию, как на вешний лед?

— Сам видишь.

— Тогда свертывайся живенько — и в Яровск. Да не по большаку. Двигай вроде за реку, к зародам. Там коня распрягай, верхом на Веселовский зимник, и пошла чесать. Крюк десяток верст, зато надежно. Большак наверняка стерегут. В случае чего — стреляй. Не подпускай! Никаких переговоров! Конь-то добрый?

— Зверь.

— Только не мешкай. Доберешься — обскажешь все как есть. Может, успеют. Помни: сграбастают — не выкарабкаешься. Бывай!..

Шел серединой пустой улицы, дымил самокруткой и беззвучно костерил на чем свет стоит и себя, и Чижикова, и уездное начальство — всех подряд. Такими словечками потчевал, напечатай — бумага покоробится. Но больше всех себя. Мог же из коммунистов и комсомольцев боевую дружину сколотить, вооружить винтовками, мог и пулеметом и гранатами разжиться... Одернул себя. Теперь не об этом думать. Товарищей надо спасать. У этого зверья рука не дрогнет — перебьют поодиночке...

3

Ярославна и Ромка Кузнечик кинулись навстречу Карасулину, вцепились с двух сторон. Онуфрий долго тискал их за плечи, прижимал к себе, ласково в глаза заглядывал.

— Вот ловко, обоих застал... Беда, ребята. Беда. Знали о ней. Ждали. А грянула как июньский снег. Уходить надо из села не волынясь. Чуть затемнеет. Да не гуртом — поодиночке и не торной дорогой — тропками. Друг по дружке оповестите коммунистов и комсомольцев. Никаких сборов и прощаний. Домой лучше вовсе не заглядывать. Дотемна надо подальше уйти.

— А вы? — требовательно уставилась в его глаза Ярославна.

— Мне нельзя, дочка.

— Как нельзя? Что же вы будете здесь делать?

— Долгий разговор. Не до него сейчас. Да, признаться, и сам еще не больно-то знаю. Прощайте...

— Так вы думаете это...— начала Ярославна и не договорила, не смогла выговорить застрявшее в горле слово.

— Восстание,— жестко договорил Онуфрий.— Дай бог, если только нашу губернию захлестнет. Кориков получил приказ от какого-то главного штаба: коммунистов — в расход, продотрядчиков и милицию обезоружить — и в темную. Чуешь? Нынче ночью за нами пожалуют. Меня вряд ли с ходу заглотнут: подавятся, а других жульнут под шумок — и поминай как звали. Уходите. Ты, Ромка, головой за нее отвечаешь. Пробирайтесь на Яровск. Деревни обходите стороной.

— Какие мы большевики — от Корикова драпаем? — закипятился Ромка.— Сидим, как куры на шесте, ждем, кому первому башку отсекут. Нас дюжина мужиков — так неужто... Нагрянуть сейчас в исполком — и Корикова в подвал.

— Эх, Ромка, Ромка. Сунь-ка нос к волисполкому. Пашка Зырянов и еще четверо с винтовками в обнимку танцуют. С чердака пулемет щурится. Надо было их ране арестовывать... Теперь не угадаешь, за какую вожжу тянуть. Кувыркнулась жизнь с крутой горушки.

Ромка затравленно метался по комнатенке, стукотил костылями и то попрекал Карасулина — «проглядел контру под носом», то последними словами поносил себя за «политическую близорукость», а то начинал горячо и сбив-

чиво излагать планы — один другого невероятнее — немедленного разгрома мятежников.

Онуфрий сидел, поставив между ног винтовку, курил и молча слушал Ромкину трескотню. Зажав в зубах ноготок мизинца, Ярославна уставилась невидящим взглядом в угол и тоже молчала: онемела, потрясенная случившимся. На чистом лбу девушки прострочились еле заметные морщинки, над переносьем меж бровями прорезались две вертикальные черточки.

— Погоди, Рома,— просительно-ласково обратилась она к неистовствующему парню, и тут же оборвался беспорядочный стук Ромкиных костылей, мгновенно замер там, где застиг его голос Ярославны.— Посиди. Подумай. Криком не поможешь. Виновных искать — попусту время тратить. Все мы виноваты. Партия на нас положилась, крестьянские судьбы доверила, а мы? Стыдно самое себя...— закрыла лицо ладонями, умолкла.

Ромка скакнул к табуретке, неслышно сел. Вытвердела такая оглушительная тишина, что слышно было потрескивание Онуфриевой самокрутки.

— Онуфрий Лукич прав.— Ярославна отняла руки от лица, встала.— Надо уходить. Но как ты на костылях поскачешь?

— Возьмет коня у отца. Не даст — бери моего. Только по-быстрому. Не знаешь, откуда выстрелят...— Онуфрий вдруг привстал и строго погрозил пальцем Ромке.— Не дозрел ты еще, парень, зелен. Знаю, о чем думаешь. Запрягу, мол, сейчас Серко в кошевку и махну с Ярославной. Не смей! Себя и ее сгубишь. А вы оба нужны Советской власти. Вам эту беду перемалывать... Езжай верхом, вроде на водопой к проруби. За лешаковским овином тропка есть, ларихинские ребята в школу сюда бегают. Добрая тропа. Выберешься на нее — скачи во весь мах. Да через Лариху не езжай. Пойми, шальная голова, у Маркела с Пашкой рука не дрогнет. В землю живьем вобьют, по жилочке растянут... Ярославна пойдет одна, через Малиновый буерак. Маленькая, верткая, прошмыгнет — не заметят. По буераку накатана дорожка на лесосеку. По ей за Лариху на большак выйдет. Там и встретитесь. Никаких сборов. Ни одной минутки. Краюху за пазуху — и ходу. Без оглядки. Что есть духу... У-ум,— скривился, трахнул кулачищем по колену.— Не думал, что коммунисты от кулачья будут сигать. Не ду-мал! Оттого и бежим! — Припечатал литую пятерню к столеш-

нице так, что лампа подпрыгнула и едва не перевернулась. Подхватил ее, попридержал. Поднялся.— Пошел я. Гасите свет и сей миг расходитесь задами. Остальных сам предупрежу. Прощайте, ребята. Может, не свидимся. Случится помереть — не марайте себя трусостью, пощады не просите. Прощайте...— Сдернул шапку, бессильно уронил крупную голову и ушел, держа шапку в руке.

Только глянув в искаженное болью, разом постаревшее лицо Карасулина, до конца поняла Ярославна, какая беда нависла над ними. Она прошла через гражданскую войну, знала ее жестокие законы, и сейчас, вмиг подобравшись, девушка, как старшая младшему, скомандовала Ромке:

— Пошли.

— Постой. Ну чуть-чуть.— Ромка взял ее за руку, с усилием подбирая слова.— Я бы никогда не сказал. Сам понимаю... Но тут такое... Может, навсегда. Не свидимся. Хочу, чтоб знала... Не серчай только. Люблю тебя. Люблю... Не знаю, как сказать. Нет таких слов. Просто лю...— голос надломился.

Острая жалость, смешанная с материнской нежностью, вспыхнула в душе Ярославны. Подбежала к парню, прижала его голову к своей груди.

— Ромка, милый... Зачем так? Ты замечательный друг. Я даже не знаю... Я просто никогда не думала об этом... Ну, успокойся, хороший мой.

Она легонько и торопливо гладила его волосы, ласково говорила какие-то бессвязные, хорошие слова, а Ромка млел. Понимал, что жалеют его, увечного, и оттого еще больше раскисал, негодовал на себя, но не мог совладать, как воск, таял от ее близости.

Протяжно и жалобно взвыла собака на улице. Ярославна дрогнула, замерла, вслушиваясь. Ромка глянул в ее напрягшееся, встревоженное лицо и забеспокоился.

— Прости меня,— смущенно пробормотал.— Ненароком. Честное слово, не хотел. Само получилось...

— Полно, Рома. Одевайся.

Во дворе он схватил ее за рукав, обнял за плечи, жарко зашептал:

— Едем вместе. Куда ты одна? Ночь. Дороги не знаешь. Сейчас запрягу, махнем по Малиновому буераку. Зимник там — шаром покати! Серко любого черта обскачет. В случае чего, отстреляемся.

Поначалу Ярославна наотрез отказалась и еще при-

стыдила, пригрозила, что скажет Карасулину, но Ромка не отставал, уговаривал все напористей, и она стала уступать, отпекивалась неуверенно и уже не бранила, а почему-то благодарила его за заботу.

— Жди. Я пулей,— выдохнул Ромка и скрылся за калиткой.

Постояла немного Ярославна, опомнилась и ужаснулась своему согласию. Выбежала за калитку, а Ромка отмахал уже пол-улицы — не догнать. Уйти? Он прискачет, станет искать, без нее не уедет... Подосадовала, побранила себя и воротилась в школу.

Тут ее и подловил Маркел Зырянов. Прихватил с собой квартирную хозяйку Ярославны, та и постучала в дверь комнатки, где затаилась девушка. Не дожидаясь отклика, проговорила сочиненную Маркелом фразу:

— Ярославна Аристарховна, голубушка, бегите шибче к Онуфрию Лукичу, дочка его, Леночка, за вами домой прибегала.

Распахнула дверь Ярославна — и сразу в лапы Маркела. Опомниться не успела, как ее обезоружили и препроводили в подвал.

Ромку Кузнечика схватили еще раньше, прямо во дворе, когда он уже запряг Серка и собрался выезжать.

Все вышло ошеломляюще просто. В калитку громко постучали. Ромка затаил дыхание и не отозвался. Застучали громче.

— Кто?! — крикнул Ромка, нащупав наган в кармане.

— Дед пыхто,— долетел насмешливый голос соседа.— Чего заперлись спозаранку? Отец дома?

— Дома,— ответил успокоенный Ромка и, сдвинув засов, отворил калитку.

Из-за спины соседа вынырнули двое, сшибли с ног, отняли наган и повели.

4

Мороз высушил воздух до стеклянного звона. Вечер чуть подсинил. Расплылись, сместились контуры домов, деревьев, задранных в небо колодезных журавлей.

В центре села, где-то возле волисполкома, встревоженно и пьяно гомонили люди. В сизую тишь медленно остывающей деревни впивались вдруг пронзительные крики, а иногда будто специально для того, чтобы не дать засто-

яться тишине, гремел выстрел, разламывая густеющий сумрак, пугал собак, и те начинали лаять — глухо и бессмысленно, с нутряным тоскливым подвывом.

Емельянов бесшумно приоткрыл калитку, встал в проеме, долго и чутко вслушивался в голоса затихающей деревни. Тревожно и зябко было на душе от предчувствия близкой беды. Емельянов словно раздваивался. Одна половинка жила сегодняшним днем — мучилась, и трепетала, и искала щель, в которую можно было б укрыться от кружащей над головой беды, другая — отшатнулась от мрачного сегодня и уходила от него все дальше и дальше в прожитое, которое рисовалось удивительно прекрасным, неповторимым.

Плохо ль жилось ему без этой милицейской службы? Сам себе был и господин и начальник. Мужики почитали, первыми руку тянули, уважительно навеличивали мастером. И было за что: более искусного столяра в волости не сыскать. С такими руками — жить не тужить. И надо же было послушаться Онуфрия, связаться с милицией? «Господи, воистину дурак»,— сказала тогда жена. Справедливо. Умна баба. Молода, красива, рукодельница, все в дом. На поглядку скромница, тихоня из тихонь, глаз поднять не смеет, а ночью...

Легкие торопкие шаги за спиной потревожили Емельянова. «Жена,— и обрадовался, и расстроился пуще прежнего.— Начнет опять свою песню...» Та подошла, прижалась мягким боком, вздохнула.

— Не томи себя, боляна моя. И этого коммунара не слушай. Чего тебе бежать? От кого хорониться? Пускай сам Онуфрий прячется. У него нелады и с тестем и с Маркелом Зыряновым. А тебе что? Разве ты кого-нибудь забижал? Уедем к сестре. Переждем, поглядим, что издеется... Бабка подомовничает.

— Нельзя так. Ветер в зад — я солдат, ветер в грудь — кто-нибудь... В роду Емельяновых таких не бывало. Должон я власть упредить, что контра измену сделала. Может, и в самом Яровске такая каша заваривается.

— Зачем тебе это? Ну, как перехватят в пути, иль в Яровске власть сменилась? Сгинешь ни за что. И меня осиротишь.— Дрогнуло плечо Емельянова. Положила на него голову и еще горячей, еще просительней заговорила: — Ступай сейчас не мешкая к ним...

— Это куда? — Емельянов слегка отстранился от жены.

— «Куда, куда»,— передразнила она, сердясь.— К Корикову.

— Вот так удумала, голова садова. Отродясь с кулацкой сволотой не якшался, товарищев не предавал.

— Знаю, какой ты у меня.— И снова прильнула к нему и затянула ту же песню. Только с другого тона. Ты-де и смелый и честный, но зачем головой рисковать без нужды. Мало ли что Онуфрию показалось, мало ль чего ему вздумалось. Сам-от не поскакал с доносом, а тебя гонит. Не один ты коммунист в волости, есть и помоложе, побойчей. Надо бы выждать, разглядеть толком, что к чему, потом решаться. Не зря ж говорят: поспешишь — людей насмешишь. Отсиделись бы у сестры...

Она даже всплакнула. Каждая жилочка у Емельянова в струну вытягивалась. Уж так хотелось ему приголубить жену, еле сдержался. Тут только увязи коготок — пропал... Говорил с ней нарочито жестко. Казнился, мучился, но на своем настоял, повез черную весть в Яровск.

Петлять к зародам, а оттуда на Веселовский зимник, как советовал Онуфрий, Емельянов не стал, махнул прямиком через село на большак и погнал к Яровску. Отскакав версты три, сдержал коня, прислушался — тихо. Стряхнул тревогу, устроился в кошеве поудобнее. «Пуглив Карасулин. Теперь до Яровска...» — И недодумал: за спиной возник отдаленный тонкий поскрип полозьев. Емельянов замер, как лягавая на стойке, и вздрогнул: скрип стремительно приближался. Хлестнул коня кнутом и поскакал. А когда оглянулся, увидел несущегося вскачь известного всей округе белого зыряновского жеребца — грудастого и длинноногого. Вспомнил совет Онуфрия: не ждать, пока нападут, нападать первым. Нащупал в кармане наган. «А вдруг не за мной? Мало ль куда...» Пока гадал, белый жеребец настиг, стал обходить, легко и быстро отмахивая по колено в снегу. «Стреляй!» — приказывал себе Емельянов, тиская рукоятку нагана, и не стрелял... Из поравнявшихся саней выметнулась темная фигура, коршуном свалилась на Емельянова. Только тогда тот нажал на спусковой крючок. Что-то тяжелое клюнуло его в голову и вышибло сознание.

...Сначала Емельянов уловил отдаленный гул, который то наплывал из мрака, то снова откатывался в мягкую чёрноту. В пробуждающемся сознании глубокой и острой занозой запыло: «Что это? Где я?» А гул вдруг стал

рассыпаться, распадаться на отдельные внятные слова и фразы. Емельянов уже угадывал говорящих.

— Кажется, пришел в себя ваш пленник? — долетел певучий бархатный голос Корикова.

— Оббыгается, не дворянская кровь,— уркнул рядом Пашка Зырянов и тут же поддал в бок Емельянову так, что тот метра полтора проелозил по полу. «Был бы в сапогах, ребра выкрошил»,— мелькнуло в сознании, и Емельянов не сдержал стон.

— Вы... как вас там, поаккуратней! — незнакомый властный голос на миг примял другие голоса.

— Все одно сдохнет,— буркнул Пашка.— Чуть башку мне не продырявил.

«Жаль, не продырявил. Дурак»,— Емельянов открыл глаза. Его тут же подхватили, подняли, поставили на ноги. В затылке что-то с оглушающей болью стронулось с места, пол встал дыбом, и Емельянов рухнул бы навзничь, если б не подхватили чьи-то сильные руки. Мешком подтащили к стулу, швырнули на сиденье. Когда боль в голове поутихла, он увидел стол под зеленым сукном. Оно показалось ослепительно ярким — зеленым лучом секануло по глазам, и Емельянов поспешно зажмурился, а вновь разомкнув веки, увидел несколько знакомых крестьян и Пашку Зырянова с винтовками. Хмельные Пашкины глаза сочились злобой.

— Ну-с,— Кориков пустил по лицу улыбочку и тут же упрятал ее в холеный клок бороды, немножко нервно и оттого торопливо потер кисти рук, дважды прихлопнул в ладоши.— Пора начинать. Первое заседание челноковской повстанческой военно-следственной комиссии объявляю открытым. Прежде всего приятная новость. Девять из одиннадцати волостей нашего уезда изгнали комиссаров и установили крестьянское самодержавие. Думаю, к утру Яровск будет в наших руках. Северск окружен повстанческими отрядами. Качнулась матушка Сибирь...— Поймал угрюмоватый, тяжелый взгляд нездешнего бородача, улыбнулся, отвесил полупоклон.— Простите, гос... товарищ Добровольский, не могу сдержать радость. Но понимаю, понимаю. — Оборонительно потряс перед грудью растопыренными пятернями рук.— Начнем. Итак, слушается дело бывшего начальника Челноковской волостной милиции коммуниста Емельянова. Будем ли заслушивать обвинительное заключение?

«Это обо мне»,— не сразу сообразил Емельянов, но ни-

как не мог сосредоточиться на словах Корикова: мешала тяжелая боль в голове и ватная непослушность мысли. Сидящие за столом о чем-то заспорили, громко переговаривались расположившиеся вдоль стены мужики, но слов их Емельянов не понимал. Слова облетали его с разных сторон, сбивались роем и бестолково кружили над головой, раздражая, угнетая. Емельянов силился разогнать назойливый словесный рой, выстроить этих жужелок в какой-то порядок и осмыслить слышимое, но не смог и отказался от непосильной затеи.

Его внимание привлек бородач. Такой бородищи Емельянов не видывал: концы ее можно было за пояс заткнуть, а ширина — лопата. Незнакомая борода. И цвет редкостный, как прошлогодняя солома. Откуда этот? Кто?.. «А Кориков-то, похоже, за главного тут». Эта мысль пронзила Емельянова, и он обрел вдруг способность понимать окружающее и связно думать. «Вчера Кориков выступал на заседании волисполкома, пел во здравие Советской власти, а сегодня... Проглядели. Онуфрий-то как же... три аршина в землю видит, а тут... Ах, гад ползучий»... В нем исподволь, капля по капле копилась ненависть, и чем больше ее становилось, тем глуше делалась боль, трезвел рассудок. Емельянов поднял голову, все острей вглядываясь в сидевших за столом. Неожиданно напоровшись на этот взгляд, Кориков поспешно отвел глаза и, подтолкнув в бок Боровикова, скомандовал:

— Начинайте допрос.

Боровиков поднялся, вышел из-за стола, остановился подле Емельянова, угрожающе скомандовал:

— Вста-ать!

Пашка Зырянов шагнул было, чтоб подхватить и поставить на ноги Емельянова, но тот встал сам, облизал вздувшуюся разбитую губу, криво ухмыльнулся и неожиданно твердо и зло сказал:

— Чего орешь? Я к тебе в батраки не нанимался.

— Заткнись! — Боровиков сунул кулак под нос Емельянову.— Говорить будешь, когда спросят. Не то вырву язык вместе с потрохами. Зачем поехал в Яровск? Отвечай!

— В уездную милицию вызывали. Утром чтобы был. Вот и...

— Брешешь! — перебил Боровиков.

— Тогда не спрашивай.

— Позвольте, позвольте,— Кориков пощипал клины-

шек бородки.— Допустим, что так и есть, поверим, будто вас вызывали. И что же бы вы сказали своему начальству о челноковских событиях?

Наверное, надо было придумать что-нибудь, попытаться вывернуться, но у Емельянова челюсть дрожала от ненависти к Корикову, и к этому краснорожему борову, сопящему рядом, и к Пашке, волком зыркающему по сторонам. И, с трудом сглотнув застрявшую в горле горько-соленую слюну, Емельянов ответил:

— Что есть, то и сказал.

— А все-таки? — настаивал Кориков.

— Сказал бы, что ты — предатель, контра, восстание против Советской власти поднял.

Надо было говорить не то, совсем не то, постараться как-то смягчить, спрятать пылающую внутри ненависть, прикинуться простачком-дурачком, всплакнуть даже, сказать, что, мол, насильно сделали начальником милиции, что в Яровск послал Карасулин, да мало ли чего еще можно было наговорить, только б отвлечь от себя беду, но Емельянов не сделал этого: каким-то первозданным чутьем он угадал свою судьбу и поначалу не ужаснулся, а вознегодовал, с мстительной радостью хлеща едкими, жалящими словами сидевших перед ним «судей». Прежде он никогда не выступал с речами ни на собраниях ячейки, ни на крестьянских сходах и в милиции обходился без длинных речей, а тут его будто прорвало:

— Какая ты комиссия? — уперся он взглядом в Корикова.— Что ты за суд? Мерзавец ты и буржуй. Руки-то, руки-то не прячь. По ним да по морде сразу видать, что ты за трудяга. Мужицкий захребетник ты... На нашей хребтине в грамотеи вылез, по нашей темноте в начальство вперся и теперь на мужицком загорбке уселся. «Судья». Паразит ты...

Кориков смешался и не сразу сообразил, что можно заставить Емельянова замолчать, а Боровиков сообразил, но ему мило было, как честили выскочку поповича. «Так ему, так, сади меж глаз»,— мысленно радовался он, краем глаза наблюдая за лицами присутствующих крестьян. Боровиков твердо верил: когда накрепко установятся старые порядки, Корикову не сдобровать, припомнят ему, как подслуживал Советам за теплое местечко. «Привык сыто жрать да мягко спать, за то какому хошь богу служить станет».

— Прекратить! — громко и властно рыкнул бородач.

И тут же Пашкин кулак пал на темя Емельянова и выбил у того землю из-под ног. Емельянов рухнул лицом вниз, но сразу стал вставать.

— Чего над мужиком галитесь? — долетел чей-то голос.

Кориков встал и поспешно, глотая слова, зачитал приговор:

— «...За бесчинства, ограбления и притеснение трудового крестьянства, за прислуживание кровопийцам-комиссарам начальника Челноковской волостной милиции коммуниста Емельянова приговорить к смертной казни... Начальнику конвойной команды Зырянову предписывается привести настоящий приговор в исполнение».

«Привести в исполнение... Предписывается привести... В исполнение... Исполнение...» — пьяно каруселило в сознании Емельянова, пока он выходил из волисполкома и, пошатываясь, брел, подгоняемый Пашкой Зыряновым и его ближайшим дружком-собутыльником Димкой Щукиным, племянником челноковского богатея Максима Щукина. Приятели были крепко в подпитии, вышагивали вразвалочку, покуривали, перешучивались, хохотали раскатисто и зычно, и оттого их путь до самой реки сопровождался заполошным собачьим лаем.

Емельянов верил и не верил в реальность приговора. Он никогда не убивал, не убивал, не присутствовал на казни и теперь недоумевал, зачем и куда его ведут, и чем дальше от центра уходили они, тем ярче разгорался в душе огонек надежды на какое-то чудо: ведь расстрелять его могли во дворе исполкома, в любом огороде, что за нужда тащиться через все село?.. Только начав мерзнуть, Емельянов сообразил, что он без шапки и без рукавиц. Поднял воротник полушубка, сунул руки в рукава.

— Во, зараза, боится уши отморозить,— невесть с чего вдруг вызверился Пашка и рванул воротник емельяновского полушубка так, что тот затрещал. Поддал плечом в спину, сшиб Емельянова с ног и, не дав ему опомниться, принялся пинать и топтать, молотить окованным прикладом, из самого нутра выхаркивая хриплые матерки. Емельянов поначалу вставал на четвереньки, закрывал голову руками, что-то кричал, но потом затих под ногами парней, лежал неподвижный и мягкий, как мешок с мякиной, а Пашка и Димка разбежавшись пинали и пинали этот живой куль, тыкали в него прикладами до тех пор, пока не задохнулись, не облились потом.

— Сдох, поди, собака? — умаянно спросил Димка, доставая кисет.

Пашка ухватил Емельянова за волосы, оторвал от красного снега разбитое лицо, приподнял и с размаху вбил его в хрустнувший ледок.

— Дышит, стерва. Бери за ту руку.

Они волоком протащили его до проруби. Отдышались, перекурили, потом стали неумело, отрывая пуговицы, раздевать.

Он лежал в одном белье на самом краю проруби, в которой челноковцы поят скотину. Холод вернул ему сознание, и первое, что увидел Емельянов, была яркая трепетная красная звезда, которая горела совсем рядом на темной живой воде. И вдруг здесь же, на воде, показалась и пошла вглубь маня, жена его. Его пронзила догадка: она уходит навсегда. Нельзя отпускать ее. Теперь-то он все понял и заспешил переиначить случившееся, повернуть судьбу по-иному. Еще не поздно. Можно...

— Стойте! Слушайте...

Ему казалось, он орет на всю вселенную, на самом же деле ни Пашка, ни его дружок не разобрали слов Емельянова.

— Ожил, собака,— хищно уркнул Пашка.— Теперь самый раз. Давай.

Они подхватили Емельянова за ноги, и тот раззявленным в немом страшном крике ртом упал прямо на звезду...

Парни окунули Емельянова до пояса, подержали немного в воде, вынули, дали ему вздохнуть, снова окунули — и так проделали несколько раз, потом выпустили тело из рук, и оно с тихим всплеском ушло под воду.

Через минуту черная вода в проруби снова стала гладью и на ней опять появилась красная трепещущая звезда.

Пашка раздул ноздри, долго принюхивался к чему-то. Оскалился в недоброй, звероватой улыбке.

— Закинем шмутки ко мне в амбарушку — и айда к емельяновой бабе. Погалимся над ей досыта. Теперича наша взяла...

5

В тот день Прохор Глазычев проснулся очень поздно. Голова раскалывалась от похмельной боли, во рту загустела вязкая горечь, тошнота стояла у горла. Медленно,

боясь резко пошевелить головой, Прохор встал, в исподнем выглянул в кухню. Теща, каждое утро приходившая управляться с хозяйством, давно сделала все необходимое и убралась восвояси.

Прохор не любитель спиртного и парнем-то не часто напивался, а тут вдруг заколобродил: целую неделю не просыхал. Все из-за Маремьяны. Ох, Маремьяна, Маремьяна... Девкой была — покою Прохору не давала, того гляди, такую кашу заварит, что семь дней потом хлебай с чертями в обнимку — не расхлебаешь. И женой став, успокоения не принесла. Сама не знала, какое через минуту коленце выкинет. Прохор терпел. Ворчал, грозился, но терпел: любил. Да как! Не любовь — колдовство дьявольское, по рукам и ногам связало, хочешь и думаешь одно — делаешь другое. Сам себе дивишься, сам себя не узнаешь. Оттого и ударила измена обухом меж бровей...

В селе давно поговаривали, будто в Северске у Маремьяны объявился полюбовник, да не кто-нибудь, а сам председатель губчека. Поначалу Прохор крепился, не впервой слышал бабьи наветы на Маремьяну и не придавал им значения: «мало ль чего наплетут по зависти», а тут вдруг поверил слуху, пустил в сердце ревность, открыл душу тоске. На людях еще как-то крепился, порой и впрямь забывался, а ночью покоя не находил. Как лунатик бродил по пустой избе, слушал тоскливый скрип половиц, вой ветра в трубе и нещадно переводил самосад. Кончил тем, что, зазвав сына Флегонтова Матвея, продиктовал ему письмо к свояку в Северск, в котором просил попроведать жену, привет ей передать и разузнать о ее житье-бытье.

Ответное послание свояка сутки тискал в кармане, разглядывал, оглаживал, сгорая от нетерпения, и, лишь выпив, вновь изловил на улице Матвея, затащил к себе, одарил орехами и попросил прочесть ответ. Свояк, призвав в свидетели всех святых, прописал о Маремьянином полюбовнике, об их тайных ночных свиданиях.

— Ты уж никому, пожалуйста, никому,— униженно бормотал Прохор, выпроваживая из дому маленького грамотея.

— Да что вы, дядя Прохор.

— Смолчишь — ужо одарю тебя. Такой гостинец привезу из Северска.

Взбеленившийся Прохор и впрямь едва не ускакал в Северск, чтоб расправиться с изменницей, да потом вспом-

нил, что сват-то прописал, будто Маремьянина сестра с мужем воротились из Перми и сама Маремьяна не сегодня-завтра прибудет в родное село. С того письма и запил Прохор.

Пил с кем попало, но чаще с дальним родичем, церковным звонарем и сторожем — бобылем и выпивохой Ерошичем. Был тот ростом невелик, возрасту неопределенного, с лицом будто блин намасленный и глубоко посаженными глазками. Перепить Ерошича в Челноково мало кто мог, и силой звонаря бог не обидел. И хотя жил Ерошич одиноко и замкнуто, на отшибе от сельчан, однако лучше его вряд ли кто знал челноковские новости: пути такой завидной осведомленности оставались никому не ведомы.

Ерошич первым, без недомолвок и намеков, высказал Прохору в глаза горькую правду о Маремьяне, причем не осудил женщину, напротив, оправдывал ее, говоря: «Такой раскрасавице писаной нужон княжич аль лыцарь, а не квасной мужичонко». Прохор кинулся с кулаками на Ерошича, да тот играючи скрутил ревнивца, притиснул к стене так, что у мужика ребра затрещали...

Прохор тяжело опустился на скамью, подставил ладонь под бессильно падающую больную голову и, морщась, стал припоминать, чего еще говорил вчера захмелевший Ерошич. О каких-то близких переменах, не то переворотах, черт его знает, о знаменье небесном. «Вот ботало! Удумал какой-то «союз креста и плуга». Что он еще лопотал?» Но больше память ничего не сохранила.

Посреди стола темнела большая кринка. Прохор дотянулся до посудины, заглянул, обрадованно крякнул. Догадливая теща принесла огуречного рассола. Тихонько посапывая носом, Прохор медленно, с наслаждением тянул мутную кисловато-соленую жижу, и ему казалось, что с каждым глотком легчает голова и крепнет тело.

Набат сорвал Прохора со скамьи. Торопился так, что едва лбом косяк не вышиб. Горела ссыпка. «Пропали семена», — похолодел Прохор. Уже подбегая к пожарищу, запоздало отметил, что не все спешат к ссыпке, иные несутся к центру села будто сорвавшиеся с привязи. Тут началась пальба из ружей и охота за продотрядчиками. Вместе с ватагой мужиков Прохор погнался за молоденьким бойцом, но когда того настигли и стали избивать, откуда-то вынырнувший Ерошич ухватил Прохора за руку, вытащил из свалки и уволок в сторожку, приговаривая:

«Допрежь, чем прыгнуть в яму, прикинь, как из ее вылезть». В сторожке Прохор немного поостыл, и Ерошич высказался более определенно: «Кровь только кровью смоется! Не спеши закладывать душу Маркелу Зырянову. Из кулака какой душеприказчик? С потрохами продаст...» Потом они вместе были на сходе подле волисполкома, дивились выходке Онуфрия Карасулина, слышали его перепалку с Кориковым. Из-за семян Прохор не убивался: под сараем кой-чего припрятано и родичи, бог даст, подсобят.

Вечером снова очутилась в хибарке Ерошича. После третьего стакана самогонки Ерошич огорошил Прохора: «Маремьяна дома сидит, а ты бражничаешь».

Он бежал быстрей, чем к горящей ссыпке. Надо было хоть на миг приостановиться, перевести дух, смочить снегом пересохший рот, но неведомая сила гнала и гнала его вперед. Заплетались ноги, не хватало воздуху, сердце молотило по ребрам барабанной дробью, а остановиться, хотя бы замедлить бег — не мог. Не ревность, не жажда мести гнали его к Маремьяне — жалость. Жена виделась напуганной, одинокой, сжавшейся в темноте в ожидании неотвратимой расплаты. И чем меньше оставалось до родного порога, тем сильней становилось желание пригреть, утешить Маремьяну.

Перелетел порог сенок и остановился, будто под ногами преисподняя разверзлась. Обалдело помотал головой, зажмурился, зажал ладонями уши. Нет, не померещилось — Маремьяна пела. С болью и жгучей тоской рвущимся голосом выводила:

Милый мой,
Любимый мой,
Разлучили нас с тобой...

В доме мужа, рядом с мужем она тосковала о том — бесстыдно и откровенно... В душе Прохора полыхнула злоба. Все недоброе, что долго копилось в нем, вдруг всплеснулось, замутило разум, одурманило, он задрожал от жгучего желания отомстить, покарать неверную и, свирепо рванув дверь, влетел в комнату.

Голоногая, не остывшая еще от банного жара, она стояла перед зеркалом в тонкой холщовой сорочке. По розоватым округлым плечам струились распущенные волосы. Сорочка облепила горячее тело, оттенив литые ядреные бедра и глубокую ложбинку вдоль спины.

Маремьяна увидела мужа в зеркале, но не оборвала песню, не переменилась в лице. Медленно повернулась к нему, допела:

Разлучили, развели
По обе стороны земли...

— Чего уставился, ровно я с того свету? Пришла вот. Прогонишь — уйду, не прогонишь — останусь.

Ах, не гони ты, не гони
Неверную изменщицу...

Прохор знал — это ни к чему, и все-таки заглянул в шалые глаза и содрогнулся: там его не было. Даже сейчас она думала не о нем, пела не для него. Тогда с размаху ударил он ладонью по прекрасному лицу, ударил несильно и, наверное, не очень больно, но неловко, задел губы — в уголке рта вскипел красный пузырек и, лопнув, алой змейкой медленно сполз на пухлый подбородок. Глаза Маремьяны только на миг затмились обидой и болью, а потом вспыхнули озорной решимостью. Лизнув разбитую губу, сглотнула подступившие к горлу слезы и, глядя прямо на мужа, громко запела:

Бей меня, бей меня,
Бей меня, неверную...

Мстительно ухмыльнулась, пожалела взглядом. Это взбесило Прохора, и он с размаху, сильно ткнул кулаком в высокую, упругую грудь. Женщина качнулась. Приспустила вырез на груди, запрокинула голову и тихо-тихо помертвевшими губами:

— Бей, Прошенька... Шибче. Насмерть. Возьми вон ножик. Он острый. Меть сюда.— Показала под левый сосок.— Чем так, лучше сразу...

На длинных ресницах качались слезы, полные губы вздрагивали, кровавая змейка сползла на выгнутую шею.

— Что же ты? Бей! Чтоб сразу в голове темно, чтоб не видать твоих бараньих глаз, чтоб не попрекал, не прощал. Бей...

— Маремьянка,— Прохор задохнулся. Упал на колени, обнял ее ноги, прижался к ним щекой.— Маремьяна. Не серчай. Не по злобе. С обиды. Сдуру. Оговорили тебя. Наплели...

— Ничего не наплели. Ничегошеньки. Все правда. Святая. Как перед богом, перед тобой...

— Молчи,— прилип дрожащими губами к ее коленям.— Молчи...

А за окном крики, лошадиные ржания, выстрелы. Там беснуется вставшая в дыбы жизнь, топча и корежа мужицкие судьбы...

Глава вторая

1

Ну что, коммунист Карасулин, пробил и твой час? Как ни гнула, бывало, как ни ломала тебя жизнь, а всегда выходило по-твоему. Везло тебе, Онуфрий Лукич, еще как, хоть и любил ты риск, любил такие крутые повороты, что либо конь с копыт, либо кошева вверх полозьями. Все бы тебе по жердочке через пропасть, на стремнину, в водоворот. Иной раз холодела спина со страху, а в сердце — первобытная шалая радость. Вот и уверовал в негасимость своей счастливой звезды, в бесконечное везение. Думал, век будешь своими руками творить собственную судьбу. Посмеялась она над тобой, Онуфрий Лукич, подставила подножку, насторожила западню. И ведь вроде предвидел это, а не свернул, другую тропу не пашарил...

В ту ночь, когда убили Емельянова, схватили Ромку Кузнечика с Ярославной, за Карасулиным не пришли. Всю ночь ждал он крадущихся шагов под окном, стука в дверь — не дождался. Силился постичь вражий замысел — не мог. Иногда накатывало желание: краюху за пазуху, винтовку за плечо — и в лес. Не забыл еще партизанские тропки, знает в округе все охотничьи заимки. Но приходил на память последний разговор с Чижиковым, рискованное поручение председателя губчека, захлестывала тревога за оглушенных, взбаламученных мужиков, и Онуфрий гнал искушение. «Спать»,— приказывал себе и вроде бы засыпал, но тут же просыпался и снова вглядывался, вслушивался в темноту. Кабы знал, что лучшие его товарищи валяются на соломе в волостной кутузке, не прилег бы Онуфрий Лукич, еще разок поставил бы голову на карту, поиграл в жмурки со смертью. Но верил Карасулин, что боевые друзья послушались его, сделали,

как велел, и давно вне опасности. Не слышал он предсмертного немого вопля Емельянова, стонов и криков его жены, над которой до свету бесстыдно и страшно глумились озверевшие от крови и самогону Пашка с Димкой, не слышал яростных проклятий жестоко избитого Ромки Кузнечика.

Верно угадав смысл происходящего, Онуфрий Лукич всю ночь люто казнил себя за то, что был мягок и непоследователен в борьбе с затаившимися врагами: выпустил из рук Боровикова, не выследил Маркела Зырянова, не обезвредил вовремя Корикова. Всю вину за совершившееся Карасулин без колебаний принимал на свои плечи. Непосильная, нечеловеческая тяжесть давила, гнула, и чтобы устоять, не рухнуть под этакой глыбищей, он напрягал все силы — духовные и физические.

Угадывал Онуфрий: неспроста не тронули его ночью, не винтовки испугались, не шуму ночного, не жену с дочкой поберег волчина Боровиков. А вот чего хотят от него враги, чего замыслили — Карасулин предугадать не мог, и это было мучительней всего.

Чуял Онуфрий Лукич — скользит и катится он под уклон нежданно и круто перекосившейся жизни. Не за что уцепиться, не на кого опереться. Впереди — ледяной мрак неведения. Несет, несет его взбесившаяся судьба сквозь гром и ливень, по непроглядной черноте. Куда? Ни седла, ни поводьев, елозит на мокром и скользком крупе, цепляется за гриву, за влажную шерсть и сползает, сползает. Что страшней? Пасть под ноги разъяренной судьбы иль скакать в неведомое?

Да, Онуфрий Карасулин, согнула тебя судьба калачиком, завязала петелькой и вместо счастливой звезды повесила над головой топор...

2

За ним пришли поздним утром. И кто? Безоружный и пьяненький Константин Лешаков, прозванный Иисусом Христом за сходство с иконописным ликом сына божьего.

— Здорово ночевали,— хоть и громко, но как-то неуверенно и виновато выговорил Лешаков. Неловко снял шапку, бестолково потоптался у порога, покашлял.

— Садись почаевничаем,— пригласил Карасулин. Он заснул на рассвете, проспал ранний завтрак и теперь

нехотя в одиночку жевал холодный капустный пирог, запивая крепким морковным чаем с молоком.

— Да я уже... с утра пораньше...

— Чай не помеха ни слезам, ни смеху. Садись.

Молча тянули из блюдечек горячую жидкость. Крякали, обтирали испарину со лбов и шеи. Карасулин выложил на стол кисет. Покурили, продрали мозги крепчайшим самосадным дымом. Хозяин заглянул в еще не очистившиеся от хмеля черные иконописные глаза гостя, спросил:

— С чем пожаловал?

— Век бы с этим не жаловать. За тобой послали. Подняли спозаранку, приволокли в исполком — будешь, грит, оперативным дежурным при штабе...

— Каком штабе?

— Черт бы его знал, что за штаб объявился. Все бегают, командуют, стучат кулаками, грозят винтовками. На дверях приказ вывешен: мужики подчистую мобилизуются на войну, за отказ — расстрел.

— И ты напугался? — В глазах и в голосе Карасулина ядовитая насмешечка.

— Напугался,— признался гость. Оглянулся, понизил голос.— Емельянова ночью сказнили...

— Ка-ак? — привскочил Карасулин. Растопыренной пятерней скребанул по скатерти, и та поползла по столу вместе с самоваром и чашками.

— Пашка Зырянов с дружком, Димкой Щукиным, порешили. Сперва в снег втоптали, опосля, ишо живого, в прорубь головой. Потом бабу его всяко... сволочи. Из петли ее соседка вынула. Не в себе навроде стала...

— Мать-перемать! Кулачье беломордое...

— После обедни, бают, коммунистов начнут судить. Поодиночке переимали. Хотели ночью втихаря, как Емельянова, да передумали. Теперь вот суд затевают.

— И Ромка сидит?

— И он, и Пигалица. Почитай, все там...

Карасулин долго тер побуревший лоб ладонью. «Неужели не послушали? Не могла Ярославна... Выходит, один я... Хотят от своих отщепить или... Чего-то они задумали...» Отлепил ладонь ото лба, глянул на Лешакова.

— Как же ты в песью стаю угодил?

— Попал волк в собачий полк — лай не лай, хвостом виляй. Тут не шуткуют. Сам сегодня увидишь, как твоих товарищей казнить станут.

— Не даст народ.

— Народ... С утра полдеревни косых. Шалаются с ружьями. Песни базлают. В церкву было с пьяными харями сунулись, да отец Флегонт турнул, кубарем с паперти летели.

— Кто у них за главного? — спросил Карасулин.

— Похоже, что ишо не поделили кость. Кориков вроде за попа, Зырянов и Боровиков — дьяк с псаломщиком, а один пепашенский, бородатый такой, видать, и есть сам господь бог. Айда, Онуфрий Лукич, не то пришлют Пашку с винтовкой.

— В самый бы раз вышло. Отвернули б ему башку, одним гадом меньше. Аль ты б за него?

Лешаков погладил смоляную христосовскую бородку, пощекотал кончики усов, опустил редкой чистоты глаза и заерзал на скамье, будто та вдруг накалилась и стала припекать зад.

— Не ски погами, пеленку не подстелю, — сурово выговорил Карасулин, царапая Лешакова колючим, жестким взглядом. — Приспело время поворачивать. Либо вправо — со всей этой сволотой супротив своего брата мужика, либо влево — с коммунистами и всеми пролетариями. За каку вожжу тянешь? Выкладывай начистоту. Не кулак ведь, на чужом горбу не езживал, соседскими руками костер не разгребал, сам себя кормишь. И не трус. Георгия с войны принес... Неуж поверил, что Боровиков с Кориковым Советы сковырнули, мертвое оживили? Четырнадцать держав супротив нас перли, все ваши благородия, светлости и сиятельства с ими — и пинок в зад получили. А эти-то...

— Дай оглядеться, Онуфрий Лукич. С разбегу только петух на курицу скачет. Нам эк-то негоже. Покумекать надо.

— Кумекай, да не шибко долго, а то попадешь во щи заместо того петуха.

— А сам? — Лешаков немигающим пронзительно-ярким взглядом впился в Онуфрия Лукича. — Сам в каку сторону?

— Все в ту. Не флюгер. Может, и окольным путем, а все туда же — за Советскую власть. Вместе, что ль?

— С тобой можно: не продашь. Только не разжую, как ты ухитришься...

— Вчерась утром был у исполкома, когда продотрядчиков вызволял? Не погодись в ту пору, распяли бы их. А так ни Маркел со стаей, ни выворотень Кориков не

пискнули поперек. Потому как мужики за мной пошли. А кулакам и белым недобиткам не с руки сразу клыки показывать. Хотят под красным флагом белые дела делать.

— Вчерась ты ло-овко раскрутил, по-карасулински. И продотрядчиков спас, и мужиков малость остудил, шары продрал им. Только сегодня — не вчера. Теперь у них целый отряд. Ползут и ползут какие-то... ваши благородия недобитые. Так что сегодня...

— Верно, — жарко подхватил Карасулин, — верно, Константин, вчера я был один, а ныне мы вдвоем, а, может статься, через час станем два по два. Ежели затеют коммунистов втихаря судить, шумните, чтоб принародно, что, мол, за мужичья власть, ежели втайне от мужиков судят. На людях-то Корикову трудненько будет, да и я ведь не смолчу...

— Может, они тебя до той поры...

— Все может быть. Но пока живы — лови ветер ноздрями, хватай судьбу на лету. За меня не сумлевайся: красным был — им и помру... Пошли, однако. Они, поди, до дыр зенки протерли, на дорогу глядючи, нас поджидаючи.

3

Онуфрий Лукич легко перешагнул порог кориковского кабинета и остановился, хмуро оглядывая собравшихся там людей. По тому, как они запереглядывались, зашуршали сдавленным шепотом, как торопливо расселись по заранее присмотренным местам, понял: ждали его с нетерпением. Криво ухмыльнулся, спросил громко, с вызовом:

— Кто звал?

— Хоть бы поздоровкался сначала да шапку снял,— уколол злобным взглядом Боровиков.

— Не хочу рук марать.

— Полегче, Онуфрий,— уркнул Маркел Зырянов и даже привстал, выставив перед собой крепко стиснутые круглые кулаки.

— Покличь Пашку с наганом, страшней будет.

— Ну, ты! — взвизгнул Щукин.

— Тоже зубки зачесались? — ехидно оскалился Карасулин в его сторону.— Куси!

— И укусим, если понадобится,— спокойно пригрозил Кориков.— Только после этого...

— Знаю. И про Емельянова, и про его жену. Ежели для того призвали, вели начинать. Я, ваше благородие, не знаю, как вас теперь величать...

— Вы садитесь,— неожиданно вступил в разговор незнакомый бородач.

И сразу все смолкли, перестали шевелиться, скрипеть стульями, пыхтеть цигарками. Бородач уперся в Карасулина выпученными круглыми глазами. Заговорил только тогда, когда Карасулин сел в глубокое кресло, выставленное, видимо, специально для него на середину комнаты, перед столом, за которым восседали Кориков и незнакомец с диковинной бородищей.

— Вы, вероятно, не все знаете. Считаю долгом коротко проинформировать вас. В шести уездах Северской губернии восставшие крестьяне свергли власть коммунистов, установили свою народную крестьянскую власть. Во главе крестьянских волостных и сельских советов встали честные пахари-труженики. Восстание разгорается с невероятной силой. Взят Яровск. Осажден Северск. Железная дорога на Екатеринбург в наших руках. В соседних губерниях тоже началось. Петропавловск, Курган, Омск — наши. Скоро вся Сибирь очистится от большевистской заразы. Нас поддержат рабочие и крестьяне всей России. Голодный Петроград давно ждет падения комиссарско-жидовской диктатуры. Ее погибель придет отсюда, из Сибири. Таково положение.— Он передохнул, достал портсигар, вынул папироску, прикурил.— Мы знаем ваше красное прошлое. Но мы помним и то, что вы подняли голос протеста против беззакония комиссаров, познали за то и унижение, и казематы губчека. Только это и заставляет нас разговаривать с вами миролюбиво. Раскаявшийся грешник иной раз милее негрешившего праведника...— Попыхал папироской, медленно выпустил из ноздрей несколько сизых стружек, пошевелил, пошлепал губами.— Теперь о главном. Объявлена всеобщая мобилизация крестьян в народную армию для борьбы с большевиками. В Челноково формируется сводный ударный полк трех волостей. Нужен авторитетный, знающий военное дело командир полка. Мы посоветовались и предлагаем этот пост вам.

— Мне?! — Онуфрий вскочил как ужаленный.

— Не ожидали? Откровенно говоря, мы и сами не

ожидали. Мне лично приятней и спокойней было бы видеть вас повешенным...

— За чем же дело...

— Погодите. Я недоговорил. Вы, конечно, можете отказаться и пойти рядовым в тот же полк. Отсидеться не удастся. Всякого уклоняющегося от мобилизации мы расстреляем. Тем более вас. Смертный приговор вам военно-следственная комиссия подпишет, не читая...

— И пущай подписывает! — рывком расстегнул ставший вдруг непомерно тугим воротник косоворотки.

— Не спешите в рай. Говорю как солдат с солдатом, в открытую. Крестьяне верят вам, пойдут за вами. Именно это нам и нужно. Теперь выбирайте... Да, я не представился.— Бородач встал, прищелкнул каблуками и с великосветским полупоклоном, голосом, полным достоинства, медленно выговорил: — Особоуполномоченный сибирского крестьянского союза и главного штаба народной армии по Яровскому уезду полковник Арсений Валерьянович Добровольский. Имею честь... Итак, ваше слово.

Если бы сейчас зачитали ему смертный приговор, или без всякого приговора схватили и поволокли на расстрел, или вдруг набросились и стали забивать насмерть — и тогда Карасулин не был бы потрясен так, как от этой речи полковника Добровольского. Онуфрию нестерпимо захотелось вцепиться в глотку бородачу, разметать, расшвырять всех, перекувырнуть бандитское логово, и будь у него хотя бы одна граната, он не мешкая кинул бы ее под ноги недобитому полковнику. Но не было даже нагана, а голыми руками... Глянув на настороженных, караулящих каждое его движение врагов, Онуфрий Лукич расслабил кулаки, перемог соблазн. «Потому и не тронули. Хотят заместо манка, мужиков охмурять... Гады!.. Не верят. Ненавидят. Позарез нужон... И свои проклянут, и мужики почтут иудой...» Метались мысли, сталкивались, крошились. Как? Куда? Не знал, не готов был к такому повороту, не предвидел...

— Мы ждем,— долетел чей-то голос. Чей — Карасулин не уловил.

Усилием воли взял себя в руки, подобрался, осмысленно и зорко глянул на Добровольского и медленно, почти по слогам проговорил:

— Такое с маху не деется.

— Само собой,— пропел с готовностью Кориков.— Можешь подумать...

— Полчаса,— добавил Добровольский, взглядывая на часы.— Только полчаса. Здесь. На дворе.

Карасулин еле отлепил пристывшие к полу подошвы, но вышел из комнаты широкими твердыми шагами. «Вот так развилка! С ходу и... задом наперед».

На заднем крыльце Карасулин приостановился, оглядел двор. Лениво хрустели овсом оседланные кони. Над теплым конским пометом порскали воробьи. Под навесом на охапке сена дремал большой черный пес. «Хитрый»,— решил Карасулин, глянув на встопорщенное собачье ухо, настороженно вздрагивающее при каждом новом, неожиданном звуке. Захотелось подойти, погладить лобастую песью голову, поскрести густой загривок, почесать за ушами. Будто угадав его добрые намерения, собака лениво приоткрыла большой желтый влажный глаз, до краев налитый тоскливым безразличием. «И тебе не сладко»,— почему-то с облегчением подумал Онуфрий Лукич.

Возле лошадей крутились вооруженные обрезами и ружьями парни. Вряд ли понимали они смысл происходящего. Разве что риск манил. Ничего не скажешь, ловко облапошили дураков. Замахнулись на продотрядчиков, а ударили по Советской власти...

Двое караулили двери каменного подвала. Там волостная кутузка, там Ромка, Пигалица, лучшие товарищи. Ждут кулацкого суда, смертного часа, а их вожак спокойно покуривает на солнышке, поджидает, когда подадут вороного коня, чтоб повести обманутых мужиков против братьев, помогать карабкаться на мужичью спину пауку Боровикову, белогвардейскому перевертышу Корикову и этому высокоблагородию с бородой. Красный партизан, секретарь волостной большевистской ячейки... Надо было ночью бежать из села. Собрать верных мужиков и снова, как в девятнадцатом,— в лес. Надо было плюнуть в харю этому благородию, вцепиться в глотку, а не раздумывать. Он нужен им как подсадная утка для приманки, для охмурения крестьян. Что подумают деревенские? Что скажут? Позор! Черный, злой позор, который потом никакой кровью не смоешь. А что решат те, в подвале? Предатель! Шкура! Лучше пулю в лоб. В роду Карасулиных двурушников и перебежчиков не было... «Сейчас подойду к этим сопливцам с винтовками, стукну лбами, чтоб шары выскочили, выпущу своих, вооружимся — и с ходу туда, в самое гнездышко. Падем рысью на голову белой сволочи...»

За спиной кто-то громко сплюнул. Онуфрий дернулся, будто в спину штык вогнали. Глянул через плечо, задохнулся от бешенства. Широко расставив короткие ноги, недвусмысленно сунув руку в карман полушубка, стоял Маркел Зырянов и щурился на малиновое солнце. «Надзирает, кулацкое мурло. Звездануть по сопатке, сшибить, вытряхнуть подлую душонку... За ради такой мрази голову терять? Сперва всех повязать одним узлом, опосля давануть, чтоб духу не осталось...»

Не башку жаль: все одно не сносить,— мужиков жалко. Не заметят, как под Кориковым да Боровиковым окажутся. Пока дойдут, что к чему, — оборзеют, на брата, на друга верного с вилами попрут, в невинной крови захлебнутся. Разуть им зенки, проветрить мозги. Отворотить, пока не поздно от кручи... Но как? Не в шкуре дело. Хрен с ней! Двум смертям не бывать — одной не миновать. Только бы не сразу... «Господи! Знаю, что нет тебя, а все же об одном прошу тебя ли, судьбу ли свою: не дай помереть перебежчиком, перевертышем. На лютые муки, на страшную смерть — только бы чистым перед людьми и партией своей. Дай силы сдержаться, не выдать себя до времени. Дай разума мужиков убедить. Дай хитрости недобитков в западню подловить, а самому их силки обойти... Россия-мать, услышь меня! Побереги мне жизнь, пока мятежный полк Карасулина не станет красным полком, потом — хоть пулю, хоть петлю. Не смерти — позора страшусь...»

Вновь вынырнул в памяти последний разговор с Чижиковым, боевое поручение председателя губчека — проникнуть в логово вражье, разглядеть и помочь взорвать изнутри. Не всегда наверху была мысль об этом поручении, но и на дно не тонула, неприметно жила в нем все эти дни. До мелочей припомнил сейчас Карасулин тот разговор, каждое слово председателя губчека ощупал и взвесил — верно ли понял? Удостоверился: верно. А коли так, лучшей лазейки в гадючий стан не сыскать. Красный полк в самой пуповине мятежа... «Выйдет ли? Не ссекут ли голову допрежь? Должно выйти. На мужичьей, на красной правде замесим, на злобе к белой сволочи испечем... Только в одночасье такое не состряпать... Да и руки как не замарать? Коммунист Карасулин — командир мятежного контрреволюционного полка, ведет мужиков на Красную Армию. Чижиков и тот, поди, ахнет. О таком и он не помышлял. Плохие мы, Гордей Артемыч,

гадалки. Не по-нашему вышло. Вот и выбирай: влево пойдешь — головы не снесешь, вправо зашагаешь — башку потеряешь. А как иначе? Помереть — ума не надо... Оставить мужиков в кориковской удавке? Мочь да не ударить врага под сердце?.. Не сгинуть бы на полпути. Тогда крышка. Товарищи, как от пса поганого, отвернутся... С Лениным ручкался, ему обещал... Вольно башкой рисковать, но не добрым именем... Еще не поздно. Прими смерть, как положено большевику... А мужики? За что будут кровь проливать? Ох, мать-перемать...— Скрипнул зубами, рванул ворот рубахи...— Лучше смерть в чести. Мужики — не дурные, выкарабкаются... А сколько еще коммунистов постреляют? Пигалицу, Ромку, всех наших, как Емельянова. Кто защитит? Спасет?.. Ловчу, похоже? В который раз наизнанку вывертываюсь. Отродясь не юлил. Неуж...»

Взъярился оттого, что впервые в жизни не мог ответить собственной совести: а не велика ли плата? Не уговаривает ли сам себя во имя спасения шкуры?

Снова полез в карман за кисетом. Дымил, как паровоз на крутом подъеме. Даже слеза прошибла...

«Смерти не миновать. Не свои в грудь, так эти в спину... Подороже голову продать, честь сберечь. Полк — тысячи мужичьих душ. Образумить. Сплотить. Кинуть на спину белой сволочи. Ради этого стоит...»

— Времечко... кхм, кхм, кхм... вышло,— проскрипел за спиной Маркел Зырянов.— Пора, хе-хе...

«Ты надо мной не посмеешься, курва»,— мысленно выговорил Карасулин. Кинулся на Маркела. Тот вырвал руку из кармана, ткнул наганом в карасулинскую грудь, Онуфрий мгновенно присел, мертвой хваткой сцепил Маркелову кисть, кинул Зырянова через плечо так, что тот по пояс вошел головой в сугроб. Подхватил выпавший у Маркела наган, сунул за пазуху.

Все произошло неправдоподобно быстро и бесшумно. Даже часовые у подвала не заметили. Только пес удивленно пялил желтые глаза.

Онуфрий перевел дух, глянул по сторонам. «Щелкну часовых, выпущу товарищей и...»

Еле перемог соблазн. Заставил себя отвернуться от дверей подвала и, насупясь, сжав кулаки, широченными, саженными шажищами загрохотал по дощатому полу к кориковскому кабинету.

— Я согласный.

— Так я и предполагал,— удовлетворенно вымолвил Добровольский, пристально вглядываясь в глаза Карасулину.— Вы умный человек. Красная карта бита. Почитаете потом кое-что, сами убедитесь. Но и без этого, уверен, чутьем угадываете, что большевизм в тупике. Иначе не подняли бы голос против Аггеевского, не наскочили бы на Пикина, не оказались бы за кормой их партии. Все логично и закономерно... Получите оружие у начальника отдела снабжения, выберите любого коня, подберите связного и ординарца. Только чур — никаких кадрилей. Живьем зароем. До тех пор, пока не проявите себя в боях, с мушки не спустим. Каждый шаг, каждое слово. Не люблю играть втемную. Поняли?

— Так точно, господин полковник.

— Отлично, товарищ командир полка. Начальником штаба у вас буду я. Немедленно начинайте формирование полка. Подберите командный состав. Командиров рот и взводов без моего ведома не назначать. Ясно, товарищ Карасулин? Това-рищ! Запомните это. Мы везде сохраняем прежнюю, советскую форму. От Советов и красного флага до обращения «товарищ». Мы за Советы, но без коммунистов. За красное знамя, но без большевиков. За «товарищ», но без комиссаров. Ясно?

— Ясно, товарищ начальник штаба,— весело и громко отчеканил Карасулин.

Его обрадовали слова Добровольского. «Понимают, что мужик прикипел к красной власти, к новым порядкам. Решили его вокруг пальца. С красным флагом — за белых, с Советской властью — на коммунистов. Не выйдет, господа! Сибирский мужик покажет себя...»

Улыбнулся своим мыслям, и тут же по лицу Добровольского скользнула ответная улыбка. Он хлопнул Карасулина по плечу так, что тот качнулся.

— Думаю, мы притремся. Разногласия выясним после падения Питера. Руку, товарищ комполка.

Карасулинская ладонь с громким звонким шлепком влипла в ладонь Добровольского, пальцы их переплелись, и Онуфрий Лукич ощутил железную силу бородача. Напряг мышцы, с трудом, но все-таки подмял негнущиеся, словно окаменелые пальцы и так стиснул, что Добровольский поморщился. Во время этого, не приметного другим короткого поединка они неотрывно смотрели глаза в глаза.

«Берегись, Карасулин, я не Кориков,— говорил взгляд

Добровольского.— Не попович-белоручка, кто только языком чесать да чужими руками жернова вертеть».

«Чую, ваше благородие, только и мы не лыком шиты. Не таких видали, да редко мигали».

«Не советую играть с огнем. Испепелю. Не был бы ты нам нужен...»

«Мужик не тот, ваше благородие, отвык от постромок и ярма. Без меня тебе с ним не сговориться. Так что терпи. Сыграем в кошки-мышки...»

— Есть силенка, — Добровольский пошевелил занемевшими пальцами.

— И вас бог не обидел...

— Я двадцать лет с шашкой нянькался. Могу одним замахом до седла. Хоть с левой, хоть с правой.

4

Подвал был глубокий и просторный. Когда-то здесь хранили свежие и соленые овощи. До сих пор приторно пахло гнилой картошкой, прокисшей капустой, прелой древесиной. В занавешенных лохматым мраком углах противно пищали невидимые мыши. Иногда на трепетный желтый свет оплывшего огарка вылезала остромордая усатая крыса, любопытно озирала сверкающими бусинками неподвижных молчаливых людей и бесшумно пропадала в темноте.

С улицы сюда не проникало ни единого звука. Непроницаемая гнилая тишина отгородила от мира арестованных, притиснула, подмяла их, и они пришибленно молчали. Кто дремал, кто только прикидывался. Лишь Ромка Кузнечик никак не мог угомониться, то и дело слышалось: «Как они нас! Вот, гады!..» И начинался запоздалый, покаянный пересмотр случившегося с той минуты, как уговорил Ярославну вместе бежать из села. Теперь, задним умом, Ромка запросто развязывал любые узлы, рассекал любые сомнения, все понимал, все предвидел и клокотал в бессильной ярости, то издевательски высмеивая себя, а то грозя «кулацкой сволоте» расправой. Ярославна не раз смиряла неистовствующего парня, просила умолкнуть. Но и молчание Ромки было грозным: он сердито сопел, громко и зло курил, ожесточенно ворочался на шуршащей соломе.

Больше всего парня тревожила — да что там тревожила: страшила — участь Ярославны. Он считал только себя

виноватым в случившемся и готов был на все, лишь бы спасти любимую. Ромка с радостью отдал бы сейчас жизнь за свободу Ярославны. Но и такой непомерной ценой он бессилен был искупить свою вину — оттого и казнился и мучился.

— Брось ты, Ромка,— попыталась утешить его Ярославна.— При чем тут ты? Я секретарь ячейки и опыта у меня больше. Мне и отвечать за все. Главное — ребят не предупредила. Ни одного не привели сюда. Перещелкали, наверное, поодиночке, как курят. У Пашки с Маркелом рука не дрогнет...

И снова отрешенно уставилась на желтый сосок свечи, все сильней слабея душой и телом. Не хотелось ни двигаться, ни разговаривать, ни думать. Бились в ушах слова Маркела Зырянова: «Вот тебе, голубка, гнездышко. Переспишь, а утром вознесешься ко господу». Она не сомневалась — так и будет, если не случится чуда, и содрогалась при мысли о приближающемся утре. Сердилась на себя, негодовала, но не могла осилить гнетущий душу страх.

Пашка Зырянов... Теперь-то он не упустит своего, сочтется с ней и с Ромкой Кузнечиком. Эх, Ромка! Отчаянная голова. Давно знала: любит. Радовалась, хоть и не было ответного чувства. В тот вечер, когда спас ее от Пашкиных когтей и целомудренно краснел, смущался, глядя на нее, Ярославна впервые пережила мгновенную, но очень яркую вспышку нежности. Ромка показался тогда красивым и смелым, достойным любви. Когда сегодня прижался он головой к ее груди и она коснулась щекой светлых, мягких волос, вновь озарила та же вспышка, и размягченная Ярославна забылась, уступила, согласилась поехать вместе... И сейчас не казнила себя за ту роковую уступку, лишь подгоняла время: скорей бы уж... Чему быть — того не миновать...

«Да что это со мной? — изумилась и вознегодовала девушка, поймав себя на этой мысли.— Надо думать, как выбраться отсюда, собрать ребят и драться, драться, не щадя никого, а я...»

Шуршали мыши в черных провалах невидимых углов, скалились на свет все более наглеющие крысы, монотонно и уныло бились о ступеньку сорвавшиеся с потолка крупные капли. Понуро молчали пятеро челноковских коммунистов. Кроме Ромки и Ярославны был тут крестьянин Афанасий Портнов по прозвищу Соловей — низенький,

тоненький, с фигурой подростка, узким, скуластым лицом и высоким голосом. За этот голос да редкий певческий дар Афанасия и прозвали Соловьем. Пел Соловей и в церковном хоре, и на свадьбах, и на престольных гульбищах, и на митингах. Мужик он был среднего достатку, не задира и молчун. Что привело его в коммунисты — никто не знал. Войдя в подвал, Соловей сказал: «Три дня гулял у кума на свадьбе, чисто вымотался, теперича отосплюсь», повалился на солому и тут же затих — то ли впрямь заснул, то ли притворился спящим, но на зов не откликнулся и в затеплившийся поначалу разговор не вмешивался.

Четвертый пленник — первый красный торговец в Челноково, заведующий и продавец единственного магазина Леонтий Зверев. Безликий, ничем не примечательный мужик. И фигура, и лицо, и голос, и манера говорить — все у него было невыразительное, примелькавшееся, где-то не однажды виденное. Он пришел в подвал со своими харчами и, едва обосновавшись, развязал узелок, разложил на платке домашнюю снедь, пригласив товарищей отужинать чем бог послал. «На пустое брюхо не шибко поспится».

И Афанасий Соловей, и Леонтий Зверев, видимо, нимало не сомневались, что их арест — простая случайность; взбесились мужики из-за семенной разверстки, поколотили продотрядчиков, а заодно решили своих коммунистов припугнуть, чтоб наперед поумнее были... Все это Леонтий высказал сразу же и не понимал, с чего лютует Ромка. «Ну врезали тебе меж рогов, так это чтоб наперед батьки не совался. Больно прыток. До всего тебе дело». Ромка начал было спорить, ссылаться на Карасулина, но Ярославна резко одернула его, и парень отстал от Леонтия.

Последним, уже на свету, привели Евтифея Пахотина. Он только что воротился из Северска, где присутствовал на первом допросе Карпова-Доливо.

Едва разглядев Ярославну, подсел к ней.

— И ты тут? Что ж это происходит?

Потихоньку, чтоб не будить спящих, Ярославна передала последний разговор с Карасулиным, рассказала, как их с Ромкой схватили, повторила застрявшие в памяти последние слова Маркела Зырянова.

— Поделом нам! — выдохнул Евтифей и надолго умолк.

Но когда Ярославна стала задремывать, Евтифей подтолкнул ее и приглушенно заговорил.

— Денька бы на два мне ране поспеть. На народ бы выйти, пересказать всю арифметику и про Крысикова и про Карпова. Небось разом продерут зенки, увидют: кто за мужика, кто на мужика. Пришлось бы Алексею Евгеньевичу с Боровиковым и Зыряновым пятки салом смазывать. Как они ловко подстроили, гады. Онуфрий-то загодя в точку метил. Не заарканили б его... Чижиков говорил — бумага из Москвы пришла, затребовали справки на Онуфрия, не иначе восстановят в партии.

Шебуршали в соломенной трухе верткие мыши, скалились на огонь крысы, с потолка падали и падали мутные капли, и каждый шлепок отдавался болью в голове Ярославны. Что там, на воле, за железными дверями? Утро? Полдень? Снова ночь? Почему за ними не идут? Хоть бы воды дали. Такие, как Маркел, на все способны, могут и голодом уморить, и живьем сжечь. Сделать бы тогда по-пикински — шлепнуть и Маркела, и Щукина, и еще пяток ему подобных... Еще злей стали бы. Тут поп Флегонт в чем-то прав. Зло родит зло. И пусть родит. Не мы их — они нас. Середины — нет... Карпов, Крысиков, Горячев — настоящие белые каратели. Разве все, кто здесь, не чуяли это? Почему ж молчали? Могла же она поехать к Чижикову рассказать, в губком партии сообщить, написать в «Бедноту»... Зло добро не родит — тут Флегонт прав. Но и добром зло не выжечь. Заколдованный круг. Как из него вырваться?..

Догорала свеча. Выползал из углов и растекался, густея, прелый мрак. Сейчас погаснет огарок, сомкнется темнота, и крысы, обнаглев, полезут на человека. При мысли об этом зябкая брезгливая дрожь сотрясла тело Ярославны. Она не страшилась пулеметных очередей и белогвардейских конных атак, не содрогалась от крови и стонов раненых, а вот крыс, мышей и прочей ползучей дряни боялась до обморока. Понимала, что это смешно, глупо, и все равно...

Остывшее от долгой неподвижности тело онемело. Ярославну слегка познабливало. Ломило и простреливало поясницу. Хотелось растянуться во весь рост, расслабиться, разбросаться. Но девушка не могла заставить себя улечься на грязной соломенной трухе, от которой мерзко воняло гнилью.

Уснула она незаметно, сидя. Разбудил шум наверху. С противным, царапающим нервы скрежетом и взвизгом отворилась дверь, показалось качающееся желтое пятно

фонаря. «Опять ночь», — поняла Ярославна, поежилась, зябко подобрала под себя замерзшие ноги.

Вверху, в темной горловине лаза заплескались недовольные сонные голоса, кто-то заорал простуженным басом:

— Нахратова! Где ты там? Вылазь!

«Вот оно!» — оглушающе тяжко ворохнулось в сознании Ярославны. Девушка дрогнула, напряглась. Неожиданный ночной вызов сулил либо допрос, либо... Пройти через фронты, голод, тифозные бараки — и погибнуть от пули взбесившегося кулака? Без сопротивления. Безропотно. Постыдная жалкая участь! «Надо было записку маме, может, и дошла бы...»

Сверху пальнули матюгом.

— Прощай, дядя Тимофей. Прощай, Ромка...

— Я с тобой! — подхватился Ромка, нашаривая костыли. — Пускай меня первого... Я им... Сволочи! Где мои костыли?

Пахотин подмял парня, притиснул грудью к соломе, накрыл бородой орущий рот. Ромка вырывался, зубами рвал волосяной кляп пахотинской бороды и плакал.

...Освежающе вкусным показался Ярославне морозный воздух, слегка подсиненный, тонко и остро припахивающий молодым сеном. Дышала взахлеб, открытым ртом — громко и часто. Запрокинув голову, подивилась хрупкости и яркости ночного неба, утыканного призрачно сверкающими звездами, небывало крупными, яркими — отродясь не видывала таких. Земля в хрустальных полушариях неба, как ядро в скорлупе. Крутится и крутится, старая юла, миллионы лет по одному и тому же кругу. Грохочут войны, полыхают революции, рождаются и гибнут религии, истины, законы, а планета — все та же, и бег ее прежний, людская суета не трогает ее...

Тоскливо стало от этих мыслей и одиноко, будто затерялась в тайге иль где-то в океане, одна-одинешенька, всеми забытая и никому не нужная. Неведомо почему, будто сами собой, выплыли из памяти строки:

Чудная картина,
Как ты мне родна —
Белая равнина,
Полная луна.
Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далеких
Одинокий бег.

«С чего это вдруг?» — удивленно подумала Ярославна. Вдохнула сколько смогли вместить легкие. Подзадержала в них студеный пряный воздух. Громко выдохнула. И уже не так пасмурно стало на душе, и грусть посветлела, и захотелось выплакать ее сладкими молодыми слезами. Зачерпнула горсть снегу, ткнулась пересохшим ртом в холодную белую мяготь. Распрямилась, вскинула голову, вопросительно повернулась к мужику с дробовиком.

— Давай туда, — беззлобно, даже как будто смущенно проговорил тот, показав на приоткрытую дверь амбара, из которой сочилась неяркая полоса света.

— Это ты, Славнов? — узнала она мужика с дробовиком.

— Известно, — неохотно и еще более смущенно подтвердил тот. — А куда денешься? Либо тут, либо к вам в подвал...

5

Перешагнув низенький порожек, Ярославна похолодела. Перед входом на куче дранки сидел Пашка Зырянов, уперев ладони в колени непомерно широко расставленных ног. Он был без шапки, из-под разлохмаченных, свисающих на лоб волос сверкнули хмельные, мутные зрачки, прилипли к девушке. Каждой клеточкой тела Ярославна чувствовала жалящий Пашкин взгляд. От гнева и стыда перехватило дух, но она смолчала, только голову чуть опустила.

Пашка смачно сплюнул между ног, наморщил в похабной ухмылке хрящеватый тонкий нос.

— Ну чо теперича делать с тобой? Сырую исть аль поджаривать?

Ниже склонила голову Ярославна, шарила взглядом по полу — искала что-нибудь подходящее, чем можно было бы ударить по мерзкой роже, если этот бандит попытается...

— Чего в землю пялишься? Не ищи, нет там никакой трещинки. Теперича из моих лап тебя и господь бог не вырвет. Хочу сам ем, хочу другим дам либо про запас сберегу... — И неожиданно переменившимся голосом, от которого у Ярославны каждая жилочка струной натянулась: — Не любил бы тебя... у-ум. — С хрустом стиснул костистый кулачище. — Жамкнул бы, и все... Не могу. Люба ты мне. Сам себе за то противен. Чего кривишься?

Думаешь, ежели мужик красивых слов не говорит, руки от земли не отмытые, значит, зверь? Да я б тебя занянькал, заласкал, с рук не спустил. Эх, боляна моя... Сколь было такого добра, а сердце не трогали. Ты — первая. Что скажешь? — Подождал, покусал ее глазами. Посуровел лицом. — Не люб, значит? Тогда слушай по-другому. Знаешь сама — наш верх теперь. Завтра вас судить станут. Не надейся. Никаких аблакатов там не будет. Уже решено и подписано. Всех под гребенку, как Емельянова. Мы его живьем в прорубь... Ха-ха! Вздрогнула, пташечка? Казнить вас буду я. — Резко встал, качнулся вперед, навис над ней черной когтистой тенью. — Уж я тебя, боляночка, так... Сперва натешусь до отвалу, опосля голяком, чтоб ниточки не было, прогоню по селу. По кусочку буду рвать.— Железные Пашкины пальцы мгновенно впились Ярославне в грудь и так щипнули, что слезы брызнули из глаз девушки. — Больно, краспая сука? Страшно?

— Больно, но не страшно, — глухо выговорила она.

— Врешь! Тот раз в школе базлала ровно чушка недорезанная. Думаешь, шуткуют с тобой, в кошки-мышки...

Ярославна молчала.

— Хошь на волю?

Молча подняла на Пашку глаза, отвернулась.

— Значит, хошь. Тогда ложись...

— Скотина!

— Та-ак! — Пашка раздул тонкие ноздри, шумно втянул ими воздух. Приблизил к ней перекошенное лицо. — Моргуешь? А я за тебя сапоги отцу лизал. — И снова переменившимся голосом: — Люблю тебя, стерву. Ейбогу... Обнимаюсь с девкой, а вижу тебя, о тебе думаю. Убил бы за это... Чего пятишься? Не укусю. Последнее мое слово: либо венчаная жена либо полюбовница, без тебя все одно не житуха... — Сграбастал девушку за плечи, притянул, притиснул к широченной груди.— Лапынька моя. Скажи словечко. Глянь по-доброму... Прибью, стерва... — Схватил за горло, Ярославна обмякла и стала оседать на землю. Пашка подхватил ее на руки, закружил, закачал, как ребенка, жадно припал ртом к холодным губам. Целовал, будто жалил: торопливо и больно. В шею, в щеки, в лоб. — Ожила... Прости дурака. Сейчас умчу тебя к тетке Марье в Ильинку, поживешь у ее, пока перемелется. Отойдешь, отъешься, а когда твоих товарищей порешим, свадьбу сыграем, да такую...

— Пусти! — Ярославна выскользнула из Пашкиных рук, брезгливо обтерла ладонью губы. — Не надо мне ни свадьбы, ни самого тебя. Ты ведь, ты... — Махнула рукой. — А-а, что говорить... Всех на свой аршин меряешь, а он — кулацкий. Коммунисты собой и товарищами не торгуют. Пойми хоть это.

— Дура! Онуфрий Карасулин — не чета тебе, волячейкой заворачивал, а теперя командир полка у нас...

— Врешь!..

— Сама увидишь. Помели большевиков из Сибири поганой метлой, вот Онуфрий и перекрасился. Только нам он такой, двуцветный, до времени нужон. Мы памятливы, шибко памятливы...

Он еще что-то говорил, а она повернулась и медленно, еле волоча ноги, пошла из амбара.

«Гады. Убили Онуфрия Лукича...»

— Нет, ты погодь! — Пашка рванул ее за плечо. — Не договорили иш-шо.

И тут...

— Давай ее сюда, Константин!

Если бы сейчас морозную февральскую ночь располосовал гром, а в звездном стылом небе заплясали молнии и холодный снег под ногами вдруг вспыхнул и запылал, как сухой камыш, Ярославна поразилась бы этому меньше, чем голосу, прогремевшему в ночи. Его она могла отличить от тысячи иных голосов. «Пашка сказал правду?!»

— Ко мне в кабинет! — полоснул по самому сердцу громкий карасулинский голос.

«В кабинет... Здесь... С ними...» Брызжущие светом и болью оранжевые круги заплясали в черноте перед глазами. Земля взгорбилась и поползла из-под ног. Кровь молотила в висках, кувалдой било в грудь сорвавшееся с привязи, разбухшее сердце. Ярославна споткнулась, и если бы не поддержал оказавшийся рядом часовой, упала.

— Кто это? — еле выговорила.

— Опять же я, Славнов.

— Да нет. Кричал сейчас...

— Известно, Онуфрий Лукич. Он теперича командир у нас.

— Командир?! У кого — у вас?

— Известно, у мужиков. Вчерась собрали нас, хотели какого-то полковника в командиры. Куды там! Гаркнули

хором — Карасулина! И все... Теперича над нами — ни красных, ни зеленых, сами хозяевать станем. Комиссарам это, ясно, еж в горло. Да с эким командиром, как Онуфрий-то Лукич...

— Так он... так вы... — голос Ярославны осекся.

— Ха-ха-ха-ха!!! — раскатился за спиной злобный хохот Пашки Зырянова. Он стоял у амбарной двери и уже навел было дуло, чтоб выстрелить Ярославне в спину, но, заслышав голос Карасулина, помедлил с выстрелом, а потом и вовсе передумал. Пускай показнится, авось продерет глаза, поумнеет, поймет, что к чему, а не поймет, так он завтра такую ей казнь придумает...

— Ха-ха-ха-ха!! Закачалась коммунистия! Держись за землю! Туда вам дорога!..

Столько лютой ненависти и злорадства было в этом возгласе, что Ярославна разом отрезвела. Ишь: как возрадовался, возликовал кулачок! Еще бы, Онуфрий Карасулин — перебежчик и предатель. Чудовищно. Немыслимо! Бред!..

Нужно было какое-то время на то, чтоб переварить эту отраву, не задохнуться, не сойти с ума от ярости и горя. Нужно было время и силы. У нее не было времени. А силы... Силы она нашла. Налитая злом до свинцовой тяжести, оттолкнулась от человека с берданкой, пошла одна, широкими, редкими, чугунными шагами. Распрямила плечи, а в душе — заледенелая, омертвелая пустота.

Не заметила, как сбоку подошел карасулинский адъютант Лешаков. Заговорил спокойно, будто в обычный день на улице встретился:

— Здорово живешь, Ярославна Аристарховна. Айда со мной, Онуфрий Лукич покалякать хочет.

Ярославна прянула в сторону, как от прокаженного. Ну нет! На сегодня с нее хватит. И ей не о чем говорить с предателем и провокатором, который час назад был для нее образцом коммуниста, на которого всегда хотела походить, за кем не колеблясь пошла бы на смерть... Выставив перед собой руки, оглушенная Ярославна пятилась и пятилась от Лешакова. И снова в спину пулеметной очередью ударил Пашкин хохот.

— Ты совсем не в себе, девка, — обеспокоился Лешаков, — занемогла, что ль? Аль, не приведи бог, побили тебя или...

Она смолчала: на слова не осталось сил.

6

Карасулин занимал ту самую комнату, где еще недавно собиралась волпартячейка. Только надпись на дверях была иная: «Командир сводного крестьянского полка и начальник Челноковского гарнизона т. Карасулин О. Л.»

Он ждал. Распахнул перед ней дверь, наказал Лешакову постеречь снаружи и в случае чего дать знать.

— Садись, — устало предложил Карасулин и первым опустился на стул.— Чего уставилась? Сейчас все обскажу, за тем и звал.

— Постою, ваше... не знаю, какие погоны навесили вам белокулацкие заправилы...

— Конь мужицкий без попон, сам мужик без погон. Слыхала такое? Я хоть командир полка, да мужик пока... Сядь. Да садись же, язви тебя! — прикрикнул сердито.— Испей воды, что ли. Встряхнись и слушай. Не до ахов ноне. Времени... каждый миг на счету. Одно слово — война. Была ведь на ней, знаешь. У меня, кроме тебя, — никого...

Ярославна демонстративно повернулась к нему спиной.

— Баба и есть баба... Ладно. Слушай этим местом, — перешел на полушепот.— Меня привели сюда утром. Либо пулю в лоб, либо командиром полка. Ясно, зачем я понадобился? Подсадная утка. Мужиков приманивать да охмурять. Дескать, свергли комиссаров — установили мужичью власть, и во главе полка свой мужик. Смерти, ты знаешь, я не боюсь. Доброе имя — головы дороже. Ленину, партии своей...

— Не смейте произносить эти слова!

Ярославна резко повернула лицо, испятнанное гневным румянцем, глаза сочились такой ненавистью и гадливостью, что Карасулин невольно встал, хотел что-то сказать, но она задушенно прикрикнула:

— Молчи! Предатель! Прихвостень кулацкий! Шкура продажная...

Побагровевший, с перекошенным лицом, Онуфрий ужаленно крутнулся на месте и разъяренным медведем попер на девушку. Та не попятилась, а, сжав кулаки, подалась навстречу, не спуская с него ненавидящих глаз.

— Мерзавец... Бандюга!..

Карасулин выдернул из кармана наган.

— Стреляй! — сдавленно выкрикнула Ярославна. — Лучше уж сразу! Чтоб не видеть...

— Держи, — Онуфрий сунул ей в руку наган, отступил на шаг. — Теперь бей сюда, — с силой ударил кулачищем по груди. — Чего смотришь? Бей! Раз Онуфрий Карасулин — перебежчик, белогвардейский прихлебатель... Чего дрожишь? Не тяни, бей, пока не остыла!

Ярославна смотрела то на Карасулина, то на зажатый в руке наган. Ноги подгибались. Попятилась — и вдруг ткнула дулом в свой висок.

— Дура! Истеричка!

Онуфрий вырвал у нее наган, швырнул на пол.

— Гимназисточка!

Все пережитое за эти часы сдвинулось, срослось в громадную черную глыбу, и та рухнула на Ярославну, сшибла с ног.

Она упала тихо и мягко, будто была бесплотна. Карасулин подхватил легкое тело, ногой сдвинул стулья, уложил на них Ярославну, стал подле на колени, дул в лицо, тихонько шлепал по щекам, тряс за плечо, просительно приговаривая:

— Ярославна... Доченька. Да очнись же ты!..

Обморок был недолгим. Девушка открыла глаза, села, потерла ладонью лицо, словно стирала с него невидимую пыль, глянула в зрачки все еще стоящего на коленях Карасулина.

— Ты только выслушай, — попросил он. — Дай сказать...

— Говорите, — произнесла Ярославна хрипловатым полушепотом.

Он погладил ее по руке, натянул полу шубейки на круглые коленки и, не поднимаясь, снизу вверх засматривая ей в глаза, заговорил медленно, приглушенно, вполголоса, взвешивая каждую фразу:

— Чижиков арестовал меня, чтоб я обиженным Советами вернулся, чтоб сволота эта раскрылась, дала разглядеть изнутри... Пролезть в гадюшник и разворотить его — такое задание дал мне Гордей Артемыч. Это один корешок. Есть и другой: надо спасать мужиков. Из пекла спасать, покуда еще не поздно... Мог я подсечь эти корешки, уйти из Челноково? Отвечай.

Ярославна молчала.

— Дале смотри. Мужику вдалбливают, что поднялись не супротив Советской власти, а супротив разверстки. Вишь, как ловко в петлю затягивают. Кориков и этот, черт его знает откуда свалившийся, полковник торопят-

ся, пока крестьянин не отрезвел, не прозрел, стравить его с Красной Армией, запятнать кровью коммунистов. Пашка Зырянов будет Советскую власть душить, а мужик за то своими боками расплачиваться. И пойдет око за око, зуб за зуб. Брат с братом. Того только и добиваются, гады. Надо мужику дверь к правде отомкнуть, да поживее, пока он коготки не увязил... Со всех сторон меня обложили. Начальник штаба — белый полковник Добровольский, интендант — племянник щукинский, командир особой роты — Пашка Зырянов. Нам кровь с носу, а варнаков этих — объегорить. Раскрыть мужикам глаза, над полком — большевистское знамя, белогвардейщину и кулацких заводил — к ногтю, снова да ладом Советскую власть на ноги становить. Вот мои думки. Ради того и пошел на такое... — Перевел дух. — Одного боюсь — убьют до срока, падет позор на карасулинский род... Из останных сил креплюсь. Только одному такое не по силам. Шибко скоро огонь занялся, говорят, по всей губернии пластает. Но ежели вместе с вами...

— Да как же?..

— Тише, — придвинул к ней лицо, торопливо и жарко зашептал в самое ухо.

7

Наконец-то они остались одни: Кориков, Добровольский, Маркел Зырянов, Щукин, Боровиков. Скинули пиджаки, поддевки, расстегнули вороты у рубах, расслабили пояса. Хватили по паре стаканов вышибающего слезу первача, закусили соленым хрустящим груздочком, заели душистыми, таящими во рту ломтиками сала и, пока расторопная хозяйка запускала в кипяток загодя наделанные пельмени, занялись неотложными делами, которых накопилось уйма, и одно другого важнее. На первом же вопросе — о Карасулине — споткнулись и заспорили. Завелся сразу Маркел Зырянов. Потирая вывихнутое плечо, заурчал:

— Неладно удумали с Карасулиным. Ему б ишо вчерась, когда продотрядчиков выпущал, надо было первую пулю подарить. Мужикам, ежели б завеньгали, потравить этих самых продотрядовцев...

— А во главе полка прикажете вас поставить? — вежливенько спросил Кориков и пустил под клинышек холеной бородки ехидную ухмылочку.— Так и кинутся мужики

за Маркелом Зыряновым. Они ведь не против Советов, не за старые порядки поднялись, а против семенной разверстки, бесчинства продотрядчиков, за мужичью правду. Не вам, Зырянов, эту правду представлять, не вам за нее в бой мужика вести, ибо достаток ваш неправдой нажит и на ней держится...— Покосился па рассерженного, еле сдерживающегося Зырянова, плавненько отмахнулся от него ладонью.— Чего о сем толковать? Сами понимаете... Да ведь если и случилось бы чудо и мужичий полк признал бы в тебе командира, то ты пробыл бы им только до первого боя.— Он посмотрел прямо в глаза Зырянову, и тот не вынес этого насмешливо-острого взгляда, заелозил на месте, глухо покашливая.— Не гневайся, Маркел Пафнутьевич: нам друг с дружкой в прятки играть негоже. Мы знаем твою храбрость. Впереди атакующих не поскачешь... Кто же будет командовать? Добровольский? Отменный, лихой командир, но — дворянин и полковник белой армии. Кто еще? Поставить во главе какого-нибудь безавторитетного дурака — он и себя и дело мигом опаскудит. Нет, Карасулин — отменнейшая ширма...

— Совершенно верно,— поддакнул Добровольский, обирая крошки с бороды.— Рискованно, конечно, но в таком деле риску не избежать. Да и предприятие это временное. Наберем силу, выдвинутся способные люди, вольются кадровые офицеры, тогда этого красного... Либо в бою геройской смертью... Торжественная панихида. Прощальный салют... Либо за измену великому делу столь же торжественно и пышно повесим на площади Яровска, а то и Северска. От нас не уйдет, и конец у него — один. Сейчас важно повязать его по рукам и ногам, чтоб ни в сторону, ни назад и глазом не косил, чтоб комиссары отреклись и предали его анафеме, как ярого контрреволюционера. Вот над чем следует подумать господину, простите, товарищу Корикову. Что касается личных качеств Карасулина, то он...

— Первейший прохвост,— просипел Боровиков.— Уж кто-кто, я-то своего зятька знаю. Красный до печенок. И к нам пришел неспроста. Помяните мое слово. Мужики к нему, конечно, что мухи к меду. Может, как приманку его и надо на время подержать на виду, но веры ему...

— Какая вера? — Добровольский засмеялся.— Я уже обработал его адъютанта. У них какие-то старые счеты, и тот будет докладывать о каждом шаге Карасулина.

Из-под прицела не выпустим... Притом не забывайте: Карасулина выкинули из большевистской партии, гноили в подвале губчека, в губернской газете прописали о нем, как о двурушнике и оппортунисте. Для таких себялюбивых, как он,— это незабываемая пощечина, и за нее он может закатать товарищам комиссарам ответную оплеуху. Все сложно, господа-товарищи. Игра только начинается. Вот-вот начнут прибывать офицеры из Омска, Новониколаевска, Екатеринбурга. Вольем их в карасулинский полк. Жаль Доливо. Был бы отменный начальник контрразведки. Такой под шумок незаметненько освежевал бы и самого комполка... Но предупреждаю — внешне мы должны относиться к Карасулину с полным доверием. Не лобызаться, но и не забывать субординации. И еще одно. Нам надо почаще советоваться, стараться по возможности единолично ничего не решать. Главное — не торопитесь клыки показывать, животы выпячивать. Надо на каждом шагу подчеркивать, что мы не против Советов. Воюем с коммунистами, комиссарами и жидами. Это будет наш основной лозунг. До поры до времени, разумеется... Договорились?

Все согласно закивали головами, захмыкали. Жена Маркела — собрание происходило в его доме — подала целиком зажаренного поросенка. Боровиков втянул ароматный пар широченными ноздрями и, довольно уркнув, воткнул вилку в румяный и хрусткий поросячий бок. Добровольский брезгливо покривил уголки полных губ, переглянулся с Кориковым, налил себе самогонки. Все последовали его примеру.

— Теперь о челноковских коммунистах...— начал Добровольский.

— Расстрелять,— еле выговорил полным ртом Боровиков и поперхнулся, закашлялся.

— Надо было в ту же ночь, что и Емельянова,— с открытым сожалением выговорил Кориков.— Тогда все объяснилось бы стихией. Теперь, когда у нас созданы военно-полевой суд и следственная комиссия и мы хотим доказать крестьянам, что действуем исключительно в согласии с интересами и волей народа, коммунистов придется судить.— И как о чем-то уже решенном:— Портнова и Зверева — оправдаем, зачислим в полк. Потом распечатаем обращение бывших коммунистов ко всем большевикам губернии. И Карасулина заставим подписать, и еще нескольких пощаженных из других сел. Тут и демократия

соблюдена, и тактически нам чрезвычайно выгодно заполучить несколько красных в свой стан, и Карасулину после этого — пятиться невозможно. Нахратову, Зоркальцева, Пахотина — казнить, да так, чтоб об этом сразу по всему уезду заговорили. Арестованных комсомольцев со всей волости собрали в Ильинке. Подержим их там недельку, сгоним жирок. К той поре, бог даст, Яровск оседлаем. Потом по дороге из Ильинки...— махнул рукой.

— Коммунистов, в принципе, надо расстреливать всех,— жестко проговорил Добровольский.

— Верна! — рыкнул Боровиков.

— Согласный! — поддержал обрадованно Зырянов.— Хоть до семого колена.

— С богом,— не умолчал и Щукин.

— Похвальное единодушие,— улыбнулся Добровольский, поглаживая неестественно большую, словно приклеенную бородищу.— Но господин, то есть товарищ Кориков, пожалуй, прав. Для начала новая власть должна в чем-то показать себя милосердной. Если же помилованные не перелицуются, их можно без труда списать... Русский народ по натуре своей мягок, добр, любит миловать, прощать, отпускать грехи. Вспомните, как было с продотрядовцами в первый день. Сперва их били чем попало, кололи вилами, травили собаками, но стоило Карасулину воззвать к милосердию — и недобитых усадили в сани и чуть не с хоругвием выпроводили из села... Там мы просчитались, упустили инициативу. А тут еще ваш сынок,— повернулся к Зырянову,— переборщил с женой начальника милиции, переполошил баб... Тылы, тылы... О них нельзя забывать. Словом, я согласен с Алексеем Евгеньевичем.

Под конец ночного заседания в комнату пожаловал отец Маркела Зырянова, семидесятипятилетний слепой дед Пафнутий. Он был невысок, сухощав, как и Маркел, но крепок костью и телом, словно кедровое корневище. Белая борода, такие же белые, под кружало стриженые волосы до плеч, желтоватое, цвета слоновой кости лицо с нестариковским стойким румянцем. Плоский нос с широкими, будто слегка вывернутыми ноздрями и водянисто-голубоватые, неподвижно застывшие глаза нарушали благообразность, придавая лицу выражение жестокости и холодной бесстрастности. Крепко захмелевшие гости встретили старого хозяина громкими приветствиями, усадили за стол, вложили в руку стакан, до краев наполнен-

ный первачом. Старик «проздравил» гостей с победой над комиссарами и одним духом опустошил стакан. Запил квасом, принял из рук сына уже раскуренную козью ножку, долго молча и сладко посасывал, а потом неожиданно тронул сидящего рядом Добровольского за плечо и спросил деловито:

— Не перебили иш-шо коммунистов-то?

— Их столько наплодилось, отец, пуль на всех не хватит.

— Пули зазря не тратьте. Берегите для бою, а большевиков вешать! — выкрикнул Боровиков.

— Веревок не напасли,— тихонько, но внятно вставил Щукин.

— На тако дерьмо пошто пеньку переводить? — громко спросил слепой Пафнутий и, смягчив голос до елейной ласковости, добавил:— Шильцем надоть их, шильцем.

— Как это? — не понял Добровольский.— Каким шильцем?

— Ужо покажу,— пообещал Пафнутий.— Тут вот,— ткнул себя пальцем в висок,— ямочка есть. Не всяк про нее знает. На ощупь ее сразу сыщешь, а глазом не видать. Приставишь шильце к той ямке, ладошкой по ему нешибко так — раз! — и готов милый. Шшупай следующего. За день-то сколь их можно переколоть.

— За-анят-но-о! — сквозь зубы протянул Добровольский, с трудом подавляя пробежавший по телу озноб.— Завтра же предоставим вам такую возможность. Только как же вы... иль раньше приходилось?

— Приходилось, голубок,— успокоил дед Пафнутий.

Глава третья

1

«Род проходит, и род приходит, а Земля пребывает вовеки». Это библейское изречение часто повторял челноковский поп Флегонт, ибо в жилах его текла мужичья кровь и больше всего на свете он любил землю, любил так истово и преданно, что, порой забывшись, разговаривал с ней то ласково и нежно, как с ребенком, то твердо и грубовато, как с мужчиной, а иногда послушно и мягко, как с матерью.

Земля! Начало и конец всего живого. Флегонт знал и боготворил ее всякую. И обнаженно-черную, свежевспаханную, томно жаждущую зачатия, готовую принять в себя семя. И нарядную, в буйной зелени, в ковровом разноцветье, благоухающую и ласковую, как объятия любимой. И отягощенную вскормленной ею нивой, задумчиво-мудрую, щедрую. И скованную ледяным сном, затаившуюся под снегом, вроде бы неживую, но хранящую в себе живительные соки бытия. Все — из земли. «Все произошло из праха, и все возвратится в прах»,— сказал библейский мудрец Екклезиаст...

Хорошо июньским рассветом брести босиком по росной траве, иль шлепать по хлюпкой дорожной пыли, иль мягко ступать по бархатным хлебным зеленям, карауля восход солнца. Первый взгляд новорожденного дня всегда приятно волновал Флегонта, будил в нем столько светлых дум, столько радостных чувств, что не удавалось совладать с ними, и даже правя службу, произнося навеки осевшие в памяти молитвы, он вдруг ловил себя на самых что ни на есть мирских мыслях, кои рождались на солнцевосходе. Отгонял непрошеное, четче и громче выговаривал богоугодные слова, постепенно забывался и снова ловил себя на тех же земных, греховных мыслях...

Рождение зимнего дня по-иному, но тоже волновало Флегонтовы чувства, и попу надолго хватало радости, коли случалось подсмотреть восход солнца, услышать первые голоса промерзших пичуг. Всю жизнь он не уставал дивиться и радоваться предельному совершенству и немеркнущей красоте земного. Иногда малый пустячок: на миг прилипшая к ладони снежинка, карабкающийся по стволу муравей, зависшая над головой жаворонковая трель или иная, много раз виденная или слышанная мелочь до сладких слез волновали попа, и сердце его отзывалось благодарственной молитвой. Молитву обычно сменяла рвущаяся из души песня — раздольная, страстная, и Флегонт растворялся в ней, забывая обо всем. Он называл песню мирской молитвой и пел, как молился,— с полным самозабвением и распахнутостью, обнаженностью чувств. Пел зимой и летом, в дождь, и на ветру, и в стужу, вкладывая в песню всего себя.

Но сегодня, став свидетелем рождения нового февральского дня — дивно-прозрачного, морозного и солнечного, Флегонт не сотворил молитвы: он даже не заметил, как рассвело. Вышколенная лошадь ровной быстрой иноходью

катила легонькие санки серединой нешибко наезженной дороги все ближе к родному селу, а мысли Флегонта были еще там, в глухой деревеньке, в избе теперь уже покойного крестьянина Силантия.

Флегонт примчался в Ильинку около полуночи: нарочный попросил поспешить. В просторной передней избе было людно, видно, уходящий из мира оставлял в нем много сородичей. По их неподдельно скорбным лицам и голосам Флегонт сразу определил: искренне жалели умирающего, и порадовался за него. Скинув тулуп и чуть отогревшись, поп прошел в горницу, плотно притворил за собой дверь и остался наедине с угасающим стариком.

Старик пластом лежал на лавке, держа в безжизненно положенных на грудь руках маленькую иконку. Взгляд Флегонта сразу и надолго пристыл к рукам старика. Непомерно большие, черноземно-черные с раздувшимися венами, набухшими суставами, с заскорузлыми нашлепками слоистых ногтей, руки эти казались чужими, словно кем-то приклеенными к высохшим тонким запястьям. Сколько на своем веку доброго, нужного людям переделали эти задубелые, почерневшие от мороза и ветра, закопытевшие от мозолей крестьянские руки. Всю долгую жизнь они пахали, сеяли, жали, косили, копали и делали еще великое множество дел, без которых земля давно бы превратилась в мертвую пустыню. Весь мир кормят и одевают крестьянские руки...

Прокопченное солнцем, просмоленное ветром лицо старика в обрамлении белой бороды тоже казалось неправдоподобно темным. Хворь не согнала с него черноту, да и смерть вряд ли выбелит глубоко запавшие желтовато-коричневые щеки. Заострившийся с горбинкой нос, обтянутые сухой потрескавшейся кожей острые скулы — все было уже неживым. Жили лишь большие черные глаза — внимательные и мудрые. Встретясь с ними взглядом, Флегонт вместо обычных слов молитвы неожиданно спросил, сочувственно и тихо:

— Тяжко, Силантий?

Старик долго размыкал помертвелые губы, в груди его что-то глухо забулькало, и он нетвердо и тихо выговорил:

— Сядь... батюшка... рядом.— Подождал, пока уселся Флегонт.— Скажи... то страшно?

— Ты ближе к порогу, тебе видней,— вздохнул Флегонт.— Всему свое время, и время всякой вещи под небом.

Одна земля вечна, как душа человеческая. О ней теперь думай и молись...

Старик отвел взгляд. Навесил на глаза густые седые брови.

— Не примет бог молитвы моей: шибко грешен.

— Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы.

— Утешаешь?

— Сии слова библейские. Господь всемогущий...

— Постой. Наперед знаю, что скажешь. Не гневайся: не богохульствую. Времечка нет. Чую: рядом она... Не пужаюсь. Все одно не миновать... Об чем хочу... Можно опосля... оттуда... разок на землицу глянуть?..

— Смирись, Силантий. Молись. Не сгинет земля без твоего догляду.

— Вестимо так,— с горькой скорбью согласился старик, всем видом своим давая понять, что еще не выговорился, не сказал главного. Взглядом он молил Флегонта повременить с прощальным обрядом, не спешить, несмотря на столь поздний час.

Флегонт смотрел на лицо старика, затуманенное какой-то непосильной думой, и мысленно молил бога, чтоб тот ниспослал умирающему смирение и жажду покаяния, сделал переход его в мир загробный безболезненным и скорым. Но когда решил, что молитва дошла, старик смирился и пора начинать соборование, Силантий заговорил снова короткими рваными фразами:

— Сын... меньшой... в коммунистах... Просил... бил... зазря. Согнал со двора все одно как пса приблудного. В Северске... в самом губкоме. Найди его... Скажи: простил тятя, благословенье дал...— Из полуприкрытого левого глаза старика выкатилась прозрачная светлая горошина и пропала в аккуратно расчесанных зарослях бороды.

— Успокойся. Исполню. И сын давно простил тебя и будет оплакивать и каяться, что преступил волю твою. Молись...

— Теперича все,— облегченно выдохнул старик и весь вдруг расслабился, лицо его просветлело, угасающий взгляд замер на черном лике иконки, которую он все еще держал в своих натруженных руках.

Он умер спокойно и тихо, не дослушав до конца отходную молитву Флегонта.

...Давно остались позади заснеженные избы деревень-

ки, лошадь одолела добрую половину пути, а Флегонт все еще не распрощался с доселе безвестным Силантием, все думал и молился о нем.

— Упокой, господи, душу усопшего раба твоего...— бормотал, невидящими глазами шаря по высветленному рассветом белесому стылому февральскому небу.

На крутом повороте кошеву сильно накренило, едва не опрокинуло. Чуть не выпав из нее, Флегонт осмысленно скользнул взглядом по сторонам, занял прежнее положение, но не притронулся к вожжам, намотанным на головку саней: новая мысль увела от яви.

Красиво умирают русские мужики. Приемлют смерть как должное, не вымаливают у бога чуда, не хватаются судорожно за рясу, не проклинают, не плачут. Умирают, как и живут,— естественно и просто. Не зря перед кончиной завидовал им граф Толстой. Говорят, будущее России — фабричные рабочие с их чугунками, дымными шахтами и заводами. Нет, Россия держится на землепашце, на миллионах вот таких Силантиев. Русь зачата мужиком, им взлелеяна, вскормлена, вспоена, оборонена. Исконно мужицкая Русь погибнет без пахаря. А ему тяжко. Крошится, дробится крестьянский фундамент страны. Трещит, качается деревня, как и вся матушка Россия. Сын исконного мужика Силантия — большевик. Онуфрий Карасулин тоже был большевиком... Был ли? Такие ни души, ни кожи не меняют. Да, загадал Онуфрий загадку всем. Почему согласился в командиры? Непостижимо. Если в белогвардейцы переметнулся, зачем тогда продотрядовцев отпустил, многих коммунистов от гибели спас? Неуж хочет грудью океанский вал остановить? Это он может. И даже очень может. Это по-карасулински, по-русски, по-мужицки. Такие рубят узлы только наотмашь, сжигают мосты дотла. Только расплющит, сомнет его стихия. Помоги ему, боже...

Много голов падет. И первыми покатятся самые светлые, самые честные. Все-таки сбаламутили мужиков оборотни вроде Корикова. Вчера пожаловал в дом Флегонта с предложением разыграть в соборе комедию провозглашения с амвона «новой народной власти». Флегонт ответил библейской фразой: «Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот это новое», но это было уже в веках, бывших прежде нас». Кориков круто переменил тон, напомнил об отказе Флегонта укрыть Боровикова и пригрозил расправой. Флегонт вскипел, но ничем не выдал гнева

и снова ответил евангельскими словами о кротости и терпимости. Холеные тугие кориковские щеки зарумянились, как у девицы. Поднатужился попович-недоучка и припомнил несколько строк из священного писания. Флегонт играючи отпарировал их евангельским афоризмом. Обозлясь, Кориков зло скаламбурил: не будет Флегонт повиноваться новой власти, «у него отнимут приход, самого — в расход». И засмеялся, довольный своим остроумием. «Раскусят вас мужики и выплюнут не жуя»,— бросил Флегонт вдогонку хлопнувшему дверью Корикову. Он верил — так оно и случится. Но когда? И какой ценой будет куплено это возмездие? Сколько невинной крови прольется по пути к нему? Бедные крестьяне. Ни о них ли уж сказано сие: «Тот язвен бысть за грехи наша и мучен быть за беззакония наша, наказание мира нашего на нем и язвою его мы исцелехом». Дорогое исцеление, на муках и крови народной замешанное...

Снова мир раскололся на те же две половинки — красную и белую. Как ни маскируются кориковы, в какие наряды ни рядятся,— белое нутро просвечивает насквозь. А мужики ослепли, не разглядели, вот и толкнули их на плаху, кинули супротив власти державной... Господи, вразуми, укажи серединный путь меж двух огней, дай могутности духу и крепости телу устоять на нем...

Несется окутанный серебряной изморозью иноходец, горделиво выгнув красивую шею, легко и сильно отталкивается от земли тонкими крепкими ногами. Пылит белой холодной пылью дорога. Встречный ветерок припорашивает дремучую Флегонтову бороду, присыпает бледные от бессонницы и раздумий щеки, белит лохматые брови. И без того широкие ноздри попа раздуты, громко втягивают они в могучие легкие ядреный ледяной воздух. Колышется под тулупом широченная, колоколом, грудь. Сжимаются громадные кулаки. Ярость, и смирение, и мольба, и негодование, и отчаяние — все смешалось в душе и в глазах Флегонта. И мнится ему: не к родному селу мчит добрый иноходец, а к роковой неизбежной черте, за которой ждут страшные смертельные испытания. И полнится сердце предчувствием жестоких бурь и великих гроз впереди, из которых вряд ли выбраться ему живым. «Что ж, не я — первый, не я — последний. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Мужики — народ, а за народ сам Христос пострадал...»

Видно, уснул Флегонт иль ему наяву пригрезилось — бог весть. Только вдруг впереди на белой дороге увидел он странного путника — босого, с обнаженной головой, в грубом тяжелом хитоне,— и сразу узнал, и задохнулся, и, смахнув с головы шапку, упал перед идущим на колени, и совсем близко увидел ноги его — будто отлитые из воска, с кровоточащими ранами от гвоздей. Снег краснел под его ступнями, и по всей дороге, насколько мог видеть Флегонт, протянулась цепочка красных следов. Флегонт зажмурился и ждал с трепетом, когда окликнут его, но не дождался. Раскрыл глаза, но никого не увидел, только по белой дороге змеилась ровная цепочка красных следов. Вдали следы сливались, превращались в багровую полосу, и та отрывалась от земли у горизонта и полого уходила ввысь. Флегонта неудержимо потянуло пройти по этим следам, уносящимся в синь. Понимал — нельзя, но какая-то сила подтолкнула, он ступил на тропу, и та мгновенно ожила, зашевелилась, заворочалась, превращаясь в огромную, гадкую и страшную змею, которая стремительным броском обвила Флегонта и начала накручиваться на него тугими, холодными, скользкими кольцами...

Очнулся Флегонт в холодном поту. Долго недвижимо сидел, обалдело глядя перед собой невидящими глазами. Лошадь шла шагом, пристроившись к сенному обозу. Флегонт не стал обгонять. Отвернул высокий ворот тулупа, подставив царапучему ветерку потную щеку. Нет, неспроста пригрезилось ему такое. Тревожно, тягостно на душе. Чего не переделаешь за день, и головой и руками вволю наработаешься, а засыпается — трудно, спится — плохо, недоброе мнится за поворотом.

Обоз остановился. Флегонт, немного подождав, взялся за вожжи. Лошадь неохотно свернула с дороги и, волоча кошеву, тяжело побрела по белой мяготи сугробов.

Дорога круто выряла в глубокий широкий лог, на дне которого летом еле шевелилась крохотная мелкая речонка. На краю спуска стояли трое мужиков — возчики остановившегося обоза. Они что-то разглядывали в логу и даже не оглянулись на подъехавшего Флегонта, не сошли с дороги и вместо приветствия буркнули что-то невнятное. Флегонт глянул туда, куда смотрели мужики,— и оцепенел.

На небольшой круговине по колено в снегу затравленно метались черные немые фигуры. На них налетали

всадники, сшибали с ног, топтали лошадьми, били и кололи длинными пиками. Иногда лошади не повиновались, не шли на поверженных, и наездники остервенело хлестали коней, пинали в бока, ярили, и те, осатанев, топтали ползающих в снегу людей. Вот всадник на белом коне погнался за женщиной. Та, скинув полушубок и платок, бежала к подъему, над которым застыли Флегонт с крестьянами, бежала изо всех сил и кричала, размахивая руками. Белый конь быстро настиг ее, свесившись с седла, всадник чем-то ударил женщину по голове, и та осела на снег. Всадник крутнул коня, норовя растоптать упавшую, но конь все отпрыгивал в сторону, перескакивая через лежащую, вставал на дыбы. Тогда всадник выпрыгнул из седла и принялся топтать женщину, то и дело сгибаясь и каким-то темным предметом ударяя ее по голове, по спине...

Вот уже на вытоптанной круговине не осталось ни одного бегущего, только конники кружили вороньем над распростертыми телами, тыкали их пиками.

— Добивают, сволочи.

— Пашка Зырянов живыми не выпустит...

— Дорвались, гады. Чего Онуфрий смотрит?

— Он под Яровском. Вот эти и лютуют.

Флегонт вскочил в кошеву и, едва не сбив стоящего на пути крестьянина, погнал лошадь с горы вскачь. Всадники, заметив скачущего Флегонта и двинувшийся за ним обоз, помчались в сторону Челноково. Вперед сразу вырвался белый длинноногий жеребец и пошел отмахивать, оставив всех далеко позади.

...Их было двенадцать. Замученных, изуродованных, растерзанных комсомольцев Челноковской волости. Лиц не узнать. У той, что хотела убежать от Пашкиного жеребца, вместо лица — кровавый сгусток. «Кистенем бил»,— догадался Флегонт, чувствуя необоримую слабость во всем теле, подступающую к горлу тошноту.

— Боже всемилостивейший! — Флегонт упал на колени.— За что их? За что? — ткнулся отяжелевшей головой в снег и застонал.

2

Да, мир опять раскололся на две половинки — красную и белую, и не было меж ними середины, и нельзя было жить, не прилепившись к той или другой стороне.

Это особенно остро почувствовал Флегонт, когда Владислав неожиданно спросил за обедом:

— Папа, почему про тебя говорят, что ты — красный и тебя все равно расстреляют?

Флегонт положил на стол ложку, отодвинул тарелку.

— Кто говорит?

— Гераська Щукин.

— Видишь ли, Владислав, как бы тебе объяснить...

— Нечего объяснять, — неожиданно вмешалась жена, обычно молча слушавшая разговоры Флегонта со старшим сыном. — Распустил ты его. И как язык повернулся такое выговорить?!

Владислав смутился, покраснел, пробормотал:

— Прости, папа.

— Не за что прощать. Я попробую ответить. Зырянов, Щукин, Кориков хотят, чтобы я служил молебны о даровании им побед над большевиками и призывал крестьян к братоубийственной войне с такими же крестьянами в красноармейских шинелях. Этого требуют и церковные власти. Таборский архиерей с нарочным прислал послание, обязывающее меня восславлять мятежников, разжигать междоусобицу. Но я не делаю этого потому, что...

Какой-нибудь месяц назад Флегонт ни за что не стал бы «забивать голову» Владиславу политикой. Даже когда у сына неожиданно прорезался по-мальчишески горячий интерес к событиям, происходящим в Челноково, и он все чаще и все настойчивее стал расспрашивать отца о большевиках, о продразверстке, о Советской власти, Флегонт вместо ответа старался занять Владислава интересным рассказом, увлечь, увести в сторону от злобы дня. Теперь, когда начался мятеж, обходить острые углы стало невозможно. Но и на этот раз Флегонт постарался избежать прямого и ясного ответа на вопрос: с кем и за кого он? Помолчав, заключил:

— ...Не делаю этого потому, что хочу с именем и заветами Христа служить крестьянам, врачевать их души, смирять, успокаивать.

Несколько дней Владислав не докучал отцу вопросами, пропадал на улице с мальчишками, а однажды вдруг ворвался в кабинет Флегонта с ошеломившей все село новостью:

— Говорят, Северск взят! Большевики разбиты и отступают...

— Сядь. Успокойся. — Флегонт пристально посмот-

рел на сына, покачал головой. — И ты веришь, что сие — правда? Большевики — не призрак. Они — власть. У них — армия, суд, законы, за ними тысячи тысяч тех, кто был ничем и хочет быть всем. Мыслимо ли свалить эку глыбищу? Полагаю: новость сия — обман, коим кориковы хотят вскружить головы легковерным... Уста фарисеев осквернены ложью, руки же их — в крови. Вспомни, как зверски убили Емельянова, как надругались над его супругой. Они убьют и меня, растерзают твою мать и вас всех живьем зароют в землю, если только сочтут это полезным и необходимым для собственного возвеличения.

— А Онуфрий Карасулин? Ты всегда хвалил его...

Флегонт нахмурился.

— Сие и для меня пока загадка.

Глава четвертая

1

За двести лет своей истории губерния не переживала еще такого светопреставления. Даже в недавние черные дни колчаковщины в иных уездах было куда спокойней, чем теперь. Тогда глухие таежные деревни и даже целые волости ни разу не видели солдат белого адмирала, — и мужики уцелели, и скотину уберегли, и особого урону никто не понес. Теперь таких деревень не было. Никого не обошло стороной, никого не миновало полыхнувшее над всей губернией пламя антисоветского мятежа.

Днем и ночью, в любую непогодь по лесным тропам то торопливо и шумно, то неслышно, крадучись шли люди, по большакам и зимникам скакали взмыленные кони, скрипели полозья, свистели, гикали ездовые, остервенело хлеща загнанных лошадей. Одни везли приказы, оружие, провиант, другие — листовки, третьи спешили упредить о чем-то важном соседнюю деревню или волость, иные же шли и ехали, сами толком не зная куда, в поисках укромного уголка, где можно было бы отсидеться, переждать, пока схлынет кровавая пена, поутихнут, улягутся взбесившиеся страсти и всклокоченная, вспененная мужицкая стихия снова войдет в свои извечные берега.

Глухими ночами лесные зимники становились доро-

гами смерти. Медленно двигались по ним толпы пленных — коммунисты, комсомольцы, милиционеры и прочие, кто хоть чем-то, хоть однажды выказал свои симпатии к большевикам, к Советской власти. Подогретые самогонкой, распаленные непокорством и стойкостью обреченных пленников, конвоиры нередко набрасывались на них, и тогда стылое безмолвие оглашалось криками, стонами и под слепым небом разыгрывалась еще одна трагедия, подобная той, какую увидел в логу челноковский поп Флегонт. Истерзанные трупы оставлялись на месте расправы — пока их не заметет метель, иль не растащат голодные волки, иль не найдут обезумевшие от горя родственники и тайно не похоронят...

Почти в каждой мятежной волости имелся свой «повстанческий штаб» и свой так называемый «крестьянский волисполком», которые лишь номинально подчинялись «яровскому крестьянско-городскому совету» и «главному штабу народной армии», разместившемуся там же (из всех уездных центров юга губернии мятежники овладели только Яровском). Каждый из многочисленных штабов норовил присвоить себе как можно более громкое наименование: головной, верховный, центральный. Засевшие в них белогвардейские офицеры делили территорию мятежа на фронты, придумывали направления главных ударов, а то разбухающие, то тающие толпы насильственно мобилизованных крестьян именовали армиями, дивизиями, полками с соответствующими командующими, командирами, начальниками, адъютантами, связными, разведками, хозчастями, военно-полевыми судами и т. д.

Мятежные штабы и командиры грозили крестьянину смертью за любую провинность: за уклонение от мобилизации и за невыполнение приказов, за нежелание умирать в бою и за милосердие к коммунистам, за изготовление самогона и за непредоставление лошадей для перевозки войск и раненых, и еще за многое иное. Оказавшиеся во главе военно-полевых судов, военно-следственных комиссий, контрразведок, особых отделов, бывшие колчаковские офицеры, полицейские и иные контрреволюционеры быстро и хладнокровно приводили эти угрозы в исполнение. А под Яровском и дальше на север, на двухсоткилометровой полосе шли бои с регулярными частями Красной Армии и коммунистическими соединениями. Выбив мятежников из села, красноармейцы нередко тут же вершили суд над кулацкой верхушкой контррево-

люционных советов, мстя за безвинно загубленных, замученных товарищей по борьбе.

Вот когда не с чужих слов, не по листовкам и газетам, а собственной шкурой даже самый сытый и темный, не желавший ничего знать, кроме своего хозяйства, середняк стал постигать азбуку классовой борьбы. Иной и хотел бы голову сберечь, ни влево, ни вправо не склоняться, да никак не получается... Брат поднялся на брата, сын замахнулся на отца. Качнулись извечные нравственные устои сибирской деревни, заскрипели и стали расползаться веками казавшиеся нерушимыми узы. Жизнь закусила удила и махом поперла по бездорожью — упряжь в клочья, повозку — в щепы, сшибла мужика с ног, завертела, закружила в бешеной карусели.

Качалась земля от гулкого топота лошадиных и человеческих ног. Дрожал воздух от рева луженых глоток и ружейной пальбы. Полнились села сиротами и вдовами. Тягучий, горький, заупокойный плач не смолкая бился под равнодушным зимним небом. А по ночам над забывшейся в тяжком сне деревней вдруг раскрылится красный петух, склюнет в одночасье половину домов и улетит прочь... От жара лившейся крови краснел и плавился снег, смерзаясь после в огромные алые комья, которые лизали ополоумевшие псы, заметала пурга, заносила поземка. Весной вместе с белым снегом растает и красный снег и, растворясь в говорливых буйных потоках, хлынет в речушки и реки вновь ожившая мужичья кровь, и земля ту кровь вернет людям ядреным подсолнухом, налитым колосом, узорным сибирским разнотравьем. Ну а те, что отдали свою кровь земле, никогда не возвратятся к людям...

2

Не случайно это заседание Северского губкома РКП(б) назвали чрезвычайным, не зря пригласили на него партийных активистов. Обсуждался вопрос, который волновал всех: «О политическом положении в губернии». Докладчиком, как и на том памятном заседании президиума, был председатель губчека Чижиков.

— Южные уезды губернии охвачены контрреволюционным мятежом. Врагам удалось сыграть на недовольстве крестьян, возмущенных грубейшими нарушениями революционной законности и продовольственной политики партии...

Чижиков говорил необычно быстро, сухими, сжатыми фразами, которые не повисали, не растворялись, а будто взрывались в мертвой тишине, и, раненные их осколками, люди стискивали зубы. Поведав о бесчинствах карповского продотряда, председатель губчека высказал убеждение, что эти злодеяния свершались под диктовку исчезнувшего члена коллегии губпродкома Горячева — замаскированного врага.

— Идеологи мятежа — эсеры и антисоветчики. Его ядро — кулаки, белогвардейцы, уголовники. Крестьян насильственно мобилизуют. В этом — основная сложность момента. Рабоче-Крестьянской Красной Армии приходится воевать с трудящимся крестьянином, одураченным эсерами, озлобленным провокаторами, одетыми в кожаные куртки продработников...

Он выговорил все это на едином дыхании и задохнулся, сделал небольшую паузу. Густая тишина в зале не шелохнулась, затвердела тысячепудовым чугунным слитком, ее тяжесть и жар Чижиков ощутил физически. Из этой чугунной тишины в докладчика вонзились десятки взглядов — одобрительных, недоверчивых, тревожных, протестующих, негодующих. Они подстегивали, пришпоривали Чижикова, до последнего предела напрягая нервы. Сейчас особенно важно было, чтобы эти люди поверили ему, согласились с ним, но не растерялись, не впали в уныние. «Только не сорваться», — приказывал себе Гордей Артемович. И все-таки пауза, видимо, затянулась сверх меры. За спиной трубно кашлянул Новодворов. Чижиков набрал полные легкие прокуренного воздуха.

— Дорога на Екатеринбург перерезана в двух местах. Продвижение продовольственных эшелонов к центру прекратилось. Питер и Москва жестоко голодают... — Снова задохнулся. Промокнул ладонью испарину на лбу. Полоснул острым, твердым взглядом по лицам сидящих в президиуме. — Три дня назад мятежники с ходу захватили Яровск. Им достались тысячи пудов собранного по разверстке хлеба, много всякого добра, и, главное, типография с запасами бумаги, и телеграф. В ближайших к Северску селах Советская власть свергнута. Банды с трех сторон подошли к городу на пять верст. Северск наводнен переодетыми белогвардейцами и прочей нечистью. Гарнизон губисполкома ненадежен...

Чижиков бил в одну точку: нужно создать обстановку боевой напряженности, мобилизованности, объединить

усилия всех, кто может и должен участвовать в подавлении мятежа. Кажется, докладчик достиг желаемого. Выступавшие после него были немногословны, говорили страстно, спорили ожесточенно, без полупоклонов местным авторитетам, называя вещи своими именами.

Ожесточенней всего спорили о причинах мятежа. Секретарь губкома Водиков постарался снять вину с продовольственников. Лавр Гаврилович, опытный оратор, говорил раздумчиво, не настаивал, не предлагал, а вроде бы советовался, сомневался вслух, искал верный ответ. Этот прием да и весь облик Водикова: добродушный и мягкий, с белозубой улыбкой из-под пышных казацких усов, с негромким, но сочным голосом — сделали свое дело. К концу речи Водикова из зала повеяло как бы некоторым успокоением. Это встревожило Чижикова, и он снова в тысячный раз задал себе вопрос: «Кто есть Водиков? Перекрасившийся эсер или большевик, не очистившийся от эсеровских заблуждений?» Ответа не было. Чижиков переворошил в памяти все, что знал об этом умном, образованном человеке — то ли ошибающемся друге, то ли изворотливом враге. И не нашел зацепки, за которую можно было бы взяться и размотать клубок. Дальнейшее неведение — кто же он? — становилось нетерпимым и опасным. В бою надо верить идущему рядом. А Чижиков не верил секретарю губкома, бывшему эсеру Водикову. Видимых оснований к недоверию не было никаких, кроме интуиции, а на ней, как известно, политику не строят. Оттого и нервничал Гордей Артемович. Оттого и вдумывался в каждую фразу Водикова.

Тот характеризовал мятеж как кулацкий бунт, а кулаки — злейшие враги Советской власти, и «тут надо не ахать, не удивляться, не исследовать социальную базу, а бить. Наотмашь и насмерть!..» Он трижды повторил слово «бить», пристукивая при этом ладонью по трибуне. Сказал о идущих в Северск частях регулярной армии, о всеобщей мобилизации коммунистов и комсомольцев, о формировании коммунистического полка. «Нарыв созрел. Нужно немедленное хирургическое вмешательство. Каленым железом, с кровью выжечь кулацкий гнойник на прекрасном, но усталом теле молодой Республики Советов!» — так закончил Водиков свою речь, и тут же слово взял губпродкомиссар Пикин.

На Пикина страшно было смотреть: он словно обуглился, стал черен лицом, сух и невесом телом, и только гла-

за сверкали таким яростным, нутряным огнем, что, столкнувшись с ними взглядом, Гордей Артемович не выдержал и стал смотреть в зал.

Если бы Чижиков смог заглянуть сейчас в душу продкомиссара, он увидел бы, в какой тугой узел сплелись там самые противоречивые чувства. О многом передумал Пикин за эти дни. Не раз клял себя за допущенные ошибки, все отчетливей сознавая, что Чижиков был прав в своих предостережениях. Но доклад Чижикова на заседании губкома так перевернул Пикина, что, потеряв самообладание, губпродкомиссар невольно отшатнулся от собственных совсем недавних трезвых выводов... Признать, что он, Пикин, оказался чуть ли не невольным пособником классового врага,— это было выше его сил!..

И Пикин сразу объявил недомыслием и политической близорукостью рассуждения Чижикова о причинах кулацкого мятежа. Со слов губпродкомиссара выходило, что кулаки сами провоцировали продработников на применение жестоких мер, а потом использовали эти факты в своей контрреволюционной пропаганде.

Все более распаляясь, Пикин и не приметил, что вновь сбивается на прежний путь рассуждений. Изловив себя на этом, губпродкомиссар на миг смешался и попытался смягчить формулировки, на ходу переставить акценты. Хотел и о собственной близорукости сказать, но встретил сочувствующий взгляд Чижикова и уже не смог совладать с собой — попер напропалую.

— Мы в одном повинны: были недостаточно тверды и беспощадны с кулацко-белогвардейским охвостьем. Не темни, Чижиков, с середняком! Труженик крестьянин не пойдет против своей власти. Если ж кто из трудяг и заглотнул кулацкую наживку, так их единицы и они скоро отрезвеют. Клюнет жареный петух в мягкое место — очухаются... Преувеличивая перегибы продработников, ты, Чижиков, дудишь в одну дуду с мятежниками. На, полюбуйся! — Пикин выхватил из кармана скомканный листок и не глядя протянул его за спину.— Это бандитская листовка. В ней сообщается о расстреле пятидесяти двух лучших продработников. Мы потеряли отличных продовольственников-организаторов. Да, они были непримиримы в борьбе с кулацкой гидрой, умели ответить двойным, тройным по силе ударом на удар врагов. Но именно так, и только так, должен вести себя

подлинный революционер в настоящий момент. Не вали с больной головы на здоровую...

Тут Пикин стал обвинять губчека: просмотрела готовящийся мятеж, не сигнализировала, не предупредила, не обезвредила и прочее, и прочее в том же духе. Все это он выговаривал на предельном накале, нимало не смущаясь жестких, грубых слов.

— Если б ты не помешал расправиться с челноковскими контрреволюционерами-кулаками, сгубившими наш лучший продотряд, не взял бы под крылышко перерожденца Карасулина, не занимался слюнтявой демагогией вместо решительных мер, — никакого мятежа не было бы. Кто мешал тебе разворошить паучье гнездо в Челноково? Доказательств не хватало? Продотряд сожгли. Самого тебя едва не прихлопнули. На волкомсорга покушались. Чего еще было надо?.. Проповедником бы тебе быть, а не председателем чека. И сейчас ни к месту рассопливился. Прав товарищ Водиков! Надо не выкапывать причины мятежа, а давить его...

Тишина лопнула, поднялся невообразимый гвалт. Люди вскакивали с мест и, перебивая друг друга, выкрикивали накопившееся. Одни требовали отстранения Чижикова от руководства губчека и предания суду. Другие кричали, что Чижиков прав, а Пикин защищает честь мундира и дезориентирует заседание. Аггеевский отшвырнул бесполезный колокольчик и принялся молотить кулаком по столу, но в зале не успокоились до тех пор, пока на трибуну не вышел председатель губисполкома Новодворов.

Савва Герасимович был самым старым по стажу большевиком губернии, за его плечами — дореволюционное большевистское подполье, царская каторга, личная связь с ленинской «Искрой». Его уважали, к его мнению прислушивались, и когда Новодворов пошел к трибуне, шум в зале стал круто стихать. Заговорил Савва Герасимович глуховатым голосом, неторопливо и рассудительно.

— То, что сейчас происходит в нашей губернии, по классовой сути своей — кулацкий мятеж. Антибольшевистский, антисоветский, и не случайно во главе его оказались эсеры и белогвардейцы. Нам надо немедленно решить самую трудную, но чрезвычайно важную задачу: отсечь трудового крестьянина от кулацко-белогвардейской верхушки. Успокоить, вернуть к земле, к труду обманутого, сбитого с толку мужика, а контрреволюцион-

ных заправил уничтожить. Всю нашу пропагандистскую машину следует направить на разъяснение крестьянам сути происходящего, любой ценой восстановить связь с сознательными крестьянами мятежных уездов. Важно, чтоб наша месть за кровавые злодеяния кулачья падала не на всех без разбору мятежников, а на кулацко-белогвардейское ядро. Сейчас не место и не время препираться и доказывать, кто дурнее. Пусть этим займутся историки. Давайте решать, как скорее ликвидировать мятеж с наименьшими потерями — и людскими и моральными. Советская власть — народная, а значит, и мужицкая. Этого нельзя забывать. Надо драться и оружием, и пламенным большевистским словом. В каждом красноармейском подразделении должен быть наш агитатор. В каждом освобожденном селе — немедленно сход, открытый, прямой разговор о случившемся. Карать контрреволюционеров только по приговору суда — гласного, открытого, с обязательным участием крестьян. Вместо вооруженных продотрядов теперь в села надо посылать вооруженные пропотряды. Я верю — мятеж можно локализовать, мятежников расколоть изнутри и затушить пламя с минимальным применением силы, с наименьшей кровью... Через месяц — сеять. Чтобы вспахать, обсеменить сотни тысяч десятин, нужны сытые лошади, крепкие мужские руки, желание и доброе настроение крестьянина...

Чижиков удовлетворенно кивал словам Новодворова, а мыслями все дальше уходил от них. Неожиданно родилось, разрослось и стало необоримым желание проникнуть в одну из мятежных деревень, встретиться там с мужиками, затеять откровенный, прямой разговор и убедить, заставить добровольно сдать оружие, выдать зачинщиков, вернуться к мирному труду. Партизанщина? Но, не сделав этого, не уверуешь до конца в свою правоту, не заставишь поверить других. «Махну с Тимофеем Сатюковым в его родную Каменку. Там — волостной штаб мятежников, мужики зажиточные, есть ячейка эсеровского крестьянского союза. Если уж там кувыркнем — пойдет по-иному. Можно для прикрытия взвод с пулеметом... Никаких пулеметов! Тимофей и я. Сперва сам уверуй, потом других причащай...»

Чижиков машинально свернул вчетверо переданную Пикиным листовку, засунул в нагрудный карман гимнастерки. В мыслях осталась только поездка в мятежную Каменку. Затея рискованная. При самом благоприятном

исходе — не миновать нагоняя от губкома. А можно уехать и не вернуться. Глупо и нелепо...

Ораторов Чижиков слушал, но толком не слышал, лишь по отрывкам проникающих в сознание фраз отмечая, чью сторону принимает говорящий. Но когда кто-то упомянул Горячева, мысли Чижикова разом перенеслись из Каменки в Челноково, к событиям, о которых рассказали Сатюков и Пахотин. Ловко подстроили господа кориковы и доливо, ничего не скажешь! И мужиков довели до исступления, и продотрядчиков — под топор. Сколько их полегло в эти дни в разных концах губернии... Чижиков достал из кармана и еще раз перечитал листовку о расстреле продработников. Большинство из названных в листовке он не знал, но тех, кого знал, уважал по-настоящему, хоть порой и крепко с ними спорил. Это были люди, безоговорочно верящие в правоту своего дела. Месяцами скитались они по взбаламученным, нередко враждебным деревням, ели что придется, спали где попало, мерзли и мокли, подставляли спины под кулацкие обрезы, и все только ради того, чтоб не дать умереть с голоду Республике Советов. Вспомнилось вдруг, как заплакал тогда Пикин в кабинете Аггеевского... Чижиков глянул на темное лицо губпродкомиссара. «Сгорит... Такие по краешку да по обочине не умеют. Сам себя в пламя кинет. Поберечь бы его, попридержать. Но как? Таких людей теряем из-за белой сволочи...»

И тут в памяти Чижикова внезапно необыкновенно ярко прорисовалось осунувшееся с утиным носом и толстогубым плотоядным ртом лицо бывшего начальника колчаковской дивизионной контрразведки, бывшего командира продовольственного отряда особого назначения Карпова-Доливо. Чижикову даже показалось, что он вновь почуял тот непередаваемый, необъяснимый «кабаний дух» (так выразился после первого допроса Арефьев), который исходил от Доливо. Гордей Артемович брезгливо поморщился.

Вчера, накануне судебного разбирательства в ревтрибунале, он допрашивал Доливо последний раз. Тот, как всегда, вошел вразвалочку, с показным спокойствием развалился на стуле, закинул ногу на ногу и даже замурлыкал излюбленный мотивчик. «Я пригласил вас напоследок, — начал Чижиков, — следствие закончено, и завтра...» — «Короче, пожалуйста, — перебил Доливо, вздергивая плоский нос и смешно топыря губу, — короче, граж-

данин председатель. Во-первых, неизвестно, в каком качестве вы предстанете завтра. Может, завтрашнее чрезвычайное (он подчеркнул интонацией это слово) заседание губкома избавит губчека от вашего председательства, а может, нынче ночью повстанцы займут Северск, и мы с вами поменяемся ролями. Ха-ха-ха! Вот когда я покажу тебе, как должна работать настоящая контрразведка. Я по волоску вытащу из тебя все нервы, намотаю их на кулак...» — Доливо изобразил, как проделает это, покрутив некрупным, но крепким кулаком. Он то ли разыгрывал бесстрашного белогвардейского офицера, то ли в самом деле ничего не боялся. А может, всерьез верил, что завтра все круто переменится?

Чижикова, прежде всего, поразила осведомленность Доливо. Значит, среди тех, кто общался с заключенными, были либо болтуны, либо скрытые враги... «Послушайте, — как можно равнодушней спросил Чижиков, — неужели вам не надоело дурацкое показное молодечество? Ваша песенка спета, и вы это прекрасно понимаете. Есть лишь один путь смягчить...» — «Приберегите этот путь себе, — снова бесцеремонно перебил допрашиваемый. — Ваш следователь, гражданин Арефьев, прожужжал мне все уши об этом. Чего только не обещано мне. Но мы не продаемся. Возможно, потому, что нечего продавать, а возможно — нет подходящего покупателя. Ха-ха-ха! Видите, я с вами откровенен, как с попом». — «Как и где вы познакомились с Горячевым?» — теряя терпение, прямо спросил Чижиков, хотя и был уверен, что ничего путного не услышит в ответ. «Значит, товарищ Горячев, вам не по зубам, и вы решили с моей помощью подобрать к нему ключик? Перелет, гражданин председатель. Своими не торгуем ни оптом, ни в розницу...»

До конца заседания Чижиков так и не смог уже отделаться от мыслей о Доливо и Горячеве и лишь тогда оторвался от них, когда услышал высокий натянутый волнением голос Аггеевского. Савелий Павлович стоял на трибуне в своей излюбленной позе — слегка ссутулившись, чуть подавшись вперед, правая рука занесена над головой. «Чертов кавалерист», — со смешанным чувством восхищения и осуждения подумал Чижиков и весь напрягся, предугадав смысл речи ответственного секретаря Северского губкома РКП(б). И не ошибся.

Обронив вначале несколько фраз о том, что Новодворов прав и надо не забывать пропаганду и агитацию в

стане заблудших крестьян, Аггеевский заговорил о жестокой мести кулацко-белогвардейским подонкам, о беспощадной расправе с антисоветчиками. Сказал, что завтра же он сам поведет первый коммунистический батальон вместе с ротой красноармейцев на Шарпинск и выбьет оттуда кулацко-эсеровскую... Тут у него сорвалось с языка непечатное слово, но никто не обратил на это внимания, и когда Аггеевский, подняв над головой сжатые кулаки, гаркнул: «Даешь Шарпинск!» — даже Чижиков не утерпел и невольно завопил со всеми вместе: «Даешь!..»

«Фу, дьявол, — опомнившись, упрекнул он себя, — такого остановит только смерть». И вновь восхитился и встревожился. Да, Аггеевский никаких компромиссов не примет. Пропаганда и агитация будут сидеть у него в самом дальнем обозе. Он не умеет, не станет убеждать тех, кого считает врагами. «В открытом бою ему цены нет. Камень в атаку поднимет. Под любые пули пойдет... Но как его образумить?»

Аггеевскому было двадцать четыре года, шесть из них он воевал. Конь да шашка, ночные походы, полевые госпитали, тифозные бараки — вот все, что осталось у него от юности. Пуще всего на свете любил Савелий Павлович атаку, когда, занеся клинок, мчишь судьбе наперерез и уже не разум, а оголенные чувства управляют тобой и либо — ты, либо — тебя, никакой середины, никакого примирения. И чем рискованней была атака, тем с большим азартом и упоением кидался в нее Савелий. Если бы не серьезная рана да не решение ЦК РКП(б), ни в жизнь не покинул бы он своего полка, не осел бы в Северске, не променял бы походный неуют на высокое кресло первого секретаря губернского комитета партии. Но он был солдат, и когда ему передали приказ, он едва не заплакал, но ни словом не возразил, сказал только: «Есть!» — и попросил демобилизовать вместе с ним его боевого друга Серко...

Все это Чижиков знал, оттого не мог не волноваться, слушая атакующую речь секретаря губкома, которой завершилось чрезвычайное заседание, не принявшее никакого решения. После речи Аггеевского долго все кричали «Ура!», потом темпераментно и громко пели «Интернационал», а затем сразу началась запись в коммунистический батальон, который должен был штурмовать Шарпинск.

3

Дверь скрипнула.

— Ты, Катя?

— Ага.

Она заметно похудела. Стаял румянец со щек, отчего глаза стали казаться еще чернее. В них — ни былого покоя, ни равнодушия — проницательно цепкий взгляд. Маленькая фигурка женщины сделалась подобранней: энергичней стали жесты, стремительней — походка.

Крохотный браунинг пани Эмилии все-таки успел выстрелить. В Катино сердце целилась пани Эмилия, да в последний миг заело пусковой механизм смертоносной игрушки, пришлось дважды нажимать кнопку, и Катя успела откачнуться, отвела сердце от свинцовой горошины, и та, пробив мякоть левого плеча, застряла в кости. Баба Дуня, у которой жила Катя, не позволила оперировать внучку, забрала ее из госпиталя и на удивление врачей скоренько поставила на ноги. Что касается неизвлеченной пули, то тут баба Дуня рассудила так: «Коли станет мешать организьму, тот ее вытолкнет, а ежели приживется — с богом, не велика ноша».

После ранения Катя изменилась не только внешне, но и внутренне, как бы затвердела. От прежней — мягкой, застенчивой, часто смущающейся молодой женщины осталась одна улыбка. «Теперь бы ей встретиться с Маркелом Зыряновым...» — подумал Чижиков, разглядывая Катю. Она сегодня была оперативной дежурной губчека и, не ожидая вопросов, прошла к столу, протянула Чижикову пахнущую типографской краской листовку.

«Ко всем коммунистам губернии, — прочел Чижиков про себя аршинными буквами набранный заголовок. Недобро ухмыльнулся и заинтересованно заскользил, заспешил взглядом по строкам. — Товарищи коммунисты! Переходите к нам, на сторону трудового народа. Пора нам кончать братоубийственную бойню. Долой войну, которая всем надоела, всех разорила. Объединенными силами всего народа мы сумеем построить подлинную власть рабочих и крестьян. Мы сумеем обойтись своими силами, без помощи вожаков-комиссаров, которые обманывают народ и на его поте и крови устраивают собственное благополучие...» — Перескочил сразу несколько строк и, точно ожегшись, отдернул голову, опустил руку с листовкой.

— Что там? — обеспокоилась Катя.

Чижиков поднес листовку ближе к лицу и разом проглотил длинную обойму слов: «...В наших рядах сражаются бывшие коммунисты Челноковской волостной партийной ячейки во главе со своим секретарем Онуфрием Карасулиным, который ныне командует первым сводным ударным крестьянским полком...»

— Не может быть! — Чижиков с размаху припечатал кулак к столешнице. — Провокация.

— Что случилось? — испуганно спросила Катя.

— Читала?

— Хватит мне чтения без бандитских листовок. Арефьев велел передать, как только вернетесь...

— Тогда слушай.

Прочел вслух, в конце обращения — два десятка фамилий коммунистов, в их числе девять из Челноковской ячейки.

— Веришь?

— Нет.

— Негодяи! Даже Карасулина и Нахратову причислили к перебежчикам. Бесстыдство подлецов не знает границ. Погибли наши дорогие товарищи...

Скомкав листок в кулаке, прикусил нижнюю губу. Глянула на зачугуневшего Чижикова Катя и стала пятиться к порогу.

Зазвонил внутренний телефон. Чижиков даже не повернулся к аппарату, подумав вдруг о Маремьяне. «Жива ли? Бедовая... Отчаянная... Единственная... Надо же, угодила в самое пекло. Маремьянка, Маремьянка...» Телефон залился оглушительным и непрерывным звоном. Гордей Артемович снял трубку и сразу узнал голос Тимофея Сатюкова.

— Товарищ Чижиков, тебя тут молодуха домогается...

— Передай ей трубку.

— Гордей Артемович? — прозвенел негромкий голос.

— Ты?! — еле выговорил Чижиков пересохшим ртом, не веря, и радуясь, и тревожась.

Положил трубку, встретился взглядом с Катей.

— Быстро в комендатуру. Веди ее сюда.

4

Ярославна была в длиннополой дубленой борчатке, по самые глаза замотана шерстяным платком. Едва переступила порог — сразу угодила в чижиковские объятия.

Он гладил ее, похлопывал по плечу, тормошил, бормоча:

— Живая? Ах ты!.. Вот дивно!.. Да раздевайся же...

Сбросив тяжелую шаль и шубу, Ярославна стала похожа на подростка. Глаза посверкивали нездоровым нервным блеском на круглом большелобом лице.

— Как хоть ты? Откуда?

— Напиться бы...

Залпом выпила два стакана воды, глубоко, расслабленно выдохнула.

— Думала, не дойду. По всем дорогам патрули, посты, разъезды. Где свои, где чужие — не понять.

— Да откуда ты свалилась?

— Из-под Яровска.

— Бежала?

— Не знаю... Пожалуй, бежала... — Потерла ладонью высокий выпуклый лоб, болезненно покривилась. — Как в бреду... Не перебивайте только. Выговорюсь, потом уж... С чего же начать?! Ну да, с начала. Как занялось в Челноково... Готовили Кориков с Горячевым, Карпов, Крысиков и прочая мразь. Если б не они — не раскачать бы кулачью мужиков. Как бесчинствовали и безобразничали эти выродки! Я бы своей рукой перестреляла...

Чижиков согласно кивнул головой и, не спуская с Ярославны настороженного и сочувствующего взгляда, стал сворачивать папиросу.

— Сам-то Горячев успел смыться. Главного палача Карпова, или как там его, Пахотин к вам приволок. Крысикова убил Онуфрий Лукич. Опоздай он на несколько минут — ни жены, ни дочери бы... И это зверье ходило под нашим флагом. Надо самого Пикина просветить. Либо он дурак, либо... Теперь кулаки лютуют. Не Карасулин, на кусочки порвали бы пленных продотрядовцев и нас заодно. Как они растерзали Емельянова! Зверье! А комсомольцев!.. Флегонт видел — до сих пор как чумной. И все Зыряновы — Маркел и его выродок... Слюнтяи мы. Видели ведь, чуяли — и... Зла на себя не хватает. И вы тоже... Но надо — о главном. Поймете ли? Сама до сих пор сомневаюсь. Может, лучше бы с Емельяновым в прорубь? Земля качается. Верю и не верю. То оправдываю, то казню себя... Как узнала, что Карасулин стал у них командиром полка...

— Так это правда?! — ужаленно вскочил Чижиков, выронив горящую папиросу. Широко распахнутые се-

рые глаза впились в Ярославну.— Значит, та листовка... — Он смотрел на девушку так, будто она превратилась в мерзкую бородавчатую жабу.— Ну, что замолчала? Говори!

Резкий запах паленого на миг отвлек внимание Чижикова. Вокруг дымящегося окурка черным круглым пятном выгорела скатерть. Гордей Артемович, гадливо сморщившись, подхватил двумя пальцами окурок, швырнул в пепельницу.

В руке Ярославны появился наган. Кинула его на стол.

— Арестуйте меня. Расстреляйте. Но так... так... вы не имеете права... не смеете! — И разрыдалась.

Не успокаивал, даже воды не подал Чижиков, только отодвинул наган на дальний угол стола. Тяжело опустился на прежнее место. От этой встречи он ожидал чего угодно, только не того, что услышал. Усилием воли совладал с собой, выражение растерянности стаяло с лица, черты его затвердели, взгляд стал прежним — жестким и проницательным. Строго приказал:

— Рассказывай.

Девушка всхлипнула еще несколько раз, распрямилась, стерла слезы с красных щек.

— Я сама первая назвала Карасулина предателем, но он... убедил, что другого пути нет. Пусть, говорит, трибунал потом, пусть свои расстреляют, сам себе пулю — но глаза мужикам разую, полк подыму, а белым недобиткам жало вырву...

Да, то были Онуфриевы слова, в этом Чижиков не сомневался. Но решиться на такое!

— Хотели суд над нами — Онуфрий Лукич не дал. Или, говорит, убирайте меня с командиров, или давайте их мне в полк. Кое-как согласились...

— И все пошли!

— Не все... Пахотин плюнул Онуфрию Лукичу в лицо, иудой обозвал. Он и еще четверо наотрез отказались в полк. Карасулин хотел помочь им бежать — не вышло. Перехватили всех пятерых сразу за околицей — и пиками... На второй день это было, полк еще формировался. Думала: не выдержит Онуфрий Лукич, взорвется — и все полетит к чертям... Выдержал. Почернел весь, закаменел, но не согнулся. Ночью ему во двор гранату кинули. А в открытую не решаются. Видят: мужики за Карасулина. Он отовсюду стягивает в полк дружков, с

кем партизанил. Те сперва чуть его не пристрелили... Теперь все вместе помогаем мужикам прозреть. Приходится таиться, но верящих нам — все больше. Еще бы недельку-полторы — и полк почти наш. Только б не сорвалось... Поднимем людей — и по бандитским тылам. Тут надо нас поддержать...

— Уже поддержали, — хмуро ввернул Чижиков, сунув Ярославне принесенную Катей листовку.

— Знаю, читала... Этого было не миновать... Кориковым надо запачкать нас изменой. Как ни хитрил Онуфрий Лукич, дважды уже побывали в боях. Это же... Да что говорить!.. Пусть мы в белый свет стреляли, но видеть, как кулачье бьет в наших... За это готовы и под трибунал... Хорошо, оказался перед нами какой-то потрепанный батальон. Постреляют и на попятную. Одного просим: не предпринимать против полка активных действий. Больше всего боится Онуфрий Лукич погибнуть сейчас, не свершив задуманного, не выполнив вашего поручения...

— Моего поручения?!

— Разве вы не поручали ему проникнуть в бандитское логово. Разглядеть изнутри и взорвать.

— Ну-ну, — невразумительно бормотнул Чижиков.

— Надо торопиться. Все — на волоске... Я — сестра милосердия. Онуфрий Лукич послал якобы в Яровск за бинтами, а я — сюда. Со мной еще двое. Хорошо, что нет сплошного фронта — проскочили... Назад придется через Яровск, могут заподозрить... В полку больше сотни отпетых белогвардейцев и кулаков. И подсылают все новых. За каждым шагом следят. Не знаешь, когда и откуда грянет...— облизала пересохшие губы.— Если верите — надо все детально обговорить. Главное, чтоб на нашем участке никаких атак. Дать мужикам дозреть... Если все выйдет, где-нибудь около Салтыковки развернем полк — и с ходу на Яровск. От такого удара качнет все мятежные уезды. Большинство крестьян уже отрезвело, боятся только бандитской расправы над семьями да мести красных, о которой надудели им в уши эсеровские гудошники...

— А если скажем — нет?

— Вызывайте часового. Тех двоих, что со мной пришли, не забудьте... Карасулин будет ждать три дня. Вернусь не вернусь, согласитесь не согласитесь, он все равно поднимет над полком большевистское знамя и будет коло-

шматить белогвардейцев и кулачье, хотя бы после того ему пришлось угодить в ревтрибунал. Вы ведь его знаете...

— Знаю, — глухо проговорил Чижиков. — Знаю... Непосильная задача. Невероятная.

Встал. Принялся молча мерить шагами комнату. «Онуфрий, Онуфрий. Чертов сын! Куда занесло тебя? И меня поставил перед... Удержусь ли на этом повороте? Без президиума губкома и командующего группой войск не обойтись, ВЧК не миновать. Вряд ли Аггеевский поддержит. Одна надежда — Новодворов...»

Повернулся на скрип двери и ошалело захлопал выцветшими белесыми ресницами, увидя входящего Новодворова. Тот неторопливо прошагал на середину комнаты, снял шапку, стер иней с широких бровей.

— Еду, гляжу, губчека бодрствует, дай, думаю, зайду, скрашу одиночество, а тут, брат, такое «одиночество», что скинь мне пару десятков лет, и я бы... Постой, да ведь это челноковская комсомолия? Не с того ли свету? Мы ее в поминальник, а она — собственной персоной. Здравствуй, красавица,— подал руку смешавшейся Ярославне.— Погоди, погоди, сейчас припомню... Нахратова, кажется? Слава богу, еще не совсем память сносилась... Не помешал, Гордей Артемович?

— Наоборот. Только подумал о вас. Такой орешек подкатили челноковцы — зубы трещат.

— Тогда я не помощник. У меня еще на каторге от цинги половина зубов выпрыгнула. Грызи уж свои орехи сам.

— Задал Карасулин задачку...

— Так он не погиб? — обрадовался Новодворов.— Живуч мужик.

— Помните, я докладывал о своем разговоре с Карасулиным во время его импровизированного ареста. Так вот, он наше задание перевыполнил. Да с каким перекосом...

И Чижиков скупо пересказал только что услышанное от Ярославны.

— М-мд-да-а,— протянул Новодворов и протяжно закашлялся, будто в трубу затрубил: бу-бу-бу! — В том, что он не иуда, я не сомневаюсь. Знаком с ним и от других наслышан. Но чтобы большевик, секретарь волпартячейки командовал контрреволюционным полком — такого и в самом диком бреду... Д-да-а! — Несколько раз про-

шелся от стены к стене, резко остановился перед Чижиковым.— Но ведь губчека приказывала Карасулину действовать сообразно обстановке?

— Так-то оно так...

— Ты давал ему задание войти в доверие врага и при нужде ударить в спину? Давал?

— Конечно, но...

— Ни ты, ни я, ни Карасулин — никто не мог всего предвидеть и предугадать. На таких поворотах ой ли какие головы кружатся и летят под откос... Пусть подымает полк! И с ходу — на Яровск. Освободить город, и по бандитским тылам — к Тоборску. Для раскаявшихся, колеблющихся красный полк Карасулина станет знаменем. Он, как магнит, стянет всех трудяг, и те даванут кулачье и белогвардейщину изнутри, помогут нам отжать мятежников от железной дороги, оттереть на север, а там им — конец. Ведь эсеровские вожди мятежа рассчитывают на поддержку других губерний, на вмешательство заграницы. Воистину — зло застит им разум.

— На Карасулине, хочет он того или нет,— кровь погибших... — высказал Чижиков больше всего мучившее его сомнение.

— В этом разберется трибунал, — жестко проговорил Новодворов.— Без разбирательства тут все равно не обойтись. А сейчас Карасулину надо помочь. Он угодил меж молотом и наковальней. Так же, как тысячи сбитых с толку крестьян. Мы должны любой ценой вырвать трудового крестьянина из кулацкой западни, завоевать его доверие. Это очень нужно партии сейчас, еще нужней будет — завтра, — и совершенно необходимо — послезавтра, когда на новой основе будут складываться наши отношения с мужиком. Пока что они у нас — не ахти. Если и дальше будем так ломить да гнуть — может случиться непоправимое: мужик охладеет к земле, она потеряет над ним власть... — И снова круто повернул разговор в изначальное русло.— Ты толкнул Карасулина в это пекло, а сам боишься ручки обжечь? Такие, как он, на полпути не останавливаются. Все делают истово и до конца. Ни полумер, ни полутонов, ни полупоклонов. Ну а риск... Без риска, говорят, не проживешь. Помнишь, как это... «Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю, и...»

— «...в разъяренном океане, средь бурных волн и бурной тьмы...» — продолжила Ярославна и заплакала — облегченно и тихо.

Новодворов и Чижиков отошли к окну.

— В губкоме пока никаких дискуссий по этому поводу,— не то посоветовал, не то подумал вслух Новодворов.— Отштампуют решение, и мы связаны по рукам и ногам. Обстоятельное и толковое донесение Дзержинскому. Сегодня же. Сейчас. Вот подуспокоимся чуть и сочиним. С командующим группой войск договорюсь. Мы с ним друзья по каторге. Вот так, пожалуй. А дальше будет видно...

Глава пятая

1

С тех пор как в Северской губернии начался антисоветский мятеж и, то где-то затихая, а где-то разгораясь сильней, охватывал все новые уезды, огненным палом переметнулся в глухие таежные деревни Прииртышья и Приобья, слил отдельные очаги в кровавые фронты, где громыхали орудия и не затихали жестокие бои, с тех пор Пикин все острее чувствовал собственную виновность в разыгравшейся трагедии. Всячески противился этому чувству, себе и другим доказывал обратное — как это было и на заседании губкома,— а в душе все крепче утверждался в своей неправоте и оттого мрачнел, становясь раздражительным до крайности.

Председатель губчека Чижиков не сомневался: Карпов и исчезнувший Горячев — единомышленники, бывший член коллегии губпродкома Горячев раздувает мятеж против Советской власти, от имени которой недавно действовал. Пикин придирчиво и неторопливо перебрал все, что знал о Горячеве, — от первой встречи до той минуты, когда проводил его в Челноково, припомнил, как настойчиво рекомендовал Горячев никому не известного Карпова начальником продотряда особого назначения, как упорно отстаивал им же предложенную семенную разверстку, и в конце концов окончательно признался себе, что бывший заведующий хлебным отделом — враг. И не было теперь у губпродкомиссара сильней желания, чем желание отомстить. Любой ценой, во что бы то ни стало жестоко отомстить перевертышу Горячеву, кому совсем недавно так слепо и безоговорочно доверял. И не было жертвы,

на какую не пошел бы Пикин, лишь бы скорее погасить черное, смрадное пламя мятежа. Он свирепел, узнавая, что где-то собранный по разверстке хлеб попал в руки бандитов.

Когда же дошла до Пикина весть о том, что уездный Тоборск с трех сторон осажден мятежниками, губпродкомиссар едва не задохнулся от ярости. Ведь в Тоборске на складах в ожидании навигации лежало пятьдесят тысяч пудов собранного по разверстке зерна. «Немедленно вывезите весь хлеб, собранный по разверстке»,— телеграфировал Пикин тоборскому уездному продкомиссару и председателю уисполкома. Те ответили: «Ввиду катастрофической близости бандитов, полного отсутствия гужевого транспорта выполнить приказ невозможно». Оставалось одно из двух: раздать хлеб жителям Тоборска либо оставить его мятежникам, которые не сегодня-завтра займут город. Ни того, ни другого Пикин принять не мог и решил, ни с кем не согласуя, махнуть в осажденный Тоборск, чтобы любой ценой спасти хлеб.

Мятежники вплотную подошли к тракту Северск — Тоборск. Кулацкие банды не раз врывались в села на тракте, и оттуда давно уехали все, кому грозила расправа. Заполучить серьезную вооруженную охрану без ведома губкома Пикин не мог, а открыться губкому не желал, так как был уверен, что ему ни за что не разрешат столь рискованной вылазки. И губпродкомиссар, прихватив с собой только двух красноармейцев, поскакал в Тоборск.

За день бешеного аллюра одолели почти половину пути и к вечеру оказались в большом зажиточном селе Криводаново. Тут и решили заночевать, дав отдых себе и коням.

Во многих селах Пикин имел хороших знакомых, у которых останавливался передохнуть, пообедать, иногда ночевал. Губпродкомиссар дорожил этими связями и всячески их поддерживал. Встретив в Северске деревенского знакомца, обязательно тащил его домой, кормил обедом, помогал достать сбрую, дегтя или гвоздей, но если тот заводил разговор о тяготах продразверстки, Пикин сразу отбрасывал всякие правила гостеприимства и так ожесточенно защищал разверстку, что гость умолкал и спешил проститься.

Был такой знакомый и в Криводаново — небогатый, но крепкий, бездетный середняк Герасим Старостин. К нему и направился губпродкомиссар.

Село словно вымерло — ни мальчишек, ни собак. Непривычная тишина и безлюдье насторожили. Пикин пустил коня шагом, зорко вглядывался в окна. Красный флаг над волисполкомом немного успокоил, но прежде чем войти, он послал туда красноармейца. Посыльный тут же воротился, доложил, что в исполкоме — никого, кроме сторожа, а все крестьяне ушли на митинг в Патрушево, до которого пять верст.

— Что за митинг? Кто проводит? — встрепенулся Пикин.

Красноармеец пожал плечами.

— Давай к Старостину. Если дома, узнаем, кто митингует в Патрушево. Может, подскочим...

Пикин сидел в жаркой горнице, медленно и безвкусно жевал картофельные шаньги, запивал горячим морковным чаем с топленым молоком и пристально вглядывался в Герасима — невысокого, сухопарого, неопределенного возраста, с продолговатым худым лицом, серыми непрестанно мигающими глазами.

Никакой дипломатии Пикин терпеть не мог и, вместо того чтоб исподволь подойти к делу, сразу спросил:

— Был позавчера сход?

— Дык... Собирались мужики. Теперь, почитай, кажный день собираются. Ровно ошалели. Скотину не гоют, о севе не думают. Базлают цельные дни, как на Ирбитской ярмарке...

— О чем? — еще суше и строже спросил Пикин, отодвигая недопитый чай.

— Известно,— так же неопределенно и нехотя ответил Герасим.— Про восстанье.

— В Патрушево сейчас кто митингует?

— Мне отсель не видать. Может, новая власть, а может, из губернии кто приехал. Не то и сами мужики. Говорю же: без митинга теперь, что дите без соски, дня не проживут.

— И что говорят о восстании? — Пикин прицелился в хозяина сузившимися глазами.

— Известно. И хочется, и колется, и мамка не велит.

— Ты эти побасенки оставь,— рассердился Пикин.— Не на посиделках. Говори толком.

— Ну ежели толком...— Герасим разом посерьезнел лицом и голосом.— Не будь мы на большаке да возле железной дороги, и у нас занялось бы... А так... боязно. Подкатит броневик, ахнет с орудий — слизнет деревню к

едреной матери. Оттого и хлеб, что в ссыпке, не трогают до сих...

— Так я и знал, что его не вывезли! — Пикин даже привскочил, зашарил взглядом вокруг, отыскивая кого-нибудь, чтоб немедленно распорядиться.

— Не скись! — неожиданно грубо прикрикнул Герасим.— Привык с разбегу да наотмашь. Тронешь хлеб — не минуешь и тут беды. Сожгут, а не вывезут.

— Как так не вывезут?! — повысил голос Пикин.— Ты что? Ты эти кулацкие песенки брось! Сознательный крестьянин-труженик и вдруг своей власти палки в колеса...

Он тут же послал одного красноармейца на станцию — узнать, смогут ли там сегодня принять зерно, другого отрядил в Северск к командиру батальона с предписанием — немедленно выделить взвод для охраны хлеба при перевозке.

Когда оба посланца умчались, Герасим с неприкрытой угрозой и явным сожалением сказал:

— Ничему не научила тебя жизнь. Эх ты... А ишо мужик да к тому же губернский комиссар! Пошто все напрямки норовишь, силой ломишь? Разуй шары-то. Неуж не видишь, что вокруг деется? Ровно тот медведь: бьет по мухе...

— Кончай свои байки! — Пикин пробежался по комнате, отшвырнул подвернувшуюся под ноги табуретку.— Мы из пеленок выросли. Иль, думаешь, стрельбы отродясь не слышали? Крови забоимся? От кулацкого рыку в штаны напустим?..

— Помешкай, товарищ Пикин, добром прошу...

— Я тебя, добродетеля, насквозь вижу! Такие...

— Да постой же ты! Послушай... Беги отсюда. Живо. Да не большаком. Скачи на Елохово и зимником до Северска. Поторопись...

— Хм! — прищуренные глаза продкомиссара сверкнули лезвием. Шагнул к попятившемуся Герасиму. Сграбастал за ворот рубахи.— Ты чего-то знаешь? Выкладывай! Ну!

— Недосуг лясы точить,— неприязненно выговорил Герасим.— С краю могилы стоишь.

— Ты что, никак, угрожаешь мне?! — Пикин так тряхнул Герасима, что пуговки с рубахи посыпались на пол. Оттолкнул побелевшего хозяина и долго молчал, а стиснутые губы кривились, подергивались, точно во рту, не

в силах прорваться наружу, клокотали невысказанные слова.— Не думал, Герасим, что ты с этой свол...

Дверь с треском распахнулась, в комнату кубарем влетели пикинские посыльные — оба связанные,— а следом втиснулись пятеро с ружьями и винтовками в руках. Пикин кошкой отпрыгнул к стене, сунул в карман руку, да в нее мертвой хваткой впился Герасим.

— За наганом полез, комиссарская курва,— с пьяной злобой рыкнул здоровенный рыжебородый мужик и, подскочив, так ткнул кулаком под дых Пикину, что тот, переломившись надвое, рухнул без памяти на пол. Рыжебородый пинком в бок отшвырнул скрюченное тело. На него закричали, оттащили в сторону.

Медленно поднялся Пикин. Стиснул кулаки, набычился. В комнате на несколько мгновений застыла ломкая, тревожная тишина взаимной растерянности, отражая шаткое равновесие столкнувшихся сил. Мужики с пугливым почтением взирали на Пикина, будто вдруг вспомнив, что он — губернский продовольственный комиссар, чьим именем непременно завершались все самые грозные приказы, распоряжения, воззвания, связанные с продовольственной разверсткой. Не было в губернии крестьянина, не знавшего этого имени. И сейчас, набросившись по чьему-то приказу на Пикина, мужики вдруг словно испугались содеянного, попятились, растерянно взглядывая друг на друга.

Если б Пикин вовремя угадал душевные колебания мужиков и в тот миг прикрикнул на них, пригрозил, присочинил что-нибудь об идущем следом красноармейском эскадроне или что-то в этом роде, крестьяне, возможно, струсили бы, вернули оружие красноармейцам и Пикин смог бы благополучно ускакать в Северск. Но разгневанный продкомиссар не уловил спасительное мгновение, не воспользовался им, упустил. А может, почел подобные увертки унизительными? Кто знает. Только последняя возможность уплыла. Рыжебородый зыкнул на стоявших рядом, те обступили Пикина, схватили под руки, повели. Силой усадили в кошеву, с обеих сторон сели двое, стиснули так, что не шелохнуться.

Возница неспешно разобрал вожжи, медленно развернулся и стал выезжать на дорогу. В спину врезался дикий вопль. Пикин оглянулся и увидел, как рыжебородый поднял на вилы красноармейца. Руки и ноги того болтались как тряпичные, голова запрокинулась, вместо

лица — огромный, воющий рот. Набежавший сбоку парень ахнул колом по орущей голове. Пикин рванулся из саней — в него вцепились, согнули, подмяли...

2

Пикин сразу узнал Горячева и онемел, задохнулся. Но уже в следующий миг ярость стерла подсиненную бледность со щек, накалила взгляд, отяжелила кулаки. От прилива беснующейся крови горели даже кончики пальцев. Он не мог ни говорить, ни думать. Всем существом завладело единственное желание — убить. Шарахнуть заряд в надменную лысеющую на макушке голову, а после пусть спустят по капле хоть всю кровь. Иначе невозможно жить, нельзя умереть... Где достать захудалый наган, допотопную бердану, кремневку, что угодно?..

Еле оторвал взгляд от винтовки конвоира. Не вырвать: здоров, бугай. И вырвешь — не выстрелить: сомнут. Отвернулся. Прикусил губу. А когда вскинул глаза, накололся на ненавидящие зрачки Горячева. Два пронзительных, жалящих взгляда столкнулись, сцепились и замерли, не в силах не только подмять, но и потеснить друг друга. Мужики смолкли, с любопытством разглядывая обоих. Горячев отвел глаза, скомандовал:

— Подойди ближе!

Пикин не шелохнулся.

— Шевчук! — зазвенело в тишине.— Помоги товарищу губ-прод-коми-ссару!

Удар прикладом в спину едва не сшиб Пикина с ног. Тот качнулся, непроизвольно сделал два шага к столу.

— Здесь мое слово — закон. Запомни! — не тая самодовольства, пригрозил Горячев.

Пикин молчал.

— Зачем пожаловал? — тонкие губы Горячева покривила ехидная ухмылка.

— Удостовериться, что ты — сволочь. Двурушник! Белогвардейский выворотень!..

Один прыжок — и Горячев подле задохнувшегося Пикина.

— Изволите кусаться? — И тут же сорвался в крик:— Заткнись! По-вы-ши-баю комиссарские зубы...

Кулак Горячева свинчаткой врезался в подбородок Пикина. Тот с размаху саданул Горячева в скулу, снова замахнулся, да Шевчук опередил — оглушил ударом.

Пикин качнулся влево, прямо на летящий пудовый кулак конвоира. Выхаркнул из разбитого рта соленый ошметок крови вперемешку с зубовым крошевом и уже не замахивался, лишь норовил увернуться, прикрыться от ударов. Поначалу это хоть как-то удавалось, а потом... Он закрывал ладонями лицо, его били в живот и в грудь, прикрывал грудь — били в лицо. Били расчетливо, молча и беспощадно. Иногда от удара что-то сдвигалось в черепе — Пикин падал, как срубленный. Его на лету подхватывали, поддерживали, пока не возвращалось сознание, и снова били. Тело качалось, крепилось от ударов, худые руки болтались плетьми. Изо рта и носа текла кровь, алая струйка змеилась из правого уха.

— Хватит,— приказал Горячев.— Шевчук! На улицу его. Охладить — и сюда.

Медведеподобный Шевчук сграбастал Пикина за плечи, мешком выволок из дома, кинул на утоптанный, желтый от мочи снег. Пикин кулем лежал на спине, неловко подвернув голову, натужно дыша широко раскрытым ртом. Кровь, пузырясь, прикипала к снегу.

Шевчук опрокинул ему на голову бадью колодезной воды. Пикин охнул, перевернулся, встал на четвереньки. Красные ледяные струйки сползали с головы за воротник. Брезгливо морщась, Шевчук приподнял продкомиссара, подтолкнул в спину.

— Шагай.

— Вот теперь другой разговор,— удовлетворенно и весело сказал Горячев, оглядев Пикина.— Прошу садиться, товарищ губ-прод-коми-ссар.— Подождал, пока тот сел на поданную табуретку.— Соберись с силами и слушай. Повторять не стану. Ты в штабе первой ударной армии. Имею честь представиться: член исполкома сибирского крестьянского союза, начальник особого и пропагандистского отделов главного штаба народной армии, поручик гвардии Фанагорийского полка Горячев. Переварил? Слушай дальше. Тебя завтра будет судить крестьянский суд. Не криви рыло. Знаю, о чем думаешь. Только от того, признаешь ли ты законность этого суда, его приговор не утратит силу. Можно и без суда отправить тебя в коммунистический рай, только мигнуть здешним «бешеным»,— кивнул головой на сидящих по лавкам.— Видишь, как они тебя глазами гложут? Живьем в землю втопчут. Но мы стихию пре-зи-раем. Только законный-то крестьянский суд может вынести приговор пострашнее виселицы. Тут уж у нас

полная сво-бо-да. Могут четвертовать, могут в глотку расплавленного вару, а одного такого идейного поставили голяком у колодца и поливали до тех пор, пока не превратился в статую. Сомневаешься?

— Нет: знаю кулацкую породу.

— Мало мы, видать, тебя вразумили! — Горячев оскалил крупные, желтеющие зубы, привстал и тут же снова уселся. Смягчил, насколько мог, голос: — В данной ситуации у тебя е-дин-ствен-ный вы-ход! Указую его в память о твоей добродетельности! Вовек не забуду, как ты голубил меня, заступался, ставил в пример. Так вот, послезавтра ты выступишь на крестьянском сходе и скажешь, что драл с мужика шкуру не по своей воле — по приказу Москвы, по личному распоряжению самого то-ва-ри-ща Ленина. Докажешь, что ты — исполнитель злой воли большевистских вождей, — рассчитывай на снисхожденье. Ты ведь хоть и о-чень и-дей-ный, а подыхать, собака, не хочешь...

Пикин стиснул зубы, не в силах оторвать взгляд от большого, острого шевелящегося кадыка Горячева. Все отдал бы, всем поступился, только б... Нож! Обыкновенный кухонный нож. Всадить в луженую иудину глотку, тогда пусть четвертуют.

Затекшим глазом косил по сторонам, но ничего подходящего не обнаружил, и оттого ярость перекипала в отчаяние. Сейчас он кинется на Горячева без ножа: еще достанет сил вырвать гадюке жало. Как бы ловчее, неожиданнее... Скособочившись, глянул через плечо на конвоира и обмер, увидев ярко сверкнувший кончик топора под мешком у порога. Топор! Сердце нырнуло в холодную глубь, зачастило, затараторило. Топорик... миленький, как к тебе подобраться?.. Ведро с водой рядом на скамье...

Натужно закашлялся, прижал ладонь к груди, еле внятно выговорил:

— Спасу нет... Жжет... Попью...

Нарочно еле ковылял к ведру. Левой рукой сгреб кружку, правая скользнула к топорищу и уже нащупала его, обвила влажными трепетными пальцами, и Пикин чуть попятился, чтоб ловчее было выпрямиться и с ходу кинуться на Горячева, но в самый последний миг ослепляющий удар между ног свалил продкомиссара на пол. Горячев всадил каблук между лопаток распластанного, позеленевшего от боли Пикина, вырвал топор из помертвелой руки, занес над головой продкомиссара.

— Оттяпать бы гадючью башку!..

«Бешеные» зазубоскалили.

— Яишню ему, поди, изделал...

— Эк саданул, полсапога влезло...

— Чуть стенку башкой не прошиб комиссар-от...

Заколыхался хмельной хохот, посыпались матерки.

— Вставай! — рявкнул Горячев.

Все силы собрал Пикин на то, чтобы оторваться от пола, приподнялся на руках и замер от жуткой нутряной боли в паху. Сцепив зубы, перевернулся, сел. Поднял на Горячева белые, вылезшие из орбит глаза.

— Твоя взяла... Сделаю... как сказал...

— Ого! — изумился Горячев.— А я-то думал, комиссары и впрямь же-лез-ные. Жидковато ты замешен. Может, еще поиграться надумал? Кишки намотаю на глотку и повешу на сук посреди села... Шевчук! В амбар его. И смотри в оба...

3

Весь день отлеживался Пикин. Только раз к нему в амбар заглянул караульный — принес ведерко с водою, блюдо отварной картошки, полкаравая хлеба — и больше никто не наведывался. Да и зачем? Они с Горячевым прекрасно поняли друг друга. И прежде понимали, считались даже единомышленниками. Красный комиссар, большевик Пикин, и белогвардейский офицер, эсеровский холуй Горячев. Чем не пара? Жестокая ирония судьбы. А как защищал его перед Чижиковым!.. Сейчас Пикину казалось: надо было быть слепым, чтобы не заметить неискренности, провокационности речей и поступков бывшего члена коллегии губпродкома. Почему не разглядел даже после чижиковского предупреждения? Мужика не понял, не поверил, а вот белому недобитку, эсеровскому выкормышу поверил. Поделом и расплата. Заслужил...

В бессильной ярости Пикин молотил кулаками по амбарной стене до тех пор, пока не трезвел от боли.

К еде не притрагивался, а ведерко почти опорожнил за день. Внутри горело и саднило, будто туда натолкали крапивы. Жжет и колет, как ни повернись. Иногда накатывал такой жар — мутилось сознание, мысли скипались и начинался бред. Он спал и не спал, видел сны и слышал голоса с улицы, куда-то падал, проваливался в тесную удушливую расселину, бился в ней, как рыба в не-

воде, обливаясь клейким, горячим потом. Пот смывал беспамятство, вместе с сознанием снова приходили мучительные мысли... Эти звери что-то отбили внутри, ноги порой немели, отнимались.

Постепенно он притерпелся к жжению и к чугунной тяжести головы, усилием воли подавлял то и дело подкатывающую тошноту, но когда ослепляли вспышки боли в паху, сотрясая тело мелкой лихорадочной дрожью, Пикин не мог сдержать стона.

Неуловима грань между отчаянием и надеждой. Есть сладкая боль и горькая радость, и на пороге смерти человек надеется и мечтает. И Пикин мечтал. Вот его хватились в губкоме, послали в Криводаново гонца, дознались обо всем и кинулись по следу. Сейчас располосует тишину пулеметный говорок, загремит «Ура!» и красноармейские кони будут топтать перепуганных сонных бандитов. Не уйдет, не скроется Горячев даже под землей... Пикин приподнимался, по-аггеевски вскидывал над головой стиснутый кулак и в изнеможении падал навзничь.

О собственном завтра он думал как о чем-то очень далеком, постороннем, хотя и знал, на что способны Горячев и его «бешеные»: их лютость безмерна, а ненависть ненасытна. Но чем ближе к рассвету пятилась ночь, тем чаще вспыхивал в сознании все тот же давно мучивший его вопрос: виновен ли лично он, коммунист и губернский продкомиссар, в кровавом мятеже? Ответить надо было четко, определенно, без скидок, без недомолвок и многоточий. Виновен ли он? Персонально? Именно он? Да или нет? Никаких увертoк, никакой демагогии о благих намерениях. Ими, как известно, вымощена даже дорога в ад... Надо ли было, не считаясь ни с чем, досрочно и с превышением задания выполнять хлебную разверстку? Все сибирские губернии к началу двадцать первого года едва перевалили половину плана, а Северская — на сто два процента. Ни премий, ни наград, ни благодарностей за это он не получил: не ждал и не хотел. Не ради того ломил себя и других не щадил, каждому лишнему пуду радовался, спешил отправить его в Центр, где душил республику голод. Набатным сполохом гремело над истощенной страной: «Хлеба! Хлеба! Хлеба!» У здешних кулаков хлеб был, и немало. Кой у кого с пятнадцатого года лежала в скирдах немолоченая пшеница. Нужды здесь не нюхали. «Правильно сделал! Надо было из этих куркулей еще столько вытрясти!.. А если б не трясти — убедить,

вразумить?..— Пикин зло засмеялся.— Глупейший вопрос. И дураку понятно — лучше б добром, да разве кулак поступится добровольно хоть горстью зерна, охапкой сена? Зимой снегу не выпросишь...» Вспомнилось страшное челноковское костровище — могила лучшего продотряда Яровского уезда. Кулацкая сволочь!

Пикин закипал, и мысль, как разнузданный уросливый конь вставала в дыбки, рвалась из упряжи, и он еле удерживал ее. Нет, тут ему себя не в чем упрекнуть. Злоупотребления? Нарушения законности? Да. Были! И что? На войне один закон — победить. А то была — настоящая война. Все правильно. Уж коли и повинен в чем, так только в недостаточной твердости. Кулака надо ломать силой. Силу — силой — таков извечный закон... Ожесточенно сплюнул. Сел, привалился к бревенчатой стене. Шумно выдохнул скопившийся в груди воздух. Ну а середняка можно было убедить? Может быть, если б он был оторван от кулака, если б было время для убеждений. Но хлеб нужен был немедленно, сейчас, больше, чем воздух. Советская власть умирала от голодухи. Когда же тут выверять, взвешивать, исследовать? Пограничные столбы между кулаком и середняком не поставлены, а здешний середняк нередко богаче российского кулака. Четыре коровы, три лошади — «середняк!..» А бесчинства Карпова и иной пролезшей в продорганы белой сволочи? Некогда было оглядеться, подумать. Сумасшедшее время... Пикин вздохнул протяжно и громко. Нет, он покривил душой, валя все шишки на время. Слишком близко к сердцу Горячева подпустил, замутилась голова от злобы на кулаков, сам того не желая, пригрел всякую мразь. От этого никуда не деться, вертись хоть берестой на огне... Нужна ли была семенная разверстка?

Пикин заворочался, расстегнул полушубок, закурил. Вот оно, самое больное... Лучше не трогать, думать о чем-нибудь другом. Разве не о чем человеку подумать в последнюю ночь перед казнью?.. И все-таки, нужна ли была семенная разверстка?

Если б не знал о Корикове, Горячеве, Карпове-Доливо, не колеблясь ответил бы утвердительно: «Да, нужна!» — а может, вовсе и не задавал бы такой вопрос. Но челноковскую докладную о разбазаривании семян подослал Кориков, проект решения коллегии губпродкома о семенной разверстке сочинил Горячев, а потом вышибали семена Карпов и Крысиков. Все — эсеры да белогвардейцы, наи-

злейшие враги, теперь это доподлинно известно. Дьявольская цепочка... «Как ловко они оплели меня! Сначала — путы на ноги, теперь — петлю на шею».

Если семенная разверстка — ошибка, значит, он, Пикин, виновен во всем, что случилось после. Тут уж на время не сошлешься. Да или нет? Середины не найти. Середины не существует. Да или нет?

— Да,— негромко и хрипло, с натугой выдавил из себя Пикин и вздрогнул.

— Да,— повторил еще раз, стискивая зубы.

Нащупал в темноте ведерко. Долго и жадно пил, обливаясь, радуясь прохладе, которую таили в себе сползающие с подбородка тоненькие водяные струйки.

У дверей амбара послышались шаги.

— Ты, Фомин? — спросил густой властный баритон.

— Так точно,— заискивающе-расторопно откликнулся тенорок.

— Как комиссар? — сыто воркотнул баритон.

— Не навещал.

— Жив хоть?

— Комиссары, как кошки, живучи. Пополам перешиби — важная половинка на особицу «Интернационал» петь станет.

Баритон долго хохотал — довольно, весело, с пристаныванием. Тенор легонько оплел раскатистые баритоновы «ха-ха» тонкой паутинкой угодливых «хе-хе-хе».

— Завтра делегаты от деревень съедутся, вот полюбуются мужики, как губпродкомиссар распинать себя и всю коммунистию будет. Ну, карауль своего зверя.

...Да, председатель губчека не ошибся. Если б он послушал его тогда!.. Откуда все-таки залетел Горячев? Теперь Пикин вдруг вспомнил, что в губпродком и в члены коллегии Горячева предложил секретарь губкома Водиков. Да-да. Именно Водиков. Почему не вспомнил об этом тогда, не сказал Чижикову? Неприязнь затуманила память?.. Случайна ли эта рекомендация? Водиков — бывший, Горячев — настоящий эсер. А если...

Пикина будто подбросила какая-то сила. Как же прежде не подумал о Водикове? А память все подбрасывала слышанное, виденное, угаданное, и к ужасу своему Пикин утверждался в ошеломляющей догадке: Водиков и Горячев — одного корня, эсеровского.

Волнение подхлестнуло боль, и та, рассвирепев, полыхнула по всему телу, затрясла, заколотила в лихорад-

ке. Пикин клацал зубами, бился головой о плахи, хрипел, задыхался и, наконец, провалился в чугунное беспамятство.

Тут-то и пришла к нему мать в легкой холщовой кофточке с горкой душистых блинов на тарелке. Жар из печи нарумянил ей щеки, выжал влагу из глаз, и те необыкновенно ярко блестели. «Ешь, сынок, набирайся сил, скоро твой судный час. Стерпишь ли?» — и заплакала. А вот и тятя. Веселый, с шалой раскосинкой в глазах. «Боль не выпускай. Сожрет...»

Пикин дернулся, очнулся. Язык стал шершавым, непомерно большим, неповоротливым. Каждый вдох отдавался болью в низу живота. Сдерживая дыхание, Пикин тихонько постанывал.

Невдалеке трубно и звонко прокукарекал петух. Продкомиссар встрепенулся и тут же услышал ленивое конское пофыркивание, хруст сена на лошадиных зубах, скрип снега под чьими-то легкими шагами, звон колодезной бадьи, сытое, мирное муканье коровы.

Все было близко, до боли дорого. Защемила душу тоска. Хоть бы на миг в родное село, на жесткие полати, под истертый, пропахший неистребимым табачным духом отцовский кожух...

4

Круг солнца оторвался от земли, закупорил восточную горловину улицы. Снег вспыхнул розоватыми блестками, заискрился. Серое небо выгнулось куполом, посветлело. Мир стал прозрачным, чистым, добрым. Мирно курились печные трубы, мирно чирикали на дороге воробьи, лохматая собака мирно сидела у раскрытой калитки, щуря коричневые глаза на солнце. Первозданным покоем, миролюбием дышало просыпающееся село.

Вдруг ахнул набатный колокол, заголосил тревожно, зычно — и в клочья мирная тишина, конец покою. Повалил народ к площади перед собором. Дивился на выросшую за ночь деревянную трибуну с кумачовым полотнищем, по которому разбежались слова: «С нами бог! Да здравствует свободное сибирское крестьянство!» Большинство останавливалось от трибуны на почтительном расстоянии, а те, что посмелей да поосанистей, перли вперед, поближе к помосту. Круговину перед самой трибуной заняли «бешеные» во главе с Шевчуком.

Скоро на площади, как на престол в соборе,— головы, головы, головы. Между ними колыхались самодельные пики с наконечниками из бороньих зубьев, винтовочные либо ружейные стволы. Дымились сотни цигарок. Множество голосов слились, и гул их походил на отдаленный шум бурной реки.

Делегаты от каждой деревни держались на особицу, и разговор у них — свой, до которого прочим нет доступу. Говорили вроде бы о разном, а по сути — об одном. Скоро три недели, как началась заваруха. Немало крови пролито, погублено добра — а толку? Никто не поспешил на помощь ни из соседних держав, ни из ближних губерний... И за что драться-то? За непонятные «крестьянские советы» без большевиков и комиссаров? «А ведь это все едино что выхолощенный мужик»,— сказал кто-то и, видно, в точку угодил, подхватили, покатили по толпе с невеселым смешком. Шибко смущало и то, что во главе соединений и штабов встали господа офицеры, а им какая вера? И то, что кулаки, торговцы и иные захребетники стали, как в прежние времена, все прибирать к рукам. Опять — кому война, кому мать красна... И совсем уже шепотом крался по толпе слух, будто Ленин разверстку отменил и теперь мужик — уплати налог, а остальное — хоть сам съешь, хоть на базар вези. За что же тогда кровь лить, шкуру свою дырявить? Опять словчились беляки, заарканили мужика. Скоро сеять, а тут с пикой нянькайся, лошадей мордуй в обозах да кавалериях. Назад дороги тоже не видать: разве простят большевики?..

Разом стихла площадь. Тянули головы крестьяне, приподнимались на цыпочки, силясь рассмотреть, кто там карабкался на трибуну. «Колчак, Колчак»,— зашелестело в толпе. С чьей-то легкой руки Колчаком прозвали Горячева. Появление на трибуне Пикина озадачило крестьян.

— Что за пугало?

— Прямо с аду к нам...

— Это, бают, настоящий комиссар...

— Бреши больше. Чего б его вознесли туда?

Горячев подался вперед, перегнулся над перилами, высоким сильным голосом крикнул:

— Братья крестьяне!

Вскинул голову, настороженным ухом вобрал густеющую тишину и продолжал, все более возбуждаясь, энергично и размашисто жестикулируя длинными руками.

— Вы, вольнолюбивые сибирские пахари, первыми подняли знамя борьбы...

Он заговорил о «злодействах большевиков», приводя примеры бесчинств продотряда Карпова-Доливо и подобных ему, действовавших под его, Горячева, диктовку. Называл поименно пострадавших крестьян, то и дело спрашивая толпу: «Правду ли я говорю?»

— Крестьяне соседних губерний тоже поднялись против комиссаров. Матросы Кронштадта отказались повиноваться большевикам, создали свое правительство. Близок час возмездия. Чуя это, товарищи комиссары пускаются на всевозможные хит-ро-сти и у-ловки. В последнее время большевистские лазутчики стали распространять слухи, будто Ленин отменил разверстку, а все бесчинства чинились без ведома Москвы и в них повинна лишь мелкая сошка. Не верьте этому! Чтоб вы из первых рук узнали правду о разверстке, мы дадим сейчас слово губернскому продовольственному комиссару, члену Северского губкома большевиков Пикину...

Толпа ахнула. Над площадью взметнулся такой рев, что галки в прицерковной рощице с испуганным криком снялись с деревьев. Кто же из собравшихся не знал Пикина? Это он подписывал приказы о разверстке, он посылал в села вооруженные продотряды, инспекторские, чрезвычайные, особые тройки, брал заложников из упорствующих деревень. Он, он и он! И вот он здесь, в их руках... С разных сторон метнулись к трибуне разъяренные, красполицые бородачи. С утра, подогретые самогонкой, они прорывались сквозь кольцо «бешеных», тянули к трибуне руки и вопили, требуя немедленной казни продкомиссара. Но в этот миг Пикин подошел к перильцам, стянул с головы шапку, поднял ее, зажав в кулаке. Волна голосов пошла на спад. На разбитом, изуродованном лице продкомиссара застыло выражение непреклонной решимости. Предельное нервное напряжение подмяло боль, выжало из сознания все мысли, кроме тех, которые во что бы то ни стало хотел он поведать людям в полушубках, столпившимся перед трибуной. Пикин не думал сейчас о том, что станется с ним после речи, дадут ли ему договорить до конца, станут ли слушать. Он видел в последнем слове своем единственную, дарованную судьбой возможность отомстить Горячеву, искупить свою вину, сказать так нужную обманутым мужикам правду.

— Мужики!.. Товарищи!..— Задохнулся от волнения.

Краем глаза увидел напряженное, горящее лицо Горячева. «Боится, гад?» — Я понимаю вашу обиду. Не оправдываю, но понимаю, потому — сам мужик. Пока не призвали на германскую, крестьянствовал в селе Леваши на Тамбовщине. Знаю, как достаются шанежки да мясные пироги. Батраков отродясь не имел. Университетов не кончал... Теперь о разверстке. Знаете, что такое голод? Это — не постные щи, не черная краюха с водой либо квасом. Это — смерть. С голодухи в Центральной России вымерли целые села. Люди одичали, ели падаль... Сам видел. Голод убил мою жену и двух ребятенков. В Петрограде все, кто работал, от народного комиссара до стрелочницы, получали в день осьмушку хлеба напополам с корой. От этого и заводы стоят, нет у вас ни гвоздей, ни железа, ни керосину. Советская власть, которую мы завоевали такой кровью, умирала от голода. Тогда Ленин и подписал Декрет о продразверстке...

— Ты чего запел, гад? — Горячев ткнул Пикина в бок.— Я тебя, комиссарская...

— Правды боишься? — спросил Пикин громко и твердо, повернув голову к Горячеву.— Знаю, на что ты способен, ваше благородие, как-никак, почти год прослужил в губпродкоме, членом коллегии был, семенную разверстку придумал...

— Заткнись!— Горячев рванул Пикина за плечо, размахнулся, но ударить не успел: толпа вдруг взорвалась грозным негодующим ревом:

— Не тронь!

— Дай сказать напоследок!..

— Перед смертью не брешут, нехай говорит!..

Шквал протестующих возгласов смял злые выкрики плотной кучки «бешеных», тесно обложивших трибуну. Горячев о чем-то пошептался со стоящими рядом, оттолкнул плечом Пикина, призывно и властно вскинул руку и, не дождавшись тишины, крикнул:

— Дорогие братья! Разве мало вы читали приказов и распоряжений этого прохвоста, повелевающих отнимать у вас добро? Неужто будем слушать...

— Хватит!

— Заткни ему хайло!

— Давай сюда! — неистово заорали «бешеные», пытаясь дотянуться до Пикина, стащить с трибуны.

— Не трожь! — выдохнули сотни глоток и разом подмяли остальные голоса.

В наступившей короткой тишине чей-то очень высокий, рвущийся голос выкрикнул:

— Пужливы шибко стали! Комиссарского слова пуще пулемета страшимся. Пусть скажет...

— Верна-а-а!!!

И снова Пикин подступил к перильцам, и в мгновенно упавшей тишине зазвенел его натянутый волнением голос.

— Спасибо, мужики... Я знаю — вы убьете меня. Но скоро и вы поймете, что к чему.— На сей раз он не тараторил, не сыпал словами — говорил раздельно, весомо, четко.— Повинен я: не углядел недобитков, что над вами изгалялись. Тут нет мне никакого снисхожденья... Господину Горячеву уж больно хотелось, чтоб я Ленина в наши грехи впутал. Да, Ленин понимал: без хлеба мы погибли. Сам следил за каждым хлебным эшелоном, сам распределял каждый пуд, чтоб тот наперед к детям да к фронтовикам попал. Но трудящегося мужика Ленин никому никогда в обиду не даст. Тех, кто в нашей губернии измывался над крестьянами, Ленин приказал расстрелять. Недавно закончился съезд большевиков, на нем решено продразверстку отменить. Ленин всегда...

Кто-то подхватил Пикина под ноги, перекувыркнул через перильца трибуны, и он упал на руки горячевских приближенных. Толпа взревела, трудно было разобрать, кто что кричал, куда рвался, кому грозился. «Бешеные» накинулись на Пикина, но Шевчук заорал:

— Не трожь его, братаны! Мы ему разверстку изделаем...

Вытащил из-под трибуны мешок с зерном, толкнул к нему Пикина, скомандовал:

— Разболокайся, гад...

Дрожащими руками Пикин стал расстегивать пуговицы кожаной куртки, те скользили в негнущихся пальцах, вырывались, и он никак не мог расстегнуть верхнюю пуговицу. Шевчук подскочил, матюгаясь и брызгая пьяной слюной, дернул за полу и разом сорвал куртку. К продкомиссару протянулись дрожащие от ярости когтистые руки, вцепились в одежду, мигом растерзали в клочья.

Он стоял нагой, босиком на снегу. Худое желтоватое тело темнело страшными кровоподтеками. Обтянутые кожей ребра шевелились при дыхании. Но глаза Пикина жалили, кололи обступивших его кулаков. В них была лютая, испепеляющая ненависть.

Ближние к месту казни крестьяне разом затихли и стали пятиться от голого Пикина, расширяя и расширяя пустоту вокруг трибуны. В разных концах площади послышались сочувствующие и протестующие возгласы. Они усиливались. Горячев что-то крикнул Шевчуку. Тот подскочил к Пикину, ловкой подножкой сбил с ног и, выхватив из-за голенища широкий нож, полоснул по животу. Двое подхватили мешок, опрокинули на огромную рану. «Вот тебе разверстка! Вот разверстка!..» — чумно бормотал Шевчук.

Сквозь кольцо «бешеных» протиснулся молодой парень. Сорвал с плеча винтовку, выстрелил Пикину в голову. Забрызганный кровью Шевчук бросился на парня. Тот вскинул винтовку, щелкнул затвором:

— Убью, кулацкая сволочь!

— Да ты... да я... Конвой! — завопил Шевчук.

Но к парню уже протиснулось несколько мужиков с винтовками.

— Бородулинские! — загремело над площадью.— Айда сюда, наших бьют!

Бородулинских оказалось десятка полтора. А у них родичи да свояки в Томилино, а у тех кумовья в Ершово, и пошло по цепочке, и вот уже добрая полусотня пробилась к парню, подарившему скорую смерть продкомиссару. Горячев еле успокоил и развел сцепившихся. Бородулинцы, томилинцы и ершовцы тут же покинули село, отказавшись участвовать в выборах «народной крестьянской власти». За ними потянулись по домам крестьяне других окрестных деревень...

Глава шестая

1

Заплясали, заголосили над Северской губернией свирепые мартовские метели. Налетали ветры с севера, набегали ветры с запада, наплывали с юга иль с востока, сгоняли в табун облака, грудили, громоздили их друг на дружку до той поры, пока не разрешались они снежными потоками, тогда ветры свивали, скручивали снеговые струи в жгуты и спирали, гнали по полям белые смерчи и вихри, часто подкрашенные, подрозовленные то пламенем пожара, то кровью: не было дня и часа, когда бы не лилась она...

Затихали ненадолго метели, очищалось небо, загоралось яркое солнце. Оно кропило осколками лучей сугробы, и над полями вспыхивали ослепительные белые костры, напоминая всем, что на дворе уже март — бокогрей.

Прогретыми боками буренки и пеструхи чесались о заплоты, облепляя их клочьями разноцветной шерсти. Оглашенно орали воробьи. Надрывались сороки в кладбищенских и прицерковных рощах. Захороводились по улицам собачьи свадьбы.

Приближалась весна — пора крестьянского радения, тяжелого, но радостного труда, когда к концу дня от чугунной устали дрожат руки, подламываются ноги, а сердце поет и глаз не может оторваться от вспаханного или засеянного клина, который видится не влажно-черным и пустым, а ощетинившимся золотым пшеничным колосом иль залитым голубеющим медвяным разливом гречихи. Блажен и сладок весенний труд землепашца, ибо несет он земле цветение, а роду человеческому жизнь.

Оторванные от дому, истосковавшиеся по привычному, желанному труду, мобилизованные в «народную армию» крестьяне по мере приближения весны становились все более беспокойными, раздражительными. Как просто все казалось многим поначалу со слов эсеровских пропагандистов и их кулацких подпевал. «Россия — крестьянская держава, крестьяне составляют девяносто процентов ее населения, им по праву и властвовать...» Но вот идут дни за днями, все черней и непроглядней кровавый хаос, много загублено жизней, тысячи остались без хлеба и крова, а что впереди? В бои втягиваются все новые красноармейские части, и драться с ними все трудней. Они неодолимо теснят мятежников от железной дороги к северу, в тайгу, в бездорожье и глушь, подальше от родных сел и близких людей. Все угрюмей выслушивали мужики приказы «богом посланных» командиров, все неохотнее их выполняли. От своих деревень уходили чуть не под конвоем, за чужие села кровь лить не хотели: «Пущай ихние мужики воюют...»

Но главари мятежа, осатанев от злобы, не видели, не хотели видеть того, что происходит в «народной армии». В речах, приказах, листовках, воззваниях они по-прежнему сулили близкую и решительную победу, бессовестно врали. Из их сводок получалось, что в руках повстанцев находятся и Курган, и Омск, и Екатеринбург, не сегодня-завтра падет Северск, начался мятеж в Новониколаевске,

еще неделя-две — и вся Сибирь станет «крестьянской державой». Едва захватив Яровск, вожаки мятежа поспешили придать движению «законную» форму. Спешно был сформирован главный штаб во главе со Сбатошем — бывшим полковником из свиты генерала Гайды, проведены «выборы» в яровский «крестьянско-городской совет». Председателем «совета» стал Алексей Евгеньевич Кориков. Горячеву поручили обработку мужицких душ, назначив его начальником пропагандистского и особого отделов главного штаба. Пропагандистский — сеял в мужичьи головы эсеровские семена, особый — жестоко искоренял «большевистскую крамолу».

Как затонувшее бревно слизью, яровский главный штаб за несколько дней оброс машинистками, курьерами, адъютантами, связными, оперативными работниками и т. д. Кого только не было в числе штабных — бароны, дворяне, адвокаты, биржевые дельцы, чиновники, попы — все старое, обиженное, недобитое стянулось в Северскую губернию с надеждой, что именно отсюда начнется долгожданный крестовый поход на коммунистов. Уверенность в этом окрепла после того, как у мятежников появился главковерх в лице настоящего царского генерала Петухова и стала издаваться ежедневная газета «Голос народной армии». Генералу яровские мещане устроили пышный прием с колокольным звоном, молебном и парадом двух рот особого назначения, сформированных из георгиевских кавалеров. Генерал охотно и не читая подписывал приказы и распоряжения, заготовленные начальником штаба, пил коньяк и куриный бульон, спал с молоденькой штабной машинисткой и больше ничего не делал. «Господа,— говорил он своим приближенным,— все это бред».

Горячев в штабе почти не бывал. Днем мотался по полкам, а по ночам сочинял воззвания. Всю свою страсть отдавал он этим бумажкам, приноравливая их стиль к адресату. К кому только не взывал Горячев: к коммунистам, к рабочим, к гражданам России, к красноармейцам, к крестьянам, к служащим и еще бог знает к кому, доказывая, что эсеры и белогвардейцы не причастны к мятежу, да это вовсе и не мятеж, а «крестьянская, народная революция», и вспыхнула она не под влиянием чьей-либо агитации, а стихийно, как когда-то вспыхнули бунты Разина и Пугачева...

Чтобы растопить ледок мужицкого недоверия, Горячев

выворачивался наизнанку, по десять раз заставлял своих дипломированных приспешников переписывать черновики листовок, внося в них, как он любил говорить, «новые мысли, обогащая их чувствами». Однако недоверие к горячевским сочинениям становилось все прочней, и виноваты в том были не сочинители, а жизнь. Этого-то и не хотел понять Горячев, ослепленный видением своего блистательного и, как ему казалось, близкого будущего. Вениамин Федорович не забыл вечеринки у пани Эмилии в присутствии бритоголового «товарища из центра», когда его, Горячева, единогласно провозгласили премьером будущего сибирского правительства,— не забыл и некоторое время всерьез вынашивал планы создания «центральной гражданской власти в освобожденной Сибири».

Но вот наступил март, а желанное будущее отдалялось, становилось все сомнительней. Горячев уже понимал, что завтрашний день не сулит ему ничего хорошего. Особенно ясно он ощутил это там, на деревенской площади, когда толпа взорвалась протестующими криками и, казалось, еще минута — мужики схватятся с «бешеными»...

Да, встреча с Пикиным не принесла Горячеву желаемого. Вместо сладостного сознания своего превосходства, торжества над врагом, в душе осталась болезненная вмятина. Жаль, думал он, не было под рукой Коротышки. Тот бы вытянул из губпродкомиссара жилочки, допек бы его, согнул, поставил на колени. Но, поразмыслив, признавался, что это самообман. Нет силы, способной согнуть Пикиных. Можно сломать им хребет, четвертовать, насыпать в распоротый живот пшеницы, но сломить их духовно, заставить отречься от большевистской веры — нельзя. От сознания этого ярость Горячева удваивалась, он бы зубами рвал этих твердокаменных идейных... С того дня неуемная, неподвластная жажда риска все сильней томила Вениамина. Опасности будто манили, притягивали его. Не оттого ли, что в игре со смертью забывались, отступали мучительные, безответные вопросы: зачем взбаламутили крестьян? Что впереди?

2

Желание встретиться с Флегонтом пришло внезапно. Вспомнился вдруг тот ночной их разговор три месяца назад, когда дядюшка — пятая вода на киселе — дал ему

столь резкую отповедь, явно не принимая всерьез Вениамина со всеми его далеко идущими замыслами. Пусть посмотрит, кем ныне стал двоюродный племянник, с которым, надо полагать, будет разговаривать теперь куда более почтительно. Для Флегонта он, Вениамин, сегодня — власть, с которой нельзя не считаться. Власть, не привыкшая церемониться с теми, кто пытается жить по правилу: «ни нашим, ни вашим»...

В Челноково он приехал вечером, днем не решился, хотя и взял с собой телохранителя. Узнают мужики, припомнят ему и Карпова и Крысикова — тут никакие стражи не помогут.

У околицы их остановил окрик: «Кого несет?» Пришлось предъявлять удостоверение, подписанное генералом Петуховым. Неграмотный часовой повертел бумажку перед глазами и махнул рукой — проезжайте. Горячев полюбопытствовал, кто заправляет Челноковским волисполкомом и где его найти. Часовой ответил, что заправляет Маркел Зырянов, а найти его теперь можно лишь дома, и объяснил, как туда проехать. Поблагодарив, Горячев велел телохранителю, плечистому молчаливому детине, которому удивительно подходило имя Тихон, гнать коня к поповскому дому.

Флегонт не удивился появлению племянника. Пригласил раздеваться и проходить, попросил Ксюшу вскипятить самоварчик, сообразить закуску.

— Я к лошади,— повернулся было Тихон.

— Не беспокойся. Владислав распряжет, напоит и накормит. Проходите в кабинет. Грейтесь. Располагайтесь.

— Тихон у нас поспать любит,— проговорил Горячев.

— Тогда милости просим,— и Флегонт повел Тихона в малуху.

Каждый раз, бывая в кабинете Флегонта, Горячев с завистью рассматривал набитые книгами шкафы. И сейчас, войдя, скользнул взглядом по корешкам. «Завидный диапазон. От Платона до Плеханова. И Апулей, и Боккаччо... Наверно, между страниц Евангелия открытки с голыми бабами. Люди воюют, мордуют себя. Живут как скоты, а этот просвещается. Жрет, попадью мнет да почитывает...» Облюбовал старинное кожаное кресло, но не садился, пока не пришел хозяин, не пригласил сесть.

Несколько мгновений молчали, испытующе разглядывая друг друга. «Не меняется совсем,— с нарастающей неприязнью думал Горячев,— бугай бугаем. Не скажешь,

что бывший пахарь и пимокат. И на угодливых пустолайных сельских попиков не похож. Осанка что у митрополита. А глаза! Такой не склонится. Воистину Пикин наизнанку...»

«Сменил и бога и обличье — фарисей. Под мужика рядишься. Желчь кипит. Покрасоваться, поиграть кистенем пожаловал...» — думал Флегонт. Приглушив рокочущий бас, спросил:

— Надеюсь, здоров? На судьбу не сетуешь?

— Благодарю покорно. Вашими молитвами. Да и время такое, не до ахов. Жизнь, как перетянутая струна, того гляди, лопнет. Как вы, дядя? Политические перемены на вас не действуют?

— Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот это новое», но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет ничего нового под солнцем. Суета сует, все суета,— ответил Флегонт библейскими словами.— Где ты теперь? В каком качестве?

Горячев не без самодовольства представился.

— На ловца и зверь бежит,— рокотнул Флегонт и даже изобразил на лице улыбку, хоть глаза оставались строги и пасмурны.— Просвети мя, затворника, что происходит в мире.

У Горячева не было никакого желания рассказывать Флегонту о положении в губернии, но едва открыл рот, как с языка сорвались и привычно застрекотали многожды говоренные и писанные фразы. Поначалу он произносил их автоматически, но быстро увлекся, заволновался, замахал руками, возвысил голос, как на многолюдном собрании.

— ...Две трети губернии очищены от большевиков, там установлена народная власть...

— В лице Маркела Зырянова? — глаза Флегонта сверкнули насмешкой.— Извини, что перебил. Никак не укладывается в голове: Боровиков и Зырянов — выразители дум крестьянина-труженика.

Вениамин осуждающе хмыкнул:

— Вы и впрямь не от мира сего. Погодите, Боровиков сам навестит вас и лично разъ-яс-нит свою позицию. Он злопамятен, не забывает ничего...

— Я уже имел честь вести переговоры с господином-товарищем Боровиковым...

— Ну и?.. — Горячев прямо-таки засветился от любопытства.

— Толки злого в ступе пестом вместе с зерном, и не отделится от него злоба его. Грозился, как займете Северск, доложить обо мне архиерею, добиться моего смещения, лишения сана, а потом расправиться со мной сообразно вкусам.

— И вы не боитесь?

— Не боюсь,— совершенно спокойно ответил Флегонт.— Честно говоря, не верю, что вы когда-нибудь захватите Северск. Расчет на неожиданность провалился. Ты сам сказал о прибытии регулярных красных войск. Сей орех не по вашим зубам. Да если б и свершилось все по-боровиковски — не боюсь. Страх — чувство животное, не достойное человека.

— Когда в глаза будет глядеть дуло, полагаю, заговорите по-иному! — вырвалось у Горячева.

— Можешь утолить свое любопытство,— голубые глаза Флегонта потемнели от гнева.— Револьвер с тобой, в доме нет даже детского пугача.— Смерил Горячева пренебрежительным взглядом, отвернулся.— Однажды подобную шутку разыграл со мной твой соратник, начальник продотряда господин Карпов. Мир праху его...

Миг назад Горячев хотел как-то загладить свою выходку, но последние слова Флегонта разом смели благое намерение. Негнущимся требовательным голосом Горячев спросил:

— Как прикажете понимать ваши слова о Карпове?

— В самом прямом смысле. Надеюсь, ты слышал, что ревтрибунал большевиков приговорил его к расстрелу за издевательства над крестьянами, мародерство и прочие мерзости. Приговор, говорят, приведен в Северске в исполнение.

— Вы как будто рады?

— Да. Хоть сие и зело грешно. Но... нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы, глаголет Библия. Азм — человек, значит, тоже грешен.

— Вы почему-то грешите все в одну сторону. Тянет, тянет вас в боль-ше-вист-скую борозду. Уж не по чижиковской ли протекции стали попом?

— Гнев гнездится в сердцах глупых.

— Библейские афоризмы вам не помогут! Забудьте, что я ваш дальний родственник, и соблаго-волите ответить на вопрос: куда делся Карпов после встречи с

вами? Как и где вы расстались? Почему оказался он в лапах чека?

— Сан мой и положение хозяина дома не позволяют отвечать на вопросы, заданные подобным тоном.

Минуту они буравили друг друга взглядами. Изо всех сил сдерживая себя, Вениамин достал из кармана папиросницу и, не спросив разрешения, стал сворачивать самокрутку. Флегонт подметил мелкую дрожь его рук, сказал глухо:

— У нас не курят.

Вениамин сплющил папиросу в кулаке, сунул в карман. С трудом — даже испарина выступила на лбу — подмял бешенство. Улыбнулся одними губами, смиренно спросил:

— А как насчет Бахуса в сем доме?

— Ксюша! — рокотнул почти в полную мощь голос Флегонта. Тут же приоткрылась дверь кабинета, заглянула бледная попадья.— Как там у тебя?

— Стол накрыт. Проси гостя.

— Прошу, чем бог послал.

Давно ли они сидели вот так же вдвоем и разговаривали? Каких-то три месяца назад. Но то время обоим казалось теперь недосягаемо далеким. Оба тогда были на одном берегу, хоть и не на одной тропе. Но именно та встреча и размежевала, развела в разные стороны. Вениамин впервые приподнял маску, и Флегонт увидел оскал фарисея...

Неторопливо разлив светлую пахучую влагу по тонким стаканам, Флегонт залпом выпил свой и принялся аппетитно похрустывать солеными рыжиками, посыпанными тонкими пластиками лука и политыми свежей сметаной. Больше к зелью он не притронулся, только ел, а Вениамин перед жарким опрокинул еще стакан, и белизна разлилась по скулам, хмельной пленкой подернулись глаза, зато голос вроде бы пообмяк.

— Вот ведь какие мы, русские,— сыто заговорил он, слегка покачивая головой и постукивая ножом о вилку.— Глотку друг другу перегрызть готовы ни за понюх табаку. А теперь и родственные узы трещат и рвутся. Мы с вами — родня, а вы меня не балуете лаской, да что греха таить, и мне иной раз хочется тряхнуть вас за ворот. И это при условии, что нас вяжут не только национальные, родственные, но и социальные корни. Как там ни крути, ни верти, а мы — од-но-го поля ягоды. Од-но-го!

Большевики расстреляли моего отца, отняли у меня будущее, но и вам ведь они не сулят ничего доброго. Погодите, поокрепнут маленько, по-другому заговорят с господом богом и его слугами...

— А посему восславим кориковых и боровиковых, яко защитников веры? — не тая усмешки, осведомился Флегонт.

— Не надсмехайтесь! Вы все прекрасно понимаете. Так какого же, простите меня, черта занимаетесь са-мо-об-маном, полагая, что избрали некую независимую платформу, встали посреди теченья и ни к правому, ни к левому берегу не стремитесь? Помнится, тогда, в Северске, вы сами цитировали евангельские строки, смысл которых предельно ясен: кто не с нами, тот против нас. Если ваша позиция невмешательства была еще хоть как-то понятна до восстания, то теперь ее ни принять, ни тем более оп-рав-дать просто не-возможно! Подумайте! Мы все поднялись на смертельную войну с богоотступниками-большевиками, а вы, слуга господа, вместо того чтобы вселять уверенность и стойкость в души бойцов, занимаетесь разглагольствованиями с амвона о какой-то братоубийственной войне, о смирении и терпимости. Образумьтесь! Ваши ложные устои — ни вашим, ни нашим — завели вас в тупик, вы становитесь прислужником большевиков...

Широченной ладонью подперев тяжелую большую голову, Флегонт слушал племянника с напряженным скорбным вниманием. Брови были нахмурены, крутой бугристый лоб покрылся извилистыми складками, две глубокие вертикальные морщины застыли на переносье, будто высеченные. Неподвижной сосредоточенностью своей лицо Флегонта походило на маску, и только широкие ноздри еле заметно вздрагивали, втягивая воздух, да колоколом взбугрившаяся, обтянутая старенькой черной рясой грудь круто и высоко вздымалась и резко опадала. Взгляд огромных выкаченных глаз Флегонта был устремлен куда-то поверх головы племянника.

— ...Вот и ответьте прямо, мне и собственной совести,— напористо и ожесточенно потребовал Вениамин,— вы за или против нашего движения? Или — или? Если за, то будьте добры отдать нашему делу все силы. Если против — тогда вы... вы... наш враг.— Еще минуту назад он не собирался произносить это слово — оно вырвалось само. Но сейчас Вениамин уже не мог остановиться.— Враг! —

повторил он.— И — ни милосердия, ни снисхождения. Мы не будем ждать занятия Северска, сами отстраним вас от службы и...

Тут Флегонт захохотал. Неожиданно и громоподобно. Большое грубоватое лицо его мигом преобразилось, глаза вспыхнули озорно и молодо. Широко разинув мясистый рот, влажно блестя крупными дивно белыми зубами, он сотрясал комнату таким раскатистым хохотом, что Вениамину стало не по себе. Флегонт выхватил из-под полы рясы огромный, с добрую наволочку, платок, ловко расстелил его на ладони и, накинув на картофелину носа, долго и шумно сморкался, пыхтел, отдувался, тер заслезившиеся глаза, промокал губы.

— Фу-ты ну-ты, лапти гнуты, как говаривал мой покойный отец. Не обижайся на смех, не над тобой смеюсь — над твоими угрозами. Мне не все равно — жить или умереть: люблю жизнь, очень люблю, но если придется выбирать между верой и жизнью, с молитвой предпочту первое. Знаю ваш норов. Своими очами зрил, как Пашка Зырянов истязал и мучил безвинных людей... Звери! Не от добра лютуете вы, глумитесь над человеческим телом, терзаете души. Попомни меня: не очистятся поля от снега, а реки ото льда, как вас уже здесь не будет. Ты это знаешь лучше меня. И на тот случай у тебя и твоих единомышленников припасены поддельные документы и потайные норы заготовлены. Вы вовремя смажете пятки и опять перекраситесь, приспособитесь, замрете, аки мыши, а мужику предоставите расхлебывать заваренное вами кровавое хлебово. Для вас ведь мужик — быдло, черная кость, пушечное мясо. Но крестьянин уже отрезвел от вашего сатанинского зелья. Еще неделя-две, и мужицкий горбунок выкинет вас из седла...

У Горячева пересохло в горле, жгучая горечь свела рот.

— Та-а-ак,— хрипло выдавил он. Скрипуче прокашлялся.— Значит, решили в открытую? Ва-банк? Такое мне не говорил даже Пикин. Вы отлично знаете, как разделались с ним крестьяне...

— Опять крестьяне! Привыкли валить на них все свои мерзости! Всякую дырку затыкаете мужицкой башкой. Возненавидит вас народ. Проклянет...

Флегонт поднялся, огромный, рассвирепевший, с горящими глазищами, растрепанными длинными волосами. Его громовой голос бился в стенах комнаты и, казалось,

вот-вот вышибет бревенчатый простенок и выплеснется на волю. То, что выговаривал он сейчас Вениамину, не вдруг сложилось в сознании, но, сложившись, прорвалось наружу, и не было сил сдержать этот гневный поток. Вениамин вскочил, стиснул мослатые кулаки. Загоревшиеся ненавистью глаза неотрывно смотрели на Флегонта, полуоткрытый рот шевелился, словно пережевывал невидимую жвачку. И когда разъяренный поп предал анафеме «клятвопреступников, фарисеев и лжепророков, совративших пахаря со стези праведной», Горячев, потеряв власть над собой, визгливо выкрикнул:

— Крести лоб, большевистский прихвостень!

Скрытая под полой френча кобура не открывалась, дрожащие пальцы скользили по залоснившейся коже, срывались с металлической застежки, никак не могли ее расстегнуть. Флегонт не вдруг угадал намерение Горячева, а когда понял, задохнулся от негодования. Его хотят убить, в родном доме, вкусив его хлеба-соли. И кто? Племянник! Вскинув над головой сжатые кулачищи, он реванул во всю мощь:

— Вон!!

Лампа, мигнув, потухла. Что-то жалобно тренькнуло. Вениамину почудилось: взбесившийся поп метнулся к нему, и сейчас железные руки стиснут его глотку, кувалда-кулак расплющит череп... В два прыжка он вылетел из комнаты. В сенях приостановился, выдернул наконец-то наган и, просипев: «Ах, гад!» — развернулся, чтоб ринуться назад, но тут с улицы донеслись выстрелы и близкий голос Владислава:

— Красные, папа! Красные!..

Вениамин метнулся во двор, столкнувшись в дверях с обалделым Тихоном. Похватав тулупы, оба прыгнули в кошеву. Горячев погнал жеребца переулком к реке, там была малоезженная дорога, которая выходила на Веселовский зимник. За спиной раз за разом еще дважды бабахнуло. Вениамин хлестал коня по морде, и тот пер, не видя дороги. Пришел в себя, отскакав верст пять от Челноково. Тут только Вениамин призадумался: «Почему красные? Откуда?» Воротиться бы, подъехать к селу, разузнать, разведать. Посидел в раздумье, в мельчайших подробностях припомнил постыдное бегство от Флегонта, сморщился, выматерился и... сунул вожжи Тихону. Махнул рукой.

— В Яровск!

А в это время смущенный Владислав переминался посреди комнаты и бормотал:

— Прости, папа... Мы стояли за дверью, все слышали. Мама заплакала. Я сбегал за Ерошичем. Он пальнул из ружья, а я крикнул про красных. Хорошо, что не распрягал,— и раздумывать не стали...

— Бог простит,— глухо ответил Флегонт. Притянув сына за плечи, крепко поцеловал в лоб и перекрестил.— Зело разумно, сынок.

3

Зачем его на другой же день понесло в полк Карасулина? Потом, задавая себе этот вопрос, Горячев так и не мог дать вразумительного ответа. То есть формально-то повод, конечно, был. Карасулинский полк оставался одним из немногих боеспособных формирований «народной армии», по крайней мере не отступал, прочно прикрывая Яровск с юго-запада. Разве не долг начальника пропагандистского отдела своими глазами увидеть смелых воинов в бою, чтобы потом ставить их в пример другим? Но Горячев знал и другое: добрая треть полка — челноковцы, встреча с которыми ему никак не улыбается...

Знал, все знал — и поехал. Сам себе не сознавался в неотступном, навязчивом желании: тянуло взглянуть на Карасулина: каков-то он сейчас. Горячеву рассказывали, как позеленел Онуфрий, прочтя листовку-обращение к коммунистам, под которой стояли и подписи многих членов Челноковской волпартячейки. Хорошая получилась листовочка! Ради такого воззвания стоило сохранить пока жизнь десятку перекрасившихся челноковских большевиков... И сейчас Горячеву прямо-таки необходимо было хоть ненадолго увидеть пошатнувшегося, изменившего себе Карасулина, покусать его намеками, елейно похвалить за своевременную перемену курса. Вениамин подсознательно жаждал лицезреть чужую подлость, тянулся к ней, как к лекарству, как к доказательству: не он один двоедушен — полно таких на миру. Знал: небезопасна поездка и неразумна — а все равно тянуло... Видно, и впрямь есть необъяснимые, необоримые тяготения, противостоять которым бессилен даже трезвый, холодный разум. Вот так же возникало вдруг желание увидеть Катю. Зачем? Не любовь, нет не любовь была тому причиной. Да и ни в какую любовь он не верил — во всяком случае,

так ему казалось. Просто хотелось увидеть черные блестящие глаза, услышать негромкий грудной голос, коснуться упругого жаркого тела...

Село Чуртаны, где размещался штаб карасулинского полка, шумом и движением напомнило Горячеву цыганский табор. Всюду кучки мужиков, то молчаливых и отрешенных, то о чем-то яростно спорящих — неуступчивых, взъерошенных. Многие с ружьями, с пиками. В разные концы скакали всадники. У коновязей и заплотов ржали и фыркали кони, тянулись друг к другу оскаленными мордами с прижатыми ушами, лягались. Охрипшими надорванными голосами лаяли собаки. Заполошно орали распуганные сороки. Пахло березовым дымом, несмотря на поздний час, дымили все трубы: бабы сутки напролет варили, жарили, пекли для прожорливой, как саранча, оравы.

Пока Горячев добирался до штаба, помещавшегося в здании церковноприходской школы, у него несколько раз бог знает кто проверял документы. Мужики с любопытством разглядывали приезжего, провожали долгими неприязненными взглядами, посмеивались над высокопарным командировочным предписанием за подписью самого главковерха. Все это взвинтило и без того хмурого Горячева, и когда у штабного крыльца часовой тоже потребовал документы и долго вертел их, смотрел на свет и даже понюхал, Вениамин взорвался и злобно, хоть и негромко, прикрикнул:

— Какого черта липнешь? Иль похож на вражьего лазутчика?

— Не похож,— спокойно и насмешливо ответил мужик, сдвигая на затылок мерлушковую папаху,— самому на себя походить невозможно, поскольку ты и есть крестьянину наипервейший враг. Хоть и бороденкой прикрылся и волос, ровно дьякон, отрастил, а я тебя, голубчика, мигом распознал еще издаля, когда ты вон там свои гумажки показывал...

— Не болтай глупостей,— еле сдерживаясь, оборвал Горячев часового и хотел было пройти мимо, но тот с неожиданным проворством заступил дорогу, угрожающе вскинул винтовку.

— Погодь! Тут тебе не семенная разверстка. Думаешь, сунул гумажку и попер? А этого не хошь? — и поднес к самому носу побелевшего Горячева огромную фигу.

— Ты ответишь за это, болван! — не сдержался Горя-

чев.— Позови немедленно кого-нибудь из оф...— прикусил язык, но было уже поздно.

— У нас не бела гвардия, офицеров не водится. У нас командиры. Ишь, золотопогонная шкура...

— Заткнись ты!

На шум по одному, по два сошлись десятка полтора вооруженных мужиков, плотным полукольцом обложили крыльцо, подбадривали часового, неприязненно поглядывая на Горячева. Часовой на окрик Горячева насмешливо сморщился:

— Чем же это, к примеру, я заткну и какое место!

— Не мели чепуху. Позови полковника Добровольского!

И сам удивился: «Чего это со мной сегодня? То «оф...», то «полковника». Довели, сволочи! Осточертели все эти личины, чтоб их...»

— Фьють! — присвистнул часовой, повернулся к товарищам.— Видали, братаны, какая окрошка получается? Наш товарищ начальник штаба, оказывается, господин полковник. То-то он все глазом на нашего брата косит, ровно необъезженная кобыла, и плеточку из рук не выпущает, и с Онуфрием Лукичом у них все напоперек получается.

— А ведь брехал, что из крестьян,— подал голос рябой узколицый мужик.— Намедни ахал да вздыхал, дождаться бы, грит, весны, пройтись плугом по пашне. Хитер, барин.

— Повылазили со всех щелей, ровно тараканы,— проговорил рыжий бородач.

— Вы думаете, это кто? — спросил часовой, тыча пальцем в не на шутку растерявшегося Горячева.— Он к нам в Челноково в разверстку чистых бандюг привел, Карпова-собаку изгаляться над нами поставил. А теперя — на-ко! — опять двадцать пять, опять верхом на мужике, начальник какой-то в штабе. Как же это? Спереду вроде красный, сзаду белый, а посередке чо?

— А ты его ткни штыком в брюхо, глянем, чо там у нутре,— без иронии посоветовал рябой.

Горячев сунул руку в карман, стиснул рукоятку нагана, затравленно огляделся по сторонам. К ним отовсюду валили мужики, собралась уже целая толпа.

— Ручку-то из кармана вынь, ваше благородие,— улыбчиво, но жестко приказал часовой.

Горячев не повиновался.

— Ну? — прикрикнул часовой и щелкнул затвором. Вениамин выдернул руку.

«Господи, какой я дурак. Зачем понесло сюда? С чего ввязался в перебранку с этим орангутангом? Шлепнут — и вся недолга, и никто не ответит... Скоты! Распустили их, заигрываем, лебезим перед ними. Боимся, как бы не отшатнулись, не переметнулись к большевикам. Карпова бы сюда... Как бы вызвать Добровольского? Выстрелить не дадут. Кричать — без толку, под шумок сломают хребет и скажут — так было. Надо что-то придумать, отшутиться...» Но в голову не приходило ничего шутливого, на языке вертелись только ругательства, одно другого свирепее. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если б на крыльцо не вышел Карасулин.

— Что за шум, а драки нет? — громко спросил он и тут же узнал Вениамина.— Ба! Да это, никак, сам товарищ Горячев?

— Прикажите им пропустить меня и разойтись! — срывающимся голосом не то попросил, не то потребовал Горячев.

— Чего же им приказывать? У нас не царска армия. И дисциплина не на том держится, что прежде. Видать, интересно им с вами покалякать, вот и обступили. Да и вам ведь этакая встреча только на пользу. Вы там пропагандистским отделом командуете. Слышали мужики? Он — главный поп при штабе. Проповеди читает, к новому богу нас приучивает, сладкие песенки поет про наше горькое житье. Повезло вам. Из первых рук получите всю правду, не надо будет ее по листовкам шарить. Поагитируйте наших мужиков, товарищ Горячев, разъясните, с кем и за что воюем. Интересно вам это, мужики?

— Обязательно!

— Иш-шо как!

— Просим господина агитатора!

— Заодно пущай ответит, как это исхитрился он из продразверстника в эку хфигуру перелицеваться.

Толпа загудела — недобро и требовательно. Горячев растерянно косил по сторонам, норовя как-то привлечь внимание Карасулина, отозвать его и объясниться без свидетелей. И хотя теперь в его присутствии Горячев не боялся расправы, но и не ободрился: от Онуфрия можно ожидать любой выходки. Будто подтверждая эту мысль, Карасулин крикнул:

— Чего нам тут мерзнуть? Айда в штаб, там сейчас

командиры собрались. Места хватит, да и в тепле товарищ агитатор горло не застудит, мысли не подморозит.

Толпа повалила в штаб, увлекая с собой Горячева. С топотом миновали широкий коридор, втиснулись в просторную светлую комнату, где уже сидело десятка полтора командиров, среди которых Горячев с облегчением узнал бородатого Добровольского.

— Что за демонстрация? — ни к кому не обращаясь, строго спросил Добровольский, и его щеки разом зарозовели.

— Агитатор с главного штабу,— пояснил Карасулин,— хочет с мужиками побеседовать. Посидим, послушаем. Опосля и о своем с командирами дотолкуемся. Не возражаете, товарищи?

Никто не возразил. По растерянному лицу Горячева, по хитроватым ухмылкам крестьян, по тону Карасулина Добровольский догадался о сути происходящего и попытался было вызволить гостя из затруднительного положения, предложив сначала провести совещание с командным составом, а потом уж собрать всех «воинов». Собравшиеся протестующе зашумели. Начальник штаба смиренно развел руками, отступил в глубь комнаты, сказав, что его дело предложить, а решает большинство, и коли это большинство хочет теперь же послушать заведующего пропагандистским и особым отделами, то и он, Добровольский, охотно присоединится к ним и тоже послушает.

Горячев понял: надо выступать. Он уже оправился, собрался с мыслями и уверенно прошел к столу, за которым одиноко сидел Карасулин. Одернул френч, призывно вскинул руку. Бодро столкнув с языка десяток общих фраз, все еще не решил, как подступиться к главному. «И дернуло же вляпаться! Ну кто его тащил в этот полк, где столько челноковцев?..» Горячев не знал, как правдоподобно и убедительно объяснить происшедшую с ним метаморфозу, оттягивал ответ на главный вопрос, с которого следовало начинать разговор, чувствовал, что оттяжка эта лишь усугубляет дело, и оттого все сильней волновался. По лицам собравшихся он видел, что им надоели его разглагольствования о «свершившейся крестьянской революции», о царстве свободы и разума, которое «вот-вот восторжествует на земле сибирской». Опытный оратор, Горячев остро ощущал, как все дальше отдаляются слушатели, глядя на него все холоднее, неприязненнее. С замиранием сердца Горячев ждал взрыва, боялся его,

стремился предупредить — но как? Злобно скосился на Карасулина. «Почему верят ему? Большевик, секретарь волпартячейки, с Лениным знался, помогал разверстку проводить, а теперь командир полка, воюющего против Красной Армии, но каждое его слово для них — закон. Чем затуманил им мозги? Чем приворожил? Сволочь! Специально подставил меня под удар. И этот бородатый слюнтяй будто аршин проглотил. Боится перечить неграмотному мужику, перебежчику. Я тебя сейчас подкую на все четыре...» И заговорил о причинах мятежа. Мужики зажали в кулаках цигарки, вытянули шеи. Но когда Горячев стал живописать «ужасы продразверстки», его перебил рябoлицый:

— Как же ты сам-то мужика телешил? Пикин-то тебя помощником своим изделал.

— А он за то из его кишки выпустил...

— Тут они мастера...

— У Колчака научились...

— Самого-то Колчаком прозвали.

— Одно слово — шкура!..

— Да, товарищи, я работал в продорганах, но я пошел туда по заданию крестьянской партии эсеров.

Пространно объясняя программу эсеров, Горячев краем глаза приметил, что Добровольский, сутулясь и неслышно ступая, вышел из комнаты. «Куда он?» — обеспокоился Вениамин, но раздумывать над этим было некогда, надо было выпутываться из сети, которую коварно и ловко набросил на него Карасулин.

— Партия эсеров послала меня в продорганы, чтобы помочь крестьянам разобраться в большевистских беззакониях, по возможности сберечь их имущество и хлеб, помешать вывозу мужицкого зерна из Сибири, помешать расправе над сознательными крестьянами. Если бы здесь присутствовали челноковцы Зырянов, Щукин и другие товарищи...

— Эти товарищи сами с мужика шкуру драли! — злобно выкрикнул тот, что стоял часовым у штаба.

— Тогда спросите у Онуфрия Лукича Карасулина, своего командира. Он ведь тоже в большевики пошел, надо полагать, не оттого, что хотел им служить, а чтобы легче было мужика от обиды защитить.

— Врешь! — резко перебил Карасулин и встал.— Врешь! Хочешь повязать меня с собой одной веревочкой? Не выйдет. Кости шибко разные. На мою-то кость надо

бечеву покрепче да и узелок другой. Я шел в большевики потому, что верил им.

— А сейчас? — спросил Горячев вкрадчиво невинным голосом.— Сейчас кому верите?

И возликовал, увидев, как осекся Карасулин. «Ага, заело... Ну давай же, давай, раскройся, кто ты есть!»

— И сейчас верю не всякому зверю,— с усмешкой проговорил Карасулин.— Верю волку да ежу, а тебе погожу.— И вдруг круто переменил тон:— Перевертыш ты! Захребетник мужицкий! И не тебе нас уму-разуму учить. Сам ни во что не веришь, твой царь не в голове — в брюхе угнездился. Под ногами у тебя, выворотня, давно пусто...

— А, вот ты как!

Горячев отпрыгнул в сторону, не помня себя выхватил наган. Карасулин успел схватить за руку — пуля ушла в пол. Мужики заревели, повскакали с мест. Горячев вывернулся и снова нажал на спусковой крючок, но выстрела не услышал: тяжелая беззвучная чернота упала на голову, сшибла с ног, подмяла. Бесчувственное тело пинали, били, железные руки тянулись к горлу.

— Не троньте его! — прогремел голос Карасулина, и люди нехотя отстранились от поверженного Горячева.— Заприте его! Не спускайте глаз. Завтра разберемся. Идите. Командиры останьтесь.

4

Горячев очнулся, но виду не подал, не шевельнулся, не застонал, надеясь из разговоров волоком тащивших его мужиков узнать, что его ожидает, куда и зачем его тащат.

Но те не проронили ни слова. Будто мешок с мякиной, небрежно закинули Вениамина в темную бревенчатую нору — то ли баню, то ли амбар. Долго запирали дверь. Один остался караулить.

Не сон ли, не страшный ли бред это? Судьба посмеялась над ним жестоко и нагло. Месть за Пикина? Молитвы Флегонта дошли до бога, и тот карает? Мистика! Однако затылок налит свинцовой болью — не повернуться. А крови нет. Может, внутреннее кровоизлияние? Прикладом, наверное. Вот парадокс. Невероятный, чудовищный. Представителя главного штаба... Что с Карасулиным? Покачнулся, побледнел. Похоже, не ранен. Иначе его, Вениамина, тут же втоптали бы в пол. Эти скоты

только и ждут кого бы разорвать. Им все равно — Пикин или Горячев. Нужна кровь... Неужто и впрямь судьба намертво повязала его с Пикиным? И на этом все кончится? Университетские аудитории, Невский, шумные, хмельные вечеринки с курсистками и танцовщицами, прогулки в Петергоф, жаркие споры с приятелями о каких-то сущих пустяках. Господи, как все было красиво, возвышенно и приятно! Вся жизнь — праздник. И впереди тоже праздник. Сплошной пасхальный благовест. Потом война. Патриотический угар. Пригрезилась и поманила воинская карьера. Началась блистательно. Если б не подсекла революция... Корнилов, Краснов, Колчак, захватывающая дух раскованность, разнузданность инстинктов. Любая прихоть — закон. Больше всего любил ломать, подминать. Выберешь бабенку поцеломудреннее, которая себя-то нагой в зеркале не видела, и днем, при полном свете... Ужасно сладко! Одна поседела даже... Если с умом, со вкусом, не торопясь, расстрел — тоже неповторимое зрелище! Один до последнего мгновения верит, надеется на чудо. Другой — орет, как свинья под ножом. Иной жалит глазами, пока не сдохнет. Были и такие — под дулом пели «Интернационал». Всякое бывало. Знал бы о том Коротышка! За идейного принял. Пожалуй, он теперь и впрямь идейный. А может, вся эта эсеровская трепотня — только поплавок, чтоб удержаться наверху, не стать обыкновенным, как все. Обыденность, посредственность — хуже самоубийства. Ради чего вошел в эсеровскую группу, служа у Колчака? На «полуподпольных» левоэсеровских собраниях и с Водиковым познакомились. Потом, когда Колчак смазал пятки,— погоны к черту, и по рекомендации знакомого врача — красноармейский госпиталь, стал «братишкой», «товарищем». Ходил по острию, по лезвию: того и гляди, разоблачат, припомнят... Обрадовался встрече с Водиковым — и вот губпродком. Он ненавидел Пикина, ненавидел всех, кто назывался красным, большевиком, комиссаром. Готов был любому вцепиться в глотку, грызть и рвать — за расстрелянного отца, за взорванное будущее, за несбывшиеся надежды и мечты. Он бы, наверно, давно ушел в банду к анархистам, просто к уголовникам, если б не понял, что готовит эсеровский центр. Подластился к Пикину и пошел крутить-вертеть. Мстил сиволапым мужикам за революцию, за вынужденную покорность голоштанным комиссарам. Инструкция ЦК ПСР «О работе в деревне» детально

распланировала подготовку антисоветского восстания. По ней как по нотам разыграли прелюдию мятежа. Когда пламя полыхнуло вовсю и от него занялись южные окраины Екатеринбургской, Омской, Новониколаевской губерний, когда на Дону и Тамбовщине тоже взметнулись кровавые языки мятежа и скинул комиссарское владычество Кронштадт, только тогда он по-настоящему уверовал в силу эсеровской партии, окрылился этой верой и не щадя себя работал как проклятый, раздувая долгожданное пожарище. В те бессонные ночи Западная Сибирь виделась ему огромным плацем, на котором марширують мужицкие полки, дивизии, армии, прибывающие и прибывающие отовсюду. По железным дорогам спешат к ним эшелоны с английскими, японскими, американскими орудиями, танками, аэропланами. Именитые белые генералы пробираются в Сибирь, становятся во главе соединений, штабов, фронтов. Вот уже и Антанта по зову восставших снова перешагнула российскую границу. Красноармейцы отказываются стрелять в своего брата — мужика и переходят целыми соединениями к повстанцам... Ах, эти видения первых дней мятежа! До дрожи, до душевного трепета упивался ими. И ведь все виделось реально, зримо, близко. И свершилось бы, могло свершиться, если б не крестьянская неповоротливость и тупоголовие, их упрямое нежелание умирать за Советы без коммунистов, их лошадиное равнодушие к высоким призывам и планам великих социальных реформ, обещанных пропагандистским отделом главного штаба в многочисленных листовках, воззваниях и призывах, сочиненных лично Вениамином Горячевым... А сегодня! Этот безграмотный, сермяжный Карасулин играючи ухватил его за нос и, потыкав им в дерьмо, выставил на посмешище перед всеми, а завтра еще, чего доброго, расстреляет начальника сразу двух отделов главного штаба... Кошмар! Ни намека на субординацию и дисциплину. Какому идиоту взбрела в башку идея сделать Карасулина командиром полка?

Горячева потревожили голоса у двери. Он оторвался от дум, прислушался. Вроде бы голос Добровольского. Дерьмо, не полковник. Не смог подмять Карасулина. Танцует под его дудку... Что там у них? Послышалась перебранка, потом сдавленный крик, возня. Горячев насторожился, со стоном привстал. Зазвенели ключи, щелкнул замок, со скрипом распахнулась дверь. В проем заглянула мерцающая звезда и тут же скрылась, заслонен-

ная спиной шагнувшего внутрь человека. Чей-то словно бы знакомый голос приглушенно спросил:

— Где ты тут?

— Здесь, — отозвался Горячев.

— Айда, живо!

Сильные, цепкие руки помогли Горячеву подняться, вывели из амбара, усадили на колоду.

— Помешкай чуток.

Парень рывком поднял скрюченное тело часового, зашвырнул в амбар. Запер дверь, размахнувшись, забросил ключ в огород и повел Горячева к саням, запряженным белым высоким жеребцом.

— На зыряновском коне без пароля проскочишь. Один на весь полк.

«Это же Пашка Зырянов. Откуда свалился? Был еще кто-то... Утри сопли, товарищ Карасулин».

Добровольский поджидал их за околицей. Он был верхом. Спешившись, подошел к санкам, спросил Пашку.

— Как?

— Изделал.

— Молодец. Садись верхом, скачи в Дубинку, пускай приготовят поесть, перевязку сделать надо. Мы следом.

Пашка ускакал, а Добровольский, усевшись рядом с Вениамином, пустил белого жеребца стремительной рысью следом за всадником. Протянул папиросницу.

— Курите.— Подождал, пока Горячев размял папиросу, и прикурил.— Как голова?

— Болит.

— Заживет,— утешил Добровольский,— могло быть хуже. Если б вы ранили или убили Карасулина, ваша душа давно бы стучалась в ворота рая.

— Ничего не понимаю, — раздраженно заговорил Горячев.— Прямо сказка Шехерезады. Наш полк, причем вполне боеспособный, а посмотрите, что в нем делается? Анархия! Чинят самосуд над начальником отдела главного штаба. Командир полка распоясался, не признает никаких авторитетов, произносит чуть ли не большевистские речи... Не понимаю, как вы этого не видите? Вы не просто начальник штаба — вы член губкома сибирского крестьянского союза, полномочный представитель эсеровской партии, наконец, полковник и вдруг...

— Никаких «вдруг», — недовольно перебил Добровольский.— Мы знали, на что шли, назначая Карасулина командиром повстанческого полка.

— Знали?! Значит, вы собственными руками роете могилу и себе, и всему движению. Да вы...

— Успокойтесь,— Добровольский похлопал Горячева по колену. Швырнул в снег горящий окурок, перекинул вожжи в другую руку.— Здесь не тихий Дон, где каждая станица — готовое воинское соединение с боевыми традициями, великолепной воинской выучкой, отличной дисциплиной и, главное, идейно монолитное. Тут — невероятная крестьянская анархия. Большевики — не дураки, сделали ставку в революции не на крестьян, хоть их абсолютное большинство, а на пролетариев. Надо было вам на досуге почитать Маркса и Ленина. Мужик — собственник. Каждый двор — особое государство. Свой закон, своя мораль. Их главная тенденция — разъединяйся, отмежевывайся. Все наши полки, дивизии, армии — блеф. Пока побеждают, еще куда ни шло, но как только «наших бьют» — кто в лес, кто по дрова. Надо бы расстреливать, вешать заблудшую серую скотину. Единственная и безотлагательная мера!

— И надо, давно пора.

— Пора, а — колется, потому как завтра же они переметнутся к большевикам. Загляните им в башку — бродят, как перестоявшееся вино. Чуть построже прикрикнул — сразу за винтовку. Это вам не в штабе сидеть, друг друга навеличивать, приказы да листовки сочинять. Не отсюда надо было начинать. Грубый тактический просчет. Сибирский мужик отродясь не знал никакой дисциплины. Уплатил подушную — вот и весь спрос с него. Все остальное решал сход. Полное самоуправление. Своеправный, самолюбивый и хитрый, как бес. Если б влить их в регулярные части или погуще разбавить офицерами, а так... Поначалу еще куда ни шло, теперь же только кулаки по-настоящему держатся прежнего курса, на них вся опора. Не будь таких вот зыряновых, давно бы лапки кверху... Слишком затянули пролог, недопустимо замедлили разворот, мал приток живых сил, плохи успехи. Фактически мы перешли к обороне, а это — гибель восстания. Расчет на неожиданность и цепную реакцию — за волостью волость, за губернией губерния — оказался несостоятельным....

— Крепко вас обработал Онуфрий Карасулин,— язвительно куснул Горячев.

— Снимите шоры с глаз,— отчужденно и грубо, но негромко проговорил Добровольский.— Вам не семна-

дцать, вы не гимназист, не желторотый юнкер. Если хотите начистоту — игра проиграна. Позорно. Я из нее не выйду, не убегу: некуда. Да и устал от шараханья, от постоянного перелицовывания, от страха за свою, в общем-то никому не нужную шкуру. Четыре года фронта, потом еще четыре — дикого хаоса. Думали — спасаем Россию, вышло — спасали себя. Всех друзей размело. Кто в Стамбуле, кто в Париже, кто в Гельсингфорсе. Это была последняя надежда. Сам себя обманул. Глупо, но доживать надо...

От перенесенного позора и страха, от незатихающей боли в голове и в теле, от этих прямо-таки кощунственных слов Добровольского, от неизвестности — недоброй и непроглядной, ожидающей впереди, оттого, что многое из сказанного Добровольским совпало с тайными, гонимыми мыслями самого Горячева, и еще бог знает от чего Вениамин Федорович будто с цепи сорвался, заорал:

— Таких, как вы, полковник, надо расстреливать в первую очередь. Рас-стре-ли-вать! И это говорит эсер-боевик, офицер? Да, наши расчеты кое в чем не совпали с действительностью. Да, сибирский мужик упрям, как осел, и неорганизован, как стадо баранов. Да, в соседних губерниях мятеж пока еще по-настоящему не разгорелся. И что? Зато Кронштадт призвал на помощь Антанту. Восставшие казаки помели с Дона большевиков, Тамбов...

— Не орите! — грубо и жестко осадил Добровольский. — Дерите глотку в другом месте. «Расстреливать, расстреливать, расстреливать...» Только и слышишь от вас, а ведь вы — пропагандистский отдел. Вам надо в контрразведку. Я боевой офицер, знаю войну, не пугаюсь крови, но на одних расстрелах, поверьте мне, вы далеко не уедете, ничего не добьетесь. Да неужели вы, черт возьми, и теперь не видите, какая необузданная стихия, какой хаос вокруг! И вы хотите этот необученный, неорганизованный кулацкий сброд противопоставить Красной Армии?

— Вы что, хотите из меня большевика сделать?! Может, и Карасулина потому оберегаете, что сами...

— Заткнитесь! — беззлобно, с неприкрытой брезгливостью выкрикнул Добровольский. — Вы порядочное дерьмо и авантюрист. И кончим на этом. Мне не нужны благодарности за спасенье вашей головы, но хамить не позволю.

— Извините,— сквозь зубы выцедил Горячев. Он еще в руках этого человека, еще не выбрался из района расположения карасулинского полка, еще каждую минуту может показаться погоня.— Нервы. Да и отделали они меня, хоть на барабан.

— Привыкайте,— с обидной небрежностью и, как показалось Горячеву, насмешкой сказал Добровольский. Помолчал, видимо успокаиваясь. Заговорил вновь ровным, усталым негромким голосом.— Дон и Кронштадт слишком далеко. Между нами — вся Россия. Большевистская Россия! Большевики на своем съезде решили отменить продразверстку и прочие повинности, налагаемые на крестьянина. Свобода торговли. Никаких ограничений в посевах и скоте. Куда это спрячешь? Об этом уже не только шепчутся — и вслух не стесняются говорить. И если бы большевики поменьше мстили за растерзанных коммунистов да мы не вдалбливали повстанцам, что каждого, сдавшегося красным, ожидает страшная смерть...— Тяжело вздохнул.— Грустно все. И горько...

— Чего вы до сих пор цацкаетесь с Карасулиным? Зачем он вам?

— Может, вы согласитесь заменить его? Или мне прикажете занять этот пост? Я с ним с первого дня бок о бок. Глаз не спускаю, каждый шаг слежу. Настоящий самородок. Из таких, наверно, и получались Пугачевы и Разины. Но раскусить его, понять сердцевину, каюсь, не могу до сих пор. Сложен, хитер, умен, собака. Поначалу он был нужен делу как воздух. Видели, как вас встретили мужики? Никакие мандаты, подписанные генералом Петуховым, не возымели на них ни малейшего действия. Плевали они, извините, и на вас, и на вашего Петухова, и на весь главный штаб. Расстреляй я, к примеру, сейчас одного мужика, меня самого тут же отправят к праотцам. А слово Карасулина — закон. Да, вы правильно заметили: сейчас он круто сходит с наших рельсов. Не знаю, преднамеренно ли, с какими-то провокационными целями согласился он принять командование полком иль полевел, потянулся к старому в процессе восстания, только в данное время он стал явно опасен для движения. Ведет разговоры, которые можно расценить как пробольшевистские, и, вот что странно, все-таки воюет с большевиками. Мы прочно удерживаем свои позиции, и если бы не наш полк, не знаю, сохранился ли бы до сих пор Яровск в наших руках.

— Удерживаете позиции или просто красные не очень тревожат? — не без ехидства вклинился Горячев.

— Против нас — два красноармейских батальона. Покусывают, но атаковать, как видно, не решаются. И правильно делают: пока что мы им не по зубам.

— Какого же черта вы сами не наступаете?

— При незащищенных-то флангах? — Добровольский глянул на собеседника откровенно насмешливо. — Благодарю за сей стратегический совет. В окружение пока что-то не манит. Вот если бы вы вместо листовочек подкинули нам подкрепление, укрепили фланги, тогда наступление бы имело смысл. — Снова закурил. — Так вот, если говорить серьезно, замахнись мы сейчас на Карасулина в открытую — и полк может мигом перекраситься, мы получим в тылу обстреляиную, крепкую враждебную часть.

— Пожалуй, — раздумчиво согласился Горячев.

— Мы решили убрать Карасулина бесшумно, в первом же бою. Похороним его с почестями, потом потихоньку перебьем всех бывших коммунистов из карасулинского окружения, расчленим полк, сольем с другими частями...

— Разумно, — одобрил Горячев.

— Может быть... Может быть,— неопределенно пробормотал Добровольский.

Горячев хотел было спросить, что означают эти слова, да не спросил: побоялся, как бы снова не вызвать всплеск раздражения.

До конца пути они не обмолвились больше ни словом.

Меж мужиков ходила молва, что зыряновский белый жеребец — двухсердечный. Он и впрямь бежал и бежал как заводной — широкой размашкой, не ослабляя и не убыстряя бег.

Хмурое с вечера мартовское небо налилось черныю, от которой даже снег потемнел. Порывы ветра все усиливались, пока не слились в единый непрерывный воздушный поток, который покатил по сугробам снеговые волны. В темном воздухе замельтешили холодные колкие снежинки. Все гуще, все стремительнее снеговые струи. Они прошивали воздух белыми стежками, стежок к стежку, ниточка к ниточке, и скоро непроглядная чаща снежных пунктиров накрепко повязала небо с землей, стянула их, прижала друг к другу и кромешная серая мгла поглотила дорогу, скачущего белого жеребца и двух нахохлившихся, усталых и недовольных друг другом седоков.

Глава седьмая

1

Капля камень долбит, а человек не каменный, хотя в иные минуты бывает тверже стали. Но твердость эта достигается огромным нервным перенапряжением, которое в конце концов аукнется каждому в свое время.

Внешне все происшедшее оставило в Горячеве невеликий след — белую прядь в волосах, но в характере начальника особого и пропагандистского отделов главного штаба отчетливо прорезалась новая черта — мятущаяся неудовлетворенность. Вениамин Федорович не находил себе места, совался во все щели, без причины лез на рожон, скандалил, ссорился, рисковал отчаянно и безрассудно. Он чувствовал: надломилась, круто накренилась жизнь, но, странное дело, ощущение собственного падения не пугало, а возбуждало, накаляло и без того перегретые нервы. После казни Пикина, нелепой стычки с Флегонтом, позорного бегства из карасулинского полка, после оглушительно-исповедального признания Добровольского словно вспыхнуло что-то в Горячеве и занялось жарким пламенем, на котором обожженно скорчилась душа. Он почти не спал и не ел, много пил, непрестанно сосал папиросу, а его большие ввалившиеся глаза сверкали будто нафосфоресцированные. Иногда среди ночи он появлялся в яровской тюрьме, подымал охрану и начинал допрашивать заключенных. Нащупав среди них идейного и стойкого, начинал ломать его, добиваясь раскаяния, мольбы о пощаде. Потом звал на помощь вечно пьяных звероподобных конвойных, которые ударом кулака могли сбить с ног жеребца. Если и после побоев пленник не сдавался, Вениамин посылал за отцом Маркела Зырянова — слепым дедом Пафнутием. Потчевал старика стопкой неразведенного спирту и вкладывал в подрагивающие пальцы длинное шило... Утром председатель военно-полевого суда задним числом подписывал составленный Горячевым приговор о казни тех, кого прошедшей ночью забили конвойные иль заколол шилом слепой Пафнутий Зырянов.

По собственной инициативе Горячев разработал дерзкий план захвата губернской столицы и с ним появился у начальника главного штаба «народной армии», бывшего

адъютанта кровавого генерала Гайды, белочешского полковника Сбатоша.

Невысокий, бритоголовый, желчный Сбатош славился у штабных необыкновенной работоспособностью. Он был немногословен, говорил рублеными, порой коверканными фразами, хотя писал по-русски вполне грамотно и складно. Сбатош изо всех сил старался придать работе штаба хотя бы видимую четкость. Штаб ежедневно выпускал оперативные сводки, проводил всевозможные совещания, обсуждал отчеты командующих несуществующими фронтами и направлениями, издавал несметное количество распоряжений и приказов, регламентируя не только военную, но и всю гражданскую жизнь, прежде всего города Яровска, ибо за его пределами к приказам главного штаба относились не больно почтительно. О широте функций, которые «возложил» на себя возглавляемый Сбатошем штаб, можно составить представление, ознакомясь хотя бы с некоторыми из его приказов.

Приказ № 7

Всем гражданам города Яровска со дня опубликования приказа не выпускать на улицу собак без намордников. За невыполнение виновные подлежат тюремному заключению на срок до трех месяцев.

Приказ № 19

Гражданам города Яровска и уезда в трехдневный срок сдать все виды оружия, порох, дробь. За невыполнение виновные будут привлечены к военно-полевому суду и расстреляны.

Приказ № 23

Всем организациям и учреждениям впредь прекратить прием и рассмотрение анонимных жалоб и заявлений. Заявитель обязан ставить подлинную подпись под заявлением. За невыполнение настоящего приказа виновные...

Приказов было непостижимо много. Сбатош хотел взять под свой контроль и торговлю, и печать, и театр, и все кустарные и иные предприятия, заставив всех и вся хоть в какой-то степени, но работать на мятежников. Каждый день новые приказы штаба появлялись на стенах домов и заборах Яровска. Их развозили по волостям, там переписывали от руки и рассылали по селам. Добрая

половина их не доходила до мест назначения, застревала в пути, залеживалась в волостных исполкомах. Переписчики в меру сил и способностей редактировали и сокращали приказы. Подобное отношение к циркулярам главного штаба объяснялось тем, что они не имели сколько-нибудь заметного влияния на жизнь крестьян, перед ними не трепетали, им беспрекословно не повиновались, хотя почти каждый приказ неизменно завершался угрозой расстрела...

Когда Горячев вошел к Сбатошу, тот, поставив ногу на сиденье стула и облокотясь на согнутое колено, диктовал помощнику очередной приказ, объявляющий всякого мятежника, самовольно покинувшего часть и пришедшего в родное село, дезертиром, которого следует расстреливать без суда и следствия.

— Давно бы так! — обрадовался Горячев, дослушав приказ до конца.— Распустились! Не армия — стадо баранов...

— Не совсем, не совсем, поручик, — Сбатош взглядом отпустил помощника.— Есть такие э-э... части. Очень... как это выразить... очень неплохо. Вроде карасулинский полк. Не хмурьтесь. По крайней мере они не отступают. Командир, конечно, э-э...

— Был волостным партийным комиссаром!..

— Знаю. Все знаю. В корне — вы правы. Когда мы победим, тогда и припомним Карасулину его комиссарство. Но пока... Слабая дисциплина — наш главный порок. Этот приказ — последняя ставка. Пороть, расстреливать, вешать. Иначе армии э-э... не будет. Утечет, как песок из... ладоней.

— Совершенно согласен, — с жаром подхватил Горячев. — Причем надо не только самого труса вешать, но и семью его карать. Семью! И хозяйство — на распыл. Избу — сжечь! Имущество — конфисковать! Мужику хозяйство дороже собственной шкуры.

— Очень мудро. Это я прибавлю к приказу. Вот только генерал Петухов... Мы с ним на разных языках. Ему хочется тихо, мирно, как это... на белом коне. Не понимает Сибирь. Тут люди своевольны, упрямы, но не очень воинственны. Не донские казаки. Пока сибиряку в карман не залезешь — не начнет чесаться...

— Точно! — снова подхватил Горячев— Не выгреби мы семена — не сдвинуть бы мужиков с места. Теперь, прослышав об отмене разверстки, зачесали макушки. Кос-

кто рад на попятную, да не знает как. Только жес-то-чайшие репрессии вышибут из мужицкой башки панический угар.

— К репрессиям нужен прибавок, довесок.— Сбатош прищелкнул пальцами, прошелся, точно красуясь выправкой, перед Горячевым. Круто развернулся, остановился перед ним, лицо в лицо. — Не понимаете? В одной руке — репрессии, в другой — победа, боевой успех. Нам вот так,— мазнул растопыренной пятерней по упругой красной шее, — нужен Северск. Тогда в нашем кулаке дорога на Екатеринбург и Омск. Оттуда подходят красноармейские части. Понимаете, поручик? Северск во что бы то ни стало! Как его взять? Подтянуть открыто наши силы — не выйдет... Да и в лоб город не взять. Там бронепоезд, артиллерия.— Снова пробежался по кабинету торопливой и нервной пробежкой. На бегу вынул портсигар, размял папиросу. Так же неожиданно и резко остановился против Горячева, нос к носу.— Северск — наша последняя реальная надежда. Только из Северска мы сможем крикнуть на весь мир. Чтоб услышали Пилсудский, Масарик, Маннергейм и ваш друг Савинков. Тогда западная пресса заплачет, запричитает о бедном сибирском крестьянине. Англичане, американцы, наконец, японцы не упустят благоприятный случай. Понимаете? Вот что такое Северск.

— С тем и пришел,— не без самодовольства отчеканил Горячев и, не ожидая вопросов, принялся излагать свой план захвата губернской столицы.

Обрадованный, изумленный, Сбатош лисой заюлил вокруг Горячева, тут же созвал членов военного совета, чтобы сразу официально обсудить и утвердить план.

Суть горячевского плана заключалась в том, чтобы, не подтягивая основных частей мятежников к Северску, захватить город врасплох силами контрреволюционных заговорщиков вкупе с мятежными отрядами из пригородных сел.

— ...К назначенному дню из ближних деревень мы незаметно стянем в город сотни надежных людей. В Северске тоже немало наших друзей. Главные красноармейские силы раскиданы по фронтам. Переворот готовит эсеровская подпольная организация, возглавляемая опытным боевиком. Наши люди есть в губкоме большевиков, губисполкоме и даже губчека. Они знают воинские пароли, места хранения оружия и боеприпасов, имеют крепкие

связи с повстанческими штабами близлежащих сел. Нам нужно помочь подпольщикам разработать тщательный план переворота и взять на себя не-пос-редственное руководство боевыми действиями...

До этих слов члены военного совета слушали Горячева, можно сказать, с восторженным вниманием, поддакивали, одобряли и поддерживали взглядами, возгласами, жестами. Но когда распаленный Вениамин Федорович заговорил о посылке представителя главного штаба в Северск, восторг собравшихся померк, их лица изобразили задумчивость и даже отрешенность, все как по команде принялись вертеть папиросы, покашливать. Горячев сразу заметил и верно угадал причину этой перемены. Выдержав долгую, выразительную паузу, покарав трусливых сообщников саркастической улыбкой и язвительным взглядом, он медленно, упавшим от волнения голосом проговорил:

— Предлагаю военному совету представителем главного штаба в Северск направить меня. Я знаю город, обстановку, людей. Понимаю меру ответственности, которую приемлю на себя...

Тут случилось примерно то же, что однажды уже пережил Горячев на той, незабываемой вечеринке у пани Эмилии, когда его провозгласили премьером всесибирского правительства и заласкали, задарили восторженными словами и взглядами.

2

Он вошел в Северск на рассвете с сенным обозом. Даже близкие Горячева вряд ли опознали б его в бородатом вознице, который уверенно и неторопливо шагал подле воза с кнутом в руках. Одет он был в длиннополый полушубок, громадные собачьего меха рукавицы-мохнатушки заткнуты за опояску, мохнатый треух надвинут на самые глаза.

Обоз свернул на базарную площадь, а Вениамин Федорович торопливо и ходко запетлял по пустынным заснеженным переулкам, держа путь к дому пани Эмилии. Уж кто-кто, а эта старая сводница и потаскуха наверняка знает все последние новости. Он почему-то даже и не помыслил о том, что пани Эмилии могло не оказаться на месте, что она, может быть, сбежала, арестована, умерла, одним словом, исчезла из Северска. Напротив, его вообра-

жение рисовало смешные картины их предстоящей встречи. Он прикинется странником, переменит голос и начнет вещать этой толстозадой такие эпизоды из ее биографии... Только б ненароком не напороться на Гаврюшу. У этого зверя мертвая хватка и ни сердца, ни разума... Тут внимание Горячева привлекла успевшая уже малость пожелтеть листовка на черном покосившемся дощатом заборе. Вздрогнул, заметив выделенные шрифтом слова «Карпов-Доливо», и, торопясь, обжигаясь, стал глотать строчку за строчкой:

«...Недавно ЧК закончило следствие по делу бывшего начальника продотряда особого назначения Карпова-Доливо. Кто такой Доливо? Матерый белогвардеец и контрреволюционер, бывший начальник контрразведки колчаковской дивизии, палач, вешатель, кровопиец. На его счету — сотни зверски замученных красноармейцев, коммунистов, комсомольцев. Как этот бандит оказался в продорганах, да еще во главе продовольственного отряда особого назначения? Его пригрел там член коллегии губпродкомиссариата, замаскировавшийся белогвардеец, матерый эсер Горячев. Под его диктовку Доливо-Карпов грабил крестьян, порол и пытал их...»

Горячев на мгновение прикрыл глаза. «Раскусили. Поздновато, но разгрызли до зерна. Успеть бы прихлопнуть Северск. Окажись во главе губпродкомиссариата Чижиков — не разжечь бы мятежа...»

И тут он вдруг необыкновенно отчетливо увидел перед собой лицо Пикина — землисто-серое, с синими провалами щек, трепещущими бескровными полосками губ, с темными, глубокими колодцами глазниц, откуда вонзались в Горячева два яростных, жалящих зрачка. Таким было это лицо в тот миг, когда Горячев поднял голову от бумаг и встретился взглядом с губпродкомиссаром... Видел ли он когда-нибудь это лицо веселым, радостным и спокойным? Вот уж кто воистину горел... Горячев завертел головой, отгоняя видение. Что это с ним? Надломился? Укатали Сивку... Блажь! Бессонная ночь, перенапряжение нервов... Торопливо закурил. Огляделся по сторонам и, перепрыгнув дюжину строк, прочел заключительный абзац.

«...Ревтрибунал ЧК, рассмотрев в открытом судебном заседании дело Карпова-Доливо, полностью признавшего предъявленные ему обвинения, приговорил Карпова-Доливо к высшей мере наказания — расстрелу. Вчера при-

говор приведен в исполнение. Не за горами день, когда на скамье подсудимых окажутся один из главных виновников контрреволюционного кулацкого мятежа — эсеровский прохвост и белогвардейский бандит, наймит Антанты Горячев и его приспешники. Им не уйти от возмездия за кровь лучших сынов и дочерей...»

Глаза Горячева еще скользили по строкам, но сознание уже не воспринимало прочитанного. Если эта листовка дойдет до мятежников, а она дойдет... Чего он испугался? Противное состояние — будто вслепую идешь по топи и каждый миг можешь ухнуть в трясину насовсем... А, к разэтакой матери предчувствия, сантименты, рассусоливания! Вырвать Северск у Аггеевского, Чижикова, Новодворова. Повесить их на базарной площади, как повесили Гирина — секретаря Яровского укома партии. Стянуть сюда белогвардейцев со всей России, превратить мужичью анархию в железный всесокрушающий кулак и размозжить им большевиков.

— Размозжить! Рас-плю-щить! Раз...

Забыв всякую осторожность, он колотил и колотил кулаком по забору. Сдернул рукавицу, впился желтыми ногтями в лоскут листовки, соскреб ее. Вот так! Выжечь. Вытравить. Вырвать... Задохнулся от бешенства. Судорожно глотал и никак не мог проглотить заклепавший горло ком.

От дома пани Эмилии осталось грязное пятно пепелища. Под снегом угадывались груды обгорелых бревен, печные скелеты. Вокруг пожарища путаные собачьи следы. Вот так. Груда головешек да следы бродячих собак — только и осталось от недавнего пристанища. Что тут случилось? Где хозяйка этого гнездышка? Прах. Только прах. От прошлого. От настоящего. От... Нет. Дудки, господа комиссары. Еще потягаемся, поглядим, чья возьмет. А и прогорим — уйду в Маньчжурию или в Монголию. К Анненкову, к Семенову, к черту в преисподнюю. Гульну напоследок, качну судьбу, чтоб бортом зачерпнула, — и пропадай все...

Сорвав с головы треух, вытер подкладкой взмокший лоб. Сбоку неслышно подсеменила старушонка. Окинул ее подозрительным взглядом: мирная, древняя бабуся располагала к себе, и он спросил:

— Пожар, что ли, был?

— Пожар, касатик. С месяц тому, почитай. Сама хозяйка и подпалила. Золотишко прихватила, а дом пожгла.

— Сбежала, значит? — вяло поинтересовался Горячев.

— Не убегла. Пымали ее. Прямо на вокзале. Ее же фатеранка, бают, и пымала. В чека робит.

— Где же теперь хозяйка-то?

— Господь знает. Бают, будто расстреляли ее с этим вот самым, про которого листки-то развесили. Опять же говорят, будто она цела, сидит в чека. Тут, сказывают, цельный... забыла, как называется... Понапридумывали, прости господи, всяких непонятных слов...

Горячев не дослушал, повернулся и медленно пошел, не соображая куда. Лишь бы не стоять, лишь бы двигаться. Сознание заторможенно перемалывало услышанное и вдруг озарило вспышкой: «Катя!.. Она поймала пани Эмилию. А-а-а... Вот тут и замкнется наш круг».

Чем ближе к центру, тем многолюднее становилось на улицах. Не сразу заметил Горячев, что люди шли в одном направлении, шли спешно, были малоречивы и пасмурны, некоторые несли флаги с черными лентами и бантами. Он влился в человеческий ручеек, и тот вынес его на площадь у реки, к памятнику жертвам революции и гражданской войны. Там — огромнейшая толпа.

Горячев протиснулся вперед и остолбенел. На высоком красном помосте перед свежей могилой стоял обтянутый кумачом гроб с телом Пикина. К белой подушечке приклеилось желтое лицо губпродкомиссара. Взгляд Горячева долго не смел соскользнуть с этого лица, будто боясь натолкнуться на груду окровавленного зерна. Усилием воли заставил себя взглянуть на застывшее тело, покрытое кумачом. «Еще раз встретились, товарищ Пикин. Вишь, как прибрали, принарядили тебя. Представить бы в том виде с распоротым брюхом...»

Но как оказалось здесь тело Пикина? Его закинули в буерак, на прокорм волкам... «Да что это сегодня? Все кубарем. Все против меня». Захотелось немедленно уйти. Раздеться, посидеть в тепле, ни о чем не думая. Даже полежать. Вытянуться во весь рост, подремать. И чтоб невдалеке шипел кипящий самовар...

Вокруг помоста в скорбном молчании застыли Аггеевский, Новодворов, Водиков, Чижиков, незнакомые военные. «Ладно, товарищи комиссары, поплачьте сегодня над Пикиным, а заодно и над собой. Недолго осталось вам комиссарить».

Траурный митинг Горячев воспринимал сквозь непонятное затмение, все происходящее доходило до него

приглушенным, смутным. И даже звенящая, пламенеющая речь Аггеевского поначалу входила в сознание Горячева обескровленной и бесцветной.

— ...Мы будем рубить кулацко-эсеровскую мразь до седла! За кровь дорогого товарища Пикина, за его мученическую смерть... — кипел Аггеевский.

«Руби, руби, — с поразительным равнодушием думал Горячев, будто и не принадлежал вовсе к тому племени, которое намеревался вырубить дотла секретарь губкома. — Как же они нашли Пикина? Что там случилось, в Криводаново?»

— ...Сегодня ревтрибунал приговорил к расстрелу матерого кулака контрреволюционера Шевчука и еще семерых бандитов, повинных в мученической смерти губпродкомиссара. Не уйдет от возмездия и главный виновник гибели комиссара — белая контра, эсеровская сволочь, перевертыш Горячев...

Вениамин Федорович попятился. Ему почудилось, что Аггеевский опознал его и стоящие рядом незнакомые люди тоже уставились на него с превеликим подозрением и любопытством, и вот уже жалящий, всевидящий взгляд Чижикова кольнул и вошел под сердце как смертоносный нож... Горячев еще быстрее стал пятиться, потом развернулся и заработал локтями, выбираясь из толпы. Вслед ему понеслись протяжные, траурные голоса оркестра. Люди обнажили головы. Машинально снял треух и Горячев. Плакали женщины. Все громче, все дружней зазвучала песня:

Вы жертвою пали в борьбе роковой...

Текла и текла, расширяясь, становясь величественней и могутней, скорбная, трепетная мелодия, перед которой — Горячев вдруг остро ощутил это — ничто не способно устоять. Можно стрелять в эти поющие рты, заливать их варом, рубить шашкой — все равно они будут петь, и петь, и петь — до конца!

Горячев нахлобучил шапку и рванулся из толпы. А оркестр гремел вслед печальной медью, и люди пели:

Прощайте же, братья, вы честно прошли
Свой доблестный путь, благородный...

Полоснул залп, Горячев качнулся, будто все двенадцать пуль прощального салюта вошли в его спину.

Он выбрался из толпы, но не уходил от нее. Неведомая сила привязывала его к поющим, скорбящим лю-

дям — его врагам. Их было много. Слишком много. И, окруженный ими, вблизи от них, Горячев слабел духом, и задуманное перестало казаться столь реальным и скорым.

Снова он медленно брел по улице не зная куда. Нестерпимо захотелось выпить стакан обжигающего первача. Ошпарить нутро, согреть душу, вышибить из башки туман. Он явился сюда действовать. Действовать, а не ахать, не терзаться приступами хандры. Да и какая к черту хандра? С чего бы? Разве что-нибудь переменилось? Все по-прежнему. Либо нас, либо их. Только Флегонт верит в золотую середку. Никакой середины в природе не существует... Куда это его занесло? Батюшки, прямо к порогу чижиковской резиденции. Ну что ж, он покажет им, что не из теста слеплен. Развернулся, вошел в комендатуру и сразу столкнулся взглядом с дежурным Тимофеем Сатюковым. Горячев узнал его и тут же понял, как угодил в руки чека Коротышка. Дальновиден, хитер Чижиков... «На же вот, получи».

— Разрешите от вас позвонить товарищу Чижикову, — деланно-гундосо просипел Горячев.

— Валяй. Телефон вон за дверью, — разрешил Сатюков.

— Товарищ Чижиков? Добрый день. Не узнали? Странно. Я полагал, у вас... Узнали? Да. Точно. Привез вам поклон из Челноково и Яровска. — Заслышал шаги по коридору. — До скорого...

Повесил трубку, вышел. Прыгнул в стоящие у ворот сани, вырвал вожжи из рук опешившего кучера, столкнул его в снег, хлестнул лошадь и ускакал.

3

Два дня метался Горячев по Северску, собирая воедино уцелевших заговорщиков. Уцелело немало. Подрастерялись, правда, после разгрома и ареста своего штаба, подзатаились, но, собранные вместе и распаленные речью Горячева, сразу вспыхнули и накидали целый ворох деловых предложений, как быстрее подготовить переворот в губернской столице. Задуманное снова стало рисоваться Горячеву вполне реальным.

В Северске было введено чрезвычайное положение. Ночью без пропуска по улицам не пройти: в любой миг можно угодить в лапы патруля. Но именно это обстоя-

тельство больше всего и манило Горячева на ночные, глухие и пустынные улочки и тупички Лога, где надежно укрыли его у единомышленника-часовщика.

— Поберeглись бы вы, Вениамин Федорович, — сказал часовщик, отворяя калитку крытого двора. — В Логу-то хоть на тройке шпарь, зато ближе к центру...

— Не беспокойтесь. Из вашего заповедника я ни-ни. Пройдусь чуток — и на покой.

— Это пожалуйста,— успокоился часовщик.— С богом.

Звездная мартовская ночь обволокла землю, когда, завернув за угол, Горячев вдруг оказался у знакомого домика. Здесь у бабки жила тогда Катя. Сюда он не раз провожал ее в те, кажется, совсем недавние и безмерно далекие дни... Неужели и сейчас она тут живет? Несколько мгновений стоял в нерешительности. Приник ухом к щели в ставне, напрягся, но ничего не услышал.

Калитка была не заперта. Сенная дверь тоже не на запоре.

— Ты, Катя? — донесся из горенки голос бабы Дуни, когда Горячев переступил порог.

Не дождавшись ответа, старуха выглянула.

— Ктой тут? — затревожилась она. — Чего надо?

— Здравствуйте, баба Дуня. Не узнаете?

— Да неуж ты? Господи! Лик-от, лик-от вовсе на себя не похожий. Откудова?

— Оттуда, — неопределенно отозвался Горячев, раздеваясь. — Заглянул попроведать. Не прогоните?

— Иде ж мне, старой, прогнать экого молодца? Да ить ты, поди, не ко мне, а к Кате, так она не придет сегодня, дежурство у ей, там до утра и пробудет.

Горячев ухмыльнулся:

— Стара ты, баба Дуня. Пора на покой, а ты обмануть норовишь. Ну, ладно. Рассусоливать некогда, вот-вот внученька пожалует. Давай подумаем, как лучше встретить.

— Уходи-ка отсюда подобру-поздорову, — баба Дуня встала, все повышая голос и подпуская в него строгости: — Кто тебя звал, варнака? Иди своей дорогой, пока я не кликнула добрых людей да не повязали тебя. Знаю ведь, что за птица.

— Никого ты не кликнешь. А и кликнешь — не докричишься. Я ведь могу и по-другому поговорить. Знаешь вот эту штуку? Видала небось у внученьки? — Вынул наган, поиграл им, покачал на ладони. — Нажму разок —

и со святыми упокой. — Погасил улыбку и, резко меняя тон, приказал: — Полезай в подпол и сиди тихо, пока не позову.

— Ишо чего удумал. В своей избе да по подпольям прятаться. Стара я для этого, стара. Да и не помню уж, когда последний раз туда лазила: ноги не гнутся. Чего я тебе изделала, что ты меня в подполье запихнуть хочешь? Али плохо привечала, плохо потчевала тебя? Эк-то ты за хлеб-соль платишь?

— Брось, баба Дуня, ныть: не разжалобишь. Полезай. Иначе — скручу руки, заткну рот тряпицей и спущу вниз головой. Тогда на самом деле твои старые кости не выдержат. Быстро! Быстро, чертова колдунья!

Перепуганная старуха терзалась запоздалым раскаянием: не завела до сих пор собаку, не заперла входную дверь, не прихватила, выходя из горницы, лежащую на сундуке гирьку...

— Ну? — Горячев, перекинув револьвер в левую руку, подступил вплотную. — Не поняла, что ли?

— Да как ты смеешь, варначина, в душу тя выстрели...

Он ткнул ее кулаком в грудь. Баба Дуня согнулась, прижала ладони к животу и, открыв рот, никак не могла перевести дух. Из глаз старухи брызнули слезы, судорога покривила дряблые щеки. Горячев откинул крышку подполья, сунул бабке в бок ствол нагана.

— Живо, старая кочерга!

Загнав стонущую, причитающую бабу Дуню в подполье, выпул оттуда лесенку, захлопнул западню. Закинул лесенку на полати. Прошел в горницу и тут же услышал скрип двери и Катин голос, весело прокричавший от порога:

— Опять ты, бабушка, дверь не запираешь. Сколько раз говорить.

Наверно, Катя поразилась бы меньше, увидев вдруг подлинного живого черта или иного какого пришельца из загробного мира. Она побелела, прянула назад, чтобы броситься вон, но Горячев навел револьвер, властно скомандовал:

— Не шевелись! Повернись спиной.

Подошел, нащупал в кармане полушубка наган, вынул. Снял с нее полушубок, спрятал в кобуру свой револьвер, Катин закинул на печку.

— Теперь поговорим мирно. Я к ней с любовью, ис-

тосковался, извелся в разлуке, а она бежать. Проходи, молодая хозяюшка, потчуй гостя дорогого.

Она переменилась с тех пор к лучшему. В выражении лица появилась уверенность, в фигуре, в жестах и в походке проглядывали твердость, решимость. Только несколько мгновений в черных, цвета переспелой смородины, Катиных глазах блуждали растерянность и страх, потом там засветилась настороженная язвительная дерзость. Она ходила вызывающе прямо, развернув округлые плечи. Неспешно накрыла стол, поставила на него кипящий самовар, разлила по чашкам чай, жестом пригласила незваного гостя к столу. Тот невольно любовался женщиной, завидовал ее выдержке, поражался перемене. Давно ли от встречи с Зыряновым и пани Эмилией она упала в обморок? Давно ли бледнела и ахала при одном упоминании чека. А теперь... Он оглаживал, ощупывал ее жадными глазами, и в нем все сильней росло желание. Эта женщина — его. Он ее открыл, спас, выходил, а Чижиков отнял. Всюду Чижиков. Проклятый Чижиков...

Принял чашку с чаем, отхлебнул, не спуская глаз с Кати. Та помешивала ложечкой медленно остывающий чай и молчала. А в нем все неуемнее становилось желание схватить ее, сорвать все это тряпье, что прятало желанное, прекрасное, молодое тело, и заласкать, выпить до последней капельки, а уж потом, потом... От этого сводило скулы и потели сжатые кулаки.

— Где бабушка? — обеспокоенно спросила Катя.

— Жива-здорова. Сидит в подполье и ждет, когда позову. Не спеши. Я скажу, когда можно, а пока посидим вдвоем. Соскучилась?

— Нет.

— Разлюбила? — с нажимом и неприкрытым вызовом спросил он.

— Прозрела.

— И что увидела?

— То же, что и другие.

— Что же все-таки? — повысил он голос. Отодвинул чашку. — Говори!

— Волки вы. Звери.

Он будто бы только того и ждал. Пристукнул ладонью по столешнице и громко, с лютым весельем:

— Ну, раз волки, по-волчьи взвоем. Встать! Живо! Катя побледнела. Медленно поднялась.

— Выйди из-за стола. В горницу. Да не крути голо-

вой. — Схватил ее за руку, резко рванул к себе, толчком в спину загнал в горницу. — Раздевайся! Донага. Снимай свою красную шкуру, и я тебя... — Вытянул перед собой длинные руки с растопыренными шевелящимися пальцами, пригнулся и, медленно наступая на нее, хрипло выкрикивал: — Я тебя... по кусочку... по жилочке!..

Ненавистные руки все ближе. Катя пятилась от них, не спуская с белого бородатого лица расширившихся, полных ужаса глаз, пятилась до тех пор, пока не уперлась спиной в подоконник. Он сграбастал ее за ворот гимнастерки, рванул, и та развалилась пополам. Содрал гимнастерку, кинул под ноги. С тихим треском лопнула опушка юбки.

— А-а! Комиссарская шлюха!.. Чего ж ты не орешь? Ори! Ползай на коленях. Голая комиссарша... Ха-ха-ха! Снимай сапоги. К такой матери! Са-по-ги!

Его колотило от бешенства, на губах пузырилась слюна, выкаченные глаза побелели. Обхватил левой рукой за талию, оторвал от пола, притиснул к себе и стал правой стаскивать с нее сапоги. А когда босую отшвырнул и, раскинув руки, изготовился вновь сграбастать, в глаза ударил отсвет вороненого ствола нагана и полоснул ненавидящий Катин крик:

— Назад!

Ахнул выстрел, пуля отколола щепу от потолочной матицы. Горячев медленно пятился, нащупывая локтем кобуру. Та была пуста.

— Руки! Спиной ко мне! — И снова пуля колупнула стену. — Живо, сволочь! Иди вперед. Открывай подполье. Теперь садись в угол. Ну!

Когда полуживая от страху бабушка выбралась из подпола, Катя приказала Горячеву выложить на стол спички и лезть вниз. С трудом надвинула на крышку пятиведерную бочку с водой, сказала: «Теперь все» — и рухнула на кровать.

Глава восьмая

1

До рассвета было еще неблизко. Лошадь, покрытая белой изморозью замерзшей пены, хотя и пофыркивала устало, но бежала ходко. В розвальнях на груде туго

набитых мешков полулежал Маркел Зырянов. Он был изрядно пьян, бестолково дергал вожжи, покрикивал без нужды на коня и выбормотывал то, что роилось в затуманенной хмелем голове:

— Теперича мы чо? Мы — власть. Захочу сказню, захочу помилую. Могу под арест, могу в яровскую тюрьму, папаше в руки. А то Пашке шепну, и безо всякого суда... Со всеми втихаря сосчитался. Только за Онуфрием должок. Скоро сполна разочтемся с им. Сказывал Пашка под великим секретом... Хе-хе... Окрутил Маркел всех вокруг пальца. И в стары-то времена не думал волостью править. А тут на тебе — председатель волисполкому. Под красным знаменем и с печатью в руках. Умора, да и только... Это иш-шо только цветики, ягодки опосля поспеют. Продырявим думалку Карасулину. За им Ромке и энтой Пашкиной зазнобе. Сохнет по ей, стервец. Жамкнул бы иде-нибудь, сдернул охотку...

Тут Маркел, видно, задремал, залопотал что-то совершенно бессвязное, потом и вовсе смолк, только носом посвистывал.

За какой-то месяц вознесло Маркела Зырянова, раздуло — не подступись... Вся волость перед ним шапку ломает. Разве что поп Флегонт по-прежнему смотрит с небрежением, разговаривает свысока, но и до него дотянется Маркел. Длинны стали у него руки. Слепой отец палачом при самом Горячеве состоит. Про Пашку и говорить нечего — на днях сделали командиром первого карательного отряда. Вовсе осатанел молодой Зырянов. Рыскает со своим отрядом по деревням, вынюхивает, высматривает. Суд у него короткий, расправа скорая и лютая. И в полках распоряжается Пашка как на своем подворье. Не любо это многим, да страшатся отпетой его команды. Только в карасулинском полку Пашка никого пока не трогает. Кусает взглядом, а руки на привязи держит. Боится Онуфрия Лукича. Боится и люто ненавидит. Копит силы зыряновский род, настораживает петлю, чтоб захлестнуть ее на шее Онуфрия. Чуть зевнет — и крышка... Никогда не простит Маркел Карасулину вывихнутой руки и того, как слово ему поперек боялся сказать, когда был Онуфрий большевистским секретарем. Исподтишка, но неустанно копает Маркел яму заклятому врагу. И выроет!..

Ворота околицы оказались закрытыми. Лошадь остановилась, и Маркел тут же очнулся. Нехотя выбрался из

розвален, путаясь в полах тулупа, протопал до ворот. Въехал в улицу. Хмель помаленьку выходил, и мысли становились трезвее.

Нет, не так уж он прост, Маркел Зырянов, понимает: нелегко свалить большевиков. Понимает, а — не боится. Чего зря себя растравлять, коли все равно при коммунистах ему не жить. К первой же стенке поставят... А покуда — наш верх! И дай бог каждому пожить, как пожито им, Маркелом, в привольные эти денечки. А подфартит овчинному воинству да его светлости Красному Петуху — денечки-то многими летами могут обернуться. На тот случай и в Яровске дом присмотрен, обставляется уже. Ну а коль не подфартит — авось тоже не пропадем. Сибирь-матушка велика, и про черный день кой-чего имеется. Э, да чего об том думать... Живи, пока живется, и своего не упускай. Уж он-то, Маркел, своего не упустит, это точно!

Он уже подъезжал к своему дому, как вдруг кольнуло под ребро давнее потаенное желание. Не раз тревожило оно Маркела, заглядывало во сны, делаясь все неотвязней. Вошло в него как острога и не вытащить. Трезвый Маркел хоть и с натугой, но отгонял желание, пьяному сделать это было куда трудней, выручали лишь обстоятельства. Теперь же все сложилось как нельзя лучше: и ночка темна, и голова хмельна. Да и хмельна по-легкому, на остатних парах — в самый раз. И, мысленно отмахнувшись от всех препон и сомнений, Маркел погнал коня мимо своего дома и с ходу подвернул к воротам Глазычевых. Оставил тулуп в сенях, не по годам легко взбежал на высокое крыльцо, застучал негромко в дверь.

Чутко спала Маремьяна с тех пор, как проводила Прохора в карасулинский полк. От лошадиного фырканья пробудилась, прислушалась, уловила торопливые шаги к крыльцу. Босиком, в одной рубашке выскользнула в сени, подбежала к дверям, нашарила липнущий к рукам железный крюк, спросила:

— Проша, ты?

— Отворяй, отворяй,— послышался хрипловатый, незнакомый голос.

Маремьяна отняла руку от крючка.

— Кто тут?

— Чего переполошилась? — Узнала голос Маркела.— Не бойсь, не съем. Передам только письмецо от Прохора.

Вчерась гостевал в ихнем полку, просил непременно повидать тебя и письмо, значит...

— Погоди. Оденусь.

Метнулась в горницу. Торопливо накинула платье, надела шубейку, сунула ноги в теплые валенки, отворила дверь нежданному гостю.

Маркел постоял у порога, пожмурился на свет, скинул рукавицы, шагнул к женщине.

— Здравствуй, красавица. Чего ты на меня, ровно на диво какое, пялишься? Ставь-ка самовар, гостинцев тебе привез. Чайком побалуемся.

— Где письмо? — неприязненно спросила Маремьяна пересохшим вдруг ртом.

— Всему свой черед. Наперед угости, уважь меня.— Маркел стал расстегивать полушубок.

— Давай письмо и дуй к своей бабе, она угостит и уважит.

— Ишь ты как! — сразу вызверился Маркел и голосом и взглядом.— С председателем губчека, поди, поласковей была. Думаешь, не знаем? За такое надо бы тебя на площади принародно выдрать, а то и вовсе сказнить, как изменщицу. Так что не забывайся.

— Ты бы всех сказнил, руки коротки, да и зубы, поди, повыкрошились.

— Я с тобой не шутю,— промерзшим железом заскрипел голос Маркела.— Велено заарестовать тебя и отправить в Яровск.

Маремьяна сделала испуганное лицо, прижала руки к груди, попятилась. Маркел клюнул на приманку и сразу переменил тон.

— Можно, конечно, и не посылать тебя. Все в наших руках.

— Так ты уж сделай милость...

Маркел петухом прошелся по комнатке, крутнулся перед женщиной.

— Шубейку-то скидавай. Ты без одежы-то мне милей. Улестишь меня, ублажишь, а уж я тебе...

Маремьяна, вскинув голову, подалась высокой грудью вперед, зазвенела насмешливым, злым голосом на весь дом:

— Это тебя-то улестить, тебя ублажить? Опомнись! Иль вовсе очумел от самогонки. Глянь на себя. Кто ты есть? Кобель приблудный! Гриб трухлявый. Думаешь, на председательский стул вскарабкался, так теперь все бабы

твои? А вот этого не хошь? — И, круто повернувшись спиной к Маркелу, заголила подол, звонко шлепнула ладошкой по голому заду.

— Ты это ково мне показываешь? — затрясся от ярости Маркел. — Ты своему полюбовнику кажи либо придурку мужу. Да я тебя... Заявится Пашка, он тебя как Емельяниху...

Маркел не приметил, как в руках Маремьяны оказалась кочерга, и не успел увернуться от удара. Не будь на голове шапки, лежать бы ему с пробитой башкой. Единственная на все село модная бобровая шапка слетела к ногам, а кочерга снова устремилась к голове Маркела. Еле успел крутнуться, железяка полоснула вдоль хребта.

До самых саней неслась за незваным гостем Маремьяна и, пока он разворачивал коня, успела еще раз дотянуться кочергой. Испуганная лошадь с места взяла в мах и понесла, а вслед что-то выкрикивала, и хохотала, и бранилась взбешенная Маремьяна...

2

— В малухе барахлишко, — бросил жене Маркел. — Постирай, приготовь. Поеду в Яровск — заберу. Спать на печи буду.

И больше ни полслова. От ужина отказался. Проворно разделся, вскочил на печь, затих.

Жена поворочалась в кровати, бесшумно оделась и пошла в малуху. Засветила фонарь, склонилась над привезенными мужем мешками. Опять рубашки, гимнастерки, брюки, пиджаки. Мятые, выцветшие от поту, с оторванными пуговицами, многие с темными пятнами крови. С тех пор как Пашка принес емельяновские пожитки, она перестирала не одну пару чужого белья. Поначалу пятна крови отпугивали, боялась притронуться к ним, дрожала. Потом попривыкла. И сейчас спокойно перебирала одежду, думала: «Пашка поснимал с убитых иль свекра одарили. Лютует старик. Чистый зверь. И муж с сыном недалеко ушли... Господи, пронеси, сохрани и помилуй. Скорей бы уж кончилось это...»

«Чужое добро впрок не идет», — говаривали старики. Да только не всегда, видно, приговор этот сбывается. Сколько чужого-то добра прилипло к мужниным рукам за целую-то жизнь? Батраков обсчитывал, торговал да переторговывал, тянул все, что плохо положено, — и гро-

мом небесным не поразило, и достаток в хозяйстве растет да множится. А теперь и подавно как на дрожжах прет хозяйство: что ни день, то прибыток, велик ли, мал ли, а все не с нас, а к нам, не из кармана, а в карман. И хоть в ларец, где муж хранил золото, она никогда не заглядывала и руки туда не запускала, все равно знала: не скудеет — пополняется домашняя казна. И с этих тряпок немалый прибыток дому... Беда только, люди недобро косятся, моргуют ими, сторонятся, будто боятся замараться. Боязно стало с бабами у колодца остановиться. Не преминут уколоть: «Чего вам плакаться? Все трое при должности, все в дом тащат. На одной одежке с мертвяков, поди, капитал нажили...» А чем она виновата? Не Маркел, так другой подобрал бы все это, подобрал и продал. Не зазря ж Пашка головой рискует, да и сам Маркел на старости лет ни ночью ни днем покою не знает. То мобилизация, то сбор лошадей, то полушубки на свою армию собирает. И ведь никто за те хлопоты не платит, никто доброго словечка не скажет. Все готовы слопать из зависти. Пауки, право слово, пауки...

Успокоилась вроде бы, утешилась, но когда стала рассортировывать белье, отбирая наперед шерстяное, вдруг содрогнулась, представив тех, кто носил все это. Захолодело сердце. Не простят мужики такое. Ни Маркелу, ни Пашке, ни ей, ни всему их роду. Коли и удержится новая власть — все равно не простят. Мало ли осталось родичей у тех, чьи рубахи она отстирывала. Страшно. А не дай бог нагрянут красные, тогда отольются все слезки. Эти уж не пощадят... Ткнулась лицом в чью-то пахнущую табаком и потом гимнастерку и зашлась слезами. Плакала как по дорогому покойнику — горько, надрывно. Сердцем чуяла — ненадежна, недолговечна Маркелова власть. А к красным, сказывают, настоящие войска пришли, с пушками, с пулеметами. Еще пуще заревела, захлебывалась слезами, терла красные мокрые глаза, охала, проклинала и жизнь, и судьбу, и нежданно грянувшую войну с коммунистами...

Выплакалась, взялась за стирку. Совсем рассвело, когда понесла во двор развешивать и услышала голоса с улицы. Выглянула за ворота: толпа баб, бегут серединой дороги, кричат что-то, хохочут. Увидели ее, поманили, затащили в середку, потянули за собой к Маремьяниным воротам. А к ним прибита кочерга, и на ней новенькая, привезенная из города бобровая шапка мужа. Маремьяна

как увидела жену Маркела, отодрала кочергу с шапкой, подлетела к растерявшейся женщине, сунула ей в руки и шально закричала:

— Передай этот флаг своему кобелю да боле не спущай его по ночам с цепи. Сунется еще раз — отсеку башку и насажу на эту кочерыжку...

3

Побуянила Маремьяна, насмешила, всполошила все село, а когда осталась одна в пустой, полутемной из-за спущенных занавесок горнице, разом слетели с нее и веселье и задор, устало подсела к зеркалу, долго разглядывала свое отражение, и грусть затуманила глаза, и лицо словно бы постарело, опустились уголки полных губ, вычертились доселе не заметные морщиночки возле глаз. Женская грусть-тоска копится незримо, подступает неслышно. И нету ей удержу, и нет с ней сладу. Миг — и будто вылинял мир, опостылел, все-то в нем оказалось не таким и не на том месте, и хочется рухнуть срубленным деревом, припасть к земле, чтоб не видеть, не слышать...

Сама себе Маремьяна показалась заброшенной, забытой, и так жалко ей стало самое себя, так обидно за невозвратно и одиноко уходящую молодость, что к горлу подкатил слезный ком. Сцепила зубы и медленно, раскачиваясь из стороны в сторону, стала тихонько про себя тянуть-напевать с детства любимую песню о замерзающем в степи ямщике. Но от этой песни без слов стало еще горше, будто из самой души вытягивала Маремьяна каждый звук. Выреветься бы в голос, да не ревется. Одно слово — тоска.

С того вечера, как Прохор ударил ее, они прожили всего неделю. Что там прожили? Протянули. Днем Прохор юлил вокруг, как побитая собака, в глаза заглядывал, норовил каждое желание угадать, исполнить, а ночью исступленно ласкал ее, безответную и холодную, злился, закипал ревностью, тут же каялся и опять ласкал ее жадное до любви, но словно застывшее тело. Измучившись и ее намучив, сердито отворачивался и то ли прикидывался, то ли и впрямь засыпал. Она долго не спала, иногда до свету, и все думала о любимом. Не отпускал ее тогда Гордей, уговаривал остаться. Она понимала — не ко времени это. Мало ль недругов у него? Зачешут язы-

ками, затреплют. Ведь — мужняя жена... Придумала, что мать заболела, пообещала скоро вернуться и, наверное, так бы и сделала, если б не эта заваруха. Даже смирный Прохор и тот схватился за вилы. Ровно сбесились мужики, оборзели. И легла меж ней и Гордеем роковая черная черта, и не переступить ее. Попробуй-ка проскочи в Северск либо оттуда в Челноково. Запросто головой поплатишься.

Но что голова, коли на сердце пусто и темно? И не раз уже Маремьяна мысленно переступала ту черту. Дух захватывало от дерзкой мечты. Кинуть все — дом, деревню, подруг, родню, мужа... Спотыкалась на думах о муже, замирала. Жалела Прохора: душевный и собою видный, и работящ, а уж любит... Другой бы за такую измену истерзал и душу и тело, а этот только милуется, ластится, ровно мальчишка зеленый. Любить бы его не перелюбить и не желать другого, да сердцу не прикажешь.

На третий день после ее возвращения началась мобилизация мужиков в карасулинский полк. Флегонт отслужил напутственный молебен. Только молился не за дарование скорой победы над большевиками, а за скорейшее прекращение братоубийственной войны и возвращение пахарей к своим нивам. Кориков чуть не арестовал Флегонта — мужики не дали. Полк ушел, и потянулись тревожные дни. Стали понимать челноковцы, что запахло настоящей войной, и не с Колчаком, не с разными Антантами, а с Советской властью, с Красной Армией. Зачесали бороды старики. А тут еще слухи, один страшней другого, о расправах над коммунистами. Тронулась умом баба Емельянова от Пашкиного изгальства. Почитай, все село бегало смотреть замученных Пашкой в логу комсомольцев. С того дня возненавидели его односельчане, хотя и боялись. Старухи крестились, втихомолку называли антихристом и каином. Старики поговаривали о близкой расплате.

Наверное, Маремьяна спокойней относилась бы к шарахающимся по селу слухам, если б там, по ту сторону кровавой межи, не остался Гордей Чижиков, если б не был он председателем губчека, не лез бы наперед других в самое пекло... Поначалу Маремьяна испытывала словно бы раздвоение — одной половинкой души сочувствовала поднявшимся против продотрядчиков, а другой половинкой боялась за судьбу Чижикова. Но после Маркелова воцарения, Пашкиных зверств, после всего, что узнала

о новой «крестьянской» власти, Маремьяна, как и большинство челноковцев, стала желать лишь одного: скорейшего конца мятежа, возвращения прежней, привычной жизни, которая откроет ей путь к Гордею.

Тогда, в Северске, он несколько раз порывался поговорить с ней про крестьянскую жизнь, заводил речь о том, чего хотят большевики, ради чего силы кладут. Не больно много поняла Маремьяна: не до того было. Поняла только: есть у Гордея своя, в самой душе хранимая правда, хочет он людям добра. А вот как к тому добру добраться... Уж теперь-то бы она все выспросила, скорей бы кончилось это светопреставление... Откуда грядет конец? Как отзовется на судьбе близких? Все эти вопросы оставались безответными, от них только внутри холодело. Нет, она не желала гибели мужу и другим мужикам, ушедшим с Карасулиным, но хотела победы Чижикова. А как, миновав одно, добиться другого — не знала.

Медленно, со скрипом ползли дни. До Челноково стали доходить газеты и листовки, выпускаемые яровским главным штабом. В одной из них живописались крестьянский суд над продкомиссаром Пикиным и его казнь. И хоть не любила Маремьяна губпродкомиссара, а пожалела его и содрогнулась, представив на миг, что вместо Пикина мог угодить в кулацкие руки ее Гордей.

Иногда неведомо как в село проникали большевистские листовки. Их читали втихаря, шепотком, а потом пересказывали прочитанное на ухо самым верным людям.

Все, что хоть как-то было связано с черным и страшным словом «мятеж», проходя через сознание Маремьяны, обязательно соприкасалось с Чижиковым. Весь мир крутился вокруг Гордея, и в зависимости от того, какой стороной поворачивался к нему — доброй или злой, оценивала Маремьяна все происходящее...

Из зеркала на Маремьяну смотрели полные слез глаза. Она слизнула соленую влагу с губ, всхлипнула.

— Дура,— сказала себе негромко и глухо.— Право слово, от моих слез ему не полегчает. А и забыл, поди? — сцепила кисти рук, прижала к подбородку.— Пустое все...

Медленно поднялась, рассеянно оглядела комнату, прошлась из угла в угол. Тихонько запела:

Где ты, где ты, долгожданный?
Где же ты, любимый мой?
Приходи скорей, желанный,
Приласкай и успокой...

У Маремьяны захватило дух, она задохнулась. Как же могла покинуть его, сидеть здесь сложа руки? Почему не стережет, не оберегает любимого? Почему не рядом с ним?

Как перепел-подранок заметалась Маремьяна по горенке. Не слышала, как за спиной отворилась дверь и вошел церковный сторож и звонарь Ерошич. Вздрогнула, испуганно прянула в сторону, когда тот проговорил сзади нарочито громким голосом:

— Доброго здоровьица, Маремьяна!

Узнала незваного гостя, выдохнула облегченно:

— Напужал ты меня, чертушка.

— Вот уж не поверю: сама кого хошь испугаешь.

— Аль такая страшная? — повела плечом Маремьяна.

— Баба Яга супротив тебя первейшая раскрасавица. Не пойму, с чего Прохор прикипел к тебе...

— Ты-то зачем пожаловал?

— Опостылело холостяцкое житье. По чаю горячему стосковался, по улыбке бабьей. Хоть ты и старая карга, а все ж баба. Может, не прогонишь? Чайком побалуешь, ласковым словом обогреешь.

— Раздевайся,— у Маремьяны немного отлегло от сердца.— Самовар еще не остыл, почаевничаем вприкуску с беззубой улыбкой.

У них давно установились вот такие полушутливые отношения, за которыми пряталось то, о чем лучше было молчать. Ерошич давно любил эту женщину, но о том не знал никто, кроме Маремьяны, она все угадывала по взглядам да по голосу звонаря, но виду не подавала и была с бобылем всегда одинаково весела и приветлива.

Глотал чай Ерошич торопливо, обжигался и потел. Лицо его раскраснелось, заблестело мелкой испариной. Он расстегнул ворот рубахи, отпыхивался, а сам знай подставлял да подставлял хозяйке порожнюю чашку. При этом Ерошич подшучивал над собой, подтрунивал над Маремьяной и, лишь вволю напившись, перевернул чашку, поставил вверх донышком на блюдце, отодвинул от себя, стер рушником пот с лица и погасил улыбку.

— Ково это ты, девка, чисто никово вытворяешь? Не успел законный супруг съехать со двора, затеяла жмурки с Маркелом.— И уже совсем серьезно, строго и обеспокоенно.— Жить надоело?

Хотела было отшутиться Маремьяна, но глянула в глаза Ерошичу, и шутка застряла в горле. Ответила зло:

— Охамел кулачина. Приперся середь ночи: письмо, мол, от Прохора привез, а сам... Жаль башку кочергой не прошибла.

— Не мудрено промахнуться, она у него чуть поболе мово кулака. Зачем же шум-то на всю округу? Тут ты поскользнулась... Знаю, что ни царя, ни бога не страшишься, только ныне Маркел поопасней и того и другого. Царь далеко, бог высоко, а Маркел рядом. И рука у него цепкая. Попадешь меж когтей — не вырвешься...

Вместо ответа Маремьяна негромко, но озорно пропела:

Не пугай, ох, не пугай,
Ты меня, бедовую.
Я пойду хоть в ад, хоть в рай
За любовь фартовую.

Пока она пела, Ерошич любовался ею. На губах застыла улыбка, от которой плоское, немолодое и некрасивое лицо словно озарилось мягким внутренним светом — стало добрым и ласковым.

Она допела припевку, и в комнате на минуту застыла какая-то совсем особенная, странная тишина, в которой все еще жил трепетный Маремьянин голос. Будто светилась та тишина и еле слышно звенела, медленно угасая. И когда она совсем заглохла и потухла, Ерошич помрачнел, прилип к лицу женщины взглядом, в котором перемешалось и восхищение, и сочувствие, и тревога. Маремьяне от этого взгляда стало не по себе, шевельнула плечом, будто сбросила с него тяжесть.

— Чего так смотришь? Случилось что?

— Случилось.— Откликнулся глуховато и как бы нехотя. Отвел глаза и вроде через силу повторил: — Случилось.— Помолчал.— Ты тут, само собой, ни при чем. Не казни себя... От верного человека прознал. Сегодня на тебя Маркел донос отправил в особый отдел главного штаба. Ты-де чижиковская полюбовница и сама отпетая большевичка, народ смущаешь против новой власти, выведываешь все и самому Чижикову сообщаешь. Обещает заарестовать тебя, все выведать, а опосля — в яровскую тюрьму...

— Да как он, вражина...

— Помешкай. Еще отправил письмецо с нарочным Пашке. Похоже, зовет его с карателями сюда. Чуешь? Пашка где-то тут совсем рядышком лютует. К ночи нагрянуть может, а с им, сама знаешь...

— О господи,— разом побледнела Маремьяна, вскочила, закрутилась на месте, снова присела, будто к краешку табуретки прилепилась. Вцепилась пальцами в концы головного платка, потянула так, что затрещали.— Как же теперь... Ково это они?..

— Не колготись. Мало радости, конечно, но и с копыток валиться не с чего. Уезжай. Сегодня же. Как стемнеет, так и в путь. Куда — сама реши...

— Ой, спасибочки тебе. Вовек не забуду.

— Уедешь тайком. Лошадь я у Флегонта возьму, запрягу, подле своей сторожки поставлю. Ты узелок собери да вроде к батюшке зачем-то, а там задними воротцами. Поняла ли?

— Чего не понять,— уже немного успокаиваясь, отозвалась Маремьяна.

— Сейчас быстренько собирайся да лети задами к матери, отсидись там дотемна. Ворота на засов, а избу не замыкай, вроде рядом ты, вот-вот воротишься. Опосля, когда уедешь, мать замкнет.

— Не знаю, как и отблагодарить тебя...

— Полюби разок — вот и квиты,— невесело пошутил Ерошич.

— Жениться тебе надо.

— Была б другая Маремьяна — давно женился.

— Чего ране не посватал, пока ничейная была? Может, и слюбились бы?

— Я и глядеть-то на тебя боялся. Не для меня такая красота...

Маремьяна проворно собрала посуду со стола. Ерошич начал было прощаться, да звякнула калитка, и оба замерли. Глянула в оконце Маремьяна, отшатнулась:

— Никак, посыльный с волости.

— Скорехонько на печь,— скомандовал Ерошич,— накройся чем-нито, скажись больной, да так, чтоб поверили,— а сам юркнул в горницу.

В сенях долго топотали, видно, сбивали снег с валенок. Потом дверь скрипнула, просунулась голова волисполкомовского посыльного, которого Маркел именовал своим адъютантом.

— Дома хозяйка? — спросил он негромко и неуверенно.

— Ктой тут? — слабым, срывающимся голосом проговорила Маремьяна с печи.

— Здорово живешь, Маремьяна. Ково это ты в эку

рань на печь угнездилась? — «Адъютант» вошел и притворил за собой дверь.

— Занедужила шибко. Лихо мне, головы не подыму. Мать бы покликать. Пойдешь обратно, стукни ей в окошко, сделай милость, не то окочурюсь одна-то. Скоро корову доить, а я шевельнуться не могу, ломит всю, на части разрывает. К попадье бы послать кого, может, у ей порошки какие есть.

— Вот незадача, а меня Маркел за тобой послал, всех баб, у кого мужики мобилизованы, велел на собранье кликать.

— Чего стряслось? — простонала Маремьяна.

— А я знаю? Коту неча делать, загнет хвост да зад лижет. Так и у нас. Не могешь, значит?

— Сам видишь.

— Ладно, выздоравливай. Матери твоей шумну по пути. Бывай.— И ушел.

— Чего он удумал? — спросила Маремьяна, когда калитка захлопнулась.

— Хитрый, змеюга. Не иначе ловушку тебе изделал. Убей меня бог, никакого собранья не будет. Чую — Пашка либо тут, либо вот-вот заявится. Боится Маркел — не упорхнула б ты. Поспеши, Маремьяна. Уходи задами, мимо бани. Я там добру стежку проторил.

4

Ветер отовсюду надергал клочья облаков, сбил большую тучу, кинул ее на то место, под которым притулилось Челноково. И сразу потемнело в селе. А когда из серых лохм брызнули сухие колкие струйки и, густея на глазах, стали посыпать дома, сделалось совсем темно. Маремьяна невидимой ушла со двора матери, незаметно пробралась в сторожку Ерошича, за которой вкусно похрустывала сеном запряженная в маленькие санки невысокая, но ладная и шустрая лошадка.

— Вот славно — занепогодило. Неприметненько выскользнешь из села и кати куда пожелаешь. Пашка-то уже здеся. С им человек пять головорезов. Сейчас на Маркеловом подворье самогон жрут. Самый раз для тебя. Присядем на дорожку и...

— Повремени, Ерошич, погодь миленький...

Она выговорила это каким-то бесцветным, отрешенным голосом. Скользнула по лицу Ерошича невидящим, зату-

маненным взглядом, а руки нервно мяли, тискали небольшой узелок. Видно было: какая-то неожиданная мысль завладела женщиной, захватила ее. Ерошич понял — недоброе задумала Маремьяна, и забеспокоился: от нее всякого можно ждать. Пока прикидывал, с какой стороны ловчее подступиться, чтобы выпроводить поскорей из села, Маремьяна затвердела в решимости, взгляд стал жестким и острым. Шагнула к Ерошичу, кинула ему на плечи руки, требовательно глянула в глаза.

— Вправду ль любишь меня?

Того будто варом окатило, обожгло. Задохнулся. Сухим горячим языком облизал мигом задубевшие, непослушные губы, но шевельнуть ими не мог. Маремьяна легонько прильнула к его груди.

— Чего молчишь? Аль соврало мне сердце? Говори!

— Зачем?..— еле вымолвил Ерошич.— Охота тебе мучить меня.

— Не серчай,— разом обмякла Маремьяна, и глаза заструили ласку, от которой хмелем ударило в голову Ерошича и руки сами собой потянулись к женщине.

— Маремьянушка, цвет мой лазоревый...

— Спасибо тебе. Только... Эх, горе мое. Знаешь ведь...

— Знаю,— выпустил ее руки, отвернулся.

— Не к тому спросила, чтоб пытать тебя. Прости, коли ненароком больно сделала... Ради бога прости. Нет у меня сейчас никого, окромя тебя. Пособи напоследок. Хоть присоветуй только. Век не забуду.

— О чем ты?

— Я в Северск решилась... Может, не доеду. Может, не свидимся боле. Прохору скажешь — пусть не ждет. Неповинна я перед ним — не по прихоти, не по блажи. Одна дорожка у меня, свернуть нету сил. Только не уехать отсель, пока Маркелу с Пашкой не досажу. За мой страх, за то, что бегу из родного села ровно воровка. За все... Чтоб дрогнула под ими земля!

— Да ты очумела, что ли? Голову спасать надо, а она... Как ты им досадишь? Одумайся...

— Погоди, миленький, хороший мой, брат мой единственный. Не серчай, выслушай...— И посыпала слова, от которых у Ерошича волосы зашевелились на затылке. Хоть ждал он от нее всего, что угодно, но того, что услышал, не ожидал, такое могла придумать только Маремьяна — бесшабашная, лихая головушка.

Глянул в пламенеющее лицо женщины, вслушался в

звенящий от ненависти голос и понял: не отговорить, не образумить, не остановить Маремьяну. И восхитился ею, и испугался за нее, и тут же решил: скорее умрет, нежели пустит на такое дело.

— Хватит,— приказал тихо, но твердо, прижав ладонь к ее губам.— Недосуг лясы точить. Сиди тут. И ни-ни. Замкну тебя, чтоб кто ненароком не наскочил либо сама сдуру не выпрыгнула. Сам изделаю, чего замыслила... Не перечь! Может, и впрямь боле не свидимся. А жизнь без тебя — тоска. Тобой и дышал только, к тебе тянулся, ровно к солнышку. Будет у тебя память обо мне. Узелок. Как его тронешь — меня спомянешь, то ли отрадно станет сердцу моему...

Подтолкнув легонько к скамье, усадил, а сам заметался по комнатенке, что-то засунул в карманы полушубка и выбежал. Звякнула накладка, хрумкнул ключ в замке. Маремьяна отодвинула занавеску с оконца, прилипла к раме лицом. Не велика пурга, а ничего не видно. «Проскочит Ерошич. Коренастый, проворный. А ну не проскочит? Сгублю мужика...— Похолодела со страху.— Пойти бы с ним. Да разве позволил бы...— Напрягла зрение, силясь что-то рассмотреть за мельтешением снега. Угадала очертания церковной ограды, дальше — серая пелена.— Зачем позволила запереть себя? Лучше что угодно, чем эта клетка, из которой и в окно-то не выскочишь: решетка. Ну как словят его? Господи, помоги...»

...Спрятав под надвинутой шапкой лицо и низко согнувшись, Ерошич шел так торопливо, что вряд ли кто смог бы опознать в этой стремительно несущейся фигурке медлительного и не шибко поворотливого звонаря и сторожа. Вот он круто свернул в проулок и с полверсты бежал вдоль жердяной изгороди. С ходу нырнув в щель, почти пополз по еле приметной тропе, вытоптанной зыряновскими лошадьми да коровами, которых гоняли здесь на водопой к проруби. Остановился у воротец, прислушался, вгляделся в темноту крытого двора. Обеспокоенно заворчала собака, метнулась к воротцам, подле которых затаился Ерошич. Тот что-то забормотал, кинул рычащему псу темный предмет, и собака вдруг стихла.

Тенью проскользнул Ерошич в воротца, проник в конюшню, оттуда поднялся на сеновал. Вырыл в сене яму, кинул туда ком бересты, полил керосином, перекрестился

и поджег. Кубарем скатился по лесенке и обмер, услышав со двора близкие голоса.

— Рановато, поди-ка,— проговорил Маркел, сыто икнув.

— В самый раз. Сонная баба, что непропеченный пирог, ни скуса, ни запаху,— хохотнул Пашка.

— Друзьев-то заберешь?

— Двоих заберу да Димку Щукина.

— Ты только в селе...

— Знаю, тятя. Зазря ты шуму боишься. Мы теперича кого хошь в бараний рог. Не седни-завтра Онуфрия приберем. Сполна с имя сочтемся. Тут уж ты мне не перечь. Тут уж я евоной родне такие загну салазки, черт не разогнет. А с этой мы тихонько, по-божески. Утартаем ее на заимку, там хоть с пулемету сади — никого.

— Ежели мать у нее, занемогла она будто...

— Выманим. Ну, айда. Тяпнем на дорожку, а то... дымом откуда-то наносит.

— Метель на воле, забивает трубы, вот и... Айда.

Ерошич перевел дух, сунул нож за голенище валенка, метнулся к воротцам в огород. С маху пнул кинувшегося под ноги пса, припер ворота колом и помчался по тропинке...

Маремьяна встретила у порога, вцепилась в рукав.

— Ну?

— Беги в сани.

Сел рядом, быстро разобрал вожжи, тронул лошадь и молчал до тех пор, пока женщина не подтолкнула в бок.

— Онемел, что ль, со страху?

— Чуть не накрыли... За тобой сейчас поедут. В заимку тебя, и там... Собаки бешеные!.. Не дотянуться им до тебя. Забудут про все, как запластает. Там сена возов тридцать, двор крытый. Слизнет вместе с избой в один присест. Господи, прости. Ни за деньги, ни под петлей не пошел бы на такое. Колдунья ты...

— Жалеешь?

— Нет. Поделом им. По заслугам. В самый раз... Онуфрия бы предупредить. Грозился его извести Пашка. Вот тварь. Хуже любого зверя. Все грехи простит бог тому, кто этого гада придавит.

Едва миновали околицу, за спиной заблажил набат.

В сером мареве метели поднялся огненный столб, распушился, разросся и заколыхался на ветру, ровно гигантский петушиный хвост. Маремьяна порывисто обвила Ерошича, нашла губами его губы и одурманила долгим, крепким поцелуем.

Ерошич проводил взглядом сани, постоял, вслушиваясь в истошный вой набатного колокола, медленно повернулся, побрел в село, над которым раскрылилась гигантская огненная птица.

Глава девятая

1

Крестьяне непрестанно курили, хмурились, говорили негромко, немногословно. Но глаз от Чижикова не прятали, не улещали улыбками, не подбирали мягких, гладеньких словечек, не искали гибких выражений — били словом наотмашь, перли напрямик.

Их было трое. Середняки из Каменки, знакомцы и дальние родичи чекиста Тимофея Сатюкова.

В Каменской волости третью неделю хозяйничало кулачье. Коммунисты и советские работники успели уйти оттуда за день до начала мятежа. Правда, близкая к Северску Каменка оказалась отрезанной от главных очагов восстания и вела себя пока сравнительно смирно: за пределы своей волости каменские мятежники не совались. Но добывали оружие, стягивали к себе объявившихся белогвардейцев и могли не сегодня-завтра принять участие в нападении на Северск.

Вчера Чижиков еле вымолил у Новодворова разрешение на свой рискованный эксперимент. Председателю губисполкома нравилась чижиковская затея, но риск был слишком очевиден и велик, и Новодворов долго не соглашался, сердился и уступил только после долгого, изнурительного спора. И вот Сатюков зазвал земляков в губчека.

— Ты только вот что уразумей, Артемыч,— сказал самый старший из трех,— мы не колдуны, не ворожеи. От беды не зарекаемся. Всяко может статься. Может, и оборонить тя не смогем. Так что на бога надейся, а сам не плошай. И вот ишо что: нас-то оставь-ко тут

заложниками, чтоб в случае промашки, значит, расстрелять...

— После драки, отец, кулаками не машут.

— Это так. И все же. У нас полдеревни родни, чай не дадут загинуть, значит, оборонят тебя.

— Вы что, сами на себя не надеетесь?

— А хоть бы и так,— за всех ответил старший.— Не всегда человек волен делать то, чего пожелает. Ин раз все насупротив своей воли получается. А так-то и тебе покойней, и нам страшней.

— Не дело, отец. Если наша затея провалится, что толку с того, что вас потом расстреляют? Кому легче?

— Оно так... никому,— согласился крестьянин,— а все ж таки...

— Нет, отец. Вы нужнее там, а не здесь. Вам я верю. Это главное. Если с умом, не спеша да с оглядкой все сделаете — получится как надо. На том и разойдемся. Возвращайтесь в Каменку. Оповещайте самых крепких, авторитетных, но трудящихся мужиков, не захребетников. Человек с десяток. Говоришь, командиром у вас тоже середняк? И его зовите. Соберемся у тебя, отец. Ты же на отшибе, и изба позволяет. Мы приедем с Сатюковым вдвоем. Ни охраны, ни пулеметов. Тут я целиком на вас полагаюсь. Ну а как дальше пойдет — посмотрим. Столковались?

Крестьяне согласно закивали.

— Тогда до встречи. Завтра часов в восемь вечера ждите.

Пожал каждому руку, проводил до порога, вернулся, подсел к Сатюкову.

— Что скажешь, Тимофей?

— Шибко рискованно, конечно. За этих ручаюсь, с мальства вместе, не продадут. Так ведь их заодно с нами могут...

— Могут.

— Рисковый ты, Гордей Артемыч. Ну, угодим кулачью в лапы, как Пикин?.. Не пячусь. Вперед пятками не хаживал. Обратно же думаю: на то и чека — врагов карать, споткнувшимся пособлять, на верный путь выводить. И так и эдак кумекаю, но одно выходит — не миновать. Кулака, конечно, надо бить. А мужика — спасать. Он теперича на все готов, лишь бы из белой удавки выскочить. Надо подмогнуть ему. Совецка власть не поможет — кто ж тогда...

2

Их встретили верховые версты за три от Каменки, в логу. Сразу свернули с большака и петляли по лесным дорогам до тех пор, пока не оказались у ворот, подле которых стоял старый крестьянин, тот самый, что вчера предлагал себя в заложники. Он был с берданкой в руке. На крыльце тоже маячил мужик с винтовкой.

Изба была полнехонька. Сидели на скамьях, на подоконниках, прямо на полу. Окна плотно занавешены каким-то цветным рядном. На столе нервно помигивала тусклая семилинейная лампа.

На чижиковское «добрый вечер» откликнулись вразнобой, глуховатыми голосами, потеснились, пропустили его вперед к столу. Там, дымя папиросой, сидел круглолицый крестьянин с восточной смуглостью кожи и узкими глазами. «Это и есть местный командир»,— решил Чижиков, присаживаясь рядом. Взгляды их встретились, погнули-погнули друг дружку и разошлись. «Хитер, самолюбив и смел»,— заключил Чижиков. Не спеша вынул из кармана и положил перед собой кисет, несколько листочков курительной бумаги, спички. Долго и тщательно скручивал папироску, прикурил от горящей лампы. Пустил ноздрями густую струю дыма. Десятки взглядов прилипли к нему. Прицениваліись, негодовали, злились, любопытствовали, насмехались. «Пора»,— решил Чижиков. Отодвинул на край стола лампешку, поудобнее расставил локти, уперся ими в столешницу, прокашлялся.

— Представляться не буду: знаете, кто я. Зачем приехал? Догадываетесь. Мы не девки на посиделках. Потому никаких подмигиваний, покашливаний и прочей чепухи. Говорить все, что наболело. Напрямки и начистоту. Вопросы задавать любые. Спорить, пока духу хватит либо пока не надоест. Могу сидеть хоть до завтрашнего вечера. Не возражаете против такой программы?

— Согласны,— за всех ответил смуглолицый.

— Тогда слушайте. Вчера мы арестовали начальника особого и пропагандистского отделов главного штаба мятежников бывшего белогвардейского офицера Горячева. Это — один из самых ярых закоперщиков мятежа. Сын кулака-антисоветчика. Служил и у Деникина, и у Колчака. По подложным документам устроился в наш губпродком. Недавно, вы слышали верно, был расстрелян горячевский приближенный, бывший колчаковский кара-

тель Карпов-Доливо, который под видом начальника продотряда особого назначения бесчинствовал в деревнях. Будет расстрелян и еще один бывший начальник продотряда, тоже в прошлом белый офицер, Обабков. Видите, какой букет? Что они вытворяли — сами знаете. Теперь и дураку ясно, зачем этим сволочам надо было ярить мужика, издеваться над ним. Видали, как ловко обвели вас вокруг пальца кулаки да золотопогонники?..

Мужики не шевелились, не курили, сидели как закаменелые, ели глазами Чижикова и молчали, и в избе от того тяжелого молчания становилось тесней и жарче. Чижиков расстегнул воротник френча, смахнул ладонью соленую росу со лба, чуть понизил голос. Он рассказал о том, как эсеры готовили мятеж в Западной Сибири и других районах страны, о Кронштадте и антоновщине, о десятом партийном съезде и ленинской оценке происшедшего в Северской губернии, об отмене продовольственной развёрстки, о зверствах восставших кулаков и белогвардейцев.

— Может, я что-то утаил от вас? Сказал неправду? Сфальшивил? Говорите сразу.

— Пока навроде нет,— снова за всех ответил смуглолицый.

— Тогда ответьте мне: на кого навострили свои пики? С кем надумали воевать? За какие шиши?

— Известно,— тут же опять откликнулся смуглолицый.— С вами. С коммунистами. Мы не супротив Советской власти, но коммунистов нам боле не надо.

— Советская власть без коммунистов,— неожиданно встрял в разговор Сатюков,— все одно что телега без колес. Могешь запрячь в ее, могешь сам усестись. Только иде сядешь, там и слезешь.

— Верно,— необыкновенно обрадовался этому вмешательству Чижиков.— Советская власть — государственная форма диктатуры пролетариата.

— Опять про свою дихтатуру.

— Никак не надиктатурился...

— Ты бы попонятней, попроще...

— Проще-то они давно разучились. Им бы только мужику мозги...

— Сладки песни поет, а послушаешь — слезы каплют...

— Отменили развёрстку, когда выгребать боле нечего стало...

Все злее становились выкрики.

Минуту назад Чижикову казалось, что он поколебал, повернул в нужную сторону мужиков, а те и с места не шелохнулись. Почувствовал прилив раздражения, с трудом одолел его. Потянулся к кисету. Перехватил насмешливый, дерзкий взгляд смуглолицего, будто на ежа сел, разом выпрямился, затвердел лицом. Смуглолицый властно прихлопнул ладонью по столу, повел по сторонам режущим взглядом, подмял, заглушил голоса. Резко повернулся к Чижикову, а заговорил неожиданно спокойно и негромко:

— Значит, Горячев и эти двое, с рыбьим да с грибным прозваньем, галились над крестьянином? Это ты теперича признаешь, а до восстания пошто не признавал? Ране-то вы иде были, справедливые комиссары? Сам-от иде-ко был? Может, не ведал про то, не знал?..

— Знал,— угрюмо вставил Чижиков.

— Знал и молчал?..

— А может, и потакал?..

— Ишь, добренькие стали, когда припекло...

— Всех виноватят, окромя себя,— грубо и зло заключил смуглолицый, но поднявшийся было шум снова погасил.— Может, неправда?

— Неправда. Себя в первую голову виноватим. Коммунисты тоже люди, и большинство из них вроде вас: нигде толком не учились. Были ошибки, и немало. Да и голод так придавил...— Он заговорил о разрухе, о бесконечных очередях за осьмушкой суррогатного хлеба в Питере.— Неуж не слышали, до чего дело дошло? Ну вот хотя бы ты,— ткнул пальцем в смуглолицего,— сядь-ка на час в кресло Ленина. Сел? Теперь решай. Надо красноармейцев кормить, чтоб буржуев снова на мужичью шею не пустить, чтоб границы от всякой контры стеречь? Надо или нет?

— Известно,— неохотно отозвался тот.

— Ну а рабочих надо кормить? Чтоб железо добывали, машины, плуги, да бороны, да гвозди делали. Опять же керосин, ситец, мыло — все из ихних рук получаем. Будешь их кормить или нет?

— Обязательно. Они трудяги, как и мы,— охотнее и бодрее отозвался смуглолицый.

— А детишкам, ради которых революцию делали, хорошую жизнь зачали строить, детишкам нужен хлеб?

— Ясно! — откликнулось сразу несколько голосов.

— А где этот хлеб взять? Ты заместо Ленина сел, ты и ответь, где взять сотни миллионов пудов хлеба, чтоб спасти от голодной гибели Советскую власть и трудовой народ. У богатея есть заначка, он с голодухи ноги не протянет. А народ... Денег в казне что зимой тепла в срубе. Призанять не у кого: буржуи из-за рубежа, кроме дули под нос, ничего нам не пожалуют. Давай думай. Да не засиживайся. Голодные детишки ревут. Голодные рабочие с заводов разбегаются. Голодные красноармейцы в атаку не идут. Думай и выкладывай.

Мужики уставились на смуглолицего с таким вниманием и нетерпением, словно от его ответа и впрямь зависела судьба России. Вожак сосал самокрутку и молчал — угрюмо, зло, трудно. Тут кто-то, невидимый, прокричал от порога:

— Значит, ты свой хлеб приел — за наш принялся? Свои портки сносил — с меня стягиваешь? Ло-о-овко придумали — на чужом горбу...

— Не зубоскаль,— резко оборвал Чижиков невидимого крикуна.— Твой же брат, крестьянин Поволжья, пух и мер с голодухи. Твой брат, рабочий Питера, Самары, Нижнего, Москвы, жил на осьмушке. Если тебе наплевать на них, на Россию и свой карман для тебя дороже всего, тогда мы не товарищи и Советская власть — не твоя.

— Да я на вашу эту власть...

— Власть совецка, молодецка...— затянул кто-то хмельным речитативом.

— Закрой зевало...

— ...комиссару пуд, а мужику фунт...

— Ты сам кого хошь выпотрошишь...

Скоро Чижиков перестал улавливать смысл долетавших до него возгласов. Кто что кричал, кому что доказывал, с кем спорил или соглашался,— невозможно было понять в этом хаосе. По тому, как раскололись, расплылись голоса, как ожесточенно то там, то здесь вспыхивали и тут же гасли короткие перепалки, Чижиков угадал: настала критическая минута. Подался к смуглолицему, положил руку на его плечо.

— Чего молчишь?

— Башка от гордости закружилась. Шутка в деле, Ленина с меня изделал.

— Против Советской власти мужиков вести голова не закружилась, а правду им сказать духу не хватает?

— А ежели моя правда вовсе не та, какой тебе хочется?

— Значит, у нас разные правды...

Мужики стихли, ловили каждое слово.

— Может, и разные, а может,— нет,— раздумчиво заговорил смуглолицый.— Но, видать, иного выходу и впрямь не было... Тут Ленина не за что судить. Потому он, как чуть полегчало с хлебом, разверстку сам же и отменил.

— Может, кто с таким мнением не согласный, выйди, выскажись,— предложил Чижиков.

— Я вопросик имею,— тот же голос из угла.— Вот ты — председатель чека. Деньги тебе за то платят, обмундировку дают, обратно паек. А какой ты, к лешему, председатель, ежели Горячева и всех энтих прочих проглядел?

Вспыхнул было хохоток, но тут же погас. Чижиков не улыбнулся. Медленно встал, распрямил плечи.

— Хреновый председатель — это точно. Всю жизнь кузнечил, а тут чека. Не соглашался... А Дзержинский говорит: «Где же мы, товарищ Чижиков, найдем образованных и преданных рабочему классу и революции чекистов?» И верно. Где? Те, кто в офицерских академиях сидел, конечно, шибко образованы, языки разные нерусские знают, обхождениям тонким обучены, зато на плечах у них погоны золотом шиты, усадьбы, да поместья, да фабрики у каждого. Я не закрываюсь тем только, что университетов не кончал, мне никакого снисхождения не надо. Взялся за гуж — не говори: не дюж...

Постоял, подождал, не скажет ли кто еще чего-нибудь, не дождался, сел. Смуглолицый подал свой кисет. Чижиков свернул самокрутку и опять заговорил:

— Теперь о главном, зачем приехал. С мятежом пора кончать. На носу — сев. Надо к нему готовиться, чтоб в будущую зиму не голодать. В губернию пришли регулярные войска. У вас было время подумать, разобраться, кто — свой, кто — чужой. Терпеть дальше такой хаос нельзя. Завтра начнется наступление на вашу волость. На Каменку станет наступать обстрелянная боевая кавалерийская часть. Отчаянные рубаки. У них и пулеметы, и пушки. Только что белополяков колотили... И вы и они — крестьяне, и вы и они — за Советскую власть. Так, за что вы станете воевать? За то, чтобы кулаки жирели, торговцы и прочие захребетники воротили лавки,

мельницы, дома, а их благородия снова прогуливались в белых перчатках, да пороли мужиков, да кутили по заграницам на мужицкие деньги? Что такое белогвардейцы — после колчаковщины нечего вам рассказывать. Чего они хотят — вы тоже изведали на своей шкуре.— Подождал, не откликнется ли кто, не скажет ли желанное слово, не дождался. Погрустнел, посуровел и взглядом и голосом.— Подумайте, мужики. Пока еще не поздно, пока не запятнали себя невинной кровью, не стали по ту сторону фронта, пока еще мы не враги друг другу. Гляньте под ноги. С краю пропасти стоите. Остановитесь. Ради вас, ради ваших детей и жен прошу. Знаю, что вы своими мозолями себя кормите, оттого и приехал к вам и от имени губернского исполкома Советов рабочих и крестьянских депутатов, от имени губернского комитета большевиков, от имени Ленина прошу вас — одумайтесь! Вы сыновья России, простит ли вам она, если в такой час окажетесь среди ее врагов?..

Тяжелая, гнетущая тишина застыла в комнате. Беда подступила вплотную, крестьяне чувствовали ее дыхание и затаились, не зная, как поступить. Отчаянный губчекист: один, без охраны приперся. Видно, и впрямь кузнец, жалеет мужичью шкуру, спасает мужичьи головы. Смуглолицый уже совсем по-иному, с приязнью глянул на Чижикова. Тихо спросил:

— Чего предлагаешь?

— Оружие немедленно собрать и сдать. Списки повстанцев сжечь. Всем по домам — готовить плуги и бороны к весне. Офицеров, какие есть, арестовать и выдать чека. Кулаков, которые мятеж зачинали, тоже арестовать... Сами себя в пекло кинули, сами из него и вылезайте. Сегодня это еще возможно, завтра будет поздно.

Подавленно молчали мужики, опустив головы.

На рассвете из Каменки выехали четыре подводы, доверху нагруженные пиками, ружьями, ящиками с патронами. На одной подводе сидело трое связанных по рукам. Позади на небольшом расстоянии ехали Чижиков и Сатюков. Лицо у Чижикова серое, в провалах небритых щек — синева, ввалившиеся глаза прищурены. Глубоко и жадно вдыхал он вкусный холодный воздух раннего мартовского утра. Вот он вздрогнул, вскинул голову и замер на миг, пораженный еле уловимым тонким и острым запахом вставшей у порога весны.

3

— Как тебя понять? Ка-ак понять?! — кричал Аггеевский, бегая по кабинету и взглядывая поочередно то на Чижикова, то на Новодворова и Водикова, сидевших с краю огромного стола под красной скатертью.— Ты что, совсем тронулся? Или, может быть...— с разбегу остановился перед Чижиковым, впился в него горячечным взглядом из-под бинтов (осколок гранаты пробил ухо и содрал кожу с виска, когда выбивали мятежников из Шарпинска).— Нет, это черт знает что. Они растерзали Пикина, убили зверски секретаря Северского горукома Шварцмана, повесили Гирина... Они замучили тысячи наших лучших товарищей по партии, а ты, ты... Я полагал прежде, что ты заблуждаешься, чего-то недопонимаешь от неопытности, от недостаточной грамотности, но теперь... теперь... я считаю, что ты просто-напросто...

— Погоди, Савелий,— громко и требовательно прогудел Новодворов. Встал, подошел к Аггеевскому, похлопал его по широкому ремню.— Погоди. Сядь. Остынь немножко. Послушай других. А то ты сейчас сгоряча такое наворочаешь — потом семерым не расхлебать. Что, собственно, предосудительного сделал Чижиков? Рискуя жизнью, пробрался в лагерь мятежников и склонил их не только к добровольной сдаче, но и к выдаче офицеров и зачинщиков. Этой формы борьбы с мятежом нам не избежать. Надо, чтобы честный, трудящийся крестьянин знал: в случае раскаяния его ждут помилование и мирный труд. Расстреливать надо бандитов, главарей мятежа, палачей и прочую антисоветскую мерзость, а крестьянина надо вывести из-под огня, спасти от удара, сберечь его, иначе кто же станет кормить, поить и одевать Сибирь? Чижикова надо поблагодарить за столь рискованный, но блестящий эксперимент. Нужно, чтоб об этом немедленно узнали во всех мятежных волостях.

— Ну нет! — Аггеевский с силой выкинул вперед правую руку, растопырил пятерню.— Нет! На это вы меня не собьете. Дудки! Теперь, когда в дело вошли регулярные части Красной Армии, когда под ногами у бандитов загорелась земля, когда мы сможем, наконец, отплатить сполна за пролитую кровь безвинных товарищей, за мученическую смерть боевых друзей, теперь ты предлагаешь начать какие-то позорные переговоры с белобандитским отродьем, уговаривать, упрашивать, прощать?—

Подскочил к Водикову, требовательно глянул на него.— Ты чего молчишь, товарищ боевик?

Водиков поднял на Аггеевского задумчивые глаза и непривычно тихо и неуверенно ответил:

— Думаю, Савелий Павлович.

— Ах! Они думают. Стратеги вырабатывают новую линию классовой борьбы, а контрреволюционеры в это время...

— Успокойся.— Новодворов привычно кашлянул, будто прогудел, отошел к окну, повернулся к нему спиной.— Хватит горячки. Мы и так предостаточно наломали дров. Целиком отношу к себе слова Ленина: «Товарищи, которые больше всего работали в период революции и вошли целиком в эту работу, не умели подойти к среднему крестьянину так, как нужно, не умели сделать это без ошибок, и каждую из таких ошибок подхватывали враги...» Вдумайся в происходящее, черт побери. Неглупая ведь голова. Перечитай еще раз материалы десятого партсъезда. Мы с тобой крепко подзаблудились в период разверстки. Сколько ошибочных приказов и распоряжений подмахнул вгорячах Пикин по наущению и настоянию Горячева! Если мы настоящие большевики, а не пустозвоны, не фразеры, надо честно признать и немедленно начать исправлять собственные ошибки. Мятеж должен быть подавлен с наименьшими потерями, с наименьшей кровью. Нет, мы не будем гладить по головке и миловаться с кулацкой сволотой и белогвардейщиной, которые распинали коммунистов. Их надо уничтожать, с корнем и беспощадно! Но крестьянина, обманом либо по недомыслию втянутого в мятеж, нужно вывести из-под удара карающего меча пролетарской диктатуры.

— Нет! — рубанул рукой Аггеевский.— Мятеж должен стать уроком для всех — и явных врагов, и примкнувших к ним, заблудившихся, как ты говоришь. Пусть они навсегда запомнят и детям и внукам закажут — с Советской властью не шутят! Мы потеряли половину партийной организации губернии. Как потеряли? Их ведь даже не расстреливали. Их за-му-чили.— Задохнулся. Рванул воротник гимнастерки. Залпом выпил два стакана воды. Закурил.— И чтобы мне... чтобы при мне никаких демагогических разглагольствований... Чижикова следует наказать. Кроме всего прочего, он не имел права так глупо рисковать. Ты долго будешь отмалчиваться, Водиков?

— Не орите. И так нервы на пределе.— Водиков дернул себя за кончик пышного уса. Встал. Уперся взглядом в красную ворсистую гладь скатерти, заговорил медленно, трудно.— Я написал заявление, прошу освободить меня от обязанностей секретаря губернского комитета партии за... за... политическую близорукость и притупление революционной бдительности. Именно за это и только с подобной формулировкой. Мне нелегко выговорить такое, но... Не знаю, почему молчит Чижиков, но Горячева в губпродком рекомендовал я. У него были письма от бывших сотоварищей по подполью, и я взял на себя ответственность и рекомендовал его Пикину. Не знаю, говорил ли об этом на допросе Горячев...

— Не говорил,— произнес Чижиков.

— И не скажет, наверное. Такие не говорят. Тем более что он может считать меня своим тайным сообщником. Не знаю, оставите ли вы меня в партии, но в руководстве губкома мне не место. Я был яростным сторонником политики силы при проведении продразверстки. Десятый съезд партии продрал мне глаза. Я ошибался. Но это не какая-то допустимая простительная ошибка, за такую ошибку надо расплачиваться уж если не головой, то хотя бы доверием товарищей...

— Ишь ты,— не утерпел, перебил Аггеевский,— еще одна кисейная институточка!.. Я тоже поддерживал Пикина во всем, я тоже голосовал за введение Горячева в коллегию губпродкома. Ну и что? Может, мне теперь тоже смиренно склонить свою буйную и положить на плаху? Сейчас надо подымать народ на борьбу с контрой, идти впереди коммунистических соединений под пули и тем, ты слышишь, тем только и доказать свое верное понимание современных задач момента. Потом станем разбираться, кто прав, кто виноват. Если останемся живы. А коли погибнем, пусть в том историки разбираются. Никаких заявлений, никаких отставок. До победы!

— Так нельзя, Савелий...

Новодворов примостился на уголке стола и, пока Аггеевский и Водиков спорили, что-то писал на листе. Чижиков тоже обессиленно подсел к столу. Вот время. Каждую минуту можно напороться на мину, не угадаешь, откуда поднесет... Ничего подобного от Водикова он не ожидал. Что это — хитрый маневр? Ход конем? Или чистосердечное покаяние, прозрение? Горячев о делах молчит. Брызжет ядовитой желчью, скалится, лается,

но о делах — ни слова. Матерый волчина. Может так, ничего не сказав, и отправиться на тот свет... Зато как этот мерзавец живописал казнь Пикина и все сокрушался, что на месте губпродкомиссара не оказалось Чижикова. И Катерину не забыл. «Все прощаю себе, кроме одного — меня, боевого офицера, обратала какая-то сопливая бабенка, мужичка, которую я мог, как гниду, раздавить одним пальцем. Тут, я вам должен отдать должное — ваша взяла».— «Кто вас рекомендовал в губпродком?» — в сотый раз подсунул следователь Арефьев так занимавший их вопрос. Горячев оскалился: «Вот повесим вас на базарной площади, встретитесь с душой Пикина, у него и спросите, а до той поры...» Похоже, что этот гад не расколется, а тянуть со следствием, брать на измор — некогда и нельзя. Надо скорее публично судить его, распечатать процесс и расстрелять мерзавца.

Припомнив сейчас последний допрос Горячева, председатель губчека с еще большим недоверием отнесся к словам Водикова. «Ловчит, похоже, предвосхищает события». У Чижикова не было веры ни бывшим, ни настоящим эсерам, меньшевикам и представителям прочих антибольшевистских партий. Правда, Водиков не скрывал своего эсеровского прошлого, отменно вел себя в подполье при Колчаке. Был под расстрелом. Чудом остался жив: выполз из ямы, подобрала незнакомая крестьянка, выходила. Все это перепроверено и подтверждено. Очень грамотен. От Маркса до Каутского всех социалистов проштудировал. И оратор — дай бог всякому. А вот душа... туда он никого не пускает. Почему прежде ни разу не говорил, что рекомендовал Горячева? Но Пикин-то мертв. Чего ему пугаться горячевских признаний? Мало ли что набрешет зажатый в щемила белогвардеец... Тут Чижиков услышал свою фамилию и отогнал мысли о Водикове.

— Полагаю все-таки,— уже спокойно и рассудительно говорил Аггеевский, поправляя рукой повязку,— председателя губчека надо сегодня же обсудить на закрытом заседании президиума губкома, чтобы все сделали вывод...

— Верно,— отозвался Новодворов, отрывая голову от писанины.— И вот самый первый вывод.— Приподнял исписанный лист и глухим, но очень выразительным голосом стал читать: — «Товарищи крестьяне! Все, кого загнала в мятежные банды мобилизация, кто оказался там по недомыслию, к вам обращаемся мы от имени

Советской власти. Бросайте оружие! Уходите из отрядов мятежников! Всем, кто добровольно сдастся, мы гарантируем не только жизнь, но и полную свободу. Возвращайтесь в свои села, готовьтесь к весеннему севу, поднимайте свое хозяйство, помогайте восстановлению органов Советской власти на местах. Эта листовка будет для вас пропуском, по которому вы сможете в любом месте сдаться военным или гражданским властям...»

Аггеевский сел. На худом, напряженном лице появилось выражение усталости.

— Что еще за петиция? — спросил он.

— Воззвание Северского губкома партии, губисполкома и губчека ко всем крестьянам, сражающимся в лагере мятежников.

— Своевременно и разумно,— высказался Водиков.

— Давно бы надо,— подхватил Чижиков.

Аггеевский долго молчал, беззвучно шевелил губами. Наконец через силу, будто что-то горькое и липкое, вытолкнул изо рта:

— Согласен. Печатай.

Тут ворвался помощник Аггеевского, рысью пересек кабинет и подал первому секретарю телеграфный бланк. Савелий Павлович пробежал глазами неровную шеренгу букв и оглушенно потряс головой. Снова проскочил взглядом по прыгающим, двоящимся буквам и прочел вслух:

— «Яровск пал. Над уисполкомом большевистское знамя. Большинство штабистов-мятежников захвачены вместе документами. Бандиты бегут север. Продолжаем преследование. Ждем приказа. Командир красного полка Онуфрий Карасулин. Комиссар полка Ярославна Нахратова».— Медленно опустил бумажку на скатерть.— Карасулин и Нахратова... Вы чего-нибудь понимаете?

Глава десятая

1

Пламя играючи слизнуло зыряновское подворье: высокий добротный пятистенник под железом, просторный крытый двор с завозней, конюшней и коровником, три амбара. Осталась от зыряновского гнезда одна банька на задах, подбитой зяблой вороной черневшая на снегу.

Все произошло ошеломляюще быстро. Мгновения яростного огненного хаоса — и нет родного, насиженного гнездовища, а на его месте — отвратительная груда чадящих головешек, обгорелых смрадных бревен, битого кирпича, стекла и мусора, изжеванный серый снег да жалкая куча мятого, захватанного, заляпанного сажей барахла, на котором скорчилась осипшая, опухшая от слез жена Маркела, прижимая к груди окованный медью сундучок, в котором муж хранил деньги и золотишко. Эхо умчало последнее «бум» набатного колокола, стихли людские голоса и конское ржание, расползлись по домам переполошенные и уже успокоившиеся соседи. Мелкий снежок припудривал вонючую дымящуюся язву пожарища. Только зыряновская собака нет-нет да и забрешет шало и жутко с тревожным подвывом и жена Маркела, вздрогнув, перекрестится и сипло запричитает, заголосит, пытая всевышнего, за какие грехи ниспослал беду.

Отгорел пожар, а Пашке по-прежнему жарко. Печет его нутро незримое пламя, разгораясь все сильней. В расстегнутом, драном, заляпанном полушубке Пашка стоял по колено в сером как пепел снегу и немигающе напряженно глядел на черно-белую груду, вокруг которой потерянно и бестолково кружил Маркел. Тут и дураку ясно: подожгли. Пожар начался с конюшни. Оттуда и несло дымом, когда они с отцом вышли во двор. И собака не зря металась по двору. А главное — воротца на зады оказались припёрты колом снаружи.

Злоба рвала на части Пашкино сердце. Кто посмел поднять руку на их добро? И ведь не ночью, крадучись, пугаясь собственного дыхания, нет, почитай, что среди дня, едва-едва смеркаться начало да заметелило. И изба полна была, в ней самые отпетые кореши-головорезы из карательного отряда.

Пашка черпанул горсть снегу, припал к прогорклой студеной мякоти горячими затвердевшими губами... Кто? Какая сволочуга подпустила красного петуха? Поймай он сейчас поджигателя — живым бы изжарил на костре. Но кого поджаривать? И в который раз Пашка мысленно обегал избы односельчан, пытливо засматривал в каждую, принюхивался, прислушивался, приглядывался и, не найдя малейшей зацепки, начинал все сызнова, по новому кругу. Ярость захлестнула глотку, надо было немедленно дать ей выход, выпустить, как перегретый пар, кого-то сграбастать железными лапищами, рвать, душить,

чтоб корчился, бился, выл, харкал кровью. Но кого? А, какая разница!.. Главное — сдернуть охотку, выместить, выплеснуть. После разберемся: прав или виноват... Ну, держись, Маремьяна! За выскользнувшую из рук Ярославну, за недоступного Онуфрия, за непойманного поджигателя — за всех разом придется тебе рассчитываться. Испьешь до дна горького, смертыньку не раз покличешь.

Пашка длинно и замысловато выругался, сорвался с места, подлетел к отцу.

— Кончай панихиду, тятя! Занимай дом, где Кориков жил. Барахла и скотины натаскаю за неделю. Кто, по-твоему?

Маркел в ответ только матюгнулся — свирепо и нечленораздельно, будто хрюкнул, и заковылял к кориковскому дому, а Пашка с Димкой и еще двумя дружками кинулись ко двору Глазычевых.

Калитка оказалась запертой изнутри. Пашка с ходу перемахнул высокий забор, дружки — следом. Замок на дверях лишь на миг остановил Пашку — сшиб рукояткой нагана, пинком распахнул дверь, ворвался в избу. Димка нашел лампу, засветил.

— Уползла, сука! — Пашка пробежался по комнатам, покрутился на месте, повернулся к Димке.— Слетай к ее матери, пощекочи ребрышки, дознайся, куда унырнула, а ежели она там — волоки сюда. Орать станет — кляп в глотку. Целенькую доставь! — Подтолкнул в бок стоящего рядом брыластого рябого парня: — Ступай к воротам, глянь, нет ли следу санного.

Оба посланника воротились ни с чем: Маремьяниной матери дома не оказалось, следов у ворот не обнаружилось.

— На-а-айду! Все Челноково выпотрошу, а найду!

Они обскакали всех дальних и близких родичей Маремьяны, но ни ее, ни следов не нашли. Пашка вызверился: раздул и без того широкие ноздри, а в горящих глазах такая злоба полыхает, что даже Димка — единственный закадычный друг и тот опасливо поглядывал на Пашку, пугливо сторожил его каждое слово, каждый жест. К полуночи вся ватага снова ворвалась в пустую избу Маремьяны. Пашка долго стоял посреди горенки, опустив плечи, свесив длинные руки и чуть покачиваясь из стороны в сторону, шарил вокруг глазами. Дружки теснились у дверей, настороженно поглядывая на своего предводителя.

— Топор! — скомандовал Пашка, не поворачивая головы. И тут же протянулось к нему желтоватое топорище.

Пашка обвил длинными пальцами шейку топорища, размахнулся и с натужным кхаком всадил лезвие по самый обушок в столешницу. Та, хрустнув, развалилась на куски. Пашка развернулся и с маху припечатал обух к настенному зеркалу. Белыми искрами брызнули осколки.

— Круши! Все! К такой матери! Под корень!

Они рубили, рвали, топтали все, что попадало на глаза и под руки. Пашка орудовал топором как на сече, кроша в щепу немудрящую крестьянскую мебель. Изрубил скамьи, разнес печь, разворотил полати, высадил рамы и двери. Хотел было поджечь, да Димка не дал: рядом был его дом, а на таком ветру да еще в глухую ночь огонь мог запросто сожрать полсела. Еле заманил Пашку на свое подворье и там поил его самогоном прямо из кринки. Пьяный Пашка не раз порывался к Карасулиным, сковырнуть Онуфриево гнездышко. Но Димка не пустил: пока Онуфрий жив, с ним лучше не связываться, у него за спиной целый полк. Тут уж не до шуток.

— Ладно,— уступил притомившийся Пашка.— Помешкаем. Проводим на тот свет Карасулина, а потом вырву зоб Ромке и всем этим... Комсомолочку мою никому не дам. Сам исть стану. До косточек обгложу. Опосля грянем сюда. Во гульнем!..

Димка скалился, ввертывал похабные словечки, подзуживал друга, не забывая подливать ему самогонки. Чем сильней пьянел Пашка, тем больше зверел, тем невероятнее и страшнее придумывал расправу над семьями ненавистных ему карасулинских дружков.

— Во, зараза! — восхищался Димка.— Тебя бы в ад, главным чертом. Ты бы такое напридумывал...

— А что...— Пашкино сознание угасало, язык еле ворочался, с трудом выталкивая исковерканные, непонятные слова,— могнем... задрумалю сабарзу...

Переполошенные пожаром и Пашкиным разбойным загулом, челноковцы почти не спали в ту ночь. Лихой и страшный человек Пашка Зырянов. Бешеного пса лютей, зверя беспощадней. Наскочит спьяну, и пропала душа ни за понюх табаку. Были бы мужики дома, наверняка скрутили, а то и проучили варнака. Но мужики опять воюют. С кем и за что? За Маркелову власть да за Пашкино само-

управство?.. Вот и прятались теперь челноковцы от этой власти за запертыми воротами, за замкнутыми дверями, спускали с цепи собак, клали на виду топор либо лом.

Затаилось село, напружинилось, напряглось, изготовясь к отпору. Даже бабы не помышляли сдаваться на милость победителя, и Марфа, карасулинская теща, снова положила под подушку тот самый сапожный нож, которым мыслила оборониться однажды от палача Крысикова.

Неузнаваемо изменилось Челноково за какой-то месяц. Даже ребятишки разом и вдруг повзрослели, стали сдержанны и тихи в играх, табунились подальше от взрослых, а разговаривали о том же, о чем и старики,— о мятеже, и ежились пугливо, и жались друг к дружке, когда заходила речь о Пашкиных бесчинствах и зверствах. Прорастали в маленьких сердцах семена ненависти к зыряновым и щукиным, ко всем тем, кого называли «кулак». Крестьянские дети причащались к великой и жестокой классовой борьбе.

Не те стали челноковцы, совсем не те. Сколько раз, бывало, друг дружку от беды всем миром заслоняли. А теперь? На пожар, как и прежде, стар и мал сбежались, но тушили Маркелов дом кое-как, иные махали руками да орали для виду только, а все силы клали на то, чтобы не дать огню разбежаться, на соседние дома перескочить. Топтались вокруг пожарища, галдели, швыряли лопатами снег, но за зыряновским добром и скотиной никто не кинулся в огонь, с пожарной машиной не поспешили, а когда ту наконец прикатили, то добровольные пожарники все больше поливали соседние дома, чтоб огонь к ним не прилепился. И как ни орал Маркел, какие блага вгорячах ни сулил спасителям,— не нашлось охотников рисковать шкурой ради зыряновского добра, и не окажись тут Пашки с дружками, ни одной тряпки не спасти бы Маркелу из своего барахла. Не раз приходила ему на память в эти роковые минуты та ночь, когда вместе с продотрядом сгорел дом Катерины Пряхиной, подожженный им и Пашкой. Тогда он ликовал, глядя, как пламя охватывало со всех сторон большой и нарядный дом, и торопил, и подгонял огонь, чтоб поскорей да пожарче разгорался: тогда никому не подступиться к пылающему дому и никто не увидит, что двери приперты снаружи и пожар начался с улицы.

Что-то крутехонько и скоро не в зыряновскую сторону

переломилось в настроении челноковцев. Это Маркел остро почувствовал на пожаре. И Пашка уловил. И хоть хорохорился, напившись у Димки, и то одного, то другого односельчанина порывался телешить, однако грозился больше ради пьяного куражу, потому Димке всякий раз и без особого труда удавалось удержать Пашку на месте.

Так за столом Пашка и уснул. Прижался спиной к стене, уронил на грудь не по росту маленькую голову, натужно засопел. Димка уложил приятеля на лавку. В хмельной Пашкиной башке такие сны ворочались, что он то постанывал, задыхался и хрипел, то угрожающе клацал зубами, мял и тискал в железных пальцах подол собственной рубахи. Все перемешалось, переплелось, перепуталось в Пашкиных снах. И горящее родное подворье, и разгромленная Маремьянина изба, и растерзанные комсомольцы. Мельтешили и мельтешили лица изнасилованных, замученных, расстрелянных. Молодые и старые, мужчины и женщины и совсем юные подростки... А в центре этого подсвеченного пламенем, обезумевшего вихря-хоровода все время маячила голова Онуфрия Карасулина, и Пашка то целился, то замахивался и все никак не мог дотянуться и, освирепев, снова и снова кидался на Онуфрия...

Утром, едва напившись рассолу и обретя способность соображать, Пашка сказал другу:

— Айда к Карасулину. Хватит тянуть... Пора с имя кончать.

— Тебе ж велено ждать приказа.

— Больно много приказчиков развелось. Тот приказует, другой приказует... Шлепнуть бы их всех в самом начале — и вся недолга. Теперича расхлебывай, рискуй башкой.

— В бою пристрелить — никакого риску. Выждать только...

— Пущай кориковы ждут. Видал, как вчера изба и все хозяйство... Они не ждут! И у тя полыхнет, помяни мое слово. Упустили мы гада. Надо было в первый же день, заодно с Емельяновым. Боле тянуть некуда. Либо мы их за глотку, либо они нас. Тут коли ждать — от жданья ноги протянешь. Пока он землю топчет — у меня ровно удавка на глотке. Пора...

И будто в воду Пашка глядел: в избу вошел нарочный от Добровольского с приказом молодому Зырянову немедленно скакать в карасулинский полк.

2

Оповещенные Ярославной и Ромкой, все двадцать шесть коммунистов карасулинского полка собрались на тайное партийное собрание. Оглядев товарищей, Онуфрий Лукич сказал:

— Кончилась игра в молчанку. Приспело время для последнего разговору с Зыряновыми и прочими захребетниками. В последний раз собрались мы тайком. Завтра белогвардейцев и прочую контру — в расход. Над полком — большевистское знамя — и с ходу на Яровск. Захватить врасплох. Раскаявшихся, осознавших трудящихся мужиков — к себе в полк...

С каждой фразой креп голос Карасулина и разглаживались угрюмые и скорбные морщины на лицах коммунистов. Наконец-то близится то, во что и верилось и не верилось. Сколько душевной муки претерпели они по пути к этому часу. Презирали и казнили себя, а были и такие, что порывались безрассудством смыть позор. Онуфрий непостижимым образом угадывал критический момент — утешал, уговаривал, бранил и все сулил близкую перемену. А когда взбунтовавшийся товарищ смирился, Онуфрий переходил в наступление и требовал, чтоб коммунист знал каждого бойца своего взвода, чтоб смелее открывал мужикам глаза на классовую суть происходящего.

Тверд как кремень был Онуфрий. Верой своей товарищей заражал, на ней и держались они все те черные дни, верой только и жили. И никто не знал, какой жестокой неоплатной ценой давалась Онуфрию Лукичу эта неколебимая вера. О чем только не передумал он, каким аршином не перемерил содеянное. Не раз все свершившееся казалось кошмарным сном, и, словно пробудившись, Онуфрий Лукич с ужасом оглядывался, снова и снова казнил себя за тот невозвратный шаг, который сделал в роковой февральский день, первый день мятежа. Тысячу раз задавал себе один и тот же вопрос: а как бы следовало поступить? Бежать? Пробраться в Северск, влиться в коммунистический отряд и стрелять в одураченных, обманутых крестьян? Кинуться с винтовкой на кориковский сброд, сложить голову по-пахотински иль пасть от Пашкиной пули в спину и следом утащить в могилу всех оставшихся в живых товарищей по ячейке? Может, и не так бы надо. А как? Советоваться было некогда и не с кем. Ждать указаний? Откуда? Да и времени на раз-

думье — ни минуты. Надо было либо — либо. Но ведь и Евтифей долго не раздумывал, когда плюнул в лицо старому другу и вместе с четырьмя другими, не дрогнув, пошел навстречу гибели... Тысячу раз казнил и миловал себя Карасулин. То приговаривал к смерти, то оправдывал, то ненавидел и презирал, но с теми, кто поверил ему и пошел за ним, был всегда одинаков — спокоен и тверд.

Не сразу, не вдруг поверили ему товарищи по партии. И он не каждому поверял свои планы. Немало сил ушло на жестокую, строгую взаимопроверку. Шестерых партийцев было решено не привлекать ни к какой деятельности, ибо слишком нестойкими они оказались, а одного, переметнувшегося душой к врагам, по приговору партийной тройки застрелили.

Поначалу нелепыми, кощунственными показались многим нелегальные партийные собрания, которые втайне от чужих ушей и глаз стал проводить в своем полку Карасулин. Упреки и даже оскорбления Онуфрий Лукич выслушивал молча, соглашался: да, недостойна такая двойная жизнь, а потом, подсев к упрекавшему, говорил:

— Ты прав. Срамно большевику ужакой болотной извиваться, лишь бы шкуру спасти. Только мы разве шкуру спасаем? Куда милей было бы в лесу схорониться, чем на подожженной пороховой бочке сидеть. Чего высидим? Не знаю. Коли и выдюжим до нашего победного — невесть как товарищи почтут нас. Может, и в ревтрибунал прямым ходом. Все может статься. Но ты гляди: мужики-то к нам жмутся. Полк, почитай, втрое больше любого. Чего-то манит их, на что-то надеются, верят. Так неужто руки опустим, не вызволим их из беды? Потерпи малость, поднапрягись, не за горами наш час, придет...

И вот он пришел.

— Давайте коротко, без долгих речей,— говорил Карасулин.— Делов невпроворот. Перво-наперво надо от беляков и самого матерого кулачья избавиться. Надо их разом выдернуть. На это жаль людей губить. Сможем ли тихо и бескровно изделать такое?

— Чтоб не пикнули,— вставил Ромка.

Не хотелось Онуфрию Лукичу брать Ромку Кузнечика в полк, но и оставлять в Челноково было нельзя: прикончат. Первые дни Ромка помогал Ярославне делать перевязки, держался скованно. Но вскоре освоился в новой обстановке и все время терся среди мужиков, вел нуж-

ные разговоры. Четыре дня назад Карасулин поставил его командиром связнóго взвода, целиком состоящего из верных людей. Посмеивались в полку над одноногим взводным и команду его «калечной» прозвали, но оно и к лучшему, что всерьез не принимают,— подозрений меньше. А каков Кузнечик в деле — Онуфрий знал.

— Главное — тихо,— кивнул Ромке Карасулин.— Кому куда — каждый знает. Громом пасть средь ясного неба. Добровольского беру на себя. Никакого самосуда. Всем полком судить станем. На свету митинг. Надежных мужиков всю ночь держать в полной боевой, ненадежных — разоружить, сгуртовать и до утра под стражу. Ночка будет шибко трудной. Потом доспим. Кто хочет говорить?

Все было обговорено заранее, и сейчас уточняли детали. Докладывали о готовности рот, взводов, групп, уславливались о помощи тем, кому она может потребоваться. Говорили сжато, немногословно.

Последней поднялась Ярославна. Карасулин ободряюще кивнул. С той ночной встречи-поединка, когда Ярославна едва не разрядила в себя пистолет, вложенный в ее руку Онуфрием, прошло не так уж много времени, но за эти вздыбленные на смертной грани дни девушка так сроднилась духовно с Карасулиным, что он видел в ней наипервейшую свою помощницу, любил как дочь и не было такой жертвы, на которую не пошел бы ради нее. В самые трудные минуты, когда товарищи, отчаявшись, попрекали Карасулина и грозили ему, Ярославна неизменно приходила на выручку своему командиру. И, удивительное дело, горячий звонкий девчоночий голос отрезвлял, успокаивал самых ершистых, непримиримых, не признававших, казалось, никаких доводов.

— Пришла пора оправдаться перед партией! — Девушка, резко качнув головой, сбросила косу с плеча и мигом преобразилась, стала похожей на маленькую задиристую пичугу.— Если над полком поднимется большевистское знамя и мы захватим Яровск вместе с бандитским штабом, спасем и выведем из-под удара трудящегося мужика — вот тогда мы докажем, что рисковали своим партийным званием, совестью своей не ради собственной головы, а только ради крестьянина. Нас всего двадцать шесть. На тысячу крестьян совсем мало. Так пусть же веры каждого из нас хватит на сотню!..

Вроде бы ничего такого уж нового не говорила сейчас Ярославна, но люди будто впитывали каждое ее слово.

И Онуфрий Лукич, слушая девушку, утверждался в решении назначить именно ее комиссаром полка после того, как... Скорей бы уж. Скорей. Кинуть тысячепалый мужичий кулачище на самое темя кулацкой контры, вышибить из нее дух. Мужик прозрел. Лиха беда начало. Скорей бы уж!..

Расходились небольшими группами и тут же растворялись, пропадали в начавшейся вдруг метели. Когда последняя четверка покинула дом, Онуфрий Лукич сказал Ярославне:

— Ну, дочка, началось. Теперь только б не оступиться, не поскользнуться на крутом повороте. Не того страшусь, что не подомнем беляков и кулачье тут, в полку. Боюсь спугнуть яровских заправил, чтоб не прослышали, не пронюхали, чтоб пасть на них нежданно и все это золотопогонное превосходительство зацепить за жабры... Только б не ускользнули, не ушли от кары. Нам не раз еще придется судьбу на смертном огне испытывать. И тогда-то эта контра обязательно ударит в спину. А сколько заразы от нее! Время-то, вишь, какое — и голод, и холод, и всякие беды. Иной и пошатнется в вере. Тут эти недобитки разом его облепят — и в белый цвет. Потому и надо всю эту шайку разом накрыть, не дать разбежаться. Я сейчас к Добровольскому...

— Чего к нему ходить? Послать из Ромкиного взвода...

— Добровольский — хитрый зверь. У него всегда крутятся штабные офицерики. Поднимется переполох. Метнется кто-нибудь в Яровск.

— Как же вы хотите?

— Зазову на блины к себе на квартиру. Там без свидетелей и поговорим начистоту... Я ведь что хотел тебе сказать. Ежели загину вдруг...

— Онуфрий Лукич!

— Всяко бывает. Не перебивай. Такое начинается — не приметишь, как голову обронишь... Так вот, коли сгину — возьмешь полк на себя. Приказ о том заготовил и подписал. Мужики тебя знают и верят. Наши поддержат. А то, что баба, так были ж, говорят, в старые времена такие бабы — цельные государства от врагов обороняли. А уж в революцию, в гражданскую — чего не случалось. Это тебе мой последний наказ. Приведешь полк в Северск, свидишься с нашими, тогда пущай как хотят, так и решают,— казнят либо милуют. Тебя-то авось в трибунал не потянут...

— Онуфрий Лукич, ну зачем сейчас об этом?! В такой момент...

— В самый раз об том и сказать,— Карасулин встал, распрямился.— Тебе одной, боле никому...— Твердо и жестко глянул в глаза Ярославне.— Знаю: правильно изделал. А все равно — нет мне прощенья. За товарищей, за кровь красноармейскую... Пахотин в глазах стоит. Плевок его — пулей засел. Сколь ни три — не сотрешь... Думал: ну, неделя, ну, дней десяток — и подниму мужиков, разую глаза. Ан нет. Двадцать третий день в белой шкуре живу... Расколотим кулацкую падаль — сам в трибунал явлюсь.

— Да если все выйдет, как задумали, разве...

— Помешкай, дочка,— тяжеловесно и угрюмо вымолвил Карасулин, легонько сжав тонкопалую руку Ярославны.— Помешкай... И для тебя то будет узелок на всю жизнь. А уж для меня...

— Да вы же...

— Все. Недосуг боле,— круто оборвал Карасулин.— Потом. Живы будем — договорим. А сейчас ступай в Ромкин взвод. Там и будь. Из виду меня не упускай. Прощевай пока...

Обнял ее легонько, чуть притиснул к груди, отвернулся и шагнул в жидкую метель. Недоброе предчувствие пронзило Ярославну. Едва сдержалась, чтоб не побежать за ним, не закричать вслед. Смотрела на широкую прямую спину твердо вышагивающего Карасулина. «Надо послать человек пять, чтоб подле карасулинской квартиры кружились, понаблюдали, подоспели вовремя на помощь».

Метель так и не разгулялась по-настоящему. Лениво крутила белые жгуты, протяжно и негромко подвывала, тревожа и без того обеспокоенную душу Ярославны Нахратовой.

3

Они сидели друг перед другом, лицо в лицо, глаза в глаза. Лениво жевали сочные блины, запивая их молоком.

— Где же начинка к блинам? — насмешливо спросил Добровольский, прищурив настороженные, зоркие глаза.

— Ты солдат, хоть и ваше благородие, — негромко, но очень четко выговорил Онуфрий Лукич.— Стало быть, можно с тобой напрямки. Но сперва ответь, откуда

ты свалился к нам? Кой черт повенчал тебя с Кориковым?

— Уж не мемуары ли писать надумал? — Добровольский тщательно обтер губы полотенцем, стряхнул крошки с неправдоподобно огромной бородищи, закурил.— Я кадровый офицер. Моя профессия — воевать за веру, царя и Отечество. Царя спихнули и расстреляли, веру втоптали в грязь, Отечество отдали на поруганье жидам да комиссарам. Некого нам стало защищать, и оказались мы лишними. А нас тысячи таких. И мы ничего, кроме войны, не знали и не умели. Не длинна ли песня? Может, окоротить?

— До свету далеко.

Добровольский ухмыльнулся, пустил к потолку витую сизую струю.

— Ну-с, такова прелюдия. Для меня лично война кончилась только в двадцатом. Пришлось оседлать бухгалтерское кресло Яровского упродкома, сменить шашку на карандаш и отрастить эту бороду. Малоприятная метаморфоза. М-мда. Наверняка бы запил, да тут пахнуло вдруг знакомым запахом, потянуло порохом, и снова рука затосковала по эфесу. Разумеется, я не случайно оказался в Челноково в день мятежа. Какой же русский офицер мог упустить такую непредвиденную возможность свести счеты с большевиками...

— И ты веришь, что эта заваруха...

— Не верю. Я не гимназистик, не желторотый юнкер. Игра проиграна. Песня спета. Но, уходя из истории, надо на прощанье по-русски хлобыстнуть дверью. Ну и заодно прощальный аперкот господам комиссарам преподнести.

— Это что за кот? — вздыбил брови Карасулин.

— Есть такой прием в боксе. Сокрушительный удар снизу в челюсть.

— А кто станет бить-то?

— Нет ничего страшнее взбунтовавшегося мужика. От мужичьего кулака не раз трещала империя...

— Значит, мужичьим кулаком по мужицкой шее, чтоб согнулась пониже, провожая вас из истории. А на кровь, на слезы, на беды крестьянские — тебе наплевать?

— Ишь ты, крестьянский радетель! — хмурясь, выговорил Добровольский.— Тебя все на большевистскую колею заносит, с комиссарских позиций на свет глядишь.

— А ты никак не отвыкнешь от дворянской титьки. То ли славно было. Ни пахал, ни сеял, а жил в свое удовольствие. Лакома така-то жизнь. Понаглядеся я на

ваши благородия. Только мужик ноне не тот, что до революции. Неуж думал, позабыли мы и Колчака, и шомпола офицерские, и то, что вы сотни лет крестьянина за человека не почитали. Я думал, ты только солдат. По оплошке в чужой огород угодил, ненароком ввязался. Заслышал пальбу и схватился за винтовку. А ты, вишь, дверью стукнуть надумал. То, что от этого стуку тыщи мужичьих голов скатятся,— тебе все едино. Ах ты...

— Договаривай,— приказал Добровольский.— Не смущайся. От крепкого слова не покачнусь.

— Зачем? Сам себе цену знаешь. Только просчитался ты, ваше благородие...

Во взгляде Добровольского заплясали, разгораясь все ярче, злобные огоньки. Он еще не угадал, к чему ведет Карасулин, но то, что это не просто разговор, а поединок, полковник понял и принял вызов.

— Я немножко знаю сибирского мужичка. Это такой «простачок», чуть зазевайся — проглотит. Не мы мужиков сбаламутили, а они нас, и уж если кого теперь жалеть, то только не мужика. Царь ему не по вкусу вышел, смахнул его, всю Россию в дыбы поднял, Советскую власть установил. Нюхнул продразверстки, схватился за вилы. Вот уж воистину — дурная голова ногам покою не дает.

— Ловко ты развернул,— зло бросил Карасулин.— Тоже, поди, университет кончил...

— Академию генштаба.

— Слыхал про такую. Только народ-то помудрей всех академиев. И от того хлопка дверью первыми ваши головы покатятся. Ты ведь отменно знаешь — не мужик мировую войну зачинил, не мужик германцев, да япошек, да американцев на Русь кликал, не мужик Колчака с Юденичем зазвал. И эту кровавую кашу не он заварил. Ну, взбаламутили вы крестьянина, задурили его, а дальше?

— Ни ты, ни я не знаем, что дальше,— деланно-миролюбиво, с оттенком грустной раздумчивости сказал Добровольский и даже вздохнул при этом.— Сейчас вся Россия одним днем живет...

— Ну уж это совсем не те песенки. Никудышный мужичонка и тот на месяц-другой наперед заглядывает, а хороший-то хозяин на годы засматривает да прикидывает. Ныне у России стоящие хозяева. Эку глыбину с пути сковырнули...

— Хозяева! — насмешливо передразнил Добровольский.— Страна с голодухи пухнет. Кругом разоренье и

разруха. Воры, проститутки, спекулянты жируют. Крестьянина обобрали как липку...

— Кабы не вы, ваше благородие, да не карповы с зыряновыми, мы бы этих бед не знавали. Ну да ништо. И через это переступим. Свернем вам башку, ей-ей свернем. И вскорости.

— Да ты кто? Большевистский комиссар или командир мятежного полка? Не пойму. Поешь одно, делаешь — другое. Иль шкуру спасая, нырнул в этот омут?

— Шкура, конешно, не последнее дело. Она одна, хоть и латана-перелатана. Только я в это логово не за тем пошел, за чем ты. Ты хочешь мужика сгубить, а я — спасти. Ты норовишь мужицкими руками мужичью власть сокрушить, а я этой власти укреп даю...

Добровольский неожиданно захохотал — зло и ядовито. Запрокинул большую лобастую голову, широко разинул белозубый влажный рот и зашелся в недобром смехе.

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Уморил... А хочешь, я скажу, кто ты есть на самом деле? Перебежчик. Когда под ногами у красных земля задымилась, ты к нам переметнулся — шкуру спас. Теперь наше положение усложнилось, мятеж за пределы Северской губернии почти не выплеснулся, и ты запел аллилуйя. Уж не подбить ли меня хочешь на предательство? Сдаться удумал всем полком на милость победителя — так, что ли? Говори!..— И потянулся к кобуре.

Онуфрий перехватил руку Добровольского возле запястья и так сжал, что длинные пальцы полковника непроизвольно распрямились, побелели. И снова, как тогда, в день их первого знакомства, взгляды сшиблись в немом жестоком поединке и долго теснили, ломали, гнули друг друга. Онуфрий выпустил руку Добровольского, жестко приказал:

— Тихо сиди! Без дураков. Ты хоть и завзятый рубака, но мужицкого кулака не нюхал.— Сжал кулачище, легонько пристукнул им по столешнице.— Давай по-доброму договорим, а коли не получится, тогда — бог судья. Так вот, слушай. Никому и никогда я не сдавался. Туда-сюда не перебегал. Был и остался большевиком. Разговариваю с тобой сейчас потому, что хотел раскусить сердцевину твою. Думал: рубить да стрелять — вот вся твоя программа. Обознался, никак. Мне все ж таки шибко интересно знать, пошто тебя в Яровск занесло и как ты с Кориковым побратался?

— Изволь, скажу,— мягко и успокоенно ответил Добровольский, чем опять удивил Карасулина.— Все как на исповеди.— Посмотрел на часы, щелкнул звонко крышкой.— Время у нас есть, спешить некуда. Отсюда ты уже не выйдешь, тебя выведут наши люди. В полку объявим, что вызвали в главный штаб. Ты проиграл, Онуфрий Лукич. Просчитался. Думал, не наблюдали, не следили за тобой. Хоть ты и башковит, и смел, и иными добрыми качествами наделила тебя природа, а все равно ты — пешка в нашей игре. Нужен нам был — сделали тебя командиром полка. И каждый шаг твой стерегли. Видели как ты мужикам зубы заговаривал: на красных вел, а белыми пугал. Не мешали. Завтра всех твоих сотоварищей отправят вслед за тобой, в царство небесное, молодчики Пашки Зырянова. Полк расформируем. Проклянут тебя и твои красные, и твои мужики...

За окном послышался какой-то невнятный возглас — и тут же оборвался коротким сдавленным вскриком. Оба замерли, испытующе и настороженно глядя друг на друга.

«Значит, они тоже,— думал Онуфрий.— То-то он так охотно пошел ко мне. Как там наши? Ну как проморгают?..»

— ...и красные и мужики,— повторил Добровольский.— А уж наследниками твоими займутся Пашка с Маркелом. Так что проси у хозяйки самогону, и давай выпьем за помин души бывшего георгиевского кавалера, бывшего челноковского комиссара, бывшего командира мятежного полка Онуфрия Лукича Карасулина.

Онуфрий откинулся на спину стула.

— Это кто там в окно заглядывает — Пашка, что ли?

Повернулся Добровольский, и тут же шею его стальным обручем обвила левая рука Онуфрия, а правая выдернула наган из расстегнутой кобуры полковника.

— Так спокойней,— Онуфрий сел на место, сунул в карман отнятый наган.

Дверь распахнулась. Вошла Ярославна, за ней четверо с винтовками. И по их лицам, раскрасневшимся и возбужденным, Онуфрий угадал, что все идет как задумано. Вместо расспросов сказал:

— Садитесь-ка, перекусите с нами, пока блины не остыли.

— Какие тут блины, Онуфрий Лукич,— ответила за всех Ярославна.— Потом поедим...— Перевела взгляд с

Онуфрия на Добровольского и, кажется, поняла, что произошло между ними.

«Опередил, сиволапый...— холодея от бешенства, думал Добровольский.— Опять наверху. Навозом за версту несет, отродясь книжки не прочел, а облапошил. Поделом расплата. Разве не видели, не угадывали, не знали? Доигрались. Надо было... Дикая нелепость. А весь мятеж — не такая ли дичь? Распоясанный, полупьяный анархистский сброд — армия? Яровские шизофреники тешатся призраком «народной армии», которой не существует. Никакой Запад не помышляет вмешиваться в сибирскую Вандею. Авантюра! Отъявленная, глупая авантюра. Конец...»

4

Митинг карасулинцев был коротким и яростным, как ураганный шквал. Втоптав в снег дымящиеся самокрутки, заложив за ухо нераскуренные, мужики напряженно слушали речь своего командира. Онуфрий стоял на шатком, наспех сколоченном помосте, тискал в кулаке шапку и, чуть щурясь от бьющего в лицо поднимающегося малинового мартовского солнца, кричал:

— ...Сейчас недосуг да и не к чему ворошить старое. Навряд ли средь вас сыщется такой, кто б не чуял западню, в какую затолкнули нас кулаки да перекрашенные офицеры. Вот они,— указал на арестованных ночью кулаков и белогвардейцев, стоящих под охраной подле помоста,— кому нужно было это восстанье. Им Советская власть поперек горла костью. И они умыслили мужичьими руками народную державу порушить да опять поставить над нами разных буржуев, купцов да вашблагородиев в белых перчатках... Но мы свою промашку не покаянием, не молитвами поправлять станем. Кровью смоем позор, докажем в боях верность революции!

Мужики кричали «Ура!», топали, махали рукавицами и шапками. Без обсуждений приняли резолюцию о переходе полка в распоряжение губревкома и обращение ко всем мятежникам.

Уже увели арестованных и митинг подходил к концу, когда в село на рысях ворвался карательный отряд Пашки Зырянова. Толпа, издали заприметив белого зыряновского жеребца, разом смолкла. Пашку и его людей беспрепятственно пропустили до самого помоста, на котором

стояли Карасулин, Ярославна и еще несколько человек. В напряженной тишине слышался скрип снега под копытами да Пашкин голос — перегнувшись в седле, командир карателей что-то говорил Димке. Повел Пашка глазами по лицам стоящих на помосте и забеспокоился, тревожно запоглядывал по сторонам, ища Добровольского и его окружение.

— Вот и Зырянов подоспел кстати,— загремел в тишине голос Карасулина.

Крестьяне плотно обступили конников, обжали со всех сторон, ухватились за поводья и стремена. Пашка окинул море голов и похолодел от жуткой догадки. Попробовал вытащить поводья из чужих рук — не удалось.

— Дай проехать! — рявкнул он и замахнулся плетью.

Толпа взорвалась выкриками, десятки рук вцепились в Пашку, и он очутился на снегу, и уже чей-то сапог пощекотал зыряновские ребра, и чей-то кулак почесал Пашкин загривок. Его рывком поставили на ноги, толкнули к кучке дружков, стиснули плотным кольцом.

— Вы чо это, чо? — Пашка мигом протрезвел, крутил головой, скалил крупные зубы, кусал взглядами.

— Знаете их? — спросил Карасулин.

— Чего не знать!

— Душегубы!

— Волки!..

— Кто хочет сказать? Как порешим с имя?

— Разрешите мне,— натянутой струной прозвенел голос Ярославны.— Челноковцы знают Зыряновых. Хищники и живодеры. Что дед Пафнутий, что сам Маркел, что вот этот выродок — все звери. Пафнутий в Яровске первым палачом числится. Маркел вместе с Кориковым помогал переодетым в продотрядовцев белогвардейцам измываться над крестьянами, а потом их же натравливал на большевиков. Сейчас он восседает в Челноковском волисполкоме, возами возит из Яровска одежду расстрелянных и замученных. Ну а этот... У него и руки, и сам он весь в невинной крови. Палач и садист...

— Верна-а-а!

— Башкой в прорубь!

— Ихним же способом — вилы в бок!

Пашка словно окостенел. Слышал, понимал и не мог поверить, что это все — въявь. Вчера примчался нарочный с запиской от Добровольского, из которой Пашка понял

одно — настал конец Онуфрию, нужна его, Пашкина, крепкая рука, чтоб раздавить, уничтожить... Сломя голову поскакал он в полк. По пути прихватил загулявших в родных селах карателей. Завидя огромную толпу на площади села, Пашка решил, что тут и вершится суд над самим Карасулиным. Хмельная гордость не позволила ему остановиться перед толпой, прислушаться, вглядеться. Можно было бы еще ускакать, отстреляться, а он сам дался в руки, как слепой щенок.

«Не может того быть, не может, не может...— клокотало в сознании.— Он, Пашка Зырянов, командир карательного отряда, гроза и кара красных,— и вот так... Нет! Нет и нет!..» Рванулся Пашка, сбил с ног двоих, вцепился в глотку третьему. Но его так стиснули, сжали несколько рук, что он забился, задыхаясь, замолотил по земле длинными сильными ногами, даже куснул чью-то руку.

— И верно волк,— удивленно протянул крестьянин и, еле заметно размахнувшись, сунул кулак в Пашкин подбородок.

Когда его повели на расстрел и толпа расступилась, чтоб пропустить приговоренного и конвой, Пашка вдруг упал на снег и стал биться, извиваясь по-червячьи и глухо, утробно воя. Скреб пальцами утоптанный снег, грыз его, вытягивался, изгибался дугой, бился выброшенной на берег щукой. Его подхватили под руки, оторвали от земли и поволокли. Он вырывался и выл жутко и безостановочно.

Залп оборвал Пашкин вой.

...Полк Карасулина налетел на Яровск так неожиданно, что удалось захватить почти всех вожаков мятежа. Только Сбатош с двумя адъютантами сумел выскочить из города, нагнать отступавший отряд штабной охраны, отбить передовой разъезд карасулинцев и с темнотой уйти на север.

Той же ночью выпущенные из тюрьмы заключенные забили насмерть Пафнутия Зырянова.

Через час после взятия Яровска Онуфрий и Ярославна отправили Северскому губкому РКП(б) ту самую телеграмму, которая так ошеломила Аггеевского.

Глава одиннадцатая

1

Даже пожар на миг только покачнул Маркела Зырянова. Золотишко спас, барахло — дело наживное, скот — и вовсе пустяк: в таком половодье любую рыбину за жабры ухватить можно и на бережок выкинуть. Но не успел Маркел утешиться, отойти, расправить крылья, как обухом промеж глаз ударила черная весть — и потемнело вдруг небо над головой, померк белый свет.

Слепо растопырив руки, Маркел брел, пьяно качаясь, по улице, пока не наткнулся на колодезный сруб. Обхватил деревянную ногу журавля, прижался к ней крепко, скреб ногтями, терся щекой о влажное холодное дерево и тихо, глухо подвывал.

А оглушившая Маркела весть уже обскакала все село, повымела из домов любопытных баб, поманила на улицу стариков. Вокруг Зырянова собралась толпа. Люди молча пялились, но близко никто не подходил, ни словом, ни вздохом не посочувствовал, и эта отчужденность односельчан, их неприкрытая враждебность отрезвили Маркела, душа его мигом ощерилась злобой, неуемной ненавистью ко всем и вся за так неожиданно и напрочь сломившуюся жизнь.

Ни сына единственного, ни хозяйства — ничего не осталось у Маркела: все разом превратилось в прах. И нет больше первейшего челноковского богатея Маркела Зырянова, перед которым все ломили шапку.

Мятеж одним духом вознес Маркела над людьми, подчинил ему тысячи человеческих жизней. Какие хрустальные дворцы, какие воздушные замки возвел Маркел в мечтах своих. Присмотрел покинутый в революцию хозяином двухэтажный дом в Яровске, выгнал из него поселенных ревкомом квартирантов, нанял рабочих, и те занялись отделкой особняка, а Пашкины дружки-собутыльники тем временем стаскивали отовсюду дорогую мебель и утварь. Нацелился Маркел на кожевенный заводик и не чаял дождаться, когда начнется обыкновенная, воскрешенная из мертвых жизнь. И он переберется в Яровск и так развернется, что... Близкой казалась заветная мечта. Начальник главного штаба полковник Сбатош не морговал Маркеловой компанией, Пафнутия задари-

вал, с Пашкой секреты водил. Зажал Маркел судьбу в своем кулаке, закрутил в ту сторону, в какую хотел, и так накрепко уверовал в свои силы, что весь преобразился — стал медлителен и важен, курносым носом в небо целился, говорил неспешно и не шибко громко, чтоб стихали сельчане, заслыша его говорок.

Верил: как бы ни повернулось, они с Пашкой не пропадут, вывернутся — живуч и крепок зыряновский род. Не думал, не гадал, что сбросит его судьба, как норовистая лошадь, на полном скаку — и наповал...

Царапает Маркел мертвый столб колодезного журавля, жмется к нему зачугуневшей щекой и воющим ртом, краем глаза видит густеющую толпу подростков да старух и чувствует, как ежовым клубком подкатывает к сердцу злоба — лютая, ненасытная. Не унимает ее Маркел, не сдерживает, и уже не горе воем исходит из него, а ярость. Опять Карасулин встал на его пути. Только теперь не разминуться им, не разойтись. «Хватит, Онуфрий, в прятки играть. Получи сполна. За все...»

Мысли о Карасулине, как глоток кислоты, все нутро опалили. Расчесться с ним разом — вот единственное желание, целиком завладевшее сейчас Маркелом. Передушить весь карасулинский выводок, выжечь дотла его гнездо, сровнять с землей, чтоб ни следа... «Ну же погоди. Настал твой черед. Своими руками передушу...» И в воспаленном воображении Маркела стали рисоваться необыкновенно яркие картины расправы над карасулинским семейством. «А ну Онуфрий сегодня возвернется»,— пронзила отрезвляющая мысль и на миг, но только на миг, оторвала от мстительного сладострастия грядущей расправы. «Разделаюсь с имя, подамся в лес, бабу кину к такой матери, хозяйство все одно ни к чему теперича...»

Но сначала надо было похоронить сына единственного, опору и надежду свою, похоронить со всеми почестями. Пока еще большевики сюда не нагрянули, Маркел сделает это во что бы то ни стало, и не только потому, что горячо любил сына, но и потому, что таким способом он опять же будет мстить Карасулину и всем, кто с ним. После панихиды по Пашке можно справить и «поминочки» — подпалить сразу избы Пахотина, Зоркальцева, Лешакова и Онуфрия, пускай пылает Челноково с четырех сторон, и пусть в том костре перегорит Маркелова жизнь со всеми ее потрохами...

2

Они стояли на паперти, возле маленькой закругленной сверху дверки, ведущей на колокольню. Флегонт недовольно хмурил лохматые брови. Он не стал притворяться, что со вниманием и доброжелательством слушает Маркела, напротив, всем своим видом поп выражал откровенную неприязнь к собеседнику. Маркел видел и чувствовал это, но, внутренне свирепея, продолжал излагать свою просьбу голосом смиренным и кротким:

— ...Вот я и говорю, батюшка: горе великое. Замучили сына Пашу коммунисты вместях с товарищами его... Спасибо добрым людям, тело Пашино привезли. Сегодня привезли, сегодня бы и похоронить, по-христиански, как воина христолюбивого...

— Довольно,— перебил Флегонт, брезгливо морщась, и приподнял руку, словно ограждая себя от чего-то недоброго.— Довольно. Имеющий уши да слышит. О злодеяниях твоего сына знает вся округа. Старухи пугают им внучат. Все сторонились и бежали его, как прокаженного. Зверь и тот не сотворит такого, чего выделывал твой сын. За то ему — ни прощенья, ни снисхожденья. И ни отпевать, ни панихиду служить по нему я не стану. Знаю — тяжкий грех на душу приемлю, но молить господа об отпущении грехов палача и мучителя — не могу. Не буду! Не по-христиански сие, недостойно звания и сана моего, но я скорее прокляну себя, чем произнесу хоть слово перед господом в защиту ирода.

Побагровел Маркел и весь перекосился, словно лопнула в нем какая-то пружина. Набычась, он с такой свирепой решимостью двинулся на Флегонта, что огромный в сравнении с Маркелом поп невольно попятился. Но только на шаг.

— Остановись! — громыхнул колокольным набатом могутный Флегонтов бас. Большое слегка одутловатое лицо покрылось румянцем гнева, глаза будто потемнели и из голубоватых сделались темно-синими, почти черными.— Забываешься, Маркел. Ты в храме божьем, на мне ряса и крест. Впрочем, ты ведь — Зырянов. Ни для тебя, ни для твоего покойного сынка, ни для отца твоего Пафнутия — ничего святого не было и нет. И как у тебя язык повернулся после всего, что содеял сын твой...

— Ты мово сына не трожь! — взвизгнул Маркел.— Храбрый воин — вот кто он! А что всякую красную падаль не щадил, так то ли не божеское дело?

— Не богохульствуй! — гневно рокотнул Флегонт.— Несть же пределу бесстыдству человеческому. Прочь отсюда! Не гневи меня!

— А ты поосторожней,— сунув руку в карман, угрожающе прикрикнул Маркел и весь встопорщился.— Поаккуратней со мной! Я тебе не какой-нибудь прощелыга. Я волостная власть. Я могу...

— Чего ты можешь? Выстрелить? Поджечь? Отравить? Вот все возможности твои. Мокрица ты — не человек. Паук! Всю жизнь исподтишка расставлял тенета, заманивал в них и когтил, терзал свои жертвы. Иль не знаем мы, как ты двенадцатилетнюю батрачку изнасиловал, как обирал, обманывал батраков, как поджег продотрядчиков? Не только богу, но и людям ведомы все мерзости твои, за что и презирает тебя народ. Что доброго сделал ты на веку? Оглянись. Припомни. Хоть одну добродетель. Пригрел ли хоть одного несчастного, напоил, накормил страждущего, протянул руку помощи нуждающемуся? Не крутись гадюкой, не уползешь, не скроешься ни от людского, ни тем паче от божьего суда. И собачья смерть Пашки и пожравший добро твое огонь — все это кары небесные за грехи твои...

— А-а! Ты так? Ну, погоди, большевистский проповедник! — взъярился Маркел.— Думаешь, на тебя управы нет? Тебе все дозволено? Шалишь! Здеся еще наш верх. Не ты нас, мы тебя судить будем. Ты — поп! Всего-навсего. Ну и знай поповское корыто: крести, отпевай, а в мирские дела нос не суй. Оборвем с башкой вместях! Моли бога, Пашки нет, он бы живехонько распнул тя прямо на клиросе, вытряс бы из тя требушину...

— Вон! — рявкнул Флегонт и пошел грудью на Маркела.— Вон! Чтоб духу твоего...

Маркел отпрыгнул от взбешенного попа. Толкнул спиной дверку на колокольню, запнулся за ступеньку и, падая, выдернул из кармана наган, выстрелил в неохватную колышащуюся от гнева поповскую грудь. Качнулся Флегонт, изумленно глянул на Маркела.

— Ты? Ты?.. — и медленно, неотвратимо пошел на него.

Маркел вскочил, запрыгнул еще на одну ступеньку, уперся затравленным взглядом в надвигающегося попа. Растопыренные пальцы Флегонта замаячили подле Маркелова горла, и тот, цепенея от страха, снова вскинул револьвер, но кто-то невидимый ударил из-за спины по

руке Маркела, и наган с громким стуком упал на каменный пол. Какая-то сила подхватила Маркела, подняла, тряхнула, и он увидел свирепое лицо церковного звонаря Ерошича. Тот, видно, был на колокольне, неслышно спустился оттуда, ястребом пал со спины на Маркела и наверняка расшиб бы ему голову о каменные ступени, если б в тот самый миг Флегонт, застонав, не начал медленно оседать на пол.

Кинул звонарь Маркела, метнулся к Флегонту, а Маркел вспугнутой кошкой заскакал вверх по лесенке, ведущей на колокольню. И, только пролетев большую часть пути, опомнился: с колокольни-то другой дороги нет. Похолодел от страху Маркел и начал было, прислушиваясь настороженно, медленно спускаться вниз, но, заслышав приближающиеся шаги и дыхание Ерошича, подхватился и снова засеменил вверх по витой крутой лесенке — быстро и бесшумно. А следом топотил Ерошич.

Вот и конец пути. Одним взглядом окинул Маркел небольшой деревянный настил, на котором змеями сплелись веревки, подвязанные к чугунным языкам больших и малых колоколов. И как же обрадовался, приметив у стены небольшой ломик. «Сунется сюда, я ломиком по башке...» Запнулся за скобу, кувыркнулся, запутался в веревках. Пока вскочил да успел схватить ломик, Ерошич уже был подле.

— Брось лом! — скомандовал Ерошич.

— Нашел дурака! — откликнулся Маркел и, изогнувшись, медленно двинулся на Ерошича, норовя отпугнуть его от лаза, шмыгнуть туда и скатиться вниз.

— Брось, говорю!

— Я тебе сейчас башку раскрою, — грозился Маркел, а сам топтался на месте, ожидая, когда же Ерошич отступит.

Но тот не попятился, наоборот, шагнул навстречу занесенному ломику так стремительно, что опешивший Маркел сам отступил, однако метнувшуюся к нему руку успел отбить ломиком и тут же снова клюнул им в голову Ерошича, да промахнулся, угодил в плечо. Снова размахнулся, намереваясь со всей силы рубануть звонаря по башке, а тот, подпрыгнув, вцепился в ломик и вырвал его. И вот они, согнувшись, стоят лицом к лицу, сторожа взглядом каждое движение, каждый жест друг друга.

— Что, кулацкое отродье? Допрыгалось? Пришел твой конец. Я наганчик-то твой прихватил. Только стрелять тебя не стану, не заслужил ты легкой смерти. И этим бить не буду,— Ерошич швырнул ломик в проем.— Я тебя руками голыми как паршивую шелудивую кошку придушу и с колокольни скину. Ишь как зенки-то забегали. Дрожишь, тварь! Богу, поди, молишься, чтоб спас тебя. Никакой бог не поможет. За такого человека, коего ты сгубил, тебя на куски порвать мало...

Говорил Ерошич, а сам потихоньку надвигался на Маркела. Метнулся тот влево — и Ерошич влево, да хоть на полшажка, а ближе стал к Маркелу, рванулся тот вправо — и Ерошич туда же и снова на несколько вершков ближе оказался. Пятился Маркел, не спуская глаз с Ерошича, пятился прямо на проем в стене, за которым — бездна. Краем глаза видел Маркел эту неотвратимо приближающуюся бездну, чуял за спиной ее ледяное смертельное дыхание и холодел нутром от ужаса. Жестоко казнил себя Маркел за то, что связался с попом, что не пристрелил его тихонько, в спину, за то, что выпустил ломик, что не так сильно и не туда ударил им Ерошича,— а сам все еще надеялся на какое-то чудо. Нелепо погибнуть вот здесь, на колокольне, от рук пьянчужки-звонаря, которого и за настоящего человека-то мало кто почитал. Пусть все летит в тартарары, пропадет прахом, лишь бы выпутаться из ловушки, спасти голову... «Золото»,— мелькнуло в помутившейся голове Маркела.

— Не тронь меня, слышь, не трогай,— просил, умолял он надвигавшегося Ерошича.— Я тя озолочу. У меня полный ларец золота. Все отдам... Всю жизнь копил... Разбогатеешь. Уедешь. Хозяином станешь... Все отдам. Слышишь?..

— Это вам, кулачью, золото дороже башки, а мне оно ни к чему. На хлеб и чарку заработаю. Да и поганое твое золото, невинной кровью облито, с убитых посымано. Не-ет! Не откупиться тебе. Ни золотом, ни посулами райскими — только шкурой своей. Пяться, пяться... Еще шажочек...

— А-а-а! — дико заорал Маркел и мертвой хваткой схватился за скобу, вделанную в стену. Одной рукой за спасительную скобу, а другую к горлу Ерошича протянул, норовил ухватить его и стянуть, скинуть в ту самую пропасть, которая белым маревом за спиной колыхалась. Но Ерошич нападающую руку Маркела ущемил, стиснул,

согнул и стал разжимать ту, что к скобе примерзла. Тут Маркел сам руку разжал и всем телом кинулся на Ерошича, сшиб его с ног и, урча и хрипя, вкогтился в горло и зубами туда же потянулся. Еще чуть-чуть, и закатит Ерошич глаза, и обмякнет — Маркел знал, как это бывает,— и все, до останной капельки силы вложил в скрюченные, застывшие на чужом горле руки. Вдруг почувствовал пальцы звонаря на своей шее, и сразу мутная пелена накатилась на Маркела, ослабли руки, и он уже не чуял, как подмял его и уселся на нем Ерошич.

Отдышался звонарь, потер ладонью шею там, где синели следы Маркеловых пальцев.

— Значит, ты так? — прохрипел, еле переводя дух, и с размаху тюкнул кулаком Маркела в переносицу.— Значит, так? Ну так я тебя по-иному...

Слез с Маркела, пошарил самую тонкую веревку от малого колокола и давай на ее конце петлю ладить. Очнулся Маркел, все понял и медленно пополз к проему.

— Стой! — Ерошич прижулькнул Маркела к полу, наступил на него ногой.— Стой, гадюка ядовитая! Не уползешь. Теперь ты у меня только в петле отсюда вылетишь...

— Не па-а-а...— затянул Маркел.

А Ерошич, ухватив его за волосы, оторвал голову от полу, и вот уже на шее Маркела холодная змея петли. Потянул Ерошич за веревку, подзажал петлю и пинком, ровно падаль какую, сбросил Маркела с колокольни.

Тонко, жалобно звякнул самый маленький колокол. Звякнул и умолк.

Ерошич оглядел свое владение помутневшим взглядом, ухватился за веревку многопудового медного великана, раскачал его, и поплыл над Челноково раскатистый набатный гул.

3

Флегонт лежал на спине, вытянувшись во весь свой громадный рост, и было непонятно, как это непомерно большое тело уместилось на кровати и та не развалилась, не рассыпалась. При каждом вдохе в груди Флегонта что-то скрипело, попискивало и хлюпало, и, слыша эти звуки, жена его вся сжималась, с трудом сдерживая слезы. Флегонт легонько стиснул ее руку, тихо проговорил:

— Полно, Ксюша. Всему свое время. Поди утешь детей. Я потом позову вас. Оставь меня. Мне надо помолиться. Иди, голубушка, иди, милая.

Жена ушла, неслышно притворив за собой дверь. За минуту перед тем, он так же ласково, но настойчиво выпроводил отсюда детей. И вот теперь он один. Времени осталось немного, это он знал. С каждым вздохом уходила жизнь из могучего тела, уходила навсегда и безвозвратно.

Нежданно-негаданно... Впрочем, почему нежданно? Он ждал этого. Не звал, не торопил, но ждал, ибо знал — она все равно придет, как обязательно приходит утро вослед ночи и весна вослед зиме. И не боялся: нелепо и постыдно пугаться того, что неотвратимо...

Идет время. Убывают силы. Все ближе последняя земная черта, последняя мысль, последний взгляд, последний вздох. Пора и помолиться останний раз, спокойно и осознанно, да не словами, застрявшими с детства в памяти, пускай и разумными и напевными, а сотворить свою молитву, рожденную собственным сердцем, просветленным смертной близостью.

Флегонт широко перекрестился, взял с груди серебряный крест и тихо произнес:

— Господи Иисусе Христе, услышь и прими последнюю молитву мою, прощальную с миром тленным, встречную с миром духовным. Не тягостную, не слезную — смиренную и просветленную... Мне дорог был сей бренный мир, я любил все земное и расстаюсь с ним не без сожаления и боли, хотя и не скорблю об уходящем, приемля смерть как должное и неизбежное... Не о прощении, не о милости себе молю. Развей смуту мою, вразуми... Грешен аз безмерно и непрощаемо. Ибо нарушил заповедь твою: «возлюби ближнего твоего, как самого себя». И сейчас, на пороге кончины своя, сомневаюсь, а не раскаиваюсь. Простить мучителей народа, истязателей и губителей его не могу. Царствие твое им не молю...

Приотворилась дверь, на цыпочках вошли дети и жена, сгрудились подле кровати, встали на колени, припали к умирающему. Флегонт уже не слышал их прихода, но какое-то внутреннее угасающее чутье еще сработало в нем, и, напрягшись, он полуоткрыл глаза, увидел сына, встретил его страдающий, затуманенный слезами взгляд. Склонясь над отцом, почти вплотную прижав ухо к его мертвеющим, но еще шевелящимся губам, Владислав еле различил:

— Держись Карасулина... Ярославны... Они... народ... За ними... правда... святая...

Больше Владислав ничего не услышал, сколько ни напрягался. Жизнь покинула тело Флегонта. «Что он сказал?» — страдающим взглядом спросила мать.

— За ними — правда святая,— негромко, молитвенно выговорил Владислав последнюю отцовскую волю.

...Протяжный, леденящий душу, надрывный вой медного великана повымел челноковцев из домов. Густеющей на глазах толпой запрудили они соборную площадь и, запрокинув головы, с изумлением и страхом взирали на прильнувшее к колокольне тело Маркела Зырянова. Никто не спрашивал друг друга ни о чем, не плакали, не вздыхали, не причитали женщины. Казалось, весь мир пригнулся, ссутулился под скорбным певучим гулом, который несся с колокольни.

Вот к басовитому реву колокола-исполина присоединился другой, медный голос — потоньше, позвонче, повеселее. Потом еще один голос влился в этот необычный хор, еще — и вот поплыл над селом, над изумленными челноковцами праздничный пасхальный перезвон.

Старики кинулись было к собору, чтоб подняться на колокольню и остановить, видно, сошедшего с ума звонаря Ерошича. Но тут от околицы села поплыл неясный, все усиливающийся гул. Из-за поворота выскочило на взгорок трое всадников, и у того, что был посередине, в руках — полощущееся на ветру красное знамя. Толпа хлынула навстречу конникам и разом прорвалась восторженными криками...

Так встретили челноковцы карасулинский полк, который по пути на север завернул на часок в родное село.

1964—1978 гг.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Роман К. Лагунова «Красные петухи» воскрешает драматические события, связанные с контрреволюционным кулацко-эсеровским мятежом 1921 года в Западной Сибири. Хотя действие книги развертывается в вымышленной Северской губернии и мы не найдем здесь подлинных имен и документальной точности в описании фактов, роман тем не менее достоверно отображает историческую действительность: политическое положение, расстановку классовых сил в сибирской деревне, причины, ход и разгром мятежа.

Начало описываемых событий относится к зиме 1920/21 года. В декабре 1919 года героическая Красная Армия при поддержке сибирских партизан завершила освобождение Западной Сибири от колчаковцев. Хозяйство сибирских губерний, как и всей России, было подорвано. Отступая на восток, белогвардейцы разрушали промышленные предприятия, железнодорожные мосты, расхищали запасы продовольствия и промышленных товаров.

По мере изгнания колчаковцев в сибирских губерниях создавался вновь государственный, партийный и хозяйственный аппарат, вся работа которого была подчинена задачам военного времени. Вводилась всеобщая трудовая повинность. С января 1920 года приступили к работе продовольственные комитеты. Борьба за хлеб, за спасение Республики Советов от голода в то время была борьбой за социализм. Советская власть запретила свободную торговлю продовольствием, все хлебные и фуражные излишки изымались у крестьян и отправлялись в Центр для снабжения городов и армии.

Продовольственная разверстка в Сибири проводилась в особо сложных условиях. В отличие от крестьян Центральной России сибирские крестьяне, по словам В. И. Ленина, улучшения от революции еще не видели. Следует принять во внимание и тот факт, что разверстка в центральных губерниях вводилась в самом начале 1919 года, когда над республикой нависла смертельная опасность и крестьянин готов был поддержать власть, которая защищала его от возвращения старых порядков. В Сибири же начало разверстки пришлось на 1920 год, когда контрреволюция была в основном разгромлена и непосредственная угроза возвращения к прошлому миновала. Все это создавало за Уралом обстановку, менее благоприятную для осуществления продразверстки, чем в Европейской России.

В начале 1921 года начался вооруженный мятеж, охвативший Тюменскую, часть Омской, Акмолинской, Челябинской и Екатеринбургской губерний.

В полном согласии с историческими фактами в романе раскрываются причины мятежа. Он был организован белогвардейским сибирским «крестьянским союзом», который ставил задачу свергнуть Советскую власть и превратить Сибирь в оплот контрреволюции. Мятежникам удалось увлечь за собой не только кулачество, но и часть среднего крестьянства, недовольного политикой военного коммунизма.

Организаторы мятежа воспользовались просчетами и ошибками, допущенными при проведении продразверстки. При разверстке по хозяйствам нарушался порой классовый принцип обложения, чему немало способствовали чуждые элементы, засевшие в аппарате местных Советов и продорганов. Получив задание, отдельные продработники стремились выполнить его любой ценой, нарушали революционную законность. По сигналам коммунистов Советская власть сурово карала преступников, но эти меры нередко запаздывали.

Создавая образы сибирских большевиков, беспредельно преданных делу революции и готовых ценой своей жизни защитить ее завоевания, автор не идеализирует своих героев. Правдиво и честно рассказывает он и об их упущениях и ошибках, которых трудно было избежать в сложной, полной острейших противоречий ситуации, сложившейся в сибирской деревне на исходе периода военного коммунизма.

В романе показаны социальные и политические пружины мятежа. Стоявшие во главе мятежа белогвардейцы не призывали открыто к свержению Советской власти, которая пользовалась непререкаемым авторитетом в народных массах, а выдвигали демагогический лозунг: «За Советы без коммунистов».

На подавление мятежа брошены были регулярные войска и сформированные на месте части особого назначения. Трудящееся крестьянство, испытав на себе все ужасы разгулявшейся контрреволюции, скоро повернуло на сторону Советской власти. Важную роль в этом повороте сыграло принятое X съездом РКП(б) решение о замене продразверстки продовольственным налогом. При поддержке партизан воинские части в марте-апреле 1921 года разгромили основные силы мятежников, потерявших социальную опору в деревне, но борьба с разрозненными мелкими бандами продолжалась еще более года и закончилась лишь в 1922 году.

Роман К. Лагунова «Красные петухи» написан с классовых партийных позиций. Думается, книга эта будет с интересом встречена читателями.

Д. Копылов,
доктор исторических наук

Лагунов К. Я.
Л14 Красные петухи. Роман. Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-во, 1978.

424 с. с ил., фронт.

Новый роман известного сибирского писателя.

Л $\frac{70302-051}{М158(03)-78}$ Р2

Константин Яковлевич
Лагунов

КРАСНЫЕ
ПЕТУХИ

Редактор М. П. Немченко. Художник П. А. Ершов. Художественный редактор Я. И. Чернихов. Технический редактор Н. Н. Заузолкова. Корректоры А. Н. Винокурова, М. А. Казанцева. Сдано в набор 7/II 1978 г. Подписано в печать 13/VII 1978 г. НС 15296. Бумага типогр. № 1. Формат 84×108[1]/32 Уч.-изд. л. 23,8. Усл. печ. л. 22,4. Тираж 50000. Заказ 109. Цена 1 р. 90 к. Средне-Уральское книжное издательство, Свердловск, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», Свердловск, пр. Ленина, 49.

)едне

Р

редак
екторі
писан
<108¹/₃
. 90
Типс






1р. 80к.





КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

